



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРЬБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Содержание

Проза

Андрей УБОГИЙ
Рукопись. Роман 15
Александр КЕРДАН
Вне очереди. Рассказы 95

Поэзия

Валентина СИДОРЕНКО
И дан был путь, и я его прошла 3
Николай БЕСЕДИН
Из цикла "Маятник" 12
Борис СВЕРДЛОВ
Небо и река 92
Поэтическая мозаика 105

Память

Анджело де ДЖЕНТИ
Мой византийский Рубцов 231
Леонид ВЕРЕСОВ
Н. М. Рубцов на Вологодском
областном радио 236
Станислав ВТОРУШИН
В его стихах звучала музыка 241

Очерк и публицистика

Захар ПРИЛЕПИН
Почему вы либералы 118
Николай РЫЖКОВ
Прогресс 134
Татьяна МИРОНОВА
Русские идеалы
в русском языке 143
Владимир РОДИН
Демократия, согласованная
с бизнесом 166
Яков АЛЕКСЕЙЧИК
Сто тысяч королей,
потерявших два государства 176
Анатолий ПАРПАРА
Державные строители России 217

Критика

Андрей ПОЗДНЯЕВ
Улыбка Распутина 246
Владимир КОРОЛЁВ
Главный редактор 250

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Валентина КОРОСТЕЛЁВА
Уральский самоцвет 263
Александр РАЗУМИХИН
Действительность
и необходимость 267

Среди русских художников

Александр СЕВАСТЬЯНОВ
Александр Иванов. Тайна
жизни, тайна картины 193

Слово читателя

Отзывы о романе
В. И. Щепоткина 279

В конце номера

Александр ЩЕРБАКОВ
А может, кухарка
управилась бы лучше?.. 282
Павел БЕЛЫХ
Где же суть у Кургиняна? 286

Наши лауреаты 288

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 27.12.13. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №268. Тираж 8300 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в ОАО "Красная Звезда", 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО



И ДАН БЫЛ ПУТЬ, И Я ЕГО ПРОШЛА

* * *

По Божьему Слову рождались сквозь муки.
Как яблоки, шлёпались в русские руки,
Чистейшие руки на этой земле,
Где матери светят, как звёзды во мгле,
Где матери шепчут молитву, как дети.
По этим молитвам росли мы на свете:
На свежих ветрах пузырились рубахи,
И голые пятки мелькали, как птахи.
И всё, что светилось, цвело и летало, —
Всё Родиной было, родимым дышало.
И речка омоет, и ветка укроет,
И птица, как мати дитя, успокоит.
Побалует сладкой малиной лесок,
И змейка покажет цветной поясок...
Но как уходили! Рвались без оглядки.
И с Родиной милой играли мы в прятки,
Без памяти светлой.

СИДОРЕНКО Валентина Васильевна — поэт, живущий и работающий в Иркутске, автор трёх стихотворных и четырёх прозаических книг, состоит в СП России. В 90-х годах прошлого века главный редактор легендарного патриотического издания "Литературный Иркутск".

И будто гонимы —
 в столицы,
 Арбаты,
 Иерусалимы.

С полянки — на площадь,
Из горниц — да в залы.
С амвонов — в салоны.
Из лада — в скандалы.

Высокие кафедры, громкие речи,
Банкеты, приёмы, бесплодные встречи.
Звонки и речисты.

 И вроде, и вроде —
О русской беде и
 о русском народе.
О русской избе, как о снеге вчерашнем,
О стылом колодце и брошенной пашне.
О святости русской, замученном Боге...

Но видится: Мать нисходит к дороге,
Идет по той самой, какой убегали,
И в русские избы, и в русские дали.
И слышатся тихие речи в ночи,
Простые молитвы, как хлебы в печи.
И в окна зарницы, где светят, как дети,
Последние русские люди на свете...

* * *

Тело к телу, чтоб была любовь,
Жизнь дышала и алела кровь.
В новеньких ладошках у младенца
Зрима мне незримой жизни суть:
“Для меня набухла эта грудь!..”
Солнце в окна выдаёт коленца,
Пахнет мылом, брагой и весной.
Ангел мой склонился надо мной,
Рот к груди подпихивает смело.
Тело к телу.

Тело к телу, чтоб была любовь,
В жилах огненных вскипела кровь,
Блажь в устах таинственная пела.
В окна брезжит утренняя синь,
Жест твой кроткий повторит мой сын.
Синь в глазах. И жар в кудрях неспелых.
Ясен мне часов судьбинный бой.
В эту ночь начнём его с тобой —
Тело к телу.

В грешном гуле радостей и тризн
Кто отходит? Это наша жизнь
Тихими расходится кругами,
Бледным ликом и едва дыша
От души отверзнется душа,
И помчатся разными берегами,
Станут перед Господом несмело
Две души чужих.
И прахом — тело...

* * *

Осенние настали вечера,
Студит и бьёт в ворота стылый ветер,
Звезды не видно, только окна светят,
Дожди стучат по крышам до утра.
И в сумерках я запалю печь.
В моём уединении жестоком
Не слышится ничья живая речь,
Один ночник своим дремотным оком
Чуть освещает мой убогий быт,
Где украшеньем — печь да три иконы.
Горит и жжёт в окно багрянец кроны,
Перо в руке и дышит, и скрипит...
И медленно, спокойно и пространно
Я расскажу на чистом на листе,
Как горестно, зияя рваной раной,
Мой век, как птица, в вечность отлетел.
Он был двадцатым от рожденья Бога.
Не понят был он, резок и раним,
Душа и жизнь моя в его дорогах
Впечатаны навечно, как в гранит.
И я гляжу вослед ему в оконце
Из дома деревенского, где он
Живёт, как дух, непознанный, как солнце,
Не вправленный в чреду других времён.
Прощай, мой век! Совсем прощай,
навечи.

Ты был последним на моей земле,
Уже другими будут человеки,
И новое рождается во мгле.
И новый гомо сапиенс двуликий
С расчётливым прищуром зрит из тьмы
На матрицу времён, где гаснут лики,
Куда своей чредой уходим мы.
Туда, туда, где в образ первозданный
Чистейшую черту ты внёс, мой век,
Где мой народ прекрасный и созданный
Дыханьем Божьим пребывает век.
И мой поклон и времени, и роду,
И русскому народу на Руси
Пребудет узким входом во свободу,
К простёртому над нами небосводу,
К Творцу, что сущий есть на небеси...

* * *

В новолунье, на снег молодой,
На весеннюю свежесть пороши
Пролетели под млечной звездой
Сизокрылые, расхорошие,
Прикорнув на мгновенье. И ввысь,
Неустанно вращая крылами,
Словно ангелы, поднялись
Над долинами и морями.
И поплыли — родные до слёз —
Косяками, вразлёт. Над Россией
На стоянье святое берёз —

Белоснежные птицы России
Торопились, летели, рвались,
Возвращались в родимую высь!
Так и мы возвратились в Свой Дом,
Все сошлись над церковным крыльцом.
Под златыми стоим куполами
В час вечерний Великим Постом.
Смотрим кротко, как птицы крылами
Возвращаются в общий наш дом.

* * *

Крылечко наше занесут снега,
Тропинку к дому заметут метели.
Под утро в серебро и жемчуга
Куржак обрядит лапы древней ели.

С утра с тобой мы запалим огонь,
Печь затрещит, как сватья расписная...
Возлюбленный мой, прошлое не тронь!
Я не жила, я ничего не знаю.

Ты жил один: тебе был рай и сад,
И гурии цвели сладкоголосо.
Я не взгляну, не обернусь назад,
Остаток жизни доживём мы просто.

В печь русскую я заложу хлебы,
Поставлю щи томиться на припечье.
Мы не ушли от дома и судьбы,
Спокойны и мудры, как наши речи.

Не спрашивай же ни о чём. Зачем?
Я только помню: осы да осины,
По осени рубиновой рябины,
Прекрасные, как свет твоих очей.

И сиверко, и дымный листопад,
Глаголы в полуночье одиноком.
Потомок мой и будущий собрат
Услышит их и вознесёт высоко.

Он скажет их возлюбленной своей.
Они взметутся, разлетясь, как птицы.
Ты ими сердце гордое согрей,
Ведь всё и вся тебе за них простится.

Я выстрадала их, когда снега
Твои следы порóшили. И ели,
Как женщины, стонали на берегах,
Закутанные в белые метели.

* * *

И паутины ясной нить
летит из края в край,
Ты в эти золотые дни
меня не провожай.

Не отымай воздетых рук,
 чтоб ласку их забыть.
Ты — мой единственный,
 мой друг,
Но вместе нам не быть.
Черты заветной не дано
 нам вместе преступить.
Она начертана давно,
И мне уже не быть.
В тот край далёкий,
 вечный край
Покоя и разлук
Не провожай меня,
 мой друг,
Совсем не провожай!
Чтоб с вышних, верных
 тех вершин
Душа не сорвалась.
Ведь на земле лишь ты один
 имел над нею власть.
И пусть она взойдёт одна
Звездой средь бела дня.
Не наша, друг мой, в том вина.
Не провожай меня...

ПОМИНАЛЬНОЕ

Расстелю-ка я белую скатерть,
Помяну-ка отца я и мать.
Брата милого, злого соседа
И того, с кем была мне беседа
Слаще мёда и сна на рассвете.
Царство Божие им на том свете!

Пухом ложе и путь им парчою!
Мать родная сгорела свечою,
Пал подрубленным дубом отец,
И настиг мила брата свинец.

Водка гордого съела соседа.
Ну, а тот, с кем любима беседа, —
Он ушёл. Просто так. Не со зла.
Он ушёл, чтобы я умерла.

Вот допью я вино золотое
И к последнему тронусь покою.
Лист падёт на помятую скатерть,
За которой отец мой и мать
Хлеб ломали и пили вино,

За которой давненько-давно
Разливалась-сладила беседа,
Невзирая на злого соседа,
И звенел вдалеке бубенец,
Предвещая печальный конец.

* * *

Но ещё оглянулась, вослед
Поглядела... И долго глядела:
По асфальтам земли, как вдоль тела,
Шрамом стынет, и рвётся твой след.
Я смотрела, как ты отходил,
Во вратах земнородного рая
Тень кровила твоя, исчезая,
Но вернуть тебя не было сил.
Замыкалось кольцо бытия,
Скол судьбы полыхнул, как зарница,
Отлетает, как поздняя птица,
Моя жизнь во иные края.
Не пытаю я Божьих путей,
Слышу только в кустах краснотала
Горький запах осеннего пала —
Пепел дома, какого не стало,
Разлетается вширь без затей.
Ни к чему утешенья слова,
Но на небо взглянув, увидала:
Тихо плещется сень Покрова,
Снег летит в городские кварталы.
Серебром зацвела голова...
Время поздней молитвы настало!

* * *

Ну, вот и одна ты — поди, оглянись,
А пили, и пели, и в дружбе клялись.
И всяких, и разных — как пена сошли.
И пусто на сердце, и тихо вдали...
И только я помню наш дом у заката,
И маму за прялкой, и светлого брата.
И на зиму рамы вставляет отец,
И ветер звенит, как шальной бубенец.
И ворон о встрече кричит над туманом...
А всё остальное — всё было обманом...

* * *

На Казанской взыграют метели,
В тёмных сумерках вызреет наст,
В безмятежные сны колыбелей
Матерь Божья судьбину подаст.
И заря, как хоругвь у престола,
Выткет утро крестом золотым.
Видишь, Ангел у русского дола:
Меч — из ножен, и смотрит сквозь дым.
Твёрдый в поступи, в жестах покоен,
Взор глубокий, протяжный, как стон...
С неприступных жарков колоколен
Раскатился басистый трезвон.
Мать Казанская с ратью святою
По студёной пошла по Руси.
Губы полнятся речью простою
И извечной:

— Прости и спаси...

* * *

Закат что плат — цветным убором...
В святой, апостольской, соборной
Под куполом под тяжкий стон
Андрея Критского — канон.

Над куполом — звезда в выси,
И о-ди-но-ко на Руси,
И ветрено, и покаянно.
И что мне делать, окаянной?!
Что делать мне и как дожить,
Как жизнь ненужную избыть
В России — ныне инородной,
Пустой, расхристанно-свободной?!
О, если б, если б не канон,
Не горестно-горчащий звон...

ВСТРЕЧА

В белом тумане на пажити ржавой
Встали они, как во сне.
Белая, руки скрестив величаво,
Молча склонилась ко мне.

— Кто вы? Откуда? Какое же лихо
В наши задуло края?
— Я — твоя старость, — ответила тихо.
— Старость твоя, — пронеслось
над гречихой. —
Белая старость твоя.

— Кто же другая, — спросила, немея. —
Тёмная, кто за тобой?
— Кто же за старостью ходит? За нею
Вечности сон неземной!

— Не нажилась я! И жизни не видела!
Может, ещё погодишь?
— В эти години свои незавидные
Жизнь свою всю ты узришь.

Будет печалью твоё одиночество
Благовестить и пытаться,
Полниться будет о жизни пророчество...
Будешь блазнить и страдать!

Вот и прошли. И туман, оседая,
Спал пеленою со дня.
Только над лбом моим прядка седая
Вызрела враз, когда та, что другая,
Зорко вгляделась в меня!

* * *

Но из разверзнутых небес
Ложился снег на голый лес,
На чёрный лес,
на тихий лес,

Спокойный и открытый лес,
На крыши тёмные домов,
На шапки светлые холмов,
На обнажённые поляны.
Ложился ясным и желанным,
Как сон, как свет, как благодать.
И чтобы просто осознать —
Какое счастье снег встречать, —
Мне нужно было жизнь прожить,
Всех потерять
и всех простить...

* * *

В июле — грозы, в августе — туманы.
Потом сентябрь, младенец первозданный,
И изморозь густая на стогах,
И свой черёд отлёта справят птицы,
И окна изойдутся голубицей,
А там снегов небесных белый прах...
Как жизнь проста. Её порядок строен:
За чином — чин, за рядом — строгий ряд...
Уже с высоких гулких колоколен
Вослед прощальный отлетел обряд
В июле — Марье, в августе — Сергею.
И птицы отпевали Алексея
На маленьком погосте у креста.
А со снегами отходила Анна...
Я, им вослед взирая благодарно,
Жду череды своей с улыбкой странной,
В молитве светлой разомкнув уста,
И жизнь проста, мой друг,
и смерть проста.

* * *

Вот мы стоим в конце пути земного,
И нашего с тобой, и мирового,
В конце времён нам чуждых мы стоим.
Звериным смрадом дышит ад за нами,
Над нами и под нами, и над нами,
И мы живём в огне его горим.
Скажи теперь, сейчас, когда готовы
Для пепелищ и сера, и зола,
И в чёрном небе злобных знаков зла,
Что звёздный дождь
над каждым нашим кровом,
Скажи мне слово, то скажи мне слово,
Которое всю жизнь свою ждала.
И ветра свист там, и сквозняк упругий,
Где мы с тобой не обрели друг друга,
Душа в родную душу не вошла.
Где над землёй и куполами башен
Слова любви не прозвучали наши.
Вот отчего земной закат нам страшен,
И мы в огне его сгорим дотла...

НИКОЛАЙ БЕСЕДИН



ИЗ ЦИКЛА “МАЯТНИК”

* * *

Гаснет день над Угрой.
Всё настойчивей запах сирени.
В небе ласточки чертят круги
высоко, высоко.
Выходи на крыльцо.
Посидим на остывшей ступени.
Пусть душа отдохнёт
от всего, что от нас далеко.
Всё равно не понять
эту жизнь, это время летящее,
Словно есть тот предел,
за которым закончится бег.
Погружается в сонный туман
городок за рекой.
И дома, и над церковью купол
как будто бы ватные,
И во всём этом странный
и грустный, предвечный покой.

БЕСЕДИН Николай Васильевич родился в 1934 году в Кемеровской области. Четырнадцатилетним юношей ушёл юнгой на флот. В 1956 году окончил Ломоносовское мореходное училище ВМФ, в 1963 году — Литературный институт им. Горького в одном семинаре с Н. Рубцовым, О. Фокиной, Д. Ушаковым и др. Работал в Институте ядерной физики им. Курчатова, Госплане СССР. Автор 12 стихотворных сборников, лауреат премии им. Н. Заболоцкого (2002 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Может, выпало время
 для тихого праздника лени
Или это усталость
 от прожитых миром веков...
Выходи на крыльцо.
 Посидим на остывшей ступени,
Пусть душа отдохнёт
 от всего, что от нас далеко.

* * *

Деревня больна тишиной,
Ни стука, ни скрипа, ни голоса.
Нелепость заблудшего колоса
На поле, заросшем травой.
Колодца обрушенный сруб
Безмолвен, как древний могильник,
Паук, этот вечный прядильщик,
Вершит заколдованный круг.
Иду — и не слышу шагов,
Дышу — и не чую дыханья.
Меня поглощает молчанье
Умолкнувших здесь голосов.
Кот бросился прочь напролом —
Отвык от людей, бедолага.
Обрывки российского флага
Уныло висят над крыльцом.
Полы под ногами скрипят.
Кровать, шифоньер, занавеска...
Два снимка, как древние фрески,
С печальным укором глядят:
— Простите!
Безмолвны глаза,
Лишь сном золотым истекают.
Они нас, наверно, прощают,
Не зря так светлы небеса.
И мёртвые избы не зря
Среди тишины и бурьяна.
Не зря под окошком тюльпаны,
Как скорбные свечи, горят.
И воздух пронизан грозой,
Которая где-то таится,
Не зря будет то, что случится
На русской земле горевой.

* * *

С куста на куст перелетая,
Синичья маленькая стая
Щебечет, радуясь тому,
Что день настал широк и светел,
Что пахнет ягодами ветер,
Что мир и лад у них в дому.
А я брожу по сухотравью
Меж снами прошлого и явью,
И с каждым шагом мне грустней,
Что горек ветер, день тревожен,
Что лето кончилось, быть может,
Что лада нет в душе моей.

* * *

Закон природы, сущности закон —
Из крайности придти в другую крайность.
Так маятник, роня тихий звон,
Мгновениями меряет бескрайность.
От светлых, созидающих начал,
Где плат небес, как дар любви, синее,
Мир падает в губительный провал.
Там разум спит, и души каменеют.
Зло ненасытно в промысле своём,
И человек подобен зверю в гневе.
Но дышит поле влажное зерном,
И женщина несёт дитя во чреве...
Ещё рассвет спокоен зоревой,
Целуют листья руки садовода.
Но тишина беременна войной
Незримым слугам дьявола в угоду.
Покорны люди в горькой слепоте,
Горят дома, и всюду — вероломство.
И кажется: спасенья нет нигде
От смертной тени Данова потомства.
...Судьба России, русская судьба.
О, сколько раз враги торжествовали,
Что в нас вскормили преданность раба,
Убили память и детей отняли.
Ни веры, ни любви, ни языка —
Всё схвачено!
И русский дух прогнулся.
Державы нет отныне на века...
Не торжествуйте!
Маятник качнулся.

АНДРЕЙ УБОГИЙ



РУКОПИСЬ

РОМАН

Летом 20... года, по технической необходимости произведя высадку на необитаемом острове, расположенном в запретном квадрате “124-М”, сотрудники североморской геологоразведочной экспедиции “Шельф-XXI век” обнаружили следы пребывания здесь человека и четыре тетради, содержащие дневниковые записи. В ходе трёхчасовых поисков автора дневников, ни живого, ни мёртвого, обнаружить не удалось. Был ли он снят с острова каким-либо случайным судном и в суматохе спасения забыл взять эти тетради, или он всё же погиб — так и осталось невыясненным. Более того: не исключено, что записи, отрывки из которых мы предлагаем читателям, есть плод досуга одного из участников экспедиции “Шельф-XXI век” и являются, таким образом, литературной мистификацией. Но поскольку эти дневники содержат некоторые любопытные сведения о психологии и поведении человека, оказавшегося в экстремальных условиях, редакция альманаха сочла возможной публикацию отрывков из сочинения, происхождение которого так и осталось невыясненным.

Альманах “Зори Севера” от 22.07.20... года

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор нескольких книг прозы. Пишет также критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала “Наш современник”. Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год. Живёт в Калуге.

1

Ну, не безумец ли я? Оказавшись на необитаемом острове, в одном шаге от смерти, я так обрадовался вот этой случайно найденной стопке чистых тетрадей, как будто нашёл что-то полезное: топор, нож или, скажем, рыболовную сеть. И вот я сижу и царапаю что-то на этих страницах вместо того, чтоб воспользоваться отливом и насобирать мидий или наловить в лужах шустрых креветок.

Даже есть расхотелось — до того мне, оказывается, было важно излить на бумагу то, что случилось. Ведь я до сих пор, если честно, не верил, что это всё происходит со мной, и что мне не снится вот этот обрывистый берег с полосой белого песка под серыми скалами, эти лужи, сверкающие по полосе отлива, эти круглые камни в воде, похожие на тюленьи головы, а там, дальше, до самого горизонта, не снится рябая, горящая бликами солнца поверхность пустынного Белого моря. Мне всё казалось: я вот-вот проснусь и опять окажусь в привычной мне жизни, из которой меня так грубо и неожиданно вышвырнула судьба.

Иногда же, напротив, казалось, что сновидением была как раз вся моя прежняя жизнь: институт, общежитие, кафедра, мои книги и микроскопы, что всё это было лишь странным, навязчиво возвращавшимся сном, а на самом-то деле моя жизнь всегда состояла из поиска дров, разведения костров, блужданий по тундре в поисках ягод, грибов или птичьих яиц, из усилий согреться, когда налетали шторма и дожди, а потом из блаженных валяний на солнце, на тёплых камнях, — иными словами, вся моя жизнь проходила только на этом вот острове, где я с рождения знал только камни, орущих чаек-поморников, ветер да море.

Дошло до того, что я перестал понимать, где же именно я нахожусь: где реальность, а где мои грёзы, где граница между воспоминанием, сном и действительной жизнью? Пожалуй, я и в самом деле был близок к безумию. Особенно страшно бывало перед рассветом. Настоящей-то ночи летом здесь не бывает, и солнце уходит за горизонт лишь на час-полтора, но и сумерек мне хватало, чтоб впасть в состояние ужаса. Только, бывало, забудешься зыбким, поверхностным сном, уйдёшь в грёзы о прошлом, как тебя грубо выдёргивает обратно в реальность истошный крик чайки или плеск камня, сорвавшегося со скалы. Подскачив, протирая спростонья глаза, сразу не можешь понять: где же ты? Ещё там, в мире снов, где всё так понятно, привычно и близко, или в этой чужой и постылой реальности? В сумерках всё неоформленно-зыбко, размыто; окружающий мир пока словно и сам для себя не решил, каким ему быть, и ты остро чувствуешь, что в этом ещё не вполне пробудившемся мире тебе-то уж точно нет места. Опять закрываешь глаза и сжимаешься во внутриутробную позу, стараясь как будто догнать ускользавшие сны, но реальность, однажды схватив, больше не отпускает тебя...

И только вот эти тетради позволили мне удержаться в пределах рассудка и здравого смысла. Когда-нибудь после я опишу, как бродил по развалинам брошенной базы и находил там немало полезных вещей, от зажигалок до бочек из-под солярки; но лишь четыре больших чёрных тетради, попавшихся мне в разорённом вагончике метеослужбы, по-настоящему обрадовали меня. Показалось: теперь-то я точно смогу привести свои мысли в порядок, смогу описать все события, как я их помню, смогу отделить сны и грёзы от того, что со мною действительно было, и теперь моя полубезумная жизнь наконец-то начнёт выправляться. Я пойму, может быть, зачем же судьба так жестоко надо мной посмеялась, и это, возможно, приблизит минуту спасения, в которое я ещё верю и поэтому целыми сутками не свожу глаз с пустынной черты горизонта.

2

Оттуда, где я сижу и пишу, видно, в основном, море: до самого горизонта блестит его рябь. И кто, интересно, назвал его Белым? Ведь оно почти всегда чёрное; чуть светлеет вода лишь на отмелях, там, где в безветренно-

тихие дни начинает просвечивать дно. Если долго смотреть, начинает казаться, что море не просто уходит от берега вдаль, а будто вздымается вверх. Словно сидишь на дне зыбкой ямы, чьи склоны шевелятся, дышат, а по фиолетовой их черноте там и сям распускаются хлопья пены. Зрелище этой вздымающейся и опадающей зыби, на которой присевшие белые чайки похожи на пену, а пена похожа на чаек, вызывает волну тошноты, и я перевожу взгляд на серые скалы, которые тоже какое-то время качаются и куда-то плывут. Видно, ещё слишком памятно то, как меня двое суток носило по волнам в резиновой лодке, и я не могу смотреть на море долго.

Но и совсем отвернуться от моря мне тоже нельзя: вдруг я пропущу проходящее судно и не успею зажечь сигнальный костёр? Поэтому всё свободное время, когда я не занят добытием пищи и топлива, я провожу под скалой, в этой нише, где можно укрыться от ветра, и мой взгляд то шарит по зыбкому морю, то отдыхает на твёрдых, надёжных округлостях береговых валунов.

Что, кроме моря, могу я увидеть отсюда? Ну, во-первых, ту полосу берега шириной метров триста, которую ещё нельзя назвать вполне сушей: в прилив её покрывает вода, и море подходит вплотную к скальным обрывам. А в отлив море уходит, и на литорали (так называется эта часть берега) блестят множество луж, чернеют округлые камни, и сочатся водой вороха бурых водорослей. Литораль — моя кормилица: вряд ли бы я смог выжить, не будь у меня возможности каждый отлив собирать здесь мидий, вылавливать в лужах креветок, а то и приколоть острой палкой зазевавшуюся камбалу.

Прибрежные скалы — прибежище чаек. А поскольку я долгое время воспринимал всё на острове только с одной точки зрения: нельзя ли там раздобыть пропитание? — то я совершил-таки несколько рейдов к колониям чаек, надеясь разжиться там яйцами. Но риск сорваться со скал и свернуть себе шею был настолько велик, что, конечно, не стоил добычи — той дюжины пёстрых яиц, что я мог отыскать на обветренных скальных площадках. И потом, эти наглые чайки-поморники, завидев меня, поднимали такой дикий ор, да ещё умудрялись гадить мне прямо на голову, что я скоро оставил чаек в покое. Правда, они, эти бестии, долго не оставляли в покое меня, пока я не нашёл способа их отвадить.

От береговых скал начинается пологий склон тундры, покрытой камнями и ягелем. Сейчас, в начале лета, тундра очень красива. Всё, даже камни, пестреет цветами. Ярче всех жёлтые маки и лютики; кое-где среди пятен жёлтого нежно светит и голубизна: это мелкие колокольчики и незабудки. Но всё же главный здесь цвет — серо-зелёный: он дымчато-нежный, живой, и глаза отдыхают на нём после волн фиолетово-чёрного моря.

Здесь, на побережье, белеют поля серебристого ягеля, а среди них — чуть более тёмные пятна исландского мха. Дальше вглубь острова начинается стланик из ивы. Карликовые деревья едва достигают колена, и ходить по ним трудно: нога увязает в пружинящем, цепком сплетенье ветвей. Приходится выбирать путь по проплешинам: грядкам камней или руслам ручьёв. Если забраться вон на ту горку, можно увидеть весь остров сразу: с озером, на котором кормятся стаи уток, гусей, куликов, с берёзовым лесом в низине, и с увалами дальних холмов, что полого спускаются к морю. Остров вытянут с севера на юг; в длину он, я думаю, километров пять-шесть, а в поперечнике — вдвое меньше. За лесом, который укрылся от ветров в низине, где берёзы поэтому достигают почти нормальной высоты, — развалины военной базы, но их отсюда не видно.

Весь месяц над островом стоял несмолкающий гвалт птичьих стай: казалось, что гудит сам воздух. В этом гуле слышны то трубные крики гусей, то надрывное кряканье уток, то свист куликов, то горластые, склочные вопли дерущихся чаек и крачек. Сейчас, правда, стало потише — то ли я по привычке к этим звукам, то ли многие птицы утомонились и сели на гнёзда? — но всё равно круглые сутки воздух над островом всё ещё гудит и трепещет от тысяч носящихся птиц. Порою этот шум заглушает даже шум моря, но всего поразительней то, что ни море, ни птицы не нарушают безмолвия острова. Порою я, как контуженный, зажимаю уши руками и трясу головой, но мне некуда скрыться от оглушительной тишины...

Зовут меня Олег Лыков, мне почти тридцать два года. По профессии я микробиолог; ещё учась в мединституте, я занимался на кафедре у старика Шевелёва, и к последнему курсу у меня почти готова была диссертация. Тема: “Бактериальные плёнки” — та, которой ныне никого особо не удивит, — в те годы была ещё толком не разработана, и молодым учёным в ней было раздолье. Защитился я в двадцать пять лет: неплохо для парня из курской глубинки. Хотел сразу, по горячим следам, приниматься за докторскую, но тут дело застопорилось. Во-первых, умер старик Шевелёв, мой учитель, а новый завкафедрой сразу меня невзлюбил — видимо, чувствовал во мне конкурента. А во-вторых, для дальнейшей работы была нужна аппаратура, которой наша скромная провинциальная кафедра не имела. Я уж подумывал, не перебраться ль в Москву, но кому я был нужен в столице? Тут, в провинции, у меня хоть была своя комната в общежитии, были друзья и подруги, да и место старшего ассистента кафедры на улице, как говорится, не валялось. Впрочем, мои кафедральные обстоятельства никому на свете неинтересны, а мне самому они известны и так; поэтому больше распространяться о них я не буду.

Тридцать лет мне исполнилось в тот самый день, когда умерла моя мать. Хорошо хоть, страдала бедняжка недолго — инсульт был обширным, — и я остался круглым сиротой. Отца я не помню совсем: он бросил нас с матерью, когда мне был год с небольшим. Доходили слухи, что он ещё дважды женился, а потом якобы спился и наложил на себя руки в пьяном бреду; но достоверно мне ничего об отце не известно.

Так вот я и остался один на всём белом свете. Но одиночество, правду сказать, не сильно меня тяготило. То ли не пришло ещё время обзаводиться семьёй, то ли по натуре я был волк-одиночка; но едва я пытался представить кого-нибудь из своих подруг в роли жены, то есть ежедневного и неотвязного спутника жизни, как на меня нападала тоска. Нет уж, думал я, погуляйка, Олег, на свободе...

Вот эта самая тяга к свободе вместе с желанием подзаработать и привела меня на Соловки. Как раз перед летним отпуском я оказался без гроша в кармане и с радостью принял предложение одной медицинской фирмы поработать у них консультантом. Москвичи затеяли интересное дело: возродить на Соловках производство агар-агара, из которого делают лабораторные среды для выращивания бактерий. Когда-то агар-агаром, как и вообще изучением водорослей, занимался философ Павел Флоренский; и вот, спустя почти век, я по доброй воле поехал в места, где томился в лагере знаменитый учёный.

Оказалось, однако, что на Соловках мне как микробиологу-консультанту делать пока что нечего: производство ещё не наладили, и оценивать качество лабораторных сред было рано. Но договор, по которому должны были выплатить мне деньги, составили как-то по-идиотски: я обязан был провести на агаровом комбинате минимум три недели, и лишь тогда со мной могли рассчитаться.

Что было делать? Острова, со всеми их чудесами, я осмотрел за несколько дней. Потом ещё пару дней порыбачил с местными пьяницами — как раз шла треска — и узнал от них кое-что интересное о беломорской флоре и фауне. Вообще, Белое море и Север сильно подействовали на меня. Я никогда раньше не был в этих местах, и теперь ощущение сказки — суровой и ветреной северной сказки — всё сильнее западало мне в душу. Особенно Заяцкий остров с его лабиринтами, бухтами и валунами, с коврами лишайников на обветренных плоских камнях, с пирамидами-сейдами, что остались от древних саамов, — всё пробуждало во мне ощущение, что я всё это видел когда-то. Возможно, в глубинах моей души давно жил этот остров — то ли как память о прошлых, уже мною прожитых жизнях, то ли как предсказанье того, что ещё ожидало меня впереди.

Это странно, но необитаемый остров, на котором я оказался и где пишу сейчас эти заметки, похож на Заяцкий остров, как две капли воды. Может быть, для географа ничего в этом странного нет — острова одной климати-

ческой зоны и должны быть похожи, — но для меня в этом сходстве есть нечто важное. Как будто судьба меня предупреждала, заранее мне показав декорации моей будущей — то есть перепешней — жизни. Но не значит ли это, порой думаю я, что наш путь предначертан, что нас словно ведёт некая рука, и тот, кому эта рука принадлежит, заранее знает, к какому финалу должна подойти та сумбурная пьеса, которая называется “жизнь”?

Но я отвлекаюсь. Самое время теперь рассказать, как я познакомился с зеленоглазой красавицей Ингой.

4

День был ветренный, очень холодный. Уже и не вспомнить: зачем я пошёл в магазин? Но это неважно; важно, что именно там я встретил Ингу — свою, можно сказать, судьбу.

Я бы и не обратил на эту компанию особенного внимания, не оказался среди парней в зелёных штормовках высокой зеленоглазой блондинки. Они как раз выходили из магазинчика “Остров” с шампанским и хлебом в руках — и девушка вдруг засмеялась. Её смех был отрывисто-резким, напоминавшим крик чайки. Я обернулся и посмотрел на неё. Да, в самом деле, красавица: черты лица словно точёные, кожа белая, пряди светлых волос треплет ветер. “Настоящая королева викингов”, — подумал я.

Чем-то меня поразили и ответный взгляд незнакомки: от него исходило знобящее, словно от сквозняка, ощущение. Бывают такие, неуловимо-скользящие, взгляды: когда человек смотрит в упор, но в то же время и наискось, как-то мимо тебя. Вот и Инга смотрела обманным и ускользящим взглядом. Это уж после я понял, что Инга немного косила; но в первый миг меня прямо околдовали эти холодновато-зелёные, ясные и равнодушно скользящие мимо глаза. Показалось: я должен, я просто обязан остановить на себе её равнодушно-насмешливый взгляд!

Познакомиться с молодой развесёлой компанией было несложно: оказалось, это питерские зоологи. Минут через двадцать мы уже были на биостанции и пили “северное сияние”, то есть спирт, разведённый шампанским. Это ужасное пойло сносит голову напрочь; но даже сильнее, чем спирт, на меня действовал хрипловато-грудной голос Инги, её резкий смех и её шальная взгляд. Каждый раз, когда меня вскользь касались два этих зеленовато-кошачьих огня, по спине пробегали мурашки, делалось весело и жутковато и хотелось, чтоб Инга взглянула ещё.

Но проще, наверное, было поймать ветер, чем надолго остановить на себе её взгляд. Я, правда, старался изо всех сил — балагурил, рассказывал всякие глупые байки, — так что питерцы, помню, уже и за животы хватались от смеха. В тот день я, действительно, был в ударе: скоро даже и Инга кричала сквозь приступы общего хохота:

— Олег, прекрати! Я уже не могу...

Любуясь Ингой, всё больше хмелея, я, помню, думал: вот если бы у судьбы могло быть лицо — оно бы, верно, напоминало лицо этой северной холодноватой красавицы. Что-то неумолимо жестокое было в правильных, резких чертах её бледного лика; Инга казалась одновременно доступной — и недостижимой, одинаково благосклонной ко всем — и равнодушной к любому. Ничья, словно ветер, она могла выстудить душу, околдовать, закружить, а потом с беспощадною лёгкостью бросить, как ветер бросает на землю сухие листья.

Но тогда, во хмелю, среди молодого и всё более раскованного веселья, я не очень-то вслушивался в эти свои ощущения и мимолётные мысли. Спирт всё сильнее туманил мне голову, и глаза Инги — или это только казалось? — всё чаще задерживались на мне...

...Насчёт её равнодушной доступности я, оказалось, не ошибался. В тот же вечер — верней, уже ночью — мы с Ингой оказались в одной постели. Не знаю уж, кто был виноват — то ли зеленоглазая эта колдунья, то ли “северное сияние”, — но всё уплывало в моей голове и во взгляде: смутно белевшие стены, зеркальный мерцающий шкаф, искажённый прямоугольник

окна, а подо мною качались ритмичные волны упругого женского тела. Они уносили меня неизвестно куда: они то стихали, и я почти засыпал на их мерной зыби, то опять начинали вздыматься размашистей, выше — и вот уже женские стоны плескались в ночи, как резкие крики встревоженных чаек...

Меня уносил сильный северный ветер по имени Инга. По сути, мой путь на остров начался даже не с мыса Белужий — это было потом, уже утром, — а с этой вот ночи, когда я забыл, где я нахожусь, и куда, подхватив так внезапно, уносит меня эта мерная зыбь бесконечно-бездонного женского тела?

Утром, когда я очнулся и встал, меня ещё сильно штормило. Инга спала, как убитая — я едва смог её растолкать.

— А, это ты... — равнодушно зевнула она и вдруг рывком села. — Блин, я ж совсем позабыла!

— О чём?

— Я сегодня дежурю... — застонав, Инга снова упала в постель. — Да пропади они пропадом, эти белухи!

Оказалось, что каждый из питерцев должен по несколько смен отсидеть на Белужьем мысу, пересчитывая кормящихся там китов, и сегодня была как раз очередь Инги. Я её пожалел — похоже, ей было действительно плохо, — и предложил сходить на мыс вместо неё.

— Правда? — лицо её озарилось улыбкой. — Олег, ты просто супер!

И она, не дождавшись, пока я уйду, тут же снова заснула.

5

На Белужьем мысу меня встретил ветер, скрипящая смотровая вышка и неопрятное пенное море. Пункт наблюдения был на небольшом островке: сейчас, по малой воде, я легко проходил туда посуху. Для того чтоб вернуться обратно в прилив, нужна была лодка: метров сто мелководья отделяло тогда островок от поросшего чахлой, кривою берёзою берега. Зоологи это всё мне объяснили и дали ключ от сарая, где хранили резиновую лодку.

По лужам, по скользким водорослям — их ленты тащились за ботинками, как бурые змеи, — я доволком лодку до островка, уселся в неё поудобнее и приготовился наблюдать за белухами. Забираться на смотровую вышку было после вчерашнего точно б стошнило. Не будь дурак, я захватил с собой две банки пива и с наслаждением, глядя на серые волны, прихлёбывал этот животворящий напиток. Головная боль скоро прошла — да и ветер, тянувший над берегом, помог мне взбодриться. На душе было, правда, как-то нехорошо: ночь, проведённая с Ингой, оставила сложные чувства, в которых пока не хотелось копаться и разбираться, но, с другой стороны, кому может быть хорошо после “северного сияния”? Похмелье на то и похмелье, чтоб мучиться чувством вины и тревоги; а пиво на то и дано, чтоб смягчить это чувство разлада с собою и с миром.

Как известно, на старые дрожжи пиво действует так, что уже через десять минут я был снова пьян — и, развеселившись, стал бросать налетающим чайкам куски хлебного мякиша. Сейчас я бы дорого дал за то, чтоб самому съесть тот хлеб, но тогда я лишь хохотал, наблюдая, как чайки орут и дерутся над самой моей головой.

Белух я так и не увидел: в такую погоду, при сильной волне, они не хотели кормиться. Когда хлеб закончился и мне нечем стало приманивать чаек я швырнул в воду пустые пивные жестянки, и долго и тупо смотрел на шумящее море. Зыбь пенных волн усыпляла, укачивала меня. Хоть лодка, в которой я полулежал, и стояла на твёрдых камнях, мне казалось, что я уплываю куда-то, что двигаюсь в такт колыбанию серых, ритмично вскипающих, волн. Потом я заснул: сказала бессонная бурная ночь. Но та же самая ночь мне и снилась: волны женского тела качали меня, а крики, напоминавшие крики чаек, опять раздавались во тьме. И так же, как ночью, я не вполне понимал: где же я нахожусь? Порою мерещилось, что меня вообще уже нет, что я растворился в ночи — и осталась лишь череда поднимавшихся и опадающих волн, крики чаек да посвисты ветра...

Когда я проснулся в качавшейся лодке, то ни берёз, ни смотровой вышки уже не увидел. Спяну я не сразу сообразил, что прилив поднял лодку и ветер понёс меня, спящего, от Соловков. Но даже тогда, когда я это понял, страх ещё не коснулся меня. Казалось, что сон ещё длится, и обманная ночь всё не хочет меня отпускать. Вдруг меня окатило волной, я рывком поднял голову и увидел, что берег уже далеко, и что в лодке нет вёсел...

6

На какое-то время я оцепенел и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Если б не это оцепенение, я, может быть, бросился бы в воду и попытался добраться до берега влავь. Но пока я решал, как же быть, расстояние между мною и берегом так увеличилось (ветер дул всё сильнее, и волны вздымались всё выше), что попытка плыть против ветра и волн была бы самоубийством.

Потом я закричал, и кричал, пока не охрип, но кто, кроме чаек, мог слышать мой вопль? Я и сам-то сквозь шум ветра и волн едва слышал собственный крик.

Мало того, что я вдруг осознал всю безнадёжность положения, в котором оказался по собственной дури; но я живо представил себе всё то, что мне предстояло пережить в ближайшие несколько суток, — и выражение “волосы встали дыбом” было бы слишком мягким, чтобы выразить ужас, который меня охватил. Мысли металась — металось и тело. То, приподнявшись над бортом качавшейся лодки, я смотрел в сторону удалявшейся суши — Большой Соловецкий остров был уже едва виден, — то падал ничком, ощущая, как под мокрым резиновым дном ходит зыбкое море. Нигде мне не было ни утешения, ни надежды. Сердце то билось отчаянно, так, что, казалось, оно вот-вот выскочит из груди, то замирало, как будто его сжимала чья-то холодная рука...

Что было потом, после первого приступа паники, помню смутно. Кажется, я впал в ступор. Как, случается, люди теряют сознание от запредельной, превосходящей их силы боли, так и душевные муки, когда они слишком сильны, вызывают что-то вроде прострации. Лёжа на мокром резиновом дне поднимавшейся и опадающей на волнах лодки, я тупо смотрел, как надо мною качается мутное небо, и как быстро несутся куда-то седые, лохматые космы растрёпанных туч. Порою там, в небе, мелькала чайка, порою я видел гребень пенной волны, и меня обдавало холодными брызгами. Но, в целом, казалось, что всё это вижу и чувствую вовсе не я, а другой человек, о котором я знаю лишь то, что ему очень сильно не повезло и что он, вероятнее всего, скоро погибнет. Но теперь эти мысли не вызвали прежнего ужаса: они, как и мой затуманенный взгляд, потускнели. Той порой, как меня уносило куда-то на северо-запад, я почти перестал ощущать себя в настоящем: так, бывает, люди перестают чувствовать вкус или запах. Я словно выпал из реального времени в некую нишу, где не было мыслей и чувств, не было даже желаний, а было одно: монотонно вздымавшийся и опадающий лодочный борт с пустою дырою уключины, о которую время от времени разбивается в брызги волна...

Но, может быть, раз меня не было в настоящем, я жил в своём прошлом, в воспоминаниях? Нет, и в прошлом меня тоже не было. Воспоминания в эти минуты — вернее, часы: их прошло уж немало с тех пор, как меня унесло в море, — воспоминания тоже оставили меня, они словно бы позабыли обо мне. Так что не верю я тем, кто нас убеждает: на краю смерти человек, дескать, вспоминает всю свою жизнь до последней минуты. Ни о чём я не думал и ничего не вспоминал. На дне лодки лежало тупое, безвольное существо, потерявшее даже способность испытывать страх. Это был, в сущности, полутруп — несмотря на то, что сердце его ещё продолжало стучать, а лёгкие продолжали вдыхать сырой, мглистый воздух.

Оцепенение длилось, как я проверил потом по часам, почти сутки. Разбудил меня дождь. Я вдруг ощутил на губах непривычную пресную влагу — и, глянув за борт, увидел, что притихшее море изрыто дымящею, крупною оспую ливня. Нестерпимая жажда проснулась во мне. Я догадался снять

куртку и свитер, стянул даже майку и разбросал всю одежду по лодке, чтоб она посильней напиталась дождём. Ливень был, мне на счастье, силен и достаточно долог: я успел несколько раз жадно выжать себе в пересохшее горло набрякшую влагой одежду. Потом я попробовал выпить и то, что плескалось по днищу резиновой лодки, но там вода была горько-солёной, и пить её было нельзя.

Дождь меня спас: он не только меня напоил, но и пробудил желание жить и способность о чём-либо думать. Утолив жажду, я принялся соображать: а нельзя ли мне как-нибудь раздобыть пищу? Обшарив карманы куртки, я нашёл моток лески с крючками и размякшую хлебную корку. Хотел тут же сунуть хлеб в рот, но что-то меня удержало. “Эта жалкая корка меня не насытит, — подумал я. — А вот не попытаться ли поймать на неё чайку?”

Все эти сутки чайки кружились над лодкой. Возможно, они ожидали, когда я умру, чтоб поживиться хотя бы моими глазами. Птицы даже присаживались на борт лодки, но взлетали, как только я двигал рукой. “Может, хлеб их подманит поближе?” — подумал я и положил корку хлеба посередине раскрытой ладони. Расчёт мой был в том, что соловецкие чайки привыкли брать хлеб из рук: я и сам кормил их так множество раз.

Двух первых чаек я упустил: ещё хорошо, что они не успели выхватить хлеб, и мне пока было с чем продолжать охоту. А в третий раз мне повезло. На корку позарились сразу две чайки — и кинулись драться друг с другом, одновременно снижаясь ко мне. Стремление опередить конкурентку лишило их осторожности и, когда в лодку свалился крикливый комок из двух дерущихся птиц, я сумел ухватить одну из них за крыло. Упругие, гладкие перья со скрипом скользили из пальцев, но я уже накрыл чайку всем телом.

Не буду подробно описывать, как я отрывал ей голову, как, отплёвываясь от перьев, высасывал тёплую кровь, как потом разделявал птицу ножом (он у меня, к счастью, был) и как жадно, даже не чувствуя вкуса, глотал её потроха. Вся лодка оказалась облеплена сгустками крови и перьями.

Мяса в растерзанной чайке оказалось немного, оно было жёстким и пахнущим рыбой, но даже и то, что я проглотил, хорошо поддержало меня. Главное, что опять оживало желание жить. И вместе с ним поднималась глухая тоска. “Ну, что толку в том, — думал я, — что, утолив ненадолго и голод, и жажду, я промучаюсь на день-другой дольше? Всё равно же я обречён — всё равно те крикливые чайки, что выются над лодкой, в конце концов, расклюют мне лицо...”

Возможно, что рыбная ловля, которой я думал заняться, отвлекла бы меня от подобных не очень-то радостных мыслей. Но ветер снова усилился, лодку стало швырять по волнам, и о рыбалке уже не могло быть и речи. Я снова лежал на дне лодки, дрожа от страха и холода, — одежда была насквозь мокрой, — и тупо смотрел, как качается серое небо, и как чайки мелькают на фоне лохматых, растрёпанных туч.

7

В таком вот оценении я пролежал ещё почти сутки. Порою я, кажется, засыпал, потому что на фоне серого неба видел каких-то людей, слышал их голоса, а потом просыпался и вновь видел одни только тучи да чаек. Поднять голову и осмотреться у меня не было ни сил, ни желания: что толку вглядываться в бесконечный простор, по которому до горизонта видны только пенные гребни то вырастающих, то опадающих волн?

Но вдруг мне показалось: я слышу ритмический шум, чем-то напоминающий мерный шум крови в ушах. Я прислушался: шум нарастал. “Неужели прибор?!” — озарило меня. Я рывком приподнялся над бортом, и в первый миг не поверил глазам. Впереди, там, куда ветер гнал лодку, был виден берег! Чёткая линия скал поднималась над морем, а у подножия их равномерно вскипала приборная пена.

Охваченный радостью, я не сразу сообразил, сколь опасен прибор. Пока лодка моталась по волнам, я, по крайней-то мере, был цел и невредим; но что будет, когда меня вместе с лодкой бросит на скалы? На счастье, ме-

ня подносило к суше в отлив, да и отмель делала волны прибоем пологими. Раза два я уже слышал, как днище лодки скребёт по камням, но промешкал — оконечившее тело почти перестало мне подчиняться, — и меня с лодкой снова оттаскивало от берега.

Наконец, я решился. Когда сквозь дно лодки уже в третий раз я почувствовал камни, то перевалился за борт, ощутил дно под ногами и что было сил побежал к берегу. Прибойная пена кипела вокруг; ноги путались в водорослях и скользили по гладким камням. Волна ещё дважды меня догоняла, толкала, — я падал, — и пенный вал тащил меня назад в море. Но ветер, похоже, стихал, в волнах не было прежней ярости, и мне, напрягая последние силы, удалось выбежать из прибоя.

Отбежав от воды подальше, я упал ничком на холодные камни. Сильный йодистый запах исходил от гниющих меж ними водорослей. Теперь, когда подо мною был берег, меня — вот ведь странно! — качало сильнее, чем в лодке. Меня то поднимало вверх, то швыряло в какую-то яму; казалось, что берег качается так оттого, что хочет сбросить меня обратно в шумящее море. Я хватался за скользкие камни и полз между ними, извиваясь всем телом, словно морское животное, решившее выйти на сушу.

Потом я обессилел, затих. Не знаю, долго ли я пролежал на камнях, потому что следующим воспоминанием стало то, как я жадно пью воду, опираясь руками о дно каменистого и ледяного ручья. Напившись и даже не поднимаясь на ноги, я отполз от ручья на четвереньках и оказался на том самом месте, где сижу в эту минуту, припоминая всё то, что со мною случилось.

8

То, что остров необитаем, я узнал скоро. Не то чтобы здесь совсем не было никаких следов человека — нет, шторма выбрасывали на берег то пластиковые бутылки, то доски с гвоздями, но живых людей здесь не было точно. Я несколько раз прошел остров вдоль и поперёк, а потом ещё обогнул его по береговой полосе и вышел, как Робинзон, на свои же следы. Никаких сомнений в безлюдности острова больше не оставалось.

Не могу сказать, чтобы это открытие как-то уж очень меня поразило. Видимо, та часть души, что способна испытывать страх, словно выгорела за те двое суток, что меня носило по морю, и теперь у меня просто не было сил ни на что реагировать бурно. Первые дни я был оглушённо-растерян и вял и бродил взад-вперёд, не вполне сознавая ни себя самого, ни то положение, в котором я оказался.

Пока я испытывал только голод, холод и, время от времени, жажду. К счастью, после штормов пришли ясные, тихие дни, и в полдень на острове было по-настоящему жарко. Я обсох, отогрелся и даже чуть-чуть загорел: это спасло меня от воспаления лёгких.

А от мук отчаяния меня спасал голод. Ведь, сколько ни убивайся от бессилия и тоски, но инстинкт сохранения жизни всё равно поведёт тебя к морю, туда, где проще всего раздобыть пропитание. Первые несколько суток, пока я ещё не вполне владел собой, и не мог разжечь даже костра и шитался почти исключительно крилем. Этих шустрых креветок, размером примерно со спичку, можно было ловить в мелких лужах на полосе литорали: надо было только не дать им зарыться в песок и побыстрее выбрасывать из воды. Чем сильнее голод, тем быстрее приходит сноровка, и скоро я хватал креветок с бездумною торопливостью курицы, склёвывающей рассыпанное зерно. Я глотал их одну за другой — креветки, как семечки, похрустывали на зубах, — и часа через два, когда мой желудок уже тяжелел, я становился почти благодушен.

Я думал: раз голодная смерть мне пока не грозит, да и замёрзнуть я, вроде, не должен, то не так всё и плохо. Уж если я не утонул в той жалкой лодчонке и пережил шторм, то было бы обидно погибнуть сейчас, имея и пищу, и пресную воду, имея, к тому же, и кое-что для выживания в куртке-штормовке. У меня есть нож и две зажигалки, и, самое главное, леска с крючками. Хорошо, что я сунул её в нагрудный карман — хотел половить

с мужиками треску, — да так и оставил в штормовке. “Нет-нет, — думал я, ободрённый и сытый, — ещё повоюем...”

Продолжая обход литорали, я с радостью убеждался: практически всё, что лежало и ползало здесь, в этих лужах солёной воды, среди скользких камней, — всё было съедобно. Конечно, меня выручало и то, что я был биологом и более или менее знал, чем здесь, на острове, можно питаться, — знал, что прибрежная полоса по количеству, да и по качеству пищи мало чем уступает продовольственным полкам в каком-нибудь супермаркете.

Вот, скажем, водоросли. Ну, про ламинарию, или морскую капусту, нечего и говорить: всякий знает, что она и питательна, и полезна. Причём её, как и креветок, можно есть в сыром виде: надо только как следует нашинковать её ножиком, а то челюсти устают жевать эту бурую, жилисто-плотную массу. Конечно, она была не так вкусна, как креветки, и я прямо-таки заставлял себя её есть, — главным образом, чтобы бороться с запорами. Ведь хитиновый панцирь проглоченных мною креветок практически не переваривался, и выходил из меня, как еловая шишка — так, что я оглашал морской берег стонами и орошал камни кровью. А вот когда я ввёл в рацион изрядную долю клетчатки — ламинарии, ягеля и молодых листьев ивы, — то мой стул почти нормализовался.

Съедобными, в принципе, были и другие водоросли: и нитчатая анфельция, и фукус, напоминающий жёлто-зелёные бусы. Только их, прежде чем съесть, надо было долго варить, а котелка у меня тогда не было. Так что я использовал фукус только как перевязочный материал: процент йода в нём был очень высок, и, если приложить к ссадине или порезу лепёшку из растолчённого фукуса, всё заживало, как на собаке. Можно сказать, что здесь, на побережье, у меня был не только свой продовольственный склад, но ещё и аптека.

Ламинарию я собирал и сушил, как это обыкновенно делают жители Беломорья. Не всегда же бывает возможно зайти даже на мелководье — иногда прибой бьёт с такой силой, что трудно стоять на ногах, — да и не хочется лишний раз мокнуть. Поэтому я развешивал пятнистые полупрозрачные ленты морской капусты на кустах ивы или раскладывал эти бурые полосы прямо на скалах. За пару недель жаркой погоды набрался приличный запас сухих водорослей; я использовал их и как подстилку, и как еду — они были для меня почти то же, что и сено для лошади.

А беломорские мидии? Отлив обнажал на камнях, на песчаных проплешинах целые гроздья двустворчатых этих моллюсков, размером от ногтя и почти до ладони. Набрать их не составляло труда; повозиться приходилось лишь для того, чтоб раскрыть ножом чёрные створки и выковырнуть из них нежное тело моллюска. Мидии и в сыром виде были вкусны; но я обыкновенно запекал их на углях — тем более что тогда раковины раскрывались сами. Не успевал я выложить последние мидии на кострище, как первые уже начинали распахивать створки. В них шкворчала морская вода, так что соли мне было вовсе не нужно, а над кострищем парил сладкий мидийный дымок. Значит, кушанье было готово. На вкус запечённая мидия была чем-то средним между рыбой и курицей; к тому же она отдавала дымком, да ещё чуть горчила от морской соли — была настоящим деликатесом.

А ведь каждая мидия была ещё и сервирована по-королевски: она лежала на створке раковины, как на перламутровом блюде, и я любовался, как солнце играет на радужных завитках перламутра. Нередко, разжёвывая очередного моллюска, я чувствовал на зубах что-то твёрдое и сплёвывал на ладонь небольшую жемчужину. Поначалу я их выбрасывал, но потом зачем-то стал собирать. Скоро набралась приличная кучка красивых и ровных жемчужин. Жаль, было некому их подарить: теперь приходилось лишь вспоминать о тех женщинах, кого мог бы порадовать этот подарок.

9

Но о женщинах как-нибудь после. Теперь хочу вспомнить и описать пережитый мной ужас — не тот, в штормовом море в лодке, — а иной, но не менее страшный. В сущности, он меня и заставил начать вести этот дневник.

Это было недавно, примерно за час до восхода, в то время, которое называют “часом быка”. Меня окружал тогда, помнится, зыбко-рассеянный полусвет — стояла пора белых ночей, солнце пряталось в облачной дымке за скалами, но за горизонт почти не заходило, — и в этом неверном и призрачном свете всё казалось обманчивым, тающим: и стихшее море, и скалы, и чайки на скалах, и матово-тусклые лужи воды, что лежали, как ртуть, меж камней литорали. Казалось, что скоро весь мир расплывётся, исчезнет, что сумерки “часа быка” вот-вот растворят его без остатка.

Да ладно мир — Бог бы с ним: в конце концов, не пугаюсь же я, что в момент засыпания для меня исчезает всё окружающее; но дело-то в том, что в тех утренних сумерках, вместе с тающим миром вот-вот — и я чувствовал это! — мог исчезнуть я сам... Впервые с такою знобящею ясностью я сознавал себя всего только малою частью того ненадёжного мира, который сейчас расплывается, тает в тумане. Для той беспощадной и мертвенной силы, которая в виде сырого тумана сейчас надвигалась на остров, — а внутри меня она воплощалась в мучительном чувстве тоски, одиночества, страха, — для этой безжалостной силы не было никакого различия между мною, испуганно вжавшимся в углубленье скалы, и вон той, скажем, мёртвоей чайкой, гниющей на отмели, или этим вот камнем, покрытым холодной росой. Как я раньше мог думать, что я — это нечто особое, то, что нельзя равнять со всем прочим миром, то, что, быть может, останется жить, даже если весь мир вдруг исчезнет?

До чего же я был наивен... Теперь-то я понимаю, что “я” — это просто ничто; но именно в этом-то вот осознании истины — и неспособности своей с ней примириться — и таилась причина ужасной, невыносимой тоски. Да, я значу для мира не больше, чем камень или дохлая чайка; но, раз я это осознаю, значит, я всё-таки чем-то отличен от равнодушного мира, и я не согласен исчезнуть вместе с ним!

Говоря по-простому, я не хотел умирать, особенно в это туманное утро, когда неизбежность, обыденность собственной смерти впервые так ясно представилась мне. Видно, во мне ещё было достаточно жизни, раз я испытывал страх перед смертью; этот страх был настолько велик, что, пытаюсь избавиться от него, вполне можно было бы наложить на себя руки.

Моё сердце билось уже где-то в горле, и было трудно дышать. И, как утопающий шарит руками вокруг, хватаясь за всё, что ему попадётся, так и я лихорадочно, слепо обшаривал камни, срывая с них сырой грязный мох, но, когда подносил к глазам эти серые клочья, то не мог осознать: что же это такое? Это всё были призраки, тени, которые вот-вот исчезнут вместе с моими дрожащими, грязными пальцами. Ослабевшие руки как будто ослепли и уже не узнавали предметов, которых касались.

Вот рукам подвернулась одна из тетрадей, лежавших у моего изголовья. Машинально я положила её на колени, раскрыл — карандаш лежал между смутно белевших страниц — и тупо смотрел, как пальцы сжимают его, словно стараются вспомнить: что это такое? Конечно, в эти минуты мне было не до дневника — просто руки вдруг встретили нечто, когда-то знакомое им.

В усилиях преодолеть приступ паники прошло много времени. Тусклый диск солнца уже приподнялся над мысом и мутно желтел сквозь туман. Тоска меня не отпускала, и дышать было по-прежнему трудно. Вдруг мне пришлось в голову, что неплохо бы было оставить в тетради что-то вроде предсмертной записки. Но что было писать? Я долго сидел над пустою страницей, держа карандаш в дрожащей руке. Потом, совершенно бездумно и машинально, рука сама вывела несколько слов, и я с недоумением посмотрел на страницу тетради, где было написано: “Море, остров, тоска...”

Но по мере того, как я уяснял смысл написанных слов, я почувствовал, что густая тоска, от которой мне только что было трудно дышать, понемногу слабеет. Ещё не рассудком, но чем-то иным я уже понимал: власть слова над миром таинственна и невыразима: стоит только назвать тоску её собственным именем, как она словно отодвигается от меня. И вообще, то, что названо, начинает жить собственной жизнью, освобождая нас от гнетущего груза неназванных вещей и явлений.

Это было открытием — тем, что спасло меня от помешательства в сумерках “часа быка”. Торопясь, я писал на бумаге слова — неразборчиво, криво и косо, не успевая их толком прочесть. Мне было важно хоть что-то, хоть какой-нибудь след себя самого оставить на смутно белевшей бумаге. На страницу тетради ложилась какая-то мешанина отрывочных мыслей, разрозненных слов, междометий и знаков, не успевавших оформиться в образы, там был даже рисунок, изображающий контур скалы, над которой висел мутный солнечный диск. Жаль, что тех, самых первых листков дневника не осталось: я горяча их пустил на растопку, о чём после не раз пожалел.

Я писал торопливо, не то убегая от собственной мутной тоски, не то поспешая за чем-то, без чего мне нельзя было жить. Но помню, что в той беспорядочной, путаной спешке, в какой на бумагу ложились слова, я написал и о том, как красив этот остров в утренних сумерках: как линия берега отпечатана на рассветном небе, как отчётливы контуры чаек, сидящих на скалах, и как вон то облачко, что похоже на чайку в полёте, с каждой минутой становится всё розовее.

О том, что я скоро исчезну, я больше не думал. Зато думал о том, как бы лучше, точнее описать, например, эти грубые, мшисто-пятнистые валуны, между которыми белеют цветки камнеломки. Закрепить на бумаге, спасти хотя бы малую часть мира, что тонет в знобящем тумане, означало каким-то таинственным образом сохранить и спасти себя самого.

А потом совершилось ещё одно чудо. По мере того, как я что-то писал, окружающий мир становился всё твёрже, надёжней. Туман быстро редел; отчётливей проступали и скалы, и контуры дальних холмов, и чёрные головы нерп на качавшейся глади парившего, как бы горячего моря. И мне померещилось: дело не только в рассвете, в том, что солнце поднялось над берегом, и его прибывающий свет разогнал полумглу бледной северной ночи, но и в том, что я взялся описывать эти камни и мхи, этих чаек на скалах и тусклый блеск луж, что мерцали по литорали. Как будто вот именно эта страница, покрытая путаной вязью из слов, и придавала всему, что я видел вокруг, достоверность реальности...

10

Так вот и вышло, что из предсмертной записки, которую я собирался оставить в тетради, — правда, мне до сих пор непонятно: кто, кроме чаек и нерп, мог её здесь прочитать? — получился какой-то дневник Робинзона, и я стал более или менее регулярно описывать свою жизнь на острове.

А сейчас я подумал: всё, что пишут люди, по сути, есть их предсмертные записки. Умираем-то мы, в конце концов, все, и не имеет большого значения то, сколько времени отделяет твой текст от твоей кончины. Осознаёт это каждый пишущий или нет, но в глубине души он верит, что написанный текст переживёт его самого. Выходит, всё то, что мы пишем — это наши предсмертные письма, обращённые к тем, кто будет жить после нас.

И хоть я понимаю, насколько ничтожна возможность того, что кто-нибудь в будущем возьмёт в руки и прочтает вот эти каракули, — да и что мне до этого будущего, если в нём уж не будет меня? — но идея беседы с потомками всё же греет мне душу. Мысль “а вдруг?” побеждает все доводы разума; и она же даёт силы жить в те моменты, когда, если следовать логике, смерть неизбежна, а всякое сопротивление ей — абсолютно бессмысленно.

Ну, какой смысл был в том, чтобы, как это делали в прошлом, запечатывать письма в бутылки и бросать их в бурное море в надежде, что кто-нибудь, выловив эти бутылки, узнает о кораблекрушении? А если и выловит, — лет через двести! — то авторам этих посланий будет трудно помочь. Но вот, поди ж ты: люди бросали и будут бросать свои письма в бутылках — пусть даже не в море, а, как теперь, во всемирную Сеть, которая столь же безмерна и равнодушна, как и морская пучина.

Спустя несколько дней, когда записки в этой тетради сделались столь же привычными, как и ежедневные выходы на литораль в поисках пищи и топ-

лива, я осознал ещё одну важную вещь. Человек, сочиняя дневник, его именно сочиняет, то есть воссоздаёт то, что было, не в виде буквального повторения прошлого, а в виде некой фантазии, для которой реальность прошлого служит, в лучшем-то случае, лишь канвой или фоном; но само наполнение прошлого создаётся здесь и теперь, в те секунды, когда карандаш, спотыкаясь и не поспевая за мыслью, бежит по бумаге. Иными словами, мы, сочиняя дневник, создаём своё прошлое заново.

И дело не только в том, что наша память несовершенна, а литературные способности оставляют, как говорится, желать лучшего, и мы, в силу этого, не можем воссоздать прошлое адекватно ему самому. Дело в том, что мы не хотим этого делать: нам гораздо важнее сотворить некий миф о себе и о собственной жизни. Можно даже сказать, что не настоящее рождается в прошлом, как принято думать, а прошлое, когда мы вспоминаем о нём и описываем его, повторно рождается в настоящем. Прожив некую часть своей жизни и теперь собираясь её описать, мы творим её, в сущности, заново, мы вторгаемся в прошлое и переделываем его. И, возможно, для будущего эти страницы моего дневника будут много весомее и достовернее, нежели то, что действительно происходило в реальности.

II

Что же это? Дневник, мемуары или размышления отшельника, которого судьба бросила на необитаемый остров и который, чтоб не сойти здесь с ума, взялся записывать то, что придёт ему в голову? Или, может быть, это роман, сочиняемый здесь от безделья и скуки? Это и то, и другое, и третье — это проза необитаемого острова, изобретённая мной для того, чтоб не очень постыдно и туло прожить здесь, на острове, время до собственной смерти.

И, насколько я помню, читать ничего подобного мне ещё не доводилось. Знаменитый роман Даниеля Дефо? Нет, но это же совершенно иное: беллетристика есть беллетристика.

Как ни смешно, но примерно полгода назад, лёжа в постели с сильной простудой, я за три дня перечёл “Робинзона Крузо” и был изумлён тем, насколько же, при внимательном чтении, эта книга нескладна и неправдоподобна. А её многословие? А назидательный тон? А бесконечно растянутое вступление, занимающее чуть ли не треть романа, когда читателю, перед тем как поместить его вместе с Робинзоном на необитаемый остров, предлагается долго и нудно следить за жизнью героя с раннего детства, наблюдать за его упорными попытками разбогатеть — причём автор, ничуть не стесняясь, увлечённо описывает успехи Робинзона в почтенном деле работорговли? А, наконец, совершенно дурацкий финал с переходом через Пиренеи, когда Робинзон и его спутники отстреливаются от сотен одновременно атакующих их караван голодных волков? Я уж молчу про сам остров, такой благодатно-тепличный по климату, флоре и фауне, каких не бывает, наверное, даже в раю. Видно, автор боялся, что он покажется читателям недостаточно занимательным, и он, ничуть не беспокоясь о правдоподобии и здравом смысле, плетёт несурезицы и небылицы одну за другой.

Но удивительно-то другое: как мог столь многословный и рыхлый, неправдоподобный роман стать, тем не менее, знаменитой и любимой книгой всех времён и народов? Видимо, этот роман, каков он есть сам по себе — это одно, а наше о нём представление и воспоминание — дело уже совершенно другое. “У памяти хороший вкус”, — говорят французы; вот и наша память о прочитанном в детстве романе работает, как гениальный редактор: она убирает длинноты и несообразности, преобразует Робинзона из расиста и работорговца в милейшего парня, а затянутый, вялый роман Даниеля Дефо — в энергичную, лёгкую, полную очарования книгу.

Память делает то же самое и с нашей собственной жизнью. Она убирает длинноты, повторы и несообразности, она опускает всё то, о чём вспоминать неинтересно, но зато воскрешает всё самое важное и дорогое, да ещё и расцвечивает былое столь неожиданно-яркими, свежими красками, каких в реальности, может быть, вовсе и не было.

Так что я не просто сейчас вспоминаю, а как бы заново создаю свою жизнь. Я наделяю её той глубиной содержания, какую она никогда бы не получила, не окажись я на этом вот острове и не возмись писать эти заметки. В каком-то смысле, я бы и вовсе не жил, не будь этого острова, этих трагедий и не посещай меня здесь по утрам, перед самым восходом тоска и отчаянье “часа быка”.

12

Но пора и одёрнуть себя самого. Что это я ничего не пишу о буднях жизни на острове? Ведь реальность, которую надо описывать, чтоб она не исчезла, может вновь от меня отдалиться.

Итак, опишем будни: дела и заботы реальности. Не описать ли, к примеру, как я хожу за дровами, собирая по берегу моря плавник? За этим занятием мне приходится проводить ежедневно по три-четыре часа, беспокоясь о топливе едва ли не больше, чем о еде. С пропитанием, как я уже написал, особых проблем пока не возникало, а вот найти дрова было сложнее. Тундра, которой была покрыта большая часть острова, обеспечить топливом меня не могла, и оставалась лишь надежда на море.

Каждый шторм, — а за первый месяц я пережил их четыре! — выбрасывал на побережье много древесных обломков, коряг, брёвен и даже досок с гвоздями. Видимо, материк был не так уж и далеко; и, скорее всего, там было устье какой-нибудь крупной реки. И многое из того, что собирала река, течение, ветер и волны несли на мой остров.

Я был рад каждой доске. Мало того, что она, — а особенно ржавые гвозди, торчавшие в ней, — мне нужна была как материал для строительства хижины; но каждый предмет, на котором я видел следы человеческих рук, прибавлял мне надежды на избавление. “Ну, не может же быть, — думал я, — чтобы на острове, куда доплывают эти вот доски — да что доски: я подобрал несколько пластиковых бутылок и обтрёпанный волнами брус строительного пенопласта! — чтобы здесь рано или поздно не оказались бы люди?” Однако досок я нашёл уже дюжину, а вот корабля на горизонте не видел пока что ни одного.

На выступающих в море мысах плавника было мало; зато в мелководных заливах его набиралось так много, что после шторма казалось: на отмели вырос причудливый лес из корявых, ошкуренных морем деревьев. Корни и ветви были начищены волнами, ветром, песком и блестели, как гладкие кости. Эти коряжины, кроме различных оттенков серого цвета, являли собою ещё и забавное разнообразие форм. Никакая фантазия человека не могла бы скрутить их в такие узлы, какие придумывала природа. А какая фантазия — думал я — могла бы представить всё то, что случилось со мной? В чьём воспалённом мозгу мог бы зародиться этот невероятный сюжет, который, однако, моя судьба выстроила ненароком, будто играя?

Узоры ветвей и корней бывали настолько затейливы, что мне было жалко бросать их в костёр. Поэтому самые интересные корни я сохранял, решив пускать их на топливо только в случае крайней нужды. Скоро рядом с моей недостроенной хижинкой на плоских каменных пьедесталах образовался целый музей деревянной скульптуры. Кажется, даже чайки побаивались этих кикимор и леших, что охраняли моё одинокое логово, и не слишком меня донимали, когда я ложился вздремнуть в тени деревянных страшилищ.

Выходы за плавником превращались порой в настоящие путешествия. Так, бывало, забудешься и замечаешься, неторопливо бредя по урезу воды, что опомнишься в нескольких километрах от лагеря, на каком-нибудь незнакомом доселе мысу, с которого остров предстанет вдруг в неожиданном ракурсе. Конечно, таскать плавник издалека не хотелось, и я просто оттаскивал его подальше от моря и складывал на берегу кучи дров, чтоб они подсыхали на ветерке и могли бы, при случае, превратиться в сигнальные костры. Дважды, собирая плавник, я обошёл кругом весь остров, затратив на это один раз двенадцать, а другой раз — пятнадцать часов. Мог бы, конечно, совершить обход и побыстрее, но куда мне было спешить? К тому же береговая линия,

особенно с севера, была так изрезана заливами и мысами, что остров казался гораздо больше, чем был на самом деле.

Полоса, по которой я брёл, обходя дужи и прыгая с камня на камень, не принадлежала ни морю, ни берегу или, можно сказать, была сразу и тем, и другим. В отлив здесь была суша, по которой можно ходить, а в часы прилива море опять наступало на берег и покрывало его своей тяжело вздыхающей тушей, порою спокойно-дремотной, порою взъерошенно-пенной и злой. Казалось, ещё продолжается сотворение мира, границы земли и воды ещё четко не определились, и до сих пор с переменным успехом продолжается спор двух стихий.

Даже животные, обитавшие здесь, — крабы, черви, моллюски — не могли бы мне твёрдо сказать: сухопутные они существа или морские? Они жили, плодились, кормились на стыке миров, и вот именно здесь, на сырой полосе литорали жизнь кипела особенно бурно.

Как, впрочем, и смерть: множество тел и гниющих останков я находил, бродя берегом моря. То серебристо блеснёт меж камней тушка рыбы — и вот уж, глядишь, чайки вьются над ней и стараются перехватить друг у друга добычу; то прибой вяло треплет комок грязных перьев, который когда-то был пёстрой, крикливой чайкой-чебарой; то я даже не мог разобрать, чьи же это останки увязли вон там, в тёмно-сером песке, и только тяжёлый дух тления говорил о том, что я набрёл на очередную могилу. Жизнь и смерть перемешаны были здесь так же сложно и нераздельно, как перемешаны были земля и вода; и нельзя было точно сказать, кто здесь властвует, чья здесь победа, ибо одно порождало другое, одно от другого зависело и друг в друга непрерывно перетекало...

13

Как-то я нашёл даже тушу тюленя. Она чернела, как продолговатый отполированный камень, и прибой гладко переливался через неё, а потом, отступая, вода шумно пенилась перед мёртвою тушей. Прилив и прибой, перекатывая, пододвигали её всё ближе и ближе к берегу.

Я долго думал: нужна ли мне эта туша? Пока я был сыт, но кто знает, как могла измениться погода на острове? Поэтому я всё же решил вытащить нерпу на берег и разделать её, чтоб иметь запас мяса и жира. Тащить её за скользкие задние лапы было неудобно — руки то и дело соскальзывали, и я, сделав ножом надрезы под челюстью, чтобы было за что зацепиться руками, потащил нерпу вперёд головой.

Тюлень был тяжёлым и уже изрядно припахивал, но мне было не до капризов. Вытащив тушу на камни, я сначала не знал, как с ней быть. Снимать ли, например, шкуру, а если снимать, то как её обрабатывать, и может ли она мне пригодиться? Тогда я решил, что нерпичья шкура мне не нужна; но сейчас вижу, как я был неправ, оставив её догнивать на камнях вместе с внутренностями и скелетом. Я мог бы попробовать сделать кожаные бахилы, а то ведь мои ботинки-берцы уже начинали потихоньку разваливаться, или нашёл бы той шкуре ещё какое-нибудь применение. Теперь же мне остаётся надеяться только на то, что море подарит мне ещё одного тюленя: ну, что ему, бесконечно богатому, стоит сделать мне, дураку, ещё один щедрый подарок?

Из той, первой туши я вырезал только шесть кусков мяса килограмма по два-три, срезал восемь хороших ломтей подкожного жира. Это было серьёзной прибавкой к моему рациону. Суп из ягеля и ламинарии становится гораздо сытнее, если бросить в него кусок тюленьего, пусть и немного прогорклого жира.

Мясо и жир я хранил в яме, которую выдолбил в мерзлоте острой пикой, сделанной из плавника. Получился неглубокий ледник, в котором я позже хранил и рыбу. От чаек я закрывал свой припас большими камнями. Конечно, мясо продолжало понемногу гнить даже в яме, но всё же не так быстро, как на солнце. И потом, представление о негодности тухлого мяса есть не более чем предрассудок. Недаром же почти никто из хищных животных

и птиц не только не брезгует падалью, но часто предпочитает её свежему мясу. В конце концов, тление — это всего лишь тушение мяса и жира, но только естественным, неторопливым способом. А что касается вкуса несвежего мяса, то это уж дело привычки. Едят же французы, да и не только они, сыр с плесенью, почему же и мне бы не поесть здесь, на острове, мяса с душиком?

То, что море подарило мне тушу тюленя, говорило о том, как богат даже этот северный остров, и, если не впадать в панику и не лениться, жить вполне можно и здесь. По крайней мере, сейчас, пока лето; что будет зимой, я даже и не загадывал: полярная стужа и ночь представлялись мне пока чем-то нереальным.

Плавник, который я собирал день за днём, казался мне, пережившему катастрофу, остатками какого-то грандиозного кораблекрушения. Причём это были обломки не просто какого-нибудь одного корабля, а как будто останки всей нашей цивилизации. Плавник — эти гладкие, то почти белые, то лаково-чёрные кости моря — наводил, большей частью, на грустные мысли. Впрочем, что для меня в эти первые дни и недели на острове не было грустным? Ещё удивительно, что я достаточно быстро оправился от пережитого шока: уже мог спокойно смотреть на чёрную, с проседью пены, зыбь беспокойного моря, уже перестал терять в весе и спал почти без кошмаров. Но вот плавник... Когда я рассматривал эти обломки, трогал их пальцами и представлял, откуда и как оказались на острове эта коряга или вот эта доска... Плавник неизбежно усиливал чувство тоски. Кости моря, раскиданные в беспорядке по берегу, придавали всему побережью не просто кладбищенский вид, а вид разорённого, взрытого бурей кладбища.

Каких только мыслей, порой невнятных и диких, не приходило ко мне, когда я часами таскал отсыревший плавник, громоздил его кучи на возвышениях берега, а потом отдыхал, привалившись спиной к деревянной, скрипучей, пропахшей мазутом и водорослями пирамиде. Куча дров хорошо защищала от солнца, а ветер сдувал мошку, и сиделось мне так хорошо, что я даже, случалось, задремывал.

14

А что же мне снилось — и там, возле кучи сохнувших дров, и вот здесь, в недостроенной хижине, да и вообще в любом месте острова, где меня сморит сон? Сны на острове — важная тема для дневника; тем более, что если не записать самое интересное из того, что приснилось, оно забывается так же быстро, как на прибрежном песке тает пенный узор.

Иногда снов нет вовсе: я просто проваливаюсь в тёмную яму, вынырнув из которой часа через два, встречаю привычный пейзаж лесотундры: камни в рыжих пятнах лишайников, серебристые поля ягеля да жёлтые россыпи маков среди валунов. Но вот что интересно: в первый миг пробуждения всё, что ты видишь, мерцает особенным, влажно искрящимся, светом и кажется глубже, весомей того, чем оно станет уже через минуту, когда ты проморгаешься и увидишь всё будничным, окончательно пробудившимся, взглядом. Кажется, именно в миг пробуждения, в этот краткий зазор между явью и сном ты можешь узнать что-то самое важное о себе и о мире. Но окружающий мир, такой мягко-податливый в сонных глазах, стремительно остывает, твердеет, грубеет; надежда на откровение тайны стремительно гаснет, а вместо неё наплывает тоска пробуждения. Только что, миг назад, ты надеялся: всё, что ты видишь спросонья — камни, море и скалы, — что всё это только мираж, и он скоро рассеется. Но этот мираж уплотняется, твердеет: остров снова оказывается островом, скалы — скалами, море — морем; и ты по-прежнему остаешься человеком, который пытается выжить на этом безлюдном, пустом берегу.

Иногда сны были яркими, полными лиц, разговоров, деталей — и они были столь достоверно-подробны, что даже реальность, как кажется, не могла бы соперничать с ними. Так, случается, отражение в озере — все эти ёлочки, ивы, берёзки, что видятся в глади воды вместе с синью бездонного неба, — кажется много отчётливей и правдоподобней реальных ветвей и листьев.

Такие подробные, яркие сны расширяли пространство свободы, позволяли почувствовать, что моя жизнь на острове не ограничена рамками повседневного существования, которое сводится, в сущности, к добыванию пищи и топлива и к ожиданию того, что я, может быть, вдруг увижу корабль. Реальность была для меня, большей частью, трудна и постыла; и, если б я жил только ею — я бы, наверное, спятил. Не будь со мной снов и не будь моего дневника, я б не дожил и до этой минуты, когда я всё это пишу, размышляя о снах. Мой дневник, как и сны, позволяет мне быть как бы больше себя самого; или, точнее сказать, дневник позволяет мне мало-помалу, строка за строкой становиться самим собой.

По сути, дневник — та же смесь воспоминаний и грёз, из которой складываются сны. Что видения снов, что вот эти страницы сшиты, можно сказать, из похожих материй. И, когда я увлечённо о чём-то пишу, я точно так же выскальзываю из-под власти реальности, бегу от её беспощадного плена, как и тогда, когда я засыпаю, и вместо мира, где властвует время и три измеренья пространства, я выхожу на иную, в реальности мне недоступную степень свободы.

15

Когда миновала примерно неделя моего пребывания здесь, — а первые несколько дней я почти совершенно не спал, — и когда стало ясно, что голодная смерть мне пока не грозит, я стал засыпать так внезапно и глубоко, в любом подвернувшемся месте и в любой час суток, что это было похоже на заражение сонной болезнью. Видимо, именно так, через сон, разрешалось то напряжение психики, в котором я находился первые дни. Каково мне было ежеминутно осознавать, что я оказался на необитаемом острове, что моя жизнь висит на волоске и что я, вероятней всего, так и закончу свой жизненный путь среди этих обдутых штормами камней?

Поэтому каждое погружение в сон было мне словно облегчающим выдохом после трудных, мучительных вздохов. Засыпая, я будто совершал бегство с этого проклятого острова и возвращался туда, где был некогда счастлив, свободен, но только, увы, не ценил ни тогдашней свободы, ни счастья...

Чаще всего снилась мне юность, наша общага. Она была, словно сумрачный город: огромный и сложный, с множеством тайных углов, закоулков и лестниц, со своими законами и своими легендами, с той густой атмосферой студенческой жизни, которая здесь создавалась почти целый век. Обитателей было здесь столько, что ни пьяница-комендант, ни вахтёрши, ни, тем более, институтское наше начальство не представляли себе ни точное число жильцов, ни то, как вся эта орава умудряется здесь ночевать, есть и пить, заниматься зубрёжкой и какие незримые силы питают всю эту густую и сложную жизнь.

Пока я был студентом, я жил в комнате на семерых; сейчас даже трудно представить, как мы, например, умудрялись водить туда девушек. Правда, субботними вечерами, когда все коридоры и комнаты возбуждённо бурлили, гремела музыка и трудно было встретить трезвого студента или студентку, случалось и нам засыпать в женских комнатах, в скрипящих кроватях подруг, разогретых вином, и им оставаться у нас, в нашей вверх дном перевёрнутой комнате, где бутылки катались, гремя, под ногами, и где на стульях вперемешку валялись учебники, лифчики и трусы.

Потом, когда я стал сотрудником кафедры, мне выделили отдельную комнатёнку на втором этаже. Конечно, там было и поспокойнее, и попримачнее; но даже и в этой моей холостяцкой камерке сохранялся дух вольной студенческой жизни. А вахтёрши, наверное, так и продолжали меня считать студентом.

И вот именно из коридоров и комнат общаги ко мне приходили самые яркие сны. Как будто, чтоб скрасить островное моё одиночество, мне снилось кипенье студенческой жизни. То бестолковое, в криках и смехе, застолье, то гул коридоров, когда по утрам сотни сонных студентов спешат на лекции и семинары, то кухонный сумрак, в котором дрожат синеватые кольца горе-

лок, хлопочут кастрюли, и девушки в лёгких халатиках словно танцуют меж плит и кастрюль свой задумчивый танец...

Почему мир во снах — как и в воспоминаниях — предстаёт таким волшебно преображённым? Почему то, что в реальности было унылым, мусорным, скучным и пыльным, теперь, когда всё это в прошлом, обретает совсем иной смысл? И что ближе к истине: явь или сон, унылые будни реальности или бездонный мир наших воспоминаний?

Ну, что, например, могло быть хорошего в тех еженедельных уборках комнаты, что мы затевали по пятницам? Уборка — она уборка и есть, и все мы старались побыстрее выгрести из-под кровати накопившийся мусор, сдать пустые бутылки, — а их набиралось не меньше трёх дюжин, — да протереть подоконник, на пыли которого уже можно было записывать лекции. Но теперь мне порой снятся даже те наши уборки, снится тот хлам, что мы выгребали из пыльных углов, и всё это видится в преображённом, волшебно мерцающем свете.

Вот ты выкатываешь из-под кровати тяжёлую, водянисто-зелёного цвета бутылку — в ней был портвейн “Три семёрки”, чей сладковатый и приторный запах ещё не выветрился, — и сразу же припоминаешь тот вечер, когда этот портвейн был распит. Сумрак комнаты, жестяной лягз трамвая, прогрохотавшего за туманным окном, смеющийся голос подруги — “Олег, мне щекотно!” — поёживалась она, когда я расстёгивал на её спине платье, — скрип панцирной сетки кровати, провисшей до самого пола, и горячая женская кожа, которая там, где на неё капнул сладкий портвейн, прилипла к скользящей ладони... Это всё вспоминалось так ярко и так достоверно, как будто весь вечер, в его бесконечно подробных деталях, хранился вот в этой зелёной и пыльной бутылке, которая, Бог знает зачем, сохранялась в моей сонной памяти. Казалось, потри её бок, и из неё, словно джинн из сказочной лампы, появится перебродившее прошлое; причём вино прошлого будет гораздо хмельнее и крепче, чем пресный раствор настоящего.

16

Сны, как и воспоминания, были непредсказуемы и прихотливы. Так, вперемишку с общагой, мне часто снились блуждания по городу, где я учился и жил. Большею частью они совпадали с холодной осенней погодой, когда городской затрапез становился особенно жалок и сиротлив и поэтому как-то особенно близок и дорог.

Почему мне так нравились именно городские окраины? Я мог часами бродить переулками по-над Днепром, то выходя на кустистый и илистый берег, то опять поднимаясь к домишкам и сараям, к заборам и старым садам, где так остро и свежо пахло лиственной прелью. Наверное, детство, проведённое в небольшом городке, оставило во мне такой след любви к поселковым окраинам — любви, непонятной ни городскому, ни настоящему сельскому жителю.

Особенно дороги были мне эти блуждания в глухом ноябре, в те короткие, стылые, ветром продутые дни, когда облетают последние листья, и всё, что ты видишь — замшелые крыши, поленницы, бочки под водостоками и похилившиеся сараи — предстаёт обнажённым, покинутым и сиротливым. Но именно эта вот дряхлость рождала пронзительно-острую нежность к осеннему миру окраин. Весь этот ветхий и на глазах разрушавшийся мир порой представлялся полным таинственных сил. Волнуясь, ты прыгал над лужами, оскользался в грязи и хватался за перекладки мокрых заборов, ты так торопился, как будто боялся отстать от своих собственных мыслей и чувств. Да, мир затрапезных окраин начал ветшать уже в миг своего зарождения, он явился на свет уже как бы в лохмотьях, в той самой разрухе и дряхлости, в какой пребывал и сейчас. Здесь всегда пахло мокрой корой и плодово-прелью, здесь всегда на задворках стеной рос бурьян, всегда криво стояли заборы и за мутными стёклами тускло краснела герань, воробы всегда что-то клевали на старых, прогнувшихся крышах, дождь всегда стрекотал по корыту, висящему на отсыревшей стене, и всегда из печной закопчённой трубы опускался слоистый и сизый, известью пахнущий, дым. Всё это было все-

гда и, возможно, останется точно таким до скончания века, ибо ветхость, заброшенность, дряхлость бывает порой долговечней, прочнее любой новизны.

К вокзалу ты подходил со стороны тушиков и запасных путей, пакагаузов, рельсовых кранов и изогнутых трубок переговорных устройств. Флюгарки промасленных стрелок торчали печально и косо; огни семафоров мерцали вдали, встречая уже наступавшие ранние сумерки. Под стук поездов и под гулкие переговоры диспетчеров ты шагал к любимому кафе на перроне и даже во сне ощущал молодой, будоражащий голод. Называлось кафе, разумеется, “Встреча”. Стеклообразные стены его изнутри запотели, а снаружи по ним секли то дождь, то косая снежная крупка.

Внутри было тесно, тепло и так шумно, что гвалт голосов уже не мешал, а, напротив, почти успокаивал. Сейчас, оказавшись на острове, я с тоской вспоминаю витрину вокзальной “стекляшки”. Вот лежит горка варёных яиц — каждое с синим клеймом на боку, — и ты знаешь, что это клеймо будет синеть даже под скорлупой, на мокром и скользком яичном белке. Вот селёдка под луком, вот горка пёстрого винегрета, вот тарелка обжаренной мойвы — рыжие тушки лежат голова к голове, — а вот миска жареной печени, любимого лакомства тех студенческих лет. Даже сейчас я отчётливо представляю себе её вкус — в нём проступает сладкая горечь — и почти чувствую, как поскрипывает на зубах упругий и сочный ломоть...

Но ты так озяб, что тебе, прежде всего, нужна “соточка” водки, которую и наливает тебе в незабвенный гранёный стакан тётка-буфетчица необъятных размеров. Ты выпиваешь его прямо у стойки, занюхав куском чёрного хлеба. Потом, лавируя между столами, пронося свой поднос над багровыми плешами, кепками или седыми кудрями, ты ищешь место, куда бы присесть... Кого-то случайно заденешь — он смачно, незлобно ругнётся, но всё же нигде тебе не было так хорошо, так спокойно, как в этом кафе, чьи стеклообразные стены дрожали от стука проходящих вблизи поездов. И эти небритые лица соседей, и пьяные их разговоры, и запах селёдки, вина и табака, и полузасохший фикус в углу, и пронзительный скрип входной двери, и колоссальная грудь всегда хмурой буфетчицы, — словом, всё, из чего состоял мир вокзальной “стекляшки”, рождало в душе волну такой нежности ко всему окружающему, что...

(Далее часть рукописи отсутствует: видны лишь корешки вырванных страниц. Вероятно, это произошло при спешной попытке зажечь сигнальный костёр. — Примечание издателя).

17

В центре острова, во впадине, защищённой от ветров холмами, было пресное озеро. Вытянутое метров на триста в длину, по форме оно напоминало человеческий глаз; а лесок, росший вдоль дальнего берега и отражавшийся в прозрачной воде, был похож на его ресницы.

Цвет озера постоянно менялся: от пронзительно синего, когда в ясный день гладь воды отражала небо, до почти чёрного, когда по небу ползли тяжёлые гроззовые тучи. Менялось и выражение этого огромного водяного глаза. То гладкое, словно стекло, то покрытое сеткою ряби, то изрытое крупной волною, то, наконец, бушевавшее в бурю, словно небольшой океан, озеро всегда было разным, и я никогда не мог угадать, каким оно будет при очередной нашей встрече. Но мне всегда хотелось сказать ему: “Здравствуй!” — что я и делал, когда, перевалив через холм, отделяющий озеро от побережья, видел в низине, шагах в пятистах, синевшую или темневшую, гладкую или рябую поверхность воды.

Ловить рыбу в озере было много удобней, чем в море. Во-первых, в море трудно было добраться до той глубины, где держалась приличная рыба; во-вторых, волнение моря почти никогда не стихало (не хватало ещё, чтоб меня снова смыло с камней!), и, потом, я хорошо знал, как солёная морская вода быстро портит крючки, а каждый крючок для меня был бесценен. И вообще, к пресноводной озёрной рыбалке у меня как-то больше лежала душа.

Вопрос о наживке решался достаточно просто: то, что ел сам, я предлагал и рыбе. Набрав в один карман мидий, а в другой — креветок, я был обеспечен насадкой на целый день ловли. Сложней было решить, как оборудовать снасть. Понятно, что проще всего было бы привязать к леске небольшой камень и сделать донку. Но тогда был велик риск зацепа, обрыва крючка, рисковать же крючками и леской мне было нельзя.

Я сделал иначе. Одну из коротких дощечек, найденных на берегу, я использовал как мотовило для лески, и от этой же доски я отщепил поплавок: деревяшку длиною в ладонь и шириною в два пальца. Привязав поплавок на полметра выше крючка, я мог теперь, раскрутив, забросить снасть метров на десять и при этом не рисковал зацепиться за дно. Получалась рыбалка в отвес, “вполводы”: вариант, может быть, и не идеальный, но для здешней испуганной рыбы вполне подходящий.

Главной добычей был окунь, всегда здесь голодный и жадный. Я к тому же попал на постнерестовый жор, когда окунь кидался буквально на голый крючок. Если же клёв почему-либо стихал, или стая окуня отходила от берега, стоило лишь подёргать за леску, чтобы наживка заиграла в воде, как вскоре следовала поклёвка. Поплавок быстро плыл в сторону или притопал, я дёргал за лесу и ощущал упруго-живое биенье попавшейся рыбы. Окунь почти никогда не срывался; наоборот, каждая рыба заглатывала наживку так глубоко, что, бывало, исколешь все пальцы, пока выдерешь крючок из хрящевой разявленной пасти.

Крупной рыбы мне в озере не попадалось, чему я был даже рад: не хватало ещё, чтобы какая-нибудь щука в полпуда весом оборвала и унесла мою драгоценную снасть. Видимо, скудность кормовой базы в этом холодном северном озере не позволяла рыбе вырасти: самые крупные окуни были размером в ладонь.

Как-то раз, правда, щука всё же схватила добычу. Когда я не спеша подтаскивал очередного окуня к камню, на котором сидел, от основания камня метнулась длинная тень, вода за поплавком взбурлила, и леса, напрягшись, стала дугой резать тёмную воду. “Пусти, дура!” — закричал я в сердцах, и щука, будто послушавшись, бросила окунька. Он был весь изрезан её зубами; а я ещё долго не мог успокоиться, даже перебрался с камня обратно на берег, чтоб походить, подышать и унять дрожь в руках.

К счастью, щуки в озере было немного, и больше такие атаки не повторялись. Не знаю, водилась ли в озере ещё какая-нибудь рыба, кроме щуки и окуня; на мою снасть, во всяком случае, она не ловилась.

Зато здесь водилось несметное множество уток, гусей, куликов. Я оказался на острове как раз в гнездовую пору, и над озером, да и над всем побережьем всё буквально гудело от рёвота, крика и свиста кружащихся птиц, и воздух вибрировал, когда над головой проносилась утиная либо гусиная стая. Птица казалась не такой уж осторожной, разве что гуси-гуменники не подпускали меня даже на сотню шагов.

Обилие птиц подбадривало меня. Думал ли я, что изобрету способ ловить здешних уток, или, может, надеялся, что обилие дичи непременно должно привести сюда охотников, или просто мне было легче выживать в тех местах, где кипела и множилась жизнь, где круглые сутки над озером проносились несметные шумные стаи? “Плодитесь-плодитесь, — бормотал я, бывало, провояжая глазами очередную утиную стаю. — Может, при вас я и сам как-нибудь подкормлюсь?” Уж на что-на что, а на птичьи яйца я сильно рассчитывал: собирать их мне казалось легче, чем шлёпать по лужам во время отлива, гоняясь за шустрými и до обидного маленькими креветками.

Наловив достаточно рыбы — на кукане из ивовой ветви висела тяжёлая гроздь окуней, — я порою ложился вздремнуть на камнях, возле самой воды. Здесь, у озера, было много уютнее, чем на морском побережье, здесь я не слышал ритмичного шума прибойной волны, и у озера сны были как-то спокойнее, мягче. Я бы, может быть, и совсем перебрался жить к озеру — на другом берегу поднимался лесок, и там вполне можно было сделать шалаш, да, к тому же, скоро должны были появиться ягоды и грибы, — но тогда я не смог бы следить за морем. А это было важнейшей моей задачей, по-

сколько только оттуда я мог ожидать избавления: три кучи дров, которые я сложил на скалистых площадках над морем, были готовы в любую минуту превратиться в сигнальные костры.

18

Отдохнув возле озера, я нёс тяжёлый кукан окуней к своей хижине. Всегда было трудно, поднявшись на холм, отделяющий озеро от побережья, вновь увидеть морскую безбрежную гладь, окружавшую остров: в этот миг я готов был завывать от тоски, вновь со всей очевидностью осознав безысходность своего положения. Но когда я подходил ближе к хижине, отчаяние мало-помалу сменялось привычными хлопотливыми мыслями, которые, словно рой мух, начинали клубиться в моей голове. Как приготовить сегодняшний — очень даже приличный! — улов? Всю ли рыбу запечь, как обычно, в золе или, может быть, часть окуней засушить? А если вывешивать рыбу сушиться, то как отогнать от неё этих чёртовых чаек, которые так и норовят меня обокрасть? Подобные мысли настолько меня занимали, что я забывал про отчаяние и тоску, с головой погружаясь в кропотливые, нудные, но зато во всех смыслах спасительные бытовые заботы. В сущности, это помогает не только мне, но и всем людям вообще: пока мы хлопочем о сиюминутном, нам некогда думать о смерти.

Проще всего было запечь окуней на углях — благо, шкура и чешуя у них была так прочна, что можно было ничем рыбу не оборачивать и даже не потрошить. Запечённые таким образом окуни получались отменно вкусны. Если мне, одновременно с приготовлением рыбы, хотелось ещё и обогреться и было жаль разрушать жарко пылавший костёр, можно было запекать окуней на рожне: этот способ наверняка знали ещё первобытные люди. Нанизав пять-шесть рыб на ивовые прутья, я устанавливал их полукругом на небольшом расстоянии от огня, и надо было лишь вовремя их повернуть, чтобы рыба не подгорела.

Но и на углях, и на рожне я готовил рыбу для ежедневного употребления; сложнее было приготовить рыбу в запас. А запас был необходим: не всегда же будет продолжаться жор окуня, пока приносящий мне неплохие уловы?

Сначала я пробовал рыбу коптить. Выкопать в скальном грунте и в мерзлоте подходящую яму-копильню было невозможно, и я попробовал сложить дымоход из камней. Возился я долго, но результатом был недоволен. Слишком много дыма уходило в щели между камнями, подобрать подходящее расстояние между костром и коптящейся рыбой никак не удавалось — тушки то оставались сырыми, то обгорали, — и копильню, в конце концов, я забросил. А для того, чтоб коптить рыбу в холодном дыму, требовалось так много дров и так много времени, что и этот способ мне не подходил. Да и то, что копчёная рыба получалась уж очень вкусна, в моём положении было, скорей, недостатком: невозможно было остановиться, пока не съешь всех до единого золотистых, пахнущих горьким дымком окуней.

И я решил рыбу вялить, предварительно положив окуней на денёк в морскую солёную воду: благо, луж с этой самой водой на морском берегу было сколько угодно. И всё было бы хорошо — на ветру, который дувал на секомых и крутил-вертел низки рыбы, окуни сохли отлично. Но не дремали разбойницы-чайки. Не успел я обрадоваться тому, какой хороший способ заготовки рыбы я выбрал, как первая же из тяжёлых гирлянд окуней, развешанных неподалёку от хижины, была растерзана этими жадными тварями. На верёвке осталось висеть только несколько окулёвых голов. Когда я увидел это, то стал сам не свой от ярости и обиды. Рассвирепев, я швырял камни в кружащихся чаек, а они, как казалось, смеялись: “Давай-давай, Робинзон, вывешивай новую порцию рыбы!”

Вообще, приступы ярости в те дни нередко накатывали на меня. Это было, как я теперь понимаю, способом преодоления страха, выходом из того тупика, в котором я здесь оказался. Увидишь, к примеру, что чайки сожрали запас окуней, и подумаешь с ужасом: “Ну, всё — это конец! Здесь, на

этом чёртовом острове, всё против меня...” Но следом накатывала другая волна: безрассудная ярость. Я что-то орал морю, ветру и чайкам, швырял в небо камни, пинал ногами песок, и так до тех пор, пока ноги и руки не уставали, а вслед за ними не успокаивалась и душа. Я сидел, отдуваясь, на камне, отгирал с лица пот и чувствовал в эти минуты странное удовлетворение. Казалось, что вместе со вспышкой ярости во мне пробуждался иной человек. Я был уж не тот кафедральный учёный, живущий между компьютером и микроскопом, а кто-то иной, первобытный и дикий, дающий выход страстям, исходящий то страхом, то яростью, то приступами злобы, то жадной мести. Я словно уподоблялся тому первобытному миру, который меня окружал, и сам становился почти первобытным.

Я тогда не испытывал никаких угрызений совести или сомнений по поводу тех перемен, что происходили во мне. Напротив, я чувствовал, что вместе с психической, так сказать, деградацией во мне проявляется нечто спасительно-важное, освобождаются силы, которые долго дремали во мне, но теперь вдруг проснулись. Да, я иногда превращался в животное: трусливое, жадное, злое. Но все эти качества, бывшие некогда столь отвратительными для меня, здесь, на острове, становились пустым сочетанием звуков, ничем. Зверь, на которого я становился порою похож, не может быть добр или зол, благороден или отважен: он бывает живым — или мёртвым. И всё, что способно продлить его жизнь, — хорошо, а всё, что ведёт его к смерти, — плохо.

Жизнь моя, можно сказать, упростилась до первобытных инстинктов. И я уже мало чем отличался от тех чаек, что норовили обокрасть меня, от зайцев или песцов, пробегающих по косогору, и даже от усатых креветок, которые, прячась, то вонзались в подводный песок, то стрелой вылетали из грунта в прозрачную толщу воды...

Правда, теряя многие из человеческих качеств и живя порой больше инстинктами, нежели разумом, я не утратил той хитрости, что так свойственна людям. Например, я придумал, как можно отвадить от хижины чаек и тем сохранить свой улов. “Раз эти бестии, — думал я, — так жадно хватают всякую рыбу, их можно на рыбу же и поймать”. И я сладил прочную снасть, только не рыболовную, а птицеловную. Шнур был достаточно крепок, крючок, на который я насадил окунька, был самым большим из той полудожини, что я хранил, как зеницу ока, и скоро хрипло орущая чайка забилась на туго натянутом, уходящем вверх шнуре. “Попалась, зараза!” — кричал я злорадно, подтаскивая чайку поближе, и оглушил её палкой: мне совсем не хотелось, чтоб она исцарапала мне лицо и руки.

Я колотил её палкой долго, вымещая на ней всю свою обиду и злобу, пока птица не превратилась в кровавый комок изломанных перьев. Потом я эту чайку выпотрошил, и набил её внутренность мхом. Получилось уродливо-грязное чучело, смотреть на которое было противно. Я подвесил его там, где обычно сушил рыбу, и всех прочих чаек как бабка отговорила!

19

Конечно, как человек, привыкший к тепличным условиям цивилизации, к дикой жизни на острове я был совсем не готов. Если б не молодость и не здоровье, на которое было грех жаловаться, да не погожее лето, не солнце, светившее и согревавшее остров почти круглые сутки, я бы долго здесь не протянул. Но, с другой стороны, то, что я был биологом, повышало мои шансы выжить. Я всё-таки знал кое-что о растениях и о животных, о том, что и как можно есть, и о том, что, напротив, нельзя есть ни при каких обстоятельствах.

Дело даже не только в питании, но и во многом другом. Когда, скажем, я в кровь сбил себе ноги, блуждая по острову, а потом эти потёртости стали гноиться, жизненной необходимостью стало лечение стоп. “Не хватало ещё, — думал я, — загнуться здесь от гангрены...”

Но чем лечить раны, и чем было их перевязывать? Подумав, я выбрал фукус: в этой водоросли был высок процент йода, а значит, она должна об-

ладать хорошим бактерицидным эффектом. Кто когда-либо видел фукус, тот знает, насколько он жёсток; просто прикладывать водоросль к воспалённым местам невозможно. Положив пучок фукуса на плоский камень, я долго стучал по нему другим камнем, пока не размочалил водоросли до состояния мокрой ваты. Резкий йодистый запах бил в ноздри. “Вот и хорошо, — думал я. — Должно, значит, действовать”.

Как перевязочный материал я использовал мох. Зная, что мхов здесь великое множество — чуть ли не двести различных их видов растут в Приполярье, — я выбрал сфагнум: его нежный ворс был на ощупь приятней всего. Приложив к воспалённым местам размочаленный фукус, прикрыв раны мхом, я осторожно натянул расшнурованные ботинки — хорошо, что они были мне велики, — и стал ждать результата. Не скажу, что облегчение пришло сразу: распухшие стопы как болели, так и продолжали болеть, но спустя сутки, меняя повязки, я увидел, что краснота и отёк заметно уменьшились. Дней через пять раны подсохли и стали затягиваться, а ещё через неделю мои стопы были, как новые.

Фукус помог мне и ещё в одном важном деле. Когда установились по-настоящему жаркие дни, рыба, которую я ловил в озере, быстро портилась даже в тени. Я подумал: “А что, если набить её фукусом?” Он и солёный, и йода в нём много: должен действовать, как консервант. И в самом деле: тушки окуней, потрошённые и затем набитые фукусом, сохранялись и два, и три дня; и хранились бы, может быть, и дольше, но я съедал рыбу, не дожидаясь завершения эксперимента.

А однажды меня прохватил сильный понос. Может, организм не сразу смог приспособиться к морепродуктам, составлявшим основу моего рациона, или я наглотался каких-нибудь местных бактерий, но, как бы то ни было, пришлось лечить и кишечник. В этом деле хорошо помог уголь. На остывшем кострище я набрал угольной пыли, размешал в воде, несколько раз выпил эту чёрную жижу — и бунтовавший кишечник мало-помалу затих.

Так что мне приходилось заниматься и медициной, выступая одновременно и в роли доктора, и в роли пациента. Вообще, дух исследователя оказался во мне живуч. Даже здесь, где, казалось бы, было не до изысканий в области микробиологии, я между делом устраивал кое-какие эксперименты. Так, найдя камни, покрытые ровным белёсым налётом плесени — родовая её принадлежность была мне неизвестна, — я решил испытать различные водоросли на их фунгицидный эффект. Выкладывая небольшие лепешки из фукуса, ламинарии и анфельдии на заплесневелые камни, я ждал: какого размера кольцо угнетения роста образуется возле каждой лепёшки? В этой работе был не только теоретический, но и практический интерес: я хотел точно знать, какую из водорослей лучше использовать в качестве антисептика? Как и ожидалось, победил фукус: плесень переставала расти именно вокруг его бурой кляксы. Но интересно, что сильнее всего на плесневые грибки действовали даже не водоросли, а помёт чаек: там, куда падали эти белёдые едкие капли, плесень сгорала до серого камня. Жаль, что птичье дерьмо было сложно использовать в качестве медикамента: слишком непредсказуемым мог быть результат.

То, чем я развлекался в часы досуга, в сущности, напоминало работу на кафедре микробиологии. И вообще, моя кафедра вспоминалась мне часто. Причём вспоминались те мелочи, на которые раньше я и не обратил бы внимания: например, то, как вкусно пахнет агар в чашках Петри, или то, как проволочная петля, раскалённая на спиртовке, светится тонким красным кольцом...

20

Я любил свою кафедру и всё то, что там делал. Биология с детства была моей любимой наукой, и интерес к ней я не утратил даже тогда, когда стал заниматься ею профессионально. Да и коллектив у нас был на редкость хороший; до тех пор, пока не пришел новый заведующий, я ощущал себя в нём, как в семье.

Утро на кафедре начиналось в половине восьмого утра. Когда я шагал по гулкому кафедральному коридору, на меня со стен смотрели портреты великих учёных, стоявших у истоков микробиологии. Антон Левенгук и Пастер, Дженнер и Мечников, можно сказать, что мой рабочий день начинался общением с ними. Я даже чувствовал некую гордость: ведь я делал, по сути, одно с ними дело. Иногда мне мерещилась как бы усмешка, что затаилась во взглядах *великих*. Они словно мне говорили: “Ну, что, приятель, как поживают твои бактериальные плёнки? Нобеля-то ещё не получил? А вот как получишь — так и тебя тут повесят, в одном ряду с нами...”

Я любил приходить раньше всех и пить утренний чай не у себя в общезитии, а в ассистентской. Сидя с дымящейся чашкой и просматривая какую-нибудь распечатку из интернета, я слышал шаги, раздававшиеся по коридору, и почти всегда мог угадать, кто пришёл на работу. Вот прошаркала Марья Петровна, уборщица; вот зацокали каблучки лаборантки Любаши; вот закаплялся и затопал ногами, сбивая с них снег, Василий Львович, наш добрейший профессор. А вот стал накатывать и студенческий гул: разноглаголица смеха, шагов, голосов означала, что скоро начнутся занятия.

Кроме семинаров в студенческих группах, я вёл и свою собственную научную работу. Как я уже писал, моей темой были бактериальные плёнки и их способность сопротивляться антибиотикам. Лет шесть назад, когда я только начинал, о бактериальных плёнках ещё не писали так много, как ныне: можно сказать, я стоял у истоков одного из важнейших направлений современной микробиологии.

Оказывается, бактерии, как и люди, не выживают поодиночке: они образуют сообщества — “плёнки”. Мало того, что для каждой отдельной бактерии тогда повышаются шансы на жизнь, но такое сообщество, состоящее из миллиардов существ, можно считать уже многоклеточным организмом. Не буду сейчас углубляться в подробности сделанных мной наблюдений и выводов; но живой интерес к этой теме не остыл во мне даже теперь. Несмотря на рутинность, однообразие ежедневных моих наблюдений и на весьма скромные результаты, что получались в итоге, я не знал ничего увлекательней, чем рассматривать мир сквозь трубу микроскопа.

Ресницы, моргая, шуршали по окуляру, но ты уже не замечал ни их шороха, ни вообще чего-либо в окружающем мире; тебя завораживало созерцание круглого поля, которое матово-нежно светилось перед тобой. Чувство, что ты сейчас видишь нечто сокровенное — то, что обычному взгляду увидеть нельзя, — не угасло в тебе даже спустя десять лет кропотливых научных занятий. Этот светящийся круг тебя словно гипнотизировал: там, в микромире, даже время текло по-иному. В этом загадочном мире, жизнь которого ты наблюдал, время измерялось не человеческими часами, а циклами бактериальных делений. Я мог целый час просидеть, не отрываясь от окуляра, думая, что прошло всего десять минут. И было так удивительно осознавать, что все эти кокки, бациллы, спириллы живут рядом с нами и в нас, что все они дышат, растут, размножаются и умирают буквально на наших ладонях...

Для меня микроскоп всегда был важнее и интереснее телескопа, и микромир был таинственней и притягательней макромира — того, что вмещал в себя разные там галактики или туманности. И понятие бесконечности всегда было для меня внутренним, а не внешним: двигаться внутрь и вглубь мне казалось и кажется много важнее, чем постигать бесконечность снаружи. Ведь главные тайны жизни и смерти сокрыты внутри; и поэтому именно созерцание микромира всегда наполняло меня ощущением причастности некоей таинственной, неиссякающей жизненной силе.

21

Самое время вспомнить кафедральную лаборантку Любашу — одну из самых загадочных женщин, которых я знал.

На первый взгляд, не могло быть существа примитивнее, чем эта бело-брысая женщина, моющая пробирки, чей халат был всегда мокрым и липнущим к телу. Даже просто-напросто описать её, то есть наделить опреде-

лёнными качествами и чертами, представляется сложным: Любаша была вот именно, что никакая.

Ну, разве что пол не вызывал сомнения: всем было ясно, что женский. А вот остальное... Какого, например, цвета были Любашины волосы? То светло-серые, то соломенно-жёлтые, то чуть отдающие рыжиной. В общем, как выражаются дети: серо-буро-малиновые. Вот такого примерно оттенка, то есть всякого и никакого, и были волосы у Любаши. Про причёску я вообще молчу: Любаша и причёска были вещи несовместимые. Она так, видно, и родилась: с этими сыроватыми, сивыми прядями, в беспорядке лежащими по спине и плечам. Да, у неё всегда были влажные волосы: словно какая-нибудь nereida, она их вот только-только отжала, затем набросила прямо на голое тело халат (кроме трусов и бюстгалтера, под халатом у неё никогда ничего не бывало) и вылилась в нашу лабораторию.

А глаза? Точно можно было сказать лишь одно: они у неё водянистые. Цвет же их постоянно менялся, отражая цвета окружавшего мира и состояние Любашиной — очень, надо сказать, переменчивой, даже строптивой — души. Да, она могла быть туповато-спокойной и вялой (такой она чаще всего и бывала), и тогда её взгляд был светло-серым, пустым. Когда она неизвестно чему улыбаясь, с рассеянным взглядом перебирала пробирки, которые влажно-мерцающей грудой лежали перед ней и тихонько звенели в сиянии радужной мыльной воды, то в её отрешённых глазах тоже виделись отблески радуги. Но порой (а я несколько раз наблюдал и такое!) Любашу могло что-нибудь рассердить. Чаще всего это было связано с начислением зарплаты, с записью сверхурочных часов — с какими-то махинациями бухгалтерии. Любаша тогда превращалась в настоящую фурию: голос её звенел, лицо багровело, грудь вздымалась — и вот тогда в её потемневших глазах была почти грозная чернота.

— Что-о? Из-за этих вот сраных трёх тысяч я буду мыть ещё и полы?! — орала Любаша. — Да засунь эту ведомость в задницу — я всё равно её не подпишу!

— Любаша, Любаша, — пыталась её урезонить бухгалтер. — Да мы всё уладим, ты не волнуйся...

Но Любашу, когда она так расходилась, унять было трудно. Казалось невероятным, что это сонное и почти бессловесное существо, которое тихо позвякивало чашками Петри, предметными стёклами и пробирками где-то на периферии всей кафедральной жизни, способно метать громы и молнии.

Но буря стихала, и лаборантка Любаша опять превращалась в ту мало-заметную женщину в мокром халате, к которой мы все так привыкли, что само существование кафедры без Любаши казалось почти невозможным.

Думаю, что Любаше не было и тридцати; но с определением возраста, как и со всем остальным, возникали проблемы. Она то казалась матёрою тёткой, то вдруг лицо её было таким удивлённым и розово-юным, что хотелось погладить её по голове и, словно маленькой девочке, дать ей конфетку.

Да что я пишу тут о возрасте, цвете волос или глаз, когда даже с именем — и то возникала пуганица! Понятно, когда рассеянный старый профессор или преподаватель, доведённый почти до психоза студентами, путает имя недавно пришедшей на кафедру лаборантки. Ну, назовёт он Любашу Танюшей, ну, поправит она его тихим голосом несколько раз — и все привыкают звать её правильно. Но вот нашей Любаше было, кажется, всё равно, как к ней обращаются. Она отзывалась на всякое имя: Наташа, Валюша, Катюша — и никогда не поправляла того, кто ошибся, и поэтому долгое время, чуть не полгода, её называли по-всякому, кто как хотел, и это не вызывало почти никаких неудобств. Крикнешь имя — любое, почти наугад! — и из бытовки выходит женщина в мокром халате, отводит с лица прядь волос и, прислонясь к косяку, с туманной улыбкой спрашивает:

— Звали, Олег Николаич? Что нужно?

Говорить с ней было трудно, зато было легко и удобно молчать. Спросишь, бывало, её:

— О чём думаешь?

А она, пожимая плечами и чуть улыбаясь — нашёл, дескать, о чём спрашивать! — отвечает:

— Да так — ни о чём...

Казалось, ей можно сказать: стань такой или нет — вот такой, ну, в общем, такой, какой я сейчас попрошу, и она с той же лёгкостью, с какой отзывалась на всякое имя, примет любой заказанный облик. Иногда я пытался представить, какая она без одежды (игра, в которую каждый мужчина так любит играть). Но с Любашею эта игра была совершенно бессмысленна, потому что мокрый халат не скрывал, а, скорее, подчёркивал то, что было под ним: глубокий пупок и большие соски, даже круглый лобок. Но, с другой стороны, откровенное тело Любаши было каким-то расплывчато-зыбким: она всегда словно бы уплывала куда-то, со всей своей мягкостью форм, со всеми округлостями и впадинами податливо-гибкого тела...

Но приятно ли, спросим мы дальше, было смотреть на Любашу? И вот тут я впервые могу дать совершенно определённый ответ: да, приятно. Причём это было приятно всегда: и тогда, когда она тихо возилась за лабораторным столом и мурлыкала тихую песенку (ни мотива, ни слов было не разобрать), и тогда, когда она перед началом зачёта собирала тетради и методички у робко притихнувшей группы студентов, пlying меж столов с отрешённой улыбкой, и тогда, когда она, скажем, пила чай в лаборантской, держа блюдечко на растопыренных розовых пальцах.

Но я не написал ещё самого главного. Любаша была — как бы это сказать? — даже не то, чтобы просто доступна, как бывает доступна женщина лёгкого поведения; но Любаша, похоже, не придавала интиму вообще никакого особенного значения. Где, когда, с кем и как — ей было, кажется, всё равно. И с Любашей на кафедре близко общались чуть ли не все: от старика-профессора до небритого забулдыги-студента, пришедшего вечером на отработку занятий и притиснувшего Любашу где-нибудь в тёмном углу, за тихо гудевшими термостатами. Доходило и до комических ситуаций. Постучишься, бывало, к Василию Львовичу, а он крикнет сдавленным голосом: “Олег, это ты? Подожди!” — и я задержусь возле двери, за которой надсадно пыхтит добрый наш старикан, а голос Любаши, смеющейся, как от щекотки, уговаривает его:

— Профессор, да не горячитесь вы так! Вам же вредно...

Через какое-то время Любаша открывала мне дверь — отрешённо-тупую улыбку, казалось, ничем не согнать с её сдобно-розового лица — и нараспев говорила:

— А, это вы, Олег Николаич... А мы тут с Василием Львовичем думаем: кто это ломится к нам на ночь глядя?

А в кресле сидел, задыхаясь, профессор: с мерцанием пота на лысине, с растрепавшимся пухом волос и с виноватой улыбкой на старом, морщинистом — но совершенно счастливым! — лице...

Этот же добрый старик, когда нам случилось посидеть в пивном баре на улице Николаева, захмелев, начинал бормотать:

— Ты, Олег, даже не представляешь, что это за женщина! Это — Гольфстрим... Ты меня понимаешь? Гольфстрим!

И он так гримасничал, так растопыривал пальцы, словно хотел сейчас это всё показать: и Любашу, и этот самый Гольфстрим, и себя самого, которого вдруг, уж на старости лет, подхватило мочуе это течение.

Я его хорошо понимал. Я и сам, когда задерживался на кафедре с Любашей, и рабочий стол мой ритмично похрустывал под её сдобным телом, — я тогда чувствовал, словно плыву по широкой и тёмной реке. Я торопливо дышал, напрягался и грёб, даже, кажется, слышал ритмичные плески внизу, но река оставалась рекой, бесконечной и тёмной, и, сколько бы я ни старался, мне нечего было и думать о том, чтоб её переплыть...

Бывало, я ей так прямо и говорил:

— Ты, Любаш, как река...

— Ага, — говорила она равнодушно, оправляя халат и зевая. — Смотри, не утопни...

Конечно, Любаша надолго могла занять мои мысли; но реальность всё равно возвращала меня к себе. Уже в первые дни, когда я понял, что голодная смерть мне пока не угрожает, я стал подыскивать место, где можно строить укрытие.

Главное, чтобы оттуда, где я поселился, было видно море. Понятно, что видеть всё побережье сразу нельзя; но я решил, что всего вероятнее появление судна именно с юго-востока, с той стороны, откуда ветер и волны пригнали меня. Поэтому поиски ограничились той скалистой площадкой, что возвышалась над отмелью, где так недавно — или давно? — я боролся с прибоем.

Сюда же, на отмель, через несколько дней волны вынесли шкуру растерзанной лодки. Её так изорвало о камни, что ни о каком ремонте нельзя было и думать. Оно, впрочем, и к лучшему: если б я ухитрился как-нибудь залатать лодку, то, возможно, очередной приступ паники мог бы погнать меня снова в открытое море, где, конечно, меня ждала верная смерть.

Я вытащил лодку на берег: резина могла пригодиться. Надувные баллоны бортов мне удалось так удачно отрезать, что получилось четыре отличных ведра, где я позже закавашивал листья берёзы и ягель, солил грибы и даже настаивал брагу из ягод морошки и клюквы. Из отрезков резины я мог бы, в принципе, сделать и обувь — что-нибудь наподобие чуней, но пока целы были ботинки, и возиться с этим мне не хотелось.

Дно лодки, хоть и было в трёх местах порвано, могло послужить хоть каким-то навесом: не столько даже от ливня, сколько от солнца. Ведь, как ни смешно, но здесь, на берегу Ледовитого океана, был риск получить солнечные ожоги: тени на острове почти не было, а солнце сияло на небе чуть ли не круглые сутки.

Леер лодки и длинный чальный конец я растянул на колах, вбитых в трещины скал, чтобы сушить на них рыбу и ламинарию.

В поисках места для хижины я обшаривал берег, пока не нашёл как раз то, что нужно. Одна из расселин меж скал уходила вглубь метра на три с половиной, а в ширину была чуть больше метра. Вход в неё очень удачно оказался открыт как раз в сторону моря. Мне оставалось лишь положить сверху на скальные стенки какое-нибудь перекрытие и заделать щели камнями, да выложить перегородку на входе, чтобы надёжнее защититься от ветра.

И я начал таскать камни, плавник, ломать ветки берёзы и ивы, чтобы постелить их на пол и на крышу, но поначалу, в тревоге и спешке, работалось плохо. Раз, неся камень, я упал, подвернув левую ногу, и сильно ушиб левый бок. Боль меня отрезвила: я понял, что спешка и суета — плохие помощники. “Стоп! — сказал я себе. — Если сломаю ногу или руку — мне верная смерть. Поэтому двигаться надо медленно и смотреть, куда ступаешь”. Тогда же я вспомнил три правила, которые вычитал где-то и которые должен, как “Отче наш”, знать любой человек, попавший, вроде меня, в аварийную ситуацию. Правила эти очень просты: “Не спеши, не рискуй и думай, что делаешь”. Усвоить эту формулу выживания даже важнее, чем раздобыть себе пищу или сделать укрытие. Ибо без пищи, без крыши или без огня жить можно долго; а вот нарушая простые правила выживания, можно погибнуть глупо, бездарно и быстро.

“Не спеши, не спеши...” — бормотал я, поднимаясь от берега моря с тяжёлой доской на плече, чувствуя, как напрягаются все мои мышцы и как что-то хрустывает в спине. “Не рискуй!” — говорил я себе и выбирал путь, хоть и более длинный, но зато пологий и безопасный. “Подумай: ну, кто же так кладёт камни?” — спохватываясь я, видя, как шатко лежит основание каменной стенки, и принимался, уже в третий раз, её перекладывать.

Из двух скальных стен моей норы-хижины одна была выше другой. Мне это было на руку: получалась косая, в один скат, крыша. Основой её, то есть как бы стропилами, на которые я настилал потом ветки, были четыре доски — их мне удалось отыскать на морском берегу. Часть днища резиновой лодки я разместил там, где устроил место для сна, надеясь, что эта резина надёжнее защитит меня от дождя. Впрочем, и в остальных местах кры-

ша неплохо держала: ливень должен быть просто обломным, чтобы лиственный скат весь набряк влагой, и в моё логово протекла бы вода. А так, если даже шёл дождь, то вода стекала по каменным стенкам и, поскольку пол был тоже наклонным, то она без следа исчезала в трещинах между камней.

В общем, с логовом мне повезло. На всём острове не было столь же удобного места, хорошо защищённого от ураганных ветров да к тому же расположенного невдалеке от впадавшего в море ручья.

Довольно долго — дней пять — я выкладывал стенку на входе. Без неё мне не на что было положить самое длинное из стропил — на входе ширина расщелины была наибольшей, — да и уютнее было жить в закрытой, не продуваемой насквозь полупещере. Потом я завалил валунами и заднюю часть логова: жутковатую щель, уходившую в толщу скалы. В жилище моём сразу сделалось сумрачней, когда торцевая стена поднялась в человеческий рост, и на неё легла кровля; впрочем, входной проём всё равно пропускал достаточно света. Я даже свободно писал в этом сумраке, удобно устроившись у очага.

С постелью всё было достаточно просто. Такими же ветками, что я навалил на стропила, я застелил каменный пол, выбрав место, где он был ровнее. Мох же, которого я натащил пять или шесть охапок, я использовал для того, чтоб конопатить им щели между камней. В итоге мне удалось победить сквозняки, и воздух теперь не тянул сквозь пещеру, как это было вначале, а успокоился между каменных стен, и только тогда, когда загорался огонь в очаге, нагревавшийся воздух дрожал и тихонько шуршал-шелестел подсыхавшею кровлей...

Огонь мне, конечно, был необходим. Но я понимал, что большой костёр разводить в хижине небезопасно: от высокого пламени или от искр могла вспыхнуть кровля. Поэтому мне был нужен небольшой, аккуратный очаг. Сложить его было несложно. Дрова в моём очаге горели ровно и жарко, сгорая до серой золы. Примерно раз в неделю я чистил очаг, выгребая золу.

Эту золу я поначалу просто выбрасывал, но заметив, какой чёткий след зола оставляет на бледно-зелёных лишайниках тундры, я нашёл ей лучшее применение: стал писать сигнал "SOS". На ровной площадке, метрах в двухстах от жилища, я выдрал-вытоптал тонкий покров зеленеющей тундры и затем посыпал землю золой в виде трёх этих букв, метров по десять каждая. Несомненно, что с воздуха их было можно заметить.

Сначала очаг служил мне лишь для того, чтоб запекать рыбу и мидий. Потом, когда раздобыл две кастрюли, я стал варить себе суп из грибов, ламинарии, ягеля, полупротухшего мяса тюленя — вообще из всего, что попадало мне в руки. Но нередко я разводил огонь просто для того, чтобы не было так одиноко в холодном, сгущавшемся сумраке полупещеры. Стоило подложить в очаг дров да раздуть рубиново-красные угли под слоем золы, стоило пламени взлететь за твёрдый, отполированный морем плавник, как и в хижине, и на душе становилось теплее. Дым свистел, пробиваясь сквозь камни; морская соль на дровах, смешанная с песком, вспыхивала синеватыми искрами; алое пламя плескалось о закопченные камни, и очаг чуть похрустывал. Всё это вместе — свист дыма и вздохи пламени, и потрескивание проседавших камней — неизменно меня утешало. Я мог бы, кажется, слушать горящий очаг бесконечно и вечно следить за живою игрою огня.

Две своих зажигалки я берёг, как зеницу ока, использовал лишь в крайнем случае и старался раздуть ещё тлевшие угли. Главное, чтобы была под рукою растопка. Я всегда держал в хижине запас сухих ивовых прутьев и бересты. Стоило приложить к угольку завиток бересты, как он тут же скручивался и смуглел, и на бересте повисал лоскуток молодого огня. Он был ярко-алый, чадающий дегтярным дымком, и проворно взбирался по тонким, податливо никнувшим прутьям ивовой растопки.

И вот уже скоро огонь бормотал и потрескивал между камней очага, и эта его хлопотливо-невнятная речь напоминала живую и торопливую речь человека. Вообще, мне порою казалось, что нас в хижине двое: я — и огонь в очаге...

Только сел в затишке и начал писать — страницы тетради как будто задёргались дымом, и назойливый звон стал сгущаться в ушах. Воздух враз загустел; если резко двинуться или наклониться, казалось: в лицо тебе бросили горсть песка.

Первое время мошка меня так донимала, что я всерьёз думал: меня доконают не голод и холод, а полчища гнуса. Оказавшись на острове в самый пик их активности, в начале полярного лета, я ходил с окровавленными руками и с настолько распухшим лицом, что не мог узнать своего отражения в луже воды: на меня смотрела распухшая узкоглазая рожа с потёками крови на лбу и щеках. Можно было подумать, что меня били мордой о камни.

На фоне мельчайшей и злой, проникающей всюду мошки комары казались почти безобидными существами: они, в основном, лишь звенели да вились вокруг.

Избавление от летающей нечисти приносил только ветер. Вот и теперь, написав всего несколько строк и не в силах уже находиться внутри облака гнуса, я поднялся на самый верх скального гребня, где, хоть и было прохладно и ветрено, зато можно было спокойно дышать и сидеть, склонившись над страницей тетради.

Но сейчас, написав слово “ветер”, я сделал ошибку: просто ветра на острове не было. Как у чукчей в их языке нет слова “снег”, хотя они и живут среди снега, как рыбы в воде, так и я не знал здесь просто “ветра”. Для каждого времени и для каждого места на острове ветер был свой: от легчайшего шевеления воздуха где-нибудь в затишке, в цветущем распадке, где дышишь мёдом ивовой пыльцы, до гневного воя в нагромождениях скал, там, где даже чайки не могут взлететь против ветреных мощных порывов.

Недаром же в языке у поморов было так много названий различных ветров: шалоник и север, моряна, полуденник, запад; в самих этих названиях прямо-таки ощущаешь суровость поморского быта. Я тоже узнал здесь немало разновидностей ветра. Так, просыпаясь в укрытии, я по шуму прибоя мог сразу определить, с какой стороны и с какой силой дует сегодня. Если дуло от тундры на море, то волны прибоя бывали пологими и шумели негромко. Если же задувало от моря — да ещё против отлива, — то прибой был напористо-шумным: море спорило с ветром, кипело барашками пены, и на душе становилось тревожно.

Первый шторм, который я пережил здесь, на острове, случился в начале июля. Ветер поднялся так неожиданно, словно он сидел где-то в засаде и выскочил вдруг. Был отлив; я как раз брёл по отмели, собирая мидий, шагая где посуху, где по колено в воде, и меня так толкнуло порывом внезапного ветра, что я едва устоял на ногах. Лужи, чей блеск простирался до самого мыса, не просто покрылись искрящейся рябью — они вдруг поползли под ударами ветра, который толчками, как будто резвясь, перегонял их с места на место. Водяная солёная пыль заклубилась вокруг. Среди чаек, кормившихся вместе со мною на литорали, поднялась настоящая паника. Птицы истошно орали, пытались взлететь, но ветер небрежно швырял их обратно на отмель, словно чайки были тряпичными.

Я побежал искать тихого места у подножия берегового обрыва. Но пока пересёк литораль, весь вымок от летящих над отмелью столбов водяной, с песком перемешанной пыли. Небо, только что чистое, быстро мутнело. Солнце, зависшее в самом зените, превратилось сначала в оранжевый диск, потом этот диск покраснел, стал фиолетово-сизым — и вот уже солнца не стало в той мгле, что повисла над морем и небом.

Ветер так завывал, с такой силой бросался на скалы (под одной из которых прятался я), словно он хотел перемешать всё, что было на свете, в единую, слитную массу: ветру будто не нравилось то, что и море, и небо, и остров существуют покуда раздельно. Уже было трудно понять, где кончается суша, а где начинается море, где вода, а где воздух? Где вообще те границы, что прежде так чётко и ясно делили весь мир на части? Вокруг всё бушевало, куда-то несло, завывало, свистело, клубилось; смешались как

будто не просто стихии, но само пространство и время запутались друг вокруг друга и уже не могли разобрать, кто есть кто...

Сколько длилась эта свистопляска, сказать трудно. Но стихло всё так же внезапно, как и началось. Словно вдруг сдёрнули занавес мглы, и я снова увидел весь мир в его прежних, привычных границах. Ветер стих. Солнце будто всплывало из мгlistых, редющих туч: вот появился его фиолетовый диск, вот он сделался красным, затем оранжевым, и вот уже солнце сияло опять, словно шторма и не было вовсе. Я встал с корточек, разминая затёкшие ноги. Волнение моря почти улеглось, и только по берегу оставались следы пролетевшего урагана. На отмели, столь мне знакомой, прибавилось луж; коряги и доски чернели там-сям по сырой полосе литорали; а поодаль, у основания мыса, лоснились чёрная туша тюленя. И я поспешил к ней, надеясь разделать её ещё до того, как начнётся прилив.

24

Обдирая мох с каменистой поверхности тундры — он был мне нужен и как подстилка, и как перевязочный материал, — я поражался тому, до чего же здесь тонок почвенный слой: редко где он был более сантиметра. И было ясно: пропleshина, что осталась под содранным мхом, зарастать будет целые десятилетия, а, может быть, так и останется серою, незаживающей раной. Здесь, где снега и льда не было всего-то три месяца, с июля до сентября, за эти три месяца растениям надо было успеть завершить полный жизненный цикл, и только здесь я вполне осознал, что такое земля.

Как много нужно всего — солнца, влаги, бактерий, грибов и лишайников, — чтоб год за годом по миллиметрам наращивать почву. Сначала лишайники покрывают голые камни, потом они понемногу врастают в их толщу и разрыхляют поверхностный слой валунов; затем на камнях поселяются мхи-хазмофиты, которые продолжают незримое разрушение камня. И проходят века, прежде чем раскрошившийся камень превратится хотя бы в подобие почвы, в тот слой, на котором способны расти камнеломки и лютики, маки и незабудки. А потом ещё сколько должно пройти зим и лет, сколько полярных ночей должны сменить дни, прежде чем почвенный слой станет толще на несколько миллиметров и сможет выдерживать не одни лишь цветки-эффемеры, но в нём смогут укорениться и кустики ивы, черники, полярной берёзы и клюквы.

Внизу — камень и мерзлота, сверху — почти вечные льды и снега; и тончайшей прослойкой меж ними лежит нечто живое: полярная почва. А я вот нагнулся, запустил пальцы в мох — и одним грубым движением содрал то, что росло и копилось веками... Я даже испытывал стыд перед всею цветущей тундрой за такое жестокое с ней обращение. Но, с другой стороны, я боролся за жизнь — и, как часть этой жизни, имел право не очень-то мучиться угрызеньями совести.

О земле и о том, что с ней связано, мне здесь думалось часто, как и вообще вспоминалось о том, чего я был лишён. Да, слой почвы был здесь так тонок, что его можно было разрушить одним грубым движением; но не так ли, думалось мне, и со всей человеческой нашей культурой? Её слой нарастает веками, поколение за поколением трудятся, чтоб хоть немного улучшить, обогатить и просветлить нашу жизнь, а потом вдруг врываются грубые силы революции или войны, и миг обнажается злобно-зверинная суть человека...

Мыслей подобного рода ко мне приходило немало, но я не хочу засорять ими дневник. Лучше буду писать об отрадном. Вспомню о том, например, как жирна и черна земля моей родины, Курщины. Чернозём там такой, что его хоть намазывай вместо масла на хлеб. А воткни в землю палку, и она зазеленеет и через пару лет станет деревцем.

А какая густая лиловая грязь липнет там на сапоги — так, что даже тугая струя из водоразборной колонки долго не может отмыть голенища? А как размокает дорога под ливнем: когда вода пенится в колеях, и скоро дорога превращается в непроходимое месиво, в жирную чёрную кашу?

А погожий сентябрь, когда пахнут поля под озимые? Трактор, пофыркивая синим дымком, тащит плуг по увалу холма, золотая щетина стерни вот-вот, кажется, вспыхнет на солнце, а зеркальные лемехи плуга словно выдавливают из земли тугие ломти чернозёма...

Я могу без конца вспоминать родной чернозём, его запах и цвет, — разумеется, в собственном воображении, — словно только здесь, на каменном острове, я вполне осознал и узнал, что такое земля. Но почему, чтобы встретиться с чем-то, надо с этим сначала расстаться? Почему лишь разлука приносит нам горькую радость от встречи — всегда запоздалой? Ни человек, ни предмет, никакое событие жизни, пока существуешь с ним рядом, не видится так, как потом, уже после разлуки.

Вот и моё пребывание здесь, на затерянном острове, стало, в сущности, встречей со всем, что я знал и любил в своей жизни. Только здесь, потеряв всех и всё, я как будто прозрел и проснулся после долгой и смутной дремоты, в которую был погружён...

25

И, стоило вспомнить лоснящийся блеск чернозёма, как мне вспоминался горячий, с отливом, блеск туго зачёсанных чёрных волос, иными словами, мне сразу же вспоминалась Галина.

Год примерно назад, зайдя в овощной магазин, я обратил внимание на смазливую продавщицу-хохлушку. Блеск смородиновых глаз, щёки с ямочками, белозубая радостная улыбка — всё в ней было, как будто с картинки, с какой-нибудь иллюстрации к малороссийским повестям Гоголя.

— Давно здесь работаешь? — спросил я продавщицу, пряча в сумку картошку и помидоры.

— Ни-и: усега пять годин, — посмотрев на часы, отвечала она, смешно путая русские и украинские слова. — Я к тётке приехала, а она попросила меня подсобить в магазине.

Она засмеялась, и я засмеялся с ней вместе. Певучий, грудной её голос был очень приятен.

Ещё несколько раз, заходя в магазин, я болтал с нею, как старый знакомый. Галина была из тех женщин, которым говорить было столь же естественно, как дышать, похоже, молчать она просто была неспособна.

Через несколько дней, возвращаясь с работы и будучи навеселе после того, как мы отмечали день рождения шефа, я увидел Галину, тащившую сумку громадных размеров. Торгаши-челноки называли такую “медведь”.

— Га-аля! — воскликнул я радостно. — Ты ж надорвёшься! Давай, я тебе помогу...

Галина узнала меня, обрадовалась и, с облегчением передавая мне сумку, она начала тараторить так, как будто всего тяжелее ей было молчать, а не тащить свою ношу.

— Ой, Олег, да тебя же ж мне Бог послал! Мамочки, до чего же ж я рада... А я тут иду да гадаю: ну, кто б пособил? А потом бачу: ты! Это я кой-чего набрала, борщ сварить: ну, капуста там, сельца, картошечки трохи...

— Это всё для борща? — изумился я, шумно дыша от натуги. — Да тут провианту на три года вперёд!

— А я запасливая! — смеялась Галина. — Олег, потерпи трохи: тёткин дом уже вот он...

Мы поднялись на пятый этаж, и я, выбиваясь их сил, затащил сумку в квартиру. Никакой тётки там и в помине не оказалось. Поскольку я был весь в поту и ещё не вполне протрезвел, то, не церемонясь, спросил хозяйку:

— Послушай, я у тебя душ приму, ладно? А то у нас воду горячую отключили.

— Конечно-конечно! — захопотала Галина. — Вот тебе полотенце: будь, Олежек, как дома...

Когда я вышел из душа, стол на кухне уже был накрыт: медовая, с перцем, горилка, помидоры, лук, сало, котлеты — всё было так аппетитно и так неожиданно, что я рассмеялся:

— Ты, Галя, просто волшебница! И как ты успела?

— Ну, а як же ж? — блестела глазами Галина. — Должна же ж я тебя отблагодарить...

Пока я мылся, Галя переделалась в домашний халатик, и теперь глаз было не оторвать от ложбины меж смуглых грудей, от всех выпуклостей и впадин её гладкого тела, горячего даже не то, что на ощупь — на взгляд.

Мы с ней выпили по хорошей стопке горилки, потом повторили, и стало ясно, что я сегодня уже никуда не уйду вот от этих блестящих смородиновых глаз, от грудного певучего голоса и от горячего тела Галины...

В постели, как и во время застолья, Галя думала только о том, как бы мне угодить. Похоже, красивая эта хохлушка с молоком матери усвоила, что мужик — *чоловик* — есть существо высшего порядка, и угрожать ему, — что за столом, что в постели, — есть святая обязанность женщины. Мне это было так непривычно: большинство из тех женщин, с кем я общался прежде, считали высшими существами, напротив, себя, и первое время я ощущал себя рядом с Галей каким-то восточным владыкой. Все мои пожелания исполнялись мгновенно, и при этом с лица Гали не сходила приветливая, радостная улыбка. Да и фигура у моей новой подруги была восточного типа: широкие бёдра и тонкая талия, а грудь небольшая.

— Да что ж я так раздобрела? — порой сокрушалась Галина у зеркала, оглаживая бёдра. — Ты побачь, яка задница: как у кобылы, ей-Богу!

— Ты гарная дивчина, Галю! — смеялся я, хлопая её по тугой ягодице. — Баба должна быть, как баба, не то, что все эти худые селёдки!

— Правда? — радостно улыбалась она. — Ой, как я рада, Олежек, что я тебе нравлюсь...

26

А какие она мне варила борщи! Похоже, Галя считала, что накормить мужика — это много важнее тех глупостей, что происходят в постели. Только на кухне я видел в глазах у Галины тот блеск, тот огонь вдохновения, что превращал её из просто хорошенькой и говорливой бабёнки в истинную красавицу.

Борщ Галина не просто варила, а именно сооружала его, как скульптор творит изваяние или художник — картину. На столе, напоминающем мольберт с красками, лежали груды помидоров и перцев, и сахарно-белого лука, а Галя, отбивая ножом почти барабанную дробь, шинковала заправку для борща. По кухне летели сверкающие брызги, кипела кастрюля, шкворчала сковорода, и казалось, что даже предметы кухонной утвари возбуждены вдохновенным процессом готовки.

— Та-ак, теперь трюхи сальца... — шептала Галина. Она вытирала лоб тыльной стороной ладони и, обернувшись ко мне, поясняла:

— Сало нужно, щоб жовтое, с прошлого року...

Достав из холодильника кусок прошлогоднего сала, она отрезала несколько “скибок”, бросала их на разогретую сковороду и, пока сало шипело и таяло на сковороде, Галина бросала в кастрюлю картофель, фасоль, помидоры и перец. С лица её не сходила озабоченность мастера; казалось, она всякий раз заново разрешала сложнейшую эту задачу: что, как и в каком порядке загружать в клокотавший бульон?

Порой, зачарованно наблюдая за приготовленьем борща, я терял ощущение времени, места и себя самого.

— Эй, ты что — спишь?! — смеялась Галина. — Иди, руки мой: борщ скоро будет готов!

И вот она, с улыбкою счастья на разгорячённом лице, ставила передо мною тарелку густого, в оранжевых блёстках, борща. Это было настолько красиво и пахло так вкусно, что хотелось нырнуть с головой в эту пёструю, пряную смесь из моркови и свёклы, фасоли и лука — и ещё, уж не знаю, чего.

Передать вкус борща на бумаге, конечно же, невозможно. Кто когда-нибудь ел настоящий украинский борщ, тот поймёт меня и без лишних слов; кому же не выпало этого счастья, тот так и останется непосвящённым. Я за едой впадал в состояние транса: и взгляд мой, и мысли тонули в мерцающих

проблесках жира, в той сложной, густой мешанине еды, которая не отпускала меня, пока я не дочёрпывал ложкой остатки...

Обыкновенно после обеда, после трёх-четырёх добрых стопок горилки мы с Галей переходили в постель. Но и на пышной перине, и даже на мягком, податливом теле Галины во мне продолжался томительный обморок мыслей и чувств. Я тонул — или плыл? — в сложной смеси вздохов и скрипов кровати, мякоти женского тела и блеска лоснящихся чёрных волос, но меня самого словно вовсе и не было в этом тающем, зыбком, куда-то скользящем и тонущем мире...

27

“Где я?” — была первая мысль, когда я просыпался. Как ни душен, ни тягостен был томительный обморок сна на толстенной перине, в объятиях Гали, но пробуждение было ещё тяжелее. Продавив жаркое облако пуха, я оказывался словно в яме, а горячее женское тело лежало на мне и мешало дышать. А уж если блестящие, как чернозём, волосы Гали падали мне на лицо, иллюзия захоронения была почти полной. К тому же и пахла Галина чем-то очень густым, земляным — то ли палой листвой, то ли прелой древесной корою? — и хотелось как можно скорее освободиться.

Но не так-то просто было выбраться из глубокой, податливой ямы постели: я копошился в ней, словно муха в меду. Руки мои безуспешно пытались схватить пустоту, кровать покачивалась и скрипела, а Галина сквозь сон прижималась ко мне ещё крепче.

Наконец, задышавшись, я кое-как выбирался из-под Галины, отирал с лица пот и с невыразимой тоскою оглядывался вокруг. Сумрак комнаты тоже казался могильным: в этих всех занавесочках, ковриках, вазочках и цветочных горшках я чувствовал нечто настолько чужое, что эту комнату, как и постель, мне хотелось покинуть как можно скорее. Нечем было не просто дышать, нечем — жить; не будь комната так высоко — всё же пятый этаж! — я бы вполне мог, схватив с пола одежду, сигануть в окно.

Но Галина, проснувшись, по-своему толковала мой мрачный, задумчивый вид.

— Проголодался? — участливо спрашивала она. — Обожди трохи — я вареники разогрею!

Икнув, я мычал что-то невнятное, а Галина, приняв этот звук за голодные стоны, спешила на кухню. Оттуда слышалось звяканье, плеск воды, шум горелки — раздавались неистребимые, вечные звуки стряпни.

Что было делать? Вздохнув, натянув джинсы, я тоже плёлся на кухню. Созерцание Гали, колдующей возле плиты, меня всегда завораживало. В сущности, её настоящее место и было именно здесь, среди мисок, кастрюль и шумовок, в кипении кухонных звуков и запахов. И в глазах, и во всём её свежем, как майское утро, лице пылал жар вдохновения; порою казалось, что всё вокруг Гали шкворчит, бурлит и томится даже не столько от пламени синих горелок, сколько от жара, азарта, огня, что пылают в душе у самой поварахи. Даже в постели она не бывала так самозабвенна, как возле плиты; любуясь Галей, я забывал и тоску, и желание сбежать, и хотел только одного: поскорее приняться за вареники с вишнями.

Казалось бы: как можно что-либо съесть сейчас, всего через пару часов после обеда? Но стояло только взглянуть на тарелку вареников, и бес обжорства опять пробуждался во мне. Галя делала их небольшими, но вишнями начиняла так щедро, что, лишь коснись вилкой золотистого бока вареника — и вишнёвый сок тут же потечёт на тарелку, мешаясь с густою сметаной...

Но тогда, год назад, ни борщи, ни блины, ни котлеты, ни даже вареники с вишнями не могли меня долго удерживать возле Галины. Я чувствовал некую как бы опасность, что исходила от мира её стряпни и постели; насытившись и едой, и горячим податливым телом Галины, я уже думал, как бы сбежать, и искал лишь предлога, чтоб ускользнуть от её хлебосольной опеки. И когда я наконец-то оказывался на улице, то напоминал себе узника, сбежавшего из тюрьмы.

Но чувство свободы быстро слабело и гасло; зато нарастало знобящее чувство тревоги, бездомности и неуютя, и уже через несколько дней меня снова тянуло к Галине, к её пирогам и блинам, и к её жаркому и безотказному телу...

28

Но пора возвращаться на остров. Нынче ясно, но холодно: дует моряна. Ледяной этот ветер сразу напоминает о том, что вокруг — Крайний Север и что всё это пышное разноцветие тундры продлится недолго. Я озяб, сидя над дневником, и теперь, чтобы согреться, должен скорее заняться костром.

Достаю из кармана линзу — ценнейшую из находок, что мне подвернулись на заброшенной базе. Не знаю уж, от какого прибора она там осталась, но фокусирует свет она здорово. Вот, я сейчас распишусь на тетрадном листе...

(В этом месте тетради, действительно, виден волнистый обугленный след. — Примечание издателя).

Каково? Этой линзой в погожие дни я и разжигая костёр, можно сказать, напрямую от солнца. Главное, чтобы растопка была сухая, лучше всего — подсохший мох, собранный с валунов, и важно не торопиться, делать всё точно, размеренно, без суеты. Сначала смять ломкий, крошащийся мох, чтоб получился комок, похожий на войлок, затем аккуратно подсунуть его под ивовые тонкие прутья — быстрее и легче всего загорается именно ива, — а потом поудобней устроиться на защищённой от ветра площадке. Иногда я ложился, иногда вставал на колени и, оперев руку с линзой о камень, начинал ловить солнечный свет.

В эти секунды не только свет солнца собирался в тугое, слепящее пятнышко размером с рисовое зерно, по бокам от которого ложились два радужных полукольца, но и всё моё зрение словно собиралось в пучок. Я видел лишь то, что было прямо перед глазами: сплетения нитей белёсого мха, изломы краснеющих веточек ивы и тонкие тени от них, почти не отличимые от настоящих ветвей. Всё это виделось так отчетливо, резко, что даже казалось: уже сам твой напрягшийся взгляд способен поджечь этот мох, эти прутьики ивы...

Зерно солнца вздрагивало в такт пульсу, бьющемуся в руке. Проходило секунд десять-пятнадцать — и от солнечного пятна начинал течь дымок: скоро весь комок мха был напитан этим молочным дымом. Потом в этом дыму начинал трепетать лоскуток бледного пламени. Нити мха и тончайшие веточки ивы словно таяли в огне; вот пламя проело пещерку внутри плотно сбитого мха и, качаясь на ивовых ветках, попыталось подняться повыше. Тогда я откладывал линзу и дул — поначалу так тихо, будто что-то шептал осторожному пламени. Огонёк прыгал с ветки на ветку и рос — уже был отчетливо слышен его полотняный, взволнованный треск, — и как-то вдруг прорастал сквозь сухие дрова множеством алых, живых языков!

Иногда я переносил огонь в хижину, иногда, если нужно было высушиться и обогреться, оставлял костёр на открытой площадке. Здесь можно было не опасаться, что пламя достанет до кровли и спалит мою хижину, к тому же отсюда был виден морской горизонт. Надежда увидеть проходящее судно или услышать гул мотора невысоко летящего самолёта жила во мне постоянно; но пока ничего, кроме гомона чаек да рокота моря, не мог уловить мой всегда настороженный слух.

29

Когда позволяла погода, я спал на прогретых камнях. Чтобы не пропадали зря угли, переносил костёр в сторону, затем подметал костровую площадку и устилал ложе слоем берёзовых веток.

Не помню, когда ещё в жизни я испытывал такое блаженство, как в те минуты, когда, наконец, опускался на жаркое ложе. Казалось, весь холод, вся сырость, что скопились во мне за последние дни, выходят сейчас вместе

с крупным ознобом, и с ними уходит тоска, неуверенность, страх — всё то, что сильнее всего меня мучает здесь. Казалось, не так всё и безнадежно, раз способен себя согреть среди голых скал, на берегу Ледовитого океана. Не жась, я сладко потягивался, поворачивался сбоку набок — и вот-вот был готов замурыкать, как кот на горячей печи.

Потом я задрёмывал на горячих камнях. Один сон повторялся снова и снова: это был сон о пекарне в селе Студенец. Да, когда-то — на шестом, что ли, курсе? — нас отправили в это село на уборку картошки. Но снилось не то, как мы подбирали грязные клубни, не то, как пили портвейн в затрапезной столовой, и даже не то, как ходили на танцы и отбивались от местных парней, ревновавших нас к местным девицам. Нет, настойчиво и неотвязно мне снилось другое.

Некогда, проходя под дождём по окраине Студенца, я набрёл на краснокирпичное здание сельской пекарни и зашёл внутрь; а теперь и во снах, в их расплывчато-путаных дебрях, я снова и снова выходил всё к тому же приземисто-грубому зданию, что краснело над склоном оврага. Я опять ощущал тот густой, дрожжевой хлебный запах, который так неожиданно было почуять среди запахов лиственной прели, грибов и опилок, золы и намочшей извёстки — среди запахов сельской осенней окраины. Когда я, пригнувшись, входил внутрь пекарни, меня обдавало таким густым хлебным духом, что сам воздух, казалось, можно откусывать и с наслаждением жевать. Духота и жара здесь была нестерпимая: по лицу тёк пот, и рубаха липла к спине.

В сумраке двигались женщины в белом, их халаты были надеты прямо на голое тело, и могучие зыбкие груди отчётливо были видны через влажную ткань. Моего появления никто, кажется, не заметил: бабам-пекарям было не до меня. Вот я тихо присел, отирая лицо, на мучную скамеечку возле стены. Взгляд то и дело выхватывал что-нибудь новое: чан с опарой, решёта, ухват, кочергу, бруски серых дрожжей на столе или счетверённые формы для выпечки хлеба. Всё здесь было покрыто мукой; даже воздух насыщен был тонкой мучнистой пылью: она то слоилась, как дым, под едва тлеющей лампой, то взлетала клубами, когда кто-нибудь из распаренных женщин лил воду в чугунный, мукой припорошенный чан.

Но всего интереснее было то, как дышала опара. Чугунные чаны, в которых она подходила, казались живыми: в них шевелилась землистая вязкая масса. Вот тяжёлая, сонная туша опары вздувалась горбом, из её глубины поднимался пузырь, потом пузырь лопался, и его лоскуты оплывали по стенкам... Отчего-то, — быть может, по совпадению звучания имени? — мне вспоминался академик Опарин, чью теорию о зарождении жизни упорно вбивали нам в головы ещё в школе. Сейчас её мало кто помнит: первичный бульон, грозвые разряды, комочки белка, что сбивались, как масло во время пахтанья, но когда я смотрел на живую, вздыхавшую и опадавшую массу опары, когда слышал те шёпоты, вздохи и всплески, которыми сопровождался процесс созревания теста, то мысли Опарина о самозарождении жизни уже не казались мне такими уж дикими.

Из забытья — я, похоже, засыпал в своём сне — меня выводил звон заслонки печи. Молодуха с распаренным потным лицом запускала в печь кочергу и с грохотом выволакивала оттуда чугунные хлебные формы. Жар, и так нестерпимый, становился настолько силён, что глаза начинали слезиться. Но огненной, с алым лицом, молодой рыжей бабе этот жар был привычен — в ней и самой было жара не меньше, чем в раскалённой печи, — и она, весело переключаясь с товарками, гремела тяжёлыми хлебными формами по большому столу. Вот она с грохотом опрокидывала лотки — и на столе появлялись бруски золотистого, чуть подгоревшего, хлеба.

— Эй, студент! — слышал я оклик. — Хочешь хлебушка?

Я вставал со скамьи, делал шаг и протягивал руку, а румяная баба огромным ножом отсекала мне треть горячей буханки.

— Только сразу не лопай, — смеялась она. — А то кишки сварятся!

...Бабы-пекари лили воду, таскали мучные мешки, раскладывали по формам тягучее тесто, гремели печными заслонками, двигали чаны и что-то кричали; но вот сумрак сна как-то странно редел, голоса переключившихся

женщин становились всё выше, пронзительней и отдалённей, и я вдруг понимал, что это кричат уж не хлебные бабы из сна, а чайки кружат надо мной в стылом северном небе...

30

Когда остывали нагретые камни, лежать на холодном ветру больше не было смысла, да и желудок требовал пищи, так что я поднимался с прямого ложа, зевал и потягивался, а потом отправлялся на промысел.

Собирательством я занимался не только у моря, хотя полоса литорали кормила надёжней всего, но и в тундре, которая к середине июля была уже не такой разноцветной, как в первые дни. Зато созрела морошка, да и брусника кое-где начинала краснеть. А за перевалом, у озера уже появлялись грибы. Подберёзовики, которые там вырастали, точнее было бы называть надберёзовиками, потому что их бурые шляпки возвышались над порослью ивы, полярной берёзы и северной низкой рябины. Правда, грибы я ел редко: чтобы поджарить их, у меня не было масла и сковороды, а варёные подберёзовики были безвкусны, зато я высушивал их на ровной скальной площадке. «Кто знает, — думал я, рассыпая грибы по камням, — сколько мне здесь доведётся прожить? Запас карман не тянет...»

Грибы вырастали до громадных размеров, особенно на развалинах базы. Причиной, конечно, была радиация. Тут не нужно было и счётчика Гейгера — достаточно было взглянуть на гигантские бурые шляпки размером с тарелку. Аппетита мне это, конечно, не прибавляло. А уж то, как грибы могут накапливать радиацию, я знал хорошо: Андрей, мой приятель с кафедры токсикологии, занимался как раз этой темой.

Зато морошку я ел с большим удовольствием. Больше того: я готовил из неё брагу. Если залить растолченные ягоды пресной водой и поставить на солнце — для этого как раз подходило ведро из баллона резиновой лодки, — то уже через неделю настой покрывался оранжевой пеной, начинал испускать винный дух и, если выпить пять-шесть глотков этой бражки, то голова начинала кружиться. Живот, правда, тоже крутило — морошка дображивала в кишечнике, — но я всё-таки не оставлял винодельческих экспериментов. Чтобы очистить мутную брагу, я догадался бросать в неё уголь, и она скоро посветлела, а морошковое вино после такой очистки усваивалось куда лучше. В общем, известную поговорку «Голь на выдумки хитра» я подтвердил многократно и, в целом, успешно. Жаль, у меня было мало свободной посуды, а на созревание браги уходило, как ни крути, дней восемь-десять, поэтому мой винный запас был ограничен.

Но заготавливал впрок я не только морошку: гораздо важней для меня была квашеная берёза. Хорошо всё-таки, что я читал кое-что о питании первобытных народов и знал, например, что у камчадалов берёзовый «силос» был основным источником клетчатки и витаминов. Одно было плохо: берёза горчила, и нечем было отбить её дегтярный вкус. Я уж и ягод к ней добавлял, и солёной водицы из моря, но дёготь есть дёготь, и перебить его вкус было трудно. Так что сначала я морщился, пережёвывая кожистые горьковатые листья, но потом, как и ко многому здесь, так привык, что мне стал даже нравиться горьковатый вкус квашеных листьев берёзы. И желудок мой с ними справлялся неплохо — не хуже, чем с ягелем или грибами.

Какие ещё дары предлагала мне тундра? Про ягель и исландский мох я уже упоминал; действительно, то, чем кормились олени, могло при нужде сгодиться и человеку. Я добавлял эти лишайники в суп: их сероватая масса делала варево более сытным.

А первые пару недель, когда чайки ещё высиживали птенцов, я добывал и чайчьи яйца. Жаль, что теперь птенцы уже вывелись, — с каким удовольствием я бы пожарил сейчас яичницу! Но спасибо им, чайкам, уже и за то, что они поддержали меня в самое трудное время, когда голод терзал меня особенно сильно.

Конечно, собирать яйца чаек на скалах было совсем не то, что выслеживать, где снеслась курица, в детстве, в деревне у бабушки мне приходилось делать это часто. Память включается даже от пустяка, от намёка, а тут был прямой и конкретный отсыл: протянув руку к пёстрому яйцу чайки, лежащему среди серых камней, я как бы одновременно протягивал руку и там, в своём детстве, пытаюсь достать до ещё тёплого бока яйца, которое только что снесла наша пеструшка...

Память детства следовала за мной неотступно. Один, теперешний, я лез по скалам под гвалт встревоженных птиц, из-под ног сыпалось серое крошево, лишайники, покрывавшие камни, противно и больно набивались под ногти, и в голове билась мысль: “Как бы не сорваться...” И в то же самое время тот, другой я, которому было года четыре, услышав квохтание только что снёшейся курицы, выбегал из прохладного сумрака хаты на солнечный двор.

— Смотри, не раздави! — улыбаясь, кричала вслед бабушка.

Давеча я, в самом деле, прибежал весь в слезах, неся вместо яйца на своих растопыренных пальцах лишь тягучие нити желтка.

Найти, где снеслась курица, было непросто. Куры у бабушки не любили нестись в курятнике и выбирали для кладки самые потаённые места: густой вишенник, где пролезть могла только кошка да я, бурьян у проезжей дороги, поленницу дров или даже тот угол сада, где стояли дедовы ульи и где кур ничуть не пугало гудение пчёл. Сколько мы с бабушкой ни подкладывали под насесты курятника известковых яиц-обманок, — считалось, что куры охотней кладут яйца там, где уже кто-то снёсся, — но приучить их к порядку никак не могли. Я этому, впрочем, даже радовался: поиск яиц был одной из любимейших игр моего деревенского детства.

Вот мой призрак-двойник, который крадётся сквозь вишенник в то же самое время, как я пробираюсь по рыжим камням и отмахиваюсь от истошно орущих чаек, — мой двойник замечает, как что-то белеет в пыли, в дальнем конце неприметного лаза. Колени и локти уже все в пыли, спина исцарапана ветками, но яйцо словно бы заколдовано и не приближается. Наконец, потянувшись до хруста в плече, я касаюсь-таки самым кончиком пальца бархатистого, тёплого бока яйца и пытаюсь его перекатить поближе к себе. Это трудно, и я мучаюсь долго; наконец, яйцо тепло и округло ложится в ладонь. Оставаясь лежать на спине, я подношу его к самым глазам и смотрю сквозь него на разбитое ветками, искристое солнце. Яйцо розовеет и светится; но я с ещё большим восторгом, чем этот его розовеющий свет, вижу нежное пёрышко на скорлупе, вижу трепет его, и вдруг понимаю: дрожь пёрышка — это моё собственное дыхание...

Случалось, что мой пятилетний двойник начинал жить настолько самостоятельной жизнью, что призраком становился теперешний я — тот, который, неловко ползая по камням, собирал яйца чаек. И был нужен особенно резкий, пробуждающий меня звук — крик поморника, ударившего меня крылом в спину, или грохот камня, скатившегося со скалы, — чтобы я возвратился из детства в сегодняшний день.

Пёстрые яйца чаек были куда меньше куриных, и, чтобы заморить червячка, надо было набрать их не менее дюжины. Поначалу я пил яйца сырыми; потом догадался, как можно делать яичницу даже без сковородки. На плоский камень, нагретый в костре, я выпускал пять-шесть яиц, и они прилипали, шкворча, к его раскалённой поверхности. Глазунья красиво желтела на камне. Даже соль можно было набрать-наскрести в час отлива на валунах литорали; впрочем, вместо того, чтоб глазунью солить, я посыпал её истолчённой скорлупой. Так было вкуснее, к тому же, известь скорлупы восполняла мои потребности в кальции.

Впрочем, о чём это я? Не о том же, как готовил яичницу или толлок скорлупу, я хотел рассказать; нет, я хотел написать о яйце вообще — о том чуде, какое содержится в нём. Надо же: в этой вот пёстрой скорлупке, которую я могу раздавить двумя пальцами, живёт бесконечность: не только та чайка, которая, может быть, вылупится из него, но и её дети и внуки, и весь многочисленный чайчий род, которому предстоит заселить не один этот остров, но и десятки других островов в океане. Мне даже делалось не по себе, когда я представлял, какие полчища чаек я загубил, проглотив пару сотен яиц; но я, вместе с тем, понимал, что жизнь предусмотрела и этот сценарий, — в конце концов, все здесь непрерывно едят друг друга, — и что сила жизни в её совокупности от этого не ослабевает.

Я думал: яйцо — это целый непознанный мир, микрокосмос, вселенная; и об этой вселенной мы знаем, в сущности, так же немного, как и о той, состоящей из звёзд и галактик, которую астрономы зондируют телескопами. Вспоминалась история, что меня некогда так умилила: то, как немецкий зоолог Карл Бэр, отец современной эмбриологии, упал в обморок от восторга, впервые увидев под микроскопом яйцеклетку собаки. Видимо, после этого он и изрёк знаменитое: “*Omnia vivae ab ovo*” — “Всё живое из яйца”.

А что, если нас со всем тем, что есть в нашей Вселенной, тоже кто-нибудь держит в руках? Он нас крутит и вертит, подносит к глазам и гадает: кто мы такие, откуда взялись и что с нами делать?

Подобные мысли всегда волновали меня, и такие минуты, когда я размышлял о себе и о мире, мне были очень важны. Ибо только тогда я себя признавал вполне человеком, то есть тем, кто не просто старается выжить, как всякий живой организм, но тем, кто старается осознать смысл всего, что вокруг происходит. Может быть, люди и есть как бы мысли Вселенной, её попытка понять и увидеть саму себя?

33

Иногда выпадали туманные, тихие дни. Тогда я и весь остров погружались в особое, как бы зависшее между явью и сном состояние.

Туман был такой густоты, что метрах в пятнадцати ничего было не разглядеть; а поскольку сидеть на одном месте было скучно и зябко, то я, чтоб согреться, шагал наугад по туманной тундре. Я шёл не спеша, опасаясь споткнуться; порою я долго стоял, вглядываясь в те миражи, которые то возникали из ключев тумана, то медленно таяли и расплывались.

Я не знал точно, где нахожусь, как далеко моя хижина и в какой стороне море; но вместе с тем я был полон предчувствием некой отгадки всего, которая скоро, — быть может, уже через десять шагов, — должна встретиться мне. О чём я был должен узнать — я не знал; но важность того, что я ждал и искал, была для меня несомненна.

Мои мысли в тумане — насколько возможно припомнить их в эту минуту — были расплывчато-зыбки, точь-в-точь, как туман, из которого все они и возникали. Зато воспоминания — те были, напротив, настолько отчётливы, что я начинал сомневаться, где же именно я нахожусь: на этом ли острове, в недрах тумана или там, куда отсылает меня моя память? Образы прошлого проступали из мути тумана, как проступает изображение на фотобумаге: они становились всё резче и всё достовернее. Я видел себя то в саду, рядом с ульями деда — пчёлы натужно гудели вокруг, и дедов дымарь дышал сладким дымом, — то видел мать, как сидела она на скамейке в тени, привалясь к стене дома, и на лице её было то самое выражение, какое я видел уже перед самой её смертью: застенчиво-робкое и виноватое, словно мать знала, что скоро умрёт, и просила прощенья за это.

Лишь теперь, в дни тумана на этом затерянном острове, я по-настоящему ощутил себя сиротой. Даже когда я хоронил мать, это чувство разлуки с ней не достигало такой безутешности и остроты; видимо, для того, чтоб прочувствовать чью-либо смерть, мы должны от неё отдалиться. Я брёл, сам не зная куда, спотыкался и падал, и снова шагал по камням и пружинящим мхам, и лицо моё было мокрым от слёз. Было только одно, что хоть как-то меня утешало: мать не узнала о том, что я пропал без вести...

Но туман не только подчёркивал моё одиночество; он же и помогал мне это самое одиночество преодолеть. Не знаю, как точнее выразить эту догадку о том, что реальность, в которой мы все живем, составляет лишь часть нашей истинной жизни. Со мною и раньше случались минуты, когда я вдруг ощущал ненадёжную зыбкость той реальности, что меня окружает, зато чувствовал, что настоящая истина мира лежит много глубже того, что мы можем понять и представить. Но раз это так, — а это, как верило сердце, именно так, — то всё, что случилось в реальности, вовсе не окончательно. Иными словами: умирающий не исчезает бесследно, но его жизнь продолжается.

И вот именно в эти туманные дни, когда видимый мир расплывался и таял, почти исчезал, и когда само слово “реальность” ничего конкретно-реального не выражало, мне начинало казаться, что мать моя где-то живёт, существует и даже, возможно, ещё продолжает за мной наблюдать. Туман всё настолько размыл, растворил — не только в моём окружении, но и в моём возбуждённо-дремотном сознании, — что призрачность и ненадёжность реальности становилась простейшим и не подлежащим сомнению фактом. И точно с такой же обыденной очевидностью я ощущал несомненность неосвязаемого: того, например, что мои мысли о матери и моя к ней любовь ничуть не зависят от времени, от расстояния — даже и от того, что её самой уже нет в этом призрачном мире.

Я то брёл по камням и по мхам, по переплетениям стланика, то стоял и разглядывал, как наплывают и тают химеры тумана, то снова брёл, как лунатик, от одного воспоминания до другого. Больше всего выплывало картин из раннего детства. Можно было подумать, я двигаюсь вспять, как бы против течения собственной жизни и, если не заплутаю, должен, в конце концов, выйти к истоку. Я понимал: детство — это спасение. Если мне и суждено выжить здесь, то лишь оттого, что я вспоминаю и тем воскрешаю то время, когда мои сердце, разум и воля были ещё неразделимы, когда я ещё не отпал от себя самого и жил изначально, цельною жизнью.

Разве я был не я, когда мать меня мыла в корыте? Помню сумрак натопленной хаты — мы тогда жили в деревне у бабушки — и помню, как под ногами, когда я переступал, грохотало податливо-гулкое дно жестяного корыта. Казалось, что подо мною не оцинкованный лист, а какая-то бездна, откуда доносится рокот далёкого грома. Но мне вовсе не было страшно: может быть, потому, что рядом я чувствовал мать. Её руки и голос окружали меня, казалось, повсюду. Она была и в солнечных бликах, скользивших по стенам и по потолку, и в колыхании кружевной занавески окна, и в тёплых, с журчанием льющихся струях воды, от которых всё тело моё покрывалось мурашками, даже в оранжевой целлулоидной уточке, что ныряла в ногах у меня, как живая, и, конечно, в той пышной мочалке, которая сильно, но ласково тёрла мне спину и с которой, шипя, опадали пенные хлопья... Мать была, словно воздух, которым дышало всё моё существо; и как мы обычно воздуха не замечаем, так же точно и я в своём раннем младенчестве не отделял свою мать ни от себя самого, ни от внешнего мира, о котором я знал пока только одно: этот мир ко мне ласков, он любит меня и никогда не устанет любить.

Куда же он, этот мир, подевался? Где то корыто с оранжевой уточкой, и тот тёплый сумрак, который был так ласков ко мне? Как случилось, что вместо него я теперь окружён этим серым холодным туманом, из которого время от времени, словно мираж, вылетает сова и опять исчезает в тумане? Через какую пробойну, трещину мира вытекла вся его ласка и вся теплота? Почему этот мир стал настолько пустым и холодным?

34

Как-то я заблудился. Места, где я брёл, были мне незнакомы, хотя, на первый-то взгляд, тянулись всё те же пологие склоны холмов, покрытые то белёсыми пятнами ягеля, то берёзовым стлаником. Всё тонуло в туманном седом молоке; а ягель — тот прямо-таки пил туман: казалось, как на дрожжах поднимается этот хлеб тундры.

Я брёл наугад, рассчитав, что уж к морю-то я как-нибудь всё равно выйду и по кромке воды возвращусь к хижине. Но ни берега моря, ни даже привычного шума прибоя я не мог различить, — туман, словно вата, гасил даже звуки, — и я брёл уже просто затем, чтоб куда-то идти и не слишком замёрзнуть. “Всё равно, — вздыхал я с тоской, — никуда мне не выйти ни с острова, ни из тумана...”

Слой мха пружинил; но под этой подстилкой попадались промоины, ямы и валуны, и ничего не стоило подвернуть ногу. Поэтому я старался ступать осторожно и рассматривал серо-зелёный покров тундры пристальней, чем это делал обычно. Вот я увидел два ряда камней и пошёл по ложбине меж ними. Но каково же было моё удивление, когда я заметил, что, двигаясь между камнями, я не просто иду по дуге, но шагаю по очень широкой спирали, словно ввинчиваясь в огромный каменный водоворот! Рукотворность этой конструкции из валунов не вызывала сомнений: только люди могли и придумать, и сделать такое.

“Да это же лабиринт!” — озарило меня. Я читал кое-что о подобных сооружениях. Некоторым лабиринтам саамов — древнейших племён, населявших Поморье, — было не менее пяти тысяч лет: то есть они были старше, чем пирамиды Египта. И я знал о мистике лабиринтов, о том, как влияют они на людей, оказавшихся в них.

Трудно передать мою радость от встречи с лабиринтом саамов. Можно было подумать, что я и впрямь встретил людей, хотя меня от строителей лабиринта отделяло, как минимум, несколько тысячелетий. Но всё же в каком-то мистическом смысле это была встреча с людьми. Пусть они жили давно, но они всё же жили среди этих холмов, мерзлоты, в окружении Белого моря; а значит, и у меня, уже не первого здесь человека, есть шанс спастись. Лабиринт был посланием мне через толщу веков: держись, мол, приятель, не так всё плохо...

Я ступал по ложбине меж рыжих камней — лишайники покрывали их, как позолота, — и казалось: не только я, но и пространство вокруг начинает испытывать головокружение. Всё вращалось и ускользало куда-то; и даже мерещилось, что в этом шаманском кружении мир вот-вот обернётся иной стороной. Тут же вспомнилось мне, как представляли саамы загробную жизнь: они называли её “верхней тундрой”. В этой жизни всё должно было быть наоборот, и земная реальность должна была как бы вывернуться наизнанку. Здесь, в реальности, холодно — в “верхней тундре” тепло; здесь мало пищи и женщин — там того и другого будет в избытке. Здесь человек непрестанно страдает и терпит — зато там, наверху, его ожидает блаженная нега покоя. И в этот “мир наизнанку” северные народы верили так, что даже покойников обряжали в небрежно пошитые, вывернутые наизнанку одежды, потому что там, в “верхней тундре”, куда отправляется мёртвый, всё окажется шитым на совесть и надетым, как надо.

Лабиринт представлялся проходом в иные миры: он уводил от привычных понятий пространства и времени в нечто такое, чему трудно найти объяснение. Пока я ступал по спирали — весь мир, со мной вместе, словно впадал в состояние транса. Вот-вот, казалось, я перешагну роковую черту и уже не смогу возвратиться обратно, в привычный мне мир.

Путь, которым я шёл, — эта вот полоса рыжеватого-зелёного мха между бурых, охряных и серых камней — всё никак не кончался. Странно, что перешагнув невысокую грядку камней и выйдя из лабиринта даже не пришло мне в голову: почему-то я был обязан дойти до конца. С каждым шагом круги лабиринта сужались, и пространство всё уплотнялось. Казалось, что лабиринт свивал само время с пространством в тугой, перекрученный свиток. Лабиринт был словно взрывом наоборот, тем, что не расширяло, а, напротив, сжимало пространство и время.

Наконец, я достиг его центра. Пошатываясь от головокружения, я топтался на месте — дальше идти было некуда — и с недоумением озирался вокруг. Путь, которым я шёл, и то уплотнение пространства и времени, что я ощущал, двигаясь между рядами камней, словно бы обещали мне разгадку всего. Но вот я стоял в середине, на пятачке рыжего мха и видел, что, кро-

ме меня самого, лабиринт не содержит никакой иной тайны и цели. “Так вот оно что, — начинал я догадываться. — Значит, всё дело в том, что мы движемся сами к себе...” И вся наша жизнь вдруг представилась мне большим лабиринтом, по которому каждый бредёт, чтоб достичь некоей цели, но в итоге находит лишь только самого себя, с тем же грузом сомнений, надежд и вопросов, с каким он когда-то отправился в путь. “Да, от себя не уйдёшь, — думал я. — Живи хоть в толпе, хоть на необитаемом острове — всё равно будешь сам для себя и единственной целью, и главной загадкой...”

35

То, что наши дороги ведут нас к самим себе, стало одним из важнейших открытий. А вдруг и на этом затерянном острове я оказался лишь для того, чтобы встретить самого себя, чтоб рутинная обыденная жизнь больше не отвлекала меня от главного: от размышлений о том, что такое я сам?

Действительно, кто такой я — предмет моих размышлений? Разве эти вот грязные, в саже и ссадинах, руки? Или эти вот ноги в разбитых ботинках — ноги, которые я так боюсь подвернуть на камнях, что хожу осторожно и медленно, словно старик?

Вообще мой, так сказать, организм — это был вовсе не я. Нет, он, конечно, был со мной тесно связан, и все невзгоды и хвори, что с ним случались, влияли и на душу. И всё же тело — оно было чем-то вроде одежды, от которой я немало зависел. Но самая суть того странного, что называлось словом “я”, жила совсем иной жизнью, чем эти вот кисти и стопы, колени и локти, спина и живот. Чем больше я думал о себе, тем более я смотрел на собственное тело как бы со стороны. Я мог, например, заговорить со своей рукой или ногой — похвалить её или, наоборот, отругать, — как беседуем мы со старинным знакомым, чьи привычки и хитрости нам хорошо известны, но который всё же способен нас удивить.

Где же тогда был тот “я”, чьё присутствие ощущалось мной постоянно, но было вместе с тем так неуловимо и призрачно? Конечно, не в этом вот теле и не в окружающем мире, хотя, надо сказать, мне порою казалось, что часть меня живёт или в шуме ручья, или в цветах камнеломки, или в этом причудливом нагроможденье камней, — моё существо находилось как будто вне трёх измерений пространства, и именно это не позволяло мне встретиться с ним.

Может быть, суть моего существа находилась во времени, а не в пространстве, и поэтому поиски в мире трёх измерений заведомо были обречены на неудачу? Да, внутри времени искать было много теплее — почти горячо, как сказал бы ребёнок, играющий в прятки. Воспоминания прошлого — и особенно детства — это и был тот путь, по которому мне надо было идти, чтобы встретить самого себя.

Способность моя вспоминать то, что было, здесь, на острове, очень развилась. Возможно, этому помогало однообразие жизни, в которой один день был похож на другой. Надо было хоть чем-то разнообразить монотонность здешнего существования, а что, кроме воспоминаний, могло скрасить мою жизнь? Воспоминания сделались, можно сказать, фактором выживания — не менее важным, чем огонь или пища.

Я словно ещё раз проживал свою жизнь, старательно и подробно припоминая былое. Никогда прежде у меня не бывало возможности отдавать воспоминаниям так много времени, и никогда прежде я настолько не погружался в мир детства и юности. Даже когда я действительно был пятилетним ребёнком, я не чувствовал, не сознавал своё детство с такой обострённостью, как чувствовал и сознавал его здесь и теперь. По сути, детство моё началось только здесь, на необитаемом острове: прежде, в реальности, я прошёл как бы мимо него.

Вообще, только здесь я и начал жить по-настоящему, то есть внимательно, пристально и глубоко. Если раньше я жил как-то автоматически, как заведённая кем-то машина, то теперь я пытался исправить ошибки былого. Я словно бы проживал свою жизнь ещё раз, поправляя её черновик: опускающая длинноты и несуразности, убирая то, что казалось ненужным и скучным, но зато надолго задерживаясь на эпизодах, казавшихся прежде малозначи-

тельными, но теперь, в свете памяти, обретавших загадочность и глубину. Моя память работала, как режиссёр, который из торопливо отенятого, очень сырого, небрежного материала моей прошлой жизни теперь вдохновенно монтировал сложный, живой, увлекательный фильм.

36

Стоило мне, например, посидеть над потоком ручья, над бликами солнца, игравшими на разноцветном галечном дне, как мне вспоминался какой-нибудь далёкий ручей из детства, над которым я мог сидеть долго, зачарованный переменчивым однообразием текущей воды.

Вообще, ручьи, лужи, копанки детства были одной из любимейших тем моих воспоминаний. Мало что я любил так, как любил воду во всех её формах и проявлениях, от чашки чая или какого-нибудь питьевого вокзального бака до этого моря, которое, правда, чуть меня не погубило, но которое всё же кормило меня и от которого я теперь ждал спасения. Можно сказать, что из всех четырёх стихий, среди которых я жил, вода была главной, любимой.

А едва ли не первым воспоминанием детства была весенняя лужа с лягушечьей сизой икрой. Точнее сказать, это была воронка, оставшаяся от бомбёжек войны. Весной её заливало талой водой, и вот в ней-то лягушки и метали икру, а я с упоением разглядывал и эти сизо мерцавшие гроздья, и космы затопленной бурой травы, и яркое синее небо, что отражалось на глади воды.

Ну, сколько мне было тогда? Года, наверное, три, но помню, что эта весенняя лужа представлялась мне словно бы входом в иные миры. Никогда я так остро не чувствовал всю бездонность, таинственность жизни, как тогда, возле этой воронки с водой, под переливы лягушечьих трелей, которые пели громче, чем щёлкавшие по кустам соловьи. Вода, отстоявшаяся после недавних дождей, была совершенно чиста; каждый листик, травинка и ветка на дне выделялись отчётливо. Но конечно, всего удивительней были те изумрудно-лиловые гроздья, что висели в просвеченной солнцем воде: казалось, что это не просто икра, а сгустившийся солнечный свет. Искристые блики от этих клубящихся гроздьев скользили по бурому дну. Это было настолько красиво, что ты сидел рядом с лужей на корточках, как заколдованный, и старательно щурил глаза да наклонял голову сбоку набок — чтоб *оживлять* игру солнечных бликов на дне.

А потом ты протягивал руку, — она погружалась в сияющий холод, — и пробовал взять икряную мерцающую гроздь. Но она так обманно-легко протекала меж пальцев, что рука оставалась пустой, и только волна кольхала прозрачную воду. Ты снова и снова пытался схватить этот ускользающий сгусток, но он не давался. Не тогда ли ты в первый раз ощутил, как красота обманчива и неуловима? В руках оставалась лишь слизь, что тянулась меж пальцев, а зернистая гроздь продолжала парить в ледяной и прозрачной воде...

А какие ругады и трели выводили лягушки?! Переливчатый, влажный, воркующий стон раздавался то справа, то слева. Казалось, что это воркует и стонет сам воздух или сама озарённая солнцем, вода. А вот и певец: лягушачий самец растопырился в толще воды, и над его головой то вздуваются, то опадают белые пузыри. “Как же так? — думал ты. — Как из этого несуразного существа, которое так смешно растопырило лапки, рождается эта прекрасная песня?”

И вот даже сейчас, хоть на острове нет и в помине лягушек, я словно вижу и эту воронку с икрой, и кусты ивняка по её берегам — между жёлтых пушистых шаров напряжённо гудит и толкается шмель, — и словно слышу сквозь крики чаек и вздохи прибойной волны, как томно воркуют самцы тех весенних, из моего раннего детства, лягушек...

37

Моя любовь к лужам, к их волшебному миру день ото дня становилась сильнее. Больше всего поражало в нём то, что этот мир был доступным и близким, — что может быть проще, обыденней лужи? — и вместе с тем он

был загадочным, потусторонним. Поначалу, совсем ещё маленьким, я не понимал того, что вижу, не знал названий существ, что ныряли и плавали передо мной, и не знал ничего об их жизни. Потом, научившись читать, я жадно проглатывал книги, странные для ребёнка: жизнь насекомых была для меня интереснее сказок. Но зато я теперь понимал то, что рассматривал с таким интересом; и тот непрерывно клубящийся хаос живого, что кишел в каждой луже и приводил меня в состояние восхищённого недоумения, обретал имена и получал законы своего существования, и всё, что я видел в мерцающей толще воды, отныне имело свой смысл и своё назначение. Быть может, именно эти часы, что провёл я на корточках, сидя над лужами детства, и сделали из меня биолога: до сих пор я не знаю ничего интереснее, чем следить за таинственной жизнью природы. Просто вместо тех луж, над которыми я сидел в детстве, я стал склоняться над окулярами микроскопов; но, в сущности, это были всё те же лужи, то есть окна в иной, столь же близкий, сколь и недоступно-загадочный мир.

На поверхности лужи обитали вертячки и водомерки. Вертячки, живые как ртутные капли — за каждую чёрную, быстро скользящую, бусиной по воде распускались усы, — вертячки носились азартно-весёлою стайкой, как будто они непрерывно играли, и эта игра им никак не могла надоесть. Я уже знал, что у этих лаково-чёрных жучков глаза поделены на две половины: нижняя смотрит под воду, а верхняя — в воздух, потому что они обитают на границе миров, на поверхностной плёнке воды.

По этой же плёнке скользили и серые водомерки. Они были похожи на лёгкие лодки; разгоняясь толчками по прогибавшейся глади, они именно мерили воду: каждая пара коленчатых лапок оставляла круги на поверхности, и порою казалось, что начинается дождь. Хотя откуда ему было взяться, когда на синеватом небе не видно ни облачка? Мерещилось: передо мной на поверхности лужи идут заведённые кем-то часы самой жизни, её шестерёнки-пружинки без усталости крутятся, подгоняя друг друга, и нет ничего увлекательней, чем разбирать и следить, как работает этот живой механизм.

Жизнь в толще воды была совершенно иная: там обитали жуки-плавунцы и жуки-гладыши. Последние напоминали живые арбузные семечки: они шустро шныряли в зарослях водорослей, всегда исчезая и появляясь внезапно. Под надкрыльями этих жуков серебристо поблёскивал пузырёк воздуха — он был чем-то вроде кислородного баллона у аквалангиста, — и подчас их, гладышей, и можно-то было заметить лишь по этому серебристому блеску.

А ещё в толще лужи, особенно в мелких, прогретых её местах клубились полчища водяных красных блох. Порой вода казалась кроваво-красной — до того густо кишел в ней этот планктон.

А что было глубже, на илистом дне? Там, среди листьев и веток сонно бродили ранатры и скорпионы. Листообразное тело водяных скорпионов переходило сзади в трубочку-дыхальце, очень похожую на листовую черенок; и, если б они не переползали с места на место, скорпионов было бы не отличить от нападавшей в лужу листвы. Донные жители существовали в особом, замедленном ритме: они вяло переползали по чересполосице солнечных пятен, лежащих на дне, и чуть оживлялись лишь только тогда, когда им попадалась добыча. Вообще, тот мир луж, что я наблюдал, был очень жесток. Там шла война всех против всех, там постоянно кого-то подстерегали, ловили и пожирали. Но пока я был маленьким, эта всеобщая битва за жизнь представлялась мне всего лишь забавной смесью игр в прятки и догонялки...

38

Но пора возвратиться — хотя бы на время — в реальность. Нынче утром, пока ждал отлива, я пересмотрел свои записи и заметил серьёзный пробел. Я же ничего ещё не написал о военной базе, на руинах которой нашёл так много вещей, помогавших мне выжить.

Скажем, эти тетради — они тоже с той базы. Как и карандаши, и четыре свечи, и линза, которой я в ясные дни разжигая костёр, и кастрюля, в которой варю себе суп из грибов, мяса нерпы и ягеля, и шинель, под ко-

торой я сплю. А колючая проволока, на шипах которой так удобно подвешивать и сушить окуней? А лист жести, на котором я жарю мидий? В общем, если б не база, вряд ли бы я сидел сейчас обогретый и сытый, и тем более вряд ли писал бы вот эти заметки.

Ещё в бытность свою на Соловках я кое-что слышал о секретной воинской части, существовавшей здесь в годы советской империи. Из-за неё целый район Белого моря был объявлен запретным, и этот давнишний запрет до сих пор старались не нарушать. Мало ли, что базы давно уже нет, — думали, видимо, капитаны судов, стороной обходивших мой остров, — радиация-то, скорее всего, осталась, и ни к чему подвергать экипажи воздействию гамма-лучей.

В самые первые дни, совершая обход зеленеющих низин и обдутых ветрами холмов, я увидел за озером, в ложбине, заросшей берёзами и ивняком, какие-то серые плиты. Но они были настолько безжизненны, что я даже не слишком обрадовался этим, без сомнения рукотворным, руинам: и с расстояния в три километра было видно, что там нет ни души.

Но что удивило меня, когда я приблизился к ним, так это то буйство зелени, что покрывало всю эту свалку из плит, ржавых бочек и серого щебня. Можно было подумать, что здесь не Север, а южные тропики. Многих растений я не мог даже определить: какие-то лианоподобные плети свисали в проёмах черневших дверей и опутывали усы арматуры. Трава под ногами была так густа, что в ней совершенно скрывались бухты колючей проволоки: я зацепился, упал и порвал штанину. Хорошо ещё, кожа осталась цела: лечить рваную рану здесь было бы очень непросто.

Шляпки грибов, красневших в траве там и сям, все были размером с суповую тарелку. “Вот так ботанический сад! — озирался я с недоумением. — И на каких, интересно, дрожжах это выросло?” Мысль о радиации поначалу не приходила мне в голову, и я думал, что причиной всему — защищённость ложбины от ветра. Действительно, микроклимат здесь был много мягче, чем в прочих местах, но одним этим было не объяснить непонятного буйства арктической флоры.

Разумеется, эти руины и заросли были достойны того, чтобы подробно обследовать их, и я начал свои изыскания. Мало того, что я очень рассчитывал обнаружить здесь много полезных предметов; сама возможность коснуться следов человека волновала меня. Казалось, что если люди здесь жили недавно, то почему бы им снова не навестить эти места? Вдруг здесь оставлено что-нибудь ценное, например, документы или приборы, и поэтому вовсе не исключается появление вертолётки или корабля?

Пришла даже мысль: не остаться ли жить на развалинах базы? Но здесь не было главного, что мне было нужно, — морского обзора. К тому же кормиться вдали литорали было бы много сложнее, так что идею о переселении я скоро оставил. Вместо этого я почти ежедневно посещал эти руины, и всякий раз находил что-нибудь нужное. Так я нашёл линзу размером с чайное блюдце — о ней я уже написал — и мог теперь в ясные дни зажигать огонь напрямую от солнца. Нашёл несколько лоскутов толстой полиэтиленовой плёнки, которую тут же использовал для укрепления крыши: теперь в моей хижине было сухо даже в дождливые дни. Листы кровельной жести, пока не придумав, на что их использовать, я сложил неподалёку, и теперь, когда дудла моряна, они грохотали так, что мешали мне спать.

Вообще, чем я больше обследовал базу, тем большее недоумение посещало меня. Сколько сил, сколько средств нужно было затратить, чтобы как-то обжиться на этом клочке мерзлоты посреди Ледовитого океана — и вдруг это всё было брошено и превратилось в руины. По хаосу, что здесь царил, было ясно: покидали все эти казармы, лаборатории, склады и гаражи второпях, как покидают корабль, который должен вот-вот затонуть. Основные матценности вывезти, видимо, всё же успели; зато, мне на радость, оставили множество бытовой рухляди, то есть того, что в моём положении было важнее всего. Здесь валялись кастрюли и мятые ведра, ломы и лопаты, ржавые топоры (правда, без топорница), мотки проволоки и пустые пластиковые бутылки. Чтобы перенести всё найденное к хижине, понадобилось несколько суток и множество ходок.

Но даже и не об этом хотел я сейчас написать, а о тягостном чувстве внезапно сломавшейся жизни, которое не оставляло меня на руинах заброшенной базы. Так, на стенах лаборатории, в разбитые окна которой теперь вместе с ветром свободно влетали и вылетали полярные пуночки, на обшарпанных этих стенах до сих пор пестрели цветные обложки советских журналов. И “Огонёк”, и “Работница” были мне хорошо знакомы, потому что в деревне у бабушки, где я обычно проводил лето, хранились целые подшивки этих журналов, и я, бывало, листал их дни напролёт. А вот теперь те же самые фото, что я видел когда-то, смотрели на меня с ободранных стен. Следы былой жизни — счастливые лица и ясные взгляды, кумачовые лозунги, тучные нивы и панорамы коммунистических строек — я почему-то не мог теперь видеть без слёз...

39

Почему так случилось, что жизнь, только-только набравшая ход, жизнь, которой, казалось, не будет конца и износа, вдруг рассыпалась, словно мираж? В ней ли самой был какой-то изъян, что привёл к преждевременной и внезапной кончине, или это вмешательство неких неведомых, нами играющих, сил? Ведь что я сам, в своей частной и маленькой жизни, что эта вот база, которая строилась здесь на века, а исчезла в какие-то дни, что вся наша страна под названием “СССР”, от которой остались лишь эти вот яркие фото на грязной стене, — мы все испытали воздействие этой таинственной силы.

В восьмидесятые годы прошлого века я был ребёнком, и воспоминаний о жизни советской страны у меня сохранилось немного. Помню майские демонстрации в нашем посёлке, плеск кумача в синем небе да гульки медные выдохи духового оркестра. Но само ощущение праздника помню: мать в этот день всегда пекла пироги и разрешала мне выпить немного вишнёвой наливки. Она была сладкой, густой и такой ароматной, что я до сих пор ощущаю во рту вкус переспелых, в спирту настоявшихся вишен. Так вот и вся та советская жизнь, о которой я знаю немного, представляется мне чем-то вроде вишнёвой наливки, то есть навеки утраченным, сладостным воспоминанием детства.

Гораздо больше осталось в памяти от девяностых годов, то есть от времени краха великой страны. Наш посёлок, в котором когда-то была и военная часть, и фанерный завод, в те годы напоминал руины вот этой заброшенной базы. В заводских цехах гулял ветер, всё, что можно было вывезти или украсть, давно было вывезено и украдено, и даже нам, тогдашним подросткам, и то было больно смотреть на окна без стёкол, на груды щебня и шлака, на ржавеющие скелеты грузовиков и на усы арматуры, торчавшие из раскуроченных плит. Можно было подумать, что наш посёлок бомбили, как бомбили и все остальные посёлки, деревни и сёла огромной страны. Поля зарастали, дома разрушались, ограды валялись в бурьян — со всею страной происходило то же самое, что и с этой вот северной базой.

Отчего я испытывал чувство стыда? Ведь не я же всё это строил, не я потом и разрушал, да и кого я мог здесь, в совершенном безлюдье стыдиться? А вот, поди ж ты: бродя по развалинам базы, я словно искал, перед кем бы я мог повиниться за всё, что случилось. А стыдно мне было, как я понимал, перед всей окружающей жизнью: перед этими вот куропатками, что разлетались сейчас по брусничному склону, перед стадом гусей, тяжело облетающих озеро, стыдно даже перед крикливыми чайками, которых я так не любил и которые мне досаждали, но у которых на совести не было ни предательства, ни малодушия, ни измены самим себе.

40

И всё-таки жизнь была ко мне добра. К концу июля помимо того, что по всей тундре поднялись шляпки грибов, а в низинах созрела морошка, меня ждал подарок посерьёзнее: в тундру вернулась ночь.

Ведь сначала здесь, вблизи Полярного круга, ночей вообще не было, и лишь только в июле бесконечные дни стали перемежаться коротким ночным

промежутком. До этого солнце полого скользило над горизонтом, его багровеющий диск укрывался за остров лишь на какие-то час-полтора, а темноты и вовсе не наступало. И мне всё время казалось: что-то непоправимо испортилось в мире. Словно у солнца сорвалась резьба, и оно, попытавшись уйти за черту горизонта, опять и опять возвращалось на прежний заезженный круг. Тянулся единый и бесконечный, меня совершенно измучивший, день; порой чудилось, что теперь само время не знает, куда ему течь, — оно бродит, как солнце, по кругу, — и день, что начался когда-то, теперь обречён повторяться снова и снова.

“Головокружение времени” — так называл я эту тяжкую пору, когда мир жил без ночи. Да, само время тогда словно бы заболело: оно потеряло своё направление, то есть вектор из прошлого в будущее, и обречённо крутилось в бреду настоящего. Порой даже казалось, что времени больше не существует, что иссяк сам поток, который нас некогда нёс от рассвета до вечера, от одной ночи к другой, тот поток, что выстраивал некую длительность и очерёдность всего, что случается в мире.

Тогда же я понял, что время, в котором мы с вами живём, это не просто стихия, в которую мы погружаемся, но не становимся ею, как, скажем, рыбы, хотя и живут в воде, но никогда не сливаются с ней; нет, наше время — это мы сами. Если вынуть всех рыб, то вода останется той же водою: вода, так сказать, объективна и не зависит от нас и от наших представлений о ней. Но если вынуть из времени всё, что в нём существует, то и само время, возможно, исчезнет. Наше время неотделимо от нас, оно вместе с нами рождается, стареет и умирает, оно субъективно, как взгляд или мысль.

Но об этом — о свойствах и качествах времени — у меня, я надеюсь, ещё будет время поговорить. Речь пока о другом: о возвращении ночи.

Жить без ночи нельзя — я теперь твёрдо в этом уверен. Не знаю, решусь ли я как-нибудь развить эту мысль и утверждать, что нельзя жить без смерти, но вот благотворность, спасительность ночи я испытал на себе. Когда, наконец, солнце стало скрываться на час-полтора, потом ещё дольше, и стало возможно поспать в темноте, возвращение ночи я встретил, как возвращение старого друга. Я был рад, что теперь один день отделён от другого ночным промежутком, и что время нашло, наконец, своё русло и вновь потекло, как ему и положено, из прошлого в будущее.

Вместе с приходом ночи наладился сон. Ведь раньше я засыпал хотя и часто, но спал очень поверхностно: состояния полузабытья, в которые я впадал время от времени из-за сильной усталости, имели немного общего с настоящим, глубоким и освежающим сном. Порою казалось: как солнце не может надолго уйти под черту горизонта, так и я не могу погрузиться в забвение сна, не могу оборвать утомительных связей с реальностью.

41

Как солнце теперь уходило всё глубже за горизонт, так и я в своих снах уходил далеко от острова. Почти каждая ночь становилась путешествием в то изначальное время, когда я был пятилетним или даже трёхлетним ребёнком, и воспринимал всё, что вижу, с недоступной для взрослого свежестью и остротой.

Так, прошлой ночью мне снился дедов сарай. Там старый пасечник хранил свою утварь — рамки для сот, пустые ульи и дымари, — и я мог часами исследовать недра сарая. Порой мне хотелось навеки остаться в прохладном его полумраке. Запах, царивший здесь, — смесь холодного дыма и мёда, вошины и дерева — был для меня лучшим запахом в мире; даже во сне я и то ощущал его сладковатую горечь.

Сквозь щелястую стену пробивались косые лучи августовского солнца; казалось, всё то, что я вижу — тазы и решёта, серпы и корзины из зеленоватой лозы — держится не на гвоздях, вбитых в стены, а на этих вот солнечных иглах, пронзающих сумрак сарая. В косых лучах солнца клубились пылинки; и стремительный радужный проблеск — то синий, то красный,

то вдруг изумрудно-зелёный — промелькивал, если прищурить глаза, в этом медленном коловращении пыли.

Любой из предметов, что я разглядывал или вертел в неуверенных детских руках, казался мне больше себя самого. То есть лопата была здесь не просто лопатой, грабли — граблями, а молоток — молотком, но всё, к чему прикасался мой взгляд или руки, было окутано облаком тайны, являлось не просто предметом, но символом тех бесконечных возможностей и воплощений, что содержал в себе мир.

Вот, забравшись на перевёрнутое корыто, я снимаю с гвоздя старый дедов дымарь. “Что это? — с недоумением думаю я. — Почему эта странная штука словно дышит в моих руках?” Я снова и снова надавливал на его кожистый бок, и меня обдавало медовой прохладой, и дымарь мне казался живым: он словно хотел, задыхаясь, мне что-то сказать, но я пока не понимал его торопливой, одышливой речи...

А вот решето, чей берестяной обод приятно пружинит, поскрипывая в руках, — решето, сквозь мучнистую сетку которого так интересно рассматривать сумрак сарая. Мир, и так-то загадочный, становился туманно-размытым; и я никак не мог выбрать, какой из миров интереснее: тот ли, что виделся сквозь решето, как бы в мягкой вуали, или мир чётких форм и границ?

Продолжая обследовать дедов сарай, я снимал со стены то безмен с хищно загнутым клювом, то коромысло, заклёпки которого были до блеска отполированы дужками вёдер, то медный примус, который сейчас молчалив, но который протяжно и тонко гудит, когда бабушка варит варенье. А вот жестяная коробка из-под селёдки: в ней дед хранит гвозди. Я уже знаю, что самые крупные гвозди дед называет “двухсотки”, и с уважением трогаю один из огромных, рыжих от ржавчины, гнутых гвоздей.

А вот лом-гвоздодёр со смешным именем “фомка”. Он чёрен, тяжёл и словно дразнит меня своим раздвоенным языком. Вот висят деревянные грабли, на зубьях которых ещё шуршат пряди сена. А вот гордость деда, его землемерный аршин, деревянные тонкие ноги которого перемерили столько земли, передвинули столько межей и слышали столько яростных споров...

Вспоминать и описывать то, что хранилось в сарае у деда, я могу очень долго: это был бесконечный и сложный, обильный предметами мир. Но тот солнечный мир, что шумел ветерком там, снаружи, за дверью сарая, тоже манил меня. Навалившись на нежно скрипящую дверь, я раздвигал ярко-жёлтую полосу солнца на земляном гладком полу и шагал в полуденный блеск.

Пробежав вдоль плетня на верхи огородов, я видел, как дед в светлой блузе и шляпе, с которой свисает волна кисеи, стоит с дымарём возле гудящего улья. Издалека не понять: то ли дым, то ли пчёлы клубятся над шляпою деда? Гул пчелиного роя, которому дедов пыхтящий дымарь не давал успокоиться, — этот мерный и слаженный гул словно скручивал всё, что я видел и слышал, в единый, торжественный сгусток. И солнце, и синь наверху, и струящийся лиственный блеск осока, и хриплый, протяжно-заливистый крик петуха, и пчелиный клубящийся гул — всё это было едино, и всё это было как будто мною самим...

Иногда какая-нибудь пчела запутывалась в дедовой бороде, и тогда в мерный, слаженный гул врывалась бужжащая нота, которая резала слух. Но дед спокойно выпутывал из седой бороды непутёвую пчёлку, и вновь воцарялось густое и ровное, словно органная fuga, гуденье.

Дед уже снял с улья крышку и, поставив на землю дымарь, начинал доставать рамки с сотами. Хорошо было видно, как с рамок свисают медовые нити, тягучие и золотые на солнце. Мне хотелось подойти к деду поближе, но я опасался встревоженных пчёл; как зачарованный, я стоял в тени осока, что рос на меже, в странной смеси жары и прохлады, в блаженном оцепенении всех своих мыслей и чувств.

— Ну, что, котурка, не страшно? — кричал дед, наконец-то заметив меня.

— Не-а... — отвечал я неуверенно, сам толком не зная, страшно ли мне или нет.

— Вот и хорошо, вот и славно, — бурчал дед, продолжая высматривать что-то в глубине задымлённого улья. — У нас пчёлы добрые, зря не укусят...

Конечно, немного всё же было боязно; но страх даже как будто сильнее натягивал в детской душе струны радости и восхищения миром: не будь теперь чуть страшновато, не было бы и так хорошо. И опять, как недавно в сарае, хотелось *продлить очарование*: пусть так будет всегда. Пусть дед всегда вынимает медовые рамки, пусть пчёлы гудят и клубятся, пусть солнце искрится в листве осокоря, и пусть я всегда буду тем, кем я был в тот сияющий день...

42

Но чем живее и ярче был сон, тем неожиданней я просыпался. Глаза ещё были полны сонных грёз — пчёлы гудели, а дедов дымарь пыхал сиреневым дымом, — но надо мной уж мерцало и плыло бездонное звёздное небо. Последнее время я часто ложился спать на открытой площадке, и в миг пробужденья мерещилось, что я падаю вверх. Душа обмирала, а бездна, пылавшая звёздами, властно манила меня. Я был не просто ничтожен во всём этом мире, в торжественно-грозном мерцании звёзд, но меня словно не было вовсе. Небо дышало и жило само по себе, казалось, что звёзды по небосводу пересыпает незримая чья-то рука, и звёздное небо, мерцая, само было погружено в некий обморок, длящийся сон бытия. В такие минуты мне становилось так одиноко, так страшно...

Иногда наверху, среди звёзд, я видел мигавшую красную точку летящего на большой высоте самолёта. Он был для меня почти так же далёк и недостижим, как звёзды, но он всё же меня оживлял — этот мерно мигавший, рубиново-красный, плывущий на запад огонь. Взгляд не мог от него оторваться. Сердце мучилось болью, тоской, поначалу я даже вскакивал и начинал кричать в ночь, сам удивляясь безумию собственных криков. Самолёт уплывал, а моё сердце всё никак не могло успокоиться. Шутка ли: ведь я только что видел, по сути, людей — пусть и на недостижимо большой высоте, но я видел тех, от кого судьба так жестоко меня оторвала.

Самолёт пролетал всегда в одно время, перед рассветом. И мне становилось уж зябко лежать на остывшем кострище, тем более что, проведив самолёт, я ещё острее чувствовал свою брошенность и одинокость.

Но живым себя в гроб не положишь, как говорила покойница-бабушка. Ночь с её грёзами проходила, близился день с его беспощадной реальностью, с неотступной заботой о поддержании жизни. Даже встать с едва тёплого ложа — и то было непросто. Ночью, во сне, я как будто расстался с самим собою — душа вольно блуждала пространствами сна, — и теперь приходилось вновь надевать на себя своё тело, как надевают оставленную одежду. Оно было как-то не впору, казалось чужим и неловким. Я ощущал словно некий зазор меж собою и собственной плотью. Руки и ноги двигались трудно и нехотя, с хрустом в затёкших суставах; с каждым вдохом я словно бы приподнимал тяжкий груз самого себя, снова взваливал ношу одинокого существования.

Кряхтя, я вставал на колени, потом поднимался на ноги и начинал оживлять костерок: без огня я бы просто не выдержал злой тоски предрасветного часа. Порывшись в тёплой золе кострища, всегда можно было найти несколько живых угольков. Я сдвигал их поближе друг к другу, клал сверху сухую растопку, и начинал раздувать задремавший огонь. Угли тлели всё ярче, волна нараставшего жара уже ощутимо касалась лица, и вот, наконец, на коричневом завитке бересты начинал трепетать лоскуток дымно-алого пламени. Он торопливо цеплялся за ивовые прутья и вдруг, словно выскочив из-под земли, предо мной начинало плескаться горячее пламя!

Что ж: ещё одна ночь была позади. С одной стороны, я был рад встретить день — в заботах и хлопотах жить было всё-таки легче, но с другой — было жаль ночных грёз, в которых мне удавалось забыть о своём одиночестве. Обогревшись немного у резво трещавшего пламени, я отправлялся к ручью за водой. Тропа меж камней уже была хорошо различима. Звёзды бледнели и гасли, восток всё заметней алел; и вот уж от сочной, мерцающей

россыпи звёзд, покрывавших недавно всё небо, осталась лишь мелко-колючая звёздная пыль, которую скоро должны были смыть прибывавшие воды рассвета.

43

Однажды утром, взглянув на часы, я увидел, что календарь показывает двадцать второе июля, день моего рождения: мне исполнилось тридцать два года.

Вот уж не думал, что придётся когда-нибудь отмечать этот день на необитаемом острове. И я стал прикидывать: что бы сегодня устроить? Друзей-подружек не соберёшь, в любимом пивбаре не посидишь, и вообще, не отметишь день рождения так, как привык. Но и прожить этот день просто так, в обыденных хлопотах, я не хотел. “Ещё неизвестно, доживу ли до следующего такого же дня, — говорил я себе, — так что неплохо бы это дело отпраздновать. А вот что — не устроить ли баню?”

Идея мне понравилась. Недавний шторм выбросил на побережье так много плавника, что топлива мне хватало с избытком; а на развалинах базы я нашёл здоровенный чехол из брезента — из него я мог сделать подходящую кровлю для бани. И камней, и воды было тоже достаточно, даже странно, что мысль о парилке не пришла мне в голову раньше.

Теперь надо было решить, как лучше сделать: перенести нагретые камни в тот чум, что я сплету из ивовых прутьев, накрытых брезентом, или перенести сам этот чум на кострище с камнями? Второй вариант показался мне проще.

Давно я не работал с таким удовольствием. Первым делом отобрал два десятка камней, каждый размером с голову нерпы, между тем как сами нерпы с любопытством выглядывали из моря, наблюдая за мной, и сложил из них горку. Затем, обложив камни дровами, запалил хороший костёр.

Пока грелись камни, — а на это должно было уйти часа три, — я занялся баннным каркасом. За хлыстами берёзы и ивы пришлось сходить к озеру: там, в низине, деревья уже не стелились по рыжим камням, а были ростом с меня. Заодно, очищая ножом берёзовые хлысты, я набрал веток для веника: он получился коротким, но пышным.

Чем связывать прутья, сплетая каркас, я особенно долго не думал: ивовые тонкие ветки, а ещё лучше — корни отлично годились для этого. Недаром поморы шивали корнями-вицами даже борта своих кочей, и эти борта держали не только удары волн, но даже удары об лёд. Заострив самые длинные прутья, я воткнул их по кругу; затем, пригибая, связал их попарно, и уже был намечен каркас будущей бани. По окружности у основания я заплёл кольцо из лозы — так, что прутья теперь, даже если их вынуть из грунта, не распрямлялись, а сохраняли форму округлой корзины.

Пока я работал, а костёр жарко и весело полыхал на морском берегу, я думал о собственной жизни, о том, что в ней было за те тридцать два года, что я жил на свете. Посмотришь с одной стороны: тридцать два — это суший пустяк, только самый разгон перед жизнью, которая ещё только будет когда-то и где-то (и я, как ни странно, но даже сейчас всё равно верю в это “когда-то” и “где-то”). А с другой стороны, тридцать два года — что-то настолько огромное и богатое по содержанию, что нужно, кажется, ещё тридцать два года, чтобы подробно припомнить былое. И вот именно остров — спасибо ему! — позволил мне это почувствовать, он показал мне способности человеческой памяти. Уже одно детство, которое я вспоминаю так часто и так благодарно, кажется совершенно бездонным кладезем воспоминаний. Когда я — над листом ли бумаги, или просто так, сидя у моря и глядя в его фиолетово-сизую даль, — вспоминаю какую-нибудь картину из детства, то кажется: стоит сделать ещё одно внутреннее усилие — я действительно окажусь в мире детства, и жизнь моя снова продолжится с той самой точки, в которую мне только что удалось возвратиться. И потому лишь я не сделал последнее это усилие, что до сих пор не мог выбрать: в какую же именно точку, в какую минуту из детства хочу я вернуться? Туда ли, где

тихо течёт ивняковая речка, где взмыкнул телёнок, пасущийся на лугу, и где серые гуси скользят по зелёной, подёрнутой пухом воде? Или туда, где по рыжим межам лежат ярко-жёлтые тыквы и сытно пахнет картофельной ботвой, туда, где звон вёдер — в деревне копают картошку — мешается с женскими голосами и с синим дымком костерка, что стелется над огородами?

Или может, мне хочется вновь оказаться в уютном свином закуте, где так кисло и вкусно пахнет толчёной картошкой, крапивой и корками хлеба — признаться, я нередко запускал в чугунок с этим месивом руку и объедал поросят, — где в щель загородки я вижу то умный внимательный глаз, то подвижный и мокрый пятак поросёнка и где слышен топот копыт по настилу сарая?

И так было со всем: зацепившись за какую-нибудь достоверно-живую подробность, память тут же воскрешала картину из прошлого. В этой способности памяти было даже что-то пугающее: а ну, как она сотрёт всё, что есть в настоящем, — и эти скалы, и море, и нерп, и даже меня самого? Иногда я буквально боролся с собственной памятью, прорываясь из прошлого снова в реальность: так неотступно и вязко паутина воспоминаний опутывала меня.

44

Каркас для парной был готов. Он получился невысоким: внутри можно было сидеть только на корточках. Зато брезента как раз хватило, чтобы накрыть каркас полностью, без прорех и просветов. Щель для входа я нарочно оставил там, где края брезентового чехла нахлёстывались друг на друга, так что, в конце концов, у меня получилась палатка, в которой можно было не только париться, но и жить.

Теперь пора было разбираться с костром и камнями. Последний раз я подобросил дрова примерно час назад; они прогорели, и лишь несколько головёшек ещё тлели меж серых камней. Чтоб не остаться совсем без огня, я перебросил недогоревшие головёшки на новое место, и развёл костёр там: живой огонь был мне нужен, чтобы нагреть на нём воду.

От горки горячих камней и от углей, красневших меж ними, шёл такой жар, что слезились глаза. Я старательно, венником обметал раскалённые камни; листья на глазах побурела, пожухла, и я порадовался тому, что предупредительно сделал ещё один веник. Чтоб не обжечь себе пятки о случайно оставшийся на земле уголёк, я набросал рядом с каменкой берёзовых веток: получился пахучий настил.

Покрытый брезентом каркас оказался довольно тяжёл: пришлось поднатужиться, чтобы накрыть им горячую каменку. Зато, когда я запахнул щель на входе и навалил камней по окружности банного “чума”, брезент вздулся, словно воздушный шар. Как раз закипела вода; шурясь от жара, я поставил кастрюлю поближе к камням и стал раздеваться.

Внутри, под брезентовым стогом, было темно, очень тесно и жарко. “Как в аду”, — промелькнула короткая мысль. Но прошло пять, потом десять секунд, и я понял, что жить можно даже в аду. Пот по мне тёк ручьями и капал на сухо шуршащие листья. Толстый брезент пропускал мало света, но всё же, приглядевшись, я мог рассмотреть пирамиду камней — над ней воздух дрожал и казался густым, словно масло, — мог рассмотреть перекрестья каркаса с узлами корней, кастрюлю с горячей водой и корявенький ковшик из жести.

Притерпевшись к жару, я решил плеснуть воды на камни. Но лучше б я не торопился. Вода почти не коснулась камней: с глухим хлопком она отскочила уже в виде пара обратно — и огненный сумрак, мгновенно сгустившись, толкнул меня в грудь и в лицо. Не выдержав жара, я вылез из-под брезента и побежал окунуться в ручей. Ледяная вода мигом смыла угар и усталость. “Родившийся заново”, — говорят про таких, каким был я в эту минуту. Розовый, мокро блестящий, я шёл назад к бане, чувствуя, как нестерпимо зудит моё тело и как хочется по сильнее отхлестать себя венником.

То ли я по привычке, то ли каменка чуть подостыла, но в парилке уже можно было пошевелиться. Осторожно, касаясь кожи одними листьями, я по-

двигал туда-сюда веником и почувствовал, как весь покрылся мурашками. Запах берёзовых листьев окутал меня. Понемногу я входил в раж: вот я уже иступлённо хлестал себя по бокам и спине, выл и стонал, а банный каркас ходил ходуном. Вспокошённые чайки кричали снаружи: они никогда не слышали такого рычания и воя. Моё иступление дошло до того, что я чуть не упал на горячие камни, — хорошо, что ухватился за перекладину чума, и она, хоть и треснула, но удержала меня.

Снова сбегал к ручью, упал в него и, освежённый, вернулся в парилку. Теперь, когда был утолён первый зуд, я смаковал каждый миг. Не спеша зачерпывал ковшик воды, выбирал на камнях ещё не залитое место и бросал туда кипяток. Раздавался короткий хлопок, сумрак вздрагивал, и волна пара, накатив от камней, обжигала сначала лицо, а потом, отразившись от влажной брезентовой стенки, толкала меня в спину. Это было приятно: пар был уж не огненным, а ласкающе-мягким.

Я парился, что называется, до упора. Каменка, разумеется, остывала: камни сначала протяжно шипели, когда на них попадала вода, а потом и совсем замолчали. Но я до последнего медлил расстаться с парилкой и не хотел одеваться, поскольку чувствовал: вряд ли когда ещё мне будет так хорошо.

Наконец, я оделся, истратив на это последние силы, и долго сидел возле бани, подложив под себя сухой веник. Я просто дышал — вдох, потом медленный выдох, потом снова вдох — и смотрел на всё то, что было вокруг, просветлённо-пустым и бессмысленным взглядом. Лицо моё в эти минуты напоминало, скорее всего, лицо идиота. Я просто сидел и дышал, и смотрел в никуда, и мог бы, казалось, сидеть так бесконечно. Голова и душа мои были пусты, и время текло сквозь меня, не встречая сопротивления: во мне не было ни единой мысли, желания или воспоминания, о которое оно, время, могло бы запнуться и пустить тогда некую рябь, говорящую о его, времени, ходе и о моём пребывании в его потоке. Казалось, что больше нет разницы между мною самим и тем, что меня окружает, но есть лишь глубокое, как тишина или сон, равновесие мира...

45

Не помню, что меня вывело из блаженного оцепенения: может, плеск моря о камни или резкий крик чайки, скользнувшей над самой моей головой? Но в душе оставалось ещё очень много покоя.

Это странно, но я почти не участвовал в том, что делал. Словно сам собой зажигался костёр, и кастрюля с водой над огнём повисала тоже сама, и даже мои непривычно белые руки тоже сами собой что-то чистили и нарезали. Я же сам — тот, кому нынче исполнилось тридцать два года, но в чьём реальном присутствии я всё сильнее сомневался, — я был как-то рассеян повсюду. Часть меня была в этом ветре, в накатах приборной волны, которая мягко ложилась на камни, а когда отступала, шумя, то над каждым из них закипал небольшой пенный бурун. Часть меня была с чайками, чьи немолчные крики были словно бы частью окружавшей меня тишины; я был частью этой жёсткой травы, что дрожала на косогоре под ветром, а на склоне его там-сям краснели пятнистые мухоморы...

В общем, мне было так хорошо, как давно не бывало. Я был растворён в окружающем мире, и в то же время весь мир целиком помещался во мне, в моём тающем взгляде и в разомлевшей, податливой и оттого безгранично широкой душе.

Но бесы не дремлют. К тому же, на острове я был единственной — а потому и желанной — добычей для них. Ну, кто, кроме этих врагов человека мог подсунуть мне эту безумную мысль: сварить мухоморы?

Было так. Я сидел у костра и помешивал суп из ламинарии, мидий и криля. Есть, правда, почти не хотелось — покой, что царил в душе после парилки, изгнал даже голод, — и я готовил еду просто так, по привычке. Костерок горел, солнце грело, гладкое море то чуть поднималось, то опускало меж чёрных камней, и в мире, и в моей разомлевшей душе царила одна благодать.

Но вдруг я подумал: “Как же так? У меня день рождения, а я сижу трезвый?” И тут же я будто услышал подсказанный кем-то совет: “А ты возьми да свари мухоморы!”

“Мухоморы? — удивился я собственным мыслям. — Но они ж ядовиты...” “Да ладно, не преувеличивай! — продолжал кто-то бодро меня уговаривать. — Ты что, не читал про шаманов? Отвар мухоморов — отличное средство: оттянешься, парень, по полной программе!”

Я был таким разомлевшим, податливым, мягким, что мне было лень спорить с собственным внутренним голосом. И я пошёл на поводу у себя самого. Сняв суп с огня, чтоб он настоялся, я побрёл собирать мухоморы. Никакого труда это не составляло: их шляпки краснели повсюду. Я выбрал поддожины самых красивых и крепких; пунцовые шляпки, покрытые белыми струпьями, пахли остро и пряно. Правда, сомнения время от времени возвращались ко мне. “Может, не стоит?” — раздумывал я, шагая по тундре с грибами в руках. “Да ты что?! — возмущался кто-то внутри меня. — Не так уж и много у тебя здесь, на острове, развлечений. И потом, ну, чего ты боишься? Выпьешь пару глоточков, посмотришь, как действует...”

И так вот, беседа сам с собой, я наполнил грибами консервную банку, подлил воды и повесил её над огнём. Скоро вода забурлила, и розоватая пена, поднявшись, стала падать в кипящий костёр. Мне показалось: сегодня огонь горит как-то иначе, сложнее и тревожнее, чем всегда. Густое и дымное пламя то взбиралось по сучьям, то прыдало вбок, то стреляло чадящими искрами, и в этой поспешной, усердной работе огня содержалось словно какое-то послание для меня, разгадать смысл которого я пока что не мог.

Откуда мне было знать, сколько времени надо варить мухоморы? “Полчаса, думаю, хватит”, — рассудил я и, сочтя смутное беспокойство, которое тлело во мне, проявлением голода, решил похлевать пока супчика.

Супец оказался отменным: наваристым, в меру душистым, густым. Ламинария всегда отдаёт лёгким привкусом йода; но мне этот привкус напоминал лабораторию и институт, напоминал прежнюю жизнь и поэтому был, скорее, приятен. Причмокивая от удовольствия, я дочёрпывал суп перламутровой ложкой, которую смастерил из створки мидийной раковины. Знать бы, что скоро всё то, что я съел, окажется выброшенным на камни, я бы, конечно, оставил суп на потом. Но мы, к сожалению — или, может быть, к счастью? — не знаем даже того, что нас ждёт через пару минут.

Мухоморное варево тихо бурлило, и размякшие шляпки грибов розовели среди поднимавшейся и опадающей пены. Вокруг как-то странно темнело. Подняв голову, я увидел, что с моря натягивает грозу. Фиолетово-чёрная туча своим отвисающим брюхом касалась черты горизонта, а перед тучей быстро скользили рваные серые клочья, как будто бы пух и перья того, кто попал под тяжёлую руку грозы. Ветер то налетал, поднимая пыль и сор, и уносил его в тундру, то вдруг стихал, и тогда даже чайки смолкали: наступала звенящая тишина.

Пора было снимать банку с огня. Я поставил её на ровное место и стал ждать, пока зелье остынет. Аспидно-чёрная туча уже занимала полнеба, а фиолетово-чёрное море внизу казалось её отраженьем. Грома не было слышно, но яркие проблески молний уже начинали проскакивать между морем и небом. Мой костёр словно чувствовал эти далёкие сполохи: при каждой нервической вспышке вдали пламя костра содрогалось, и из него вылетали дымящие искры.

“Не пора ли?” — подумал я и осторожно поднёс банку к губам. Когда я её наклонил, один из грибов выскользнул, шлёпнул меня по губам, и я ощутил словно влажный, горячий, бесстыдно-живой поцелуй. Отвар оказался довольно приятным на вкус: он был сладковат и немного горчил. Я сделал пару глотков и стал ждать, как подействует зелье.

Долго — или мне так показалось? — ничего особенного не происходило. Костёр пылал так же ярко и дымно, а далёкие молнии озаряли морской горизонт. Но вот я заметил, что цвет пламени стал как-то странно меняться: он был уж не алый, как раньше, а рыжий, как женские волосы, которые треплет порывами ветра.

Костёр горел всё беспокойнее: в нём словно что-то рождалось. Мне мерещилась в пламени то мелькнувшая рыжая прядь, то изгиб женской шеи: казалось, огонь хлопотливо трудился, пытаясь создать чей-то образ, и сам же мгновенно стирал то немногое, что успел набросать.

Я отпил ещё несколько сладко-горьких глотков и даже случайно сглотнул склизкую шляпку гриба. Гроза подходила всё ближе, вокруг быстро темнело, но я, увлечённый игрою огня, почти перестал замечать окружающее. Глазам открывались всё более странные вещи. Атласные, дымные кисти огня рисовали бесчисленный ряд женских лиц и дрожащих грудей. Казалось, костёр так же грезит о женщине, как и я, зачарованный пляской огня.

Было весело и жутковато. Сердце так билось, словно я не сидел у костра, а куда-то бежал. Языки пламени уже не трепетали, как прежде, но уверенно сильно огонь рисовал тот единственный образ, что нужен был в эту минуту: скользящий и зыбкий, но всё же узнаваемый лик Долорес...

46

...Сколько же времени прошло с того вечера, когда я попросил у неё огонька? Года, наверное, три; но сейчас все подробности встречи отчётливо вспомнились мне. Да, я познакомился с Долорес майским вечером у ресторана “Заря”. Я присел на лавочку в сквере, чтобы перекурить. Курил я вообще-то редко, только в компании, поэтому собственной зажигалки у меня не оказалось.

Но, как по заказу, на лавочке рядом сидела курильщица: в первый миг я заметил только её рыжие волосы да худощавые щиколотки.

— Девушка, — обратился я к ней. — Огоньку не найдётся?

Незнакомка обернулась ко мне, посмотрела с живым интересом и подавала зажигалку. Я, видно, что-то не то и не так в ней нажал, потому что передо мной полыхнул целый газовый факел!

— Ч-чёрт! — я отдёргнул голову. — Так и поджариться можно...

В глазах незнакомки мелькнуло два отблеска пламени, и она засмеялась:

— Осторожнее, фокусник! Давай, помогу...

Она взяла у меня зажигалку, и я прикурил из её рук, сухих и горячих. Какое-то время мы пускали дым молча. Из городского парка слышалась музыка, а небо над тёмными липами густо алено. Давно я не видел такого огненного заката.

Я курил и поглядывал на курившую рядом женщину. Красавицей её трудно было назвать; но её худощавые голые ноги, короткое красное платье, её сигарета в нервных руках и карий насмешливый взгляд — всё это меня волновало. Отчего-то я принял её за проститутку и нагло спросил:

— Слушай, а сколько ты стоишь?

Незнакомка вскинула брови, в глазах блеснул гнев, но тут же она рассмеялась:

— Ты что же, решил, что я шлоха? Ну, спасибо, порадовал...

Её грудной, низкий смех взволновал меня ещё больше. Вдруг сухая, горячая кисть легла мне на руку.

— Пойдём, ты мне тоже понравился, — сказала она и решительно встала.

Всё, что случилось потом, в её гостиничном номере, было больше похоже на драку, чем на любовную сцену. Одежда трещала, пуговицы отлетали, как пули, а наше дыхание становилось всё более хриплым. То, что в любовных романах принято называть “огнём страсти”, охватило нас с грубой силой...

...Уже после, когда мы с ней, ещё трудно дыша, лежали друг подле друга на красном ковре, и я отирал со лба пот тыльной стороной дрожащей ладони, я спросил:

— Как тебя звать?

— Долорес. А тебя?

— Олег.

— Вот и познакомились, — засмеялась она, и я близко-близко увидел её совершенно шальные глаза.

— Но почему — Долорес? — ничего, кроме глупых вопросов, не приходило мне в голову. — Ты что, испанка?

— Да, испанка, наполовину, — она резко встала. — Ну, ладно, я в душ. Не скучай!

И её гибкое тело, всё в веснушках по белой спине, проскользнуло за дверь. “Вот это женщина! — думал я с восхищением и почти со страхом. — Огонь!”

Мелькнула, не скрою, мыслишка: а не унести ли мне ноги, пока Долорес плещется в душе? Было предчувствие, что я прикоснулся к стихии, способной меня испепелить; но страх был ничто по сравнению с тем желанием, что она распалая во мне.

Вот она появилась опять, и её обнажённое мокрое тело словно бы исказило пространство и мой затуманенный взгляд. Я не видел уже ничего, кроме влажного рта и смеющихся глаз, кроме острых грудей Долорес...

(Следующие восемь страниц дневника наполнены столь откровенно порнографическими описаниями встреч автора с некоей Долорес, что мы не решились публиковать эту часть рукописи. — Примечание издателя).

47

Впрочем, зачем я всё это пишу? Кому я пытаюсь сейчас рассказать, какой была эта рыжая bestия и что мы с ней вытворяли? Читателей у меня нет и не будет; а мне самому вовсе незачем перечитывать эти страницы, чтоб вспомнить те три сумасшедшие недели, которые я провёл с Долорес. Мне достаточно посмотреть в пламя костра, чтобы тут же вспомнилось всё: и её хриловато-прокуренный голос, и бешеный взгляд карих глаз, и гибкое, нервное тело, и то, как она по-кошачьи орала, царапалась, выла, когда нас с ней корёжили общие судороги...

Тогда, у костра, мои мысли всё больше путались и заплетались; путалось и восприятие мира. Всё рассыпалось на части, бессвязные пятна и линии. Чётко виден был только костёр и та женщина, что танцевала в огне. Как саламандра, она непрерывно рождалась из пламени; когда же порыв налетавшего ветра бросал огонь вбок, казалось, что Долорес, окружённая роем клубящихся искр, вот-вот оторвётся от пламени и продолжит свой танец на голом морском берегу.

Дальнейшее помню урывками, да и то не уверен, что это действительно было, а не привиделось мне. Явь и грёзы были так перемешаны, что скорее я б усомнился в реальности камня, на котором сидел, чем в реальном присутствии женщины, пляшущей меж языками огня. Да и сам я — на самом ли деле я был или только приснился кому-то? Что такое мой взгляд, мои мысли, что такое, в конце концов, эти заметки, как не иллюзия существования, которому, тем не менее, тоже хочется стать достоверно-реальным?

Возможно, виною всему был не только отвар мухоморов, который я пил, но и страшная эта гроза, вдруг накрывшая остров. Лишь только аспидно-чёрная туча своим отвисающим брюхом напоролась на береговые утёсы, как из её утробы посыпались молнии. Белые, синие, красные, они с треском, похожим на треск разрываемой ткани, разбегались по скалам, шипели в воде, ударяя в свои отражения, жгли ковёр тундры... Но мне совсем не было страшно. Хаос, в который гроза превращала весь мир, представлялся мне чем-то вроде игры, к которой я сам имел отношения не больше, чем зритель в партуре театра к тому, что творится на сцене. Гребни утёсов порой озарялись синееющим блеском: как будто на острые скалы надеты мерцающие короны. Я вспомнил, что их называют огнями святого Эльма, и, как ребёнок, радовался этой иллюминации, озаряющей всё побережье неверным, кладбищенским светом.

Дождя я не замечал, как не замечал его, кстати, и ярко пылавший костёр. То ли его защищал нависающий выступ скалы, то ли плавник был настолько пропитан мазутом, но буря лишь распалая огонь. Порывы ветра трепали и дёргали пламя, пластали его по земле. Костёр продолжал рисовать

языками огня образ женщины: я видел мелькавшие бёдра и груди, колени и локти, и огненно-рыжие космы волос...

Когда три подряд молнии вонзились в шипящую землю совсем уже близко к костру, и порыв ветра бросил пламя на камни, мне показалось, что Долорес выпрыгнула из огня и скользнула во тьму. Я вскочил, не сводя с неё глаз, и погнался за бледно мерцающим призраком. Он то исчезал, то опять возникал, уводя меня в ночь. Тьма вокруг содрогалась; камни дымились и трескались от ослепительных молний, хлеставших по ним. Я не чувствовал ног и не чувствовал камней, о которые спотыкался. Призрак женщины, столь же мерцающе-зыбкий, как и горящие по утёсам электрические короны, вёл меня дальше и дальше. Порой я почти настигал Долорес и протягивал руку, чтоб ухватить её рыжие космы, но рука пролетала насквозь, и вот уж её обнажённое тело плясало на дальней скале. Мне хотелось увидеть её лицо, посмотреть ускользавшей колдунье в глаза, но стихия, увы, не имеет лица...

Обезумев, я гнался за призраком; желание было настолько сильнее меня, что тянуло меня за собой на слепом поводу. Долорес то плясала вдали, то совсем исчезала, и я лихорадочно шарил глазами, ища путеводный мираж. Вдруг я кубарем покатился куда-то, ударяясь спиной, головой и локтями о камни. Потом был удар, от которого стихла гроза и погасли слепящие сполохи молний. И вот в этот-то миг, в тишине и во тьме Долорес наконец-то склонилась ко мне. Я ощущал её кожей, губами, руками, всем телом; никогда прежде я не слышал такого отчаянно-резкого, долгого женского крика, который, когда уже стало светать, превратился в назойливый, режущий вопль беспокойно кружащих над берегом чаек...

48

После этой истории с мухоморами что-то во мне переменилось. Я стал жить как-то задумчивей, тише, словно всё время прислушиваясь к себе самому.

Внешних событий было по-прежнему мало. Я всё так же собирал плавник, мидий и водоросли, так же ходил удить окуней или возился у хижины и, конечно, следил за пустынным по-прежнему морем. Зато внутри меня происходили важные перемены. Вообще, я всё больше жил внутри себя самого, и всё менее сил и внимания тратил на то, что пока оставалось снаружи.

Вот это “пока оставалось” — не просто слова, которые я написал машинально, для гладкости фразы; нет, я теперь знал: всё то, что пока составляет моё окружение, — все эти скалы и чайки, и море, и лужи, блестящие по литорали, — когда-нибудь тоже войдёт внутрь меня, станет воспоминанием (может быть, ляжет на эти страницы), и тогда обретёт для меня совершенно иное значение. Да и сами явления или предметы, переходя из внешнего мира во внутреннее пространство памяти, всегда изменялись. Что-то в них неизбежно терялось, но что-то, напротив, проступало рельефнее, ярче; реальный предмет и его воскрешённая в памяти копия всегда представляли собой нечто различное, но, тем не менее, сохранявшее напряжённо-живую взаимосвязь.

Затрудняюсь сказать, есть ли это особенность только моей или свойство человеческой памяти вообще. Поразительно: то, что попало когда-то в её тайники, лабиринты и недра не просто осело там мёртвым, недвижимым, пылящимся грузом, но продолжало свою сокровенную жизнь. Я теперь понимал: наша память сотворяет из прошлого нечто иное, чем это прошлое было в реальности; а вот эти страницы, на которых я, в меру сил, пытаюсь отобразить этот сложный процесс — попытка отображения прошлого как бы ещё в одном зеркале, которое тоже, конечно, привносит свои искажения. И реальность в такой череде отражений может быть искажена до неузнаваемости. Но с другой стороны, воскрешение прошлого в памяти, а потом закрепление в тексте придаёт всем предметам или событиям прошлого совершенно особую, превосходящую их полноту.

Иными словами, и память, и эти страницы, которые я покрываю словами и строками, — это всё, вместе взятое, есть сотворение прошлого, есть

живой, увлекательно-сложный процесс моего вмешательства в то, что давно миновало, но что я, тем не менее, могу прожить как бы заново.

Так что же такое есть прошлое, как не результат наших воспоминаний о нём? Не будь нас, не будь нашей памяти, может быть, прошлого вообще бы не существовало? Может быть, и само время в его столь привычном для нас триединстве — прошлого, настоящего и будущего — есть всего лишь удобная форма для размещения наших отображений реальности, что-то вроде страниц дневника, на которой мелькнувшая мысль или образ ложатся в виде развёрнутой, длящейся фразы, а на самом-то деле нет никакого будущего или прошедшего, а есть лишь одно вечно длящееся настоящее?

От мыслей подобного рода то делалось страшно: а не теряю ли я, в самом деле, рассудок? — то, напротив, казалось: вот именно то, о чём я здесь размышляю, и есть самое главное и неотложное дело. Не окажись я на этом вот острове, и не нуждайся так в воспоминаниях, как в единственном избавлении от одиночества, способности памяти вряд ли бы настолько развились во мне. Но как слепой слышит много лучше, чем зрячий, так и мои способности к воспоминаниям в силу особенных, выпавших мне обстоятельств сделались много сильнее. С кем я мог поговорить здесь, на необитаемом острове? Только с собственной памятью. Кого из людей я мог здесь повидать? Только тех, о ком вспоминал. И я всё чаще и чаще стал уходить не на промысел в тундру, не к озеру или к развалинам базы, а бродил по тем тропам, что сложно ветвились внутри меня самого.

49

Поскольку здесь, на острове, остро ощущалась нехватка многих нужных предметов, я часто вспоминал как раз то, чего мне не доставало. Пусть это был даже суший пустяк — булавка или иголка, брючный ремень или чайная чашка, но память, натренировавшись за долгие дни и недели, воссоздавала недостающее с такой достоверностью, что порою казалось: то, о чём я вспоминаю, уже почти есть у меня.

Вот, скажем, чайная чашка. Конечно, это не нож, не топор и не зажигалка — не предмет первой необходимости, но мне очень не доставало её. Травяной чай приходилось цедить из консервной банки. Горячая желье обжигала губы и руки, а во рту оставался железистый вкус. Не раз вспоминал я любимую чашку: она была лёгкой, почти невесомой, и по её синеве, словно иней, белел тонкий узор. Цвет чашки менялся от тёмно-синего до нежно-небесного, если поднять её на просвет против лампы или окна. А тонкость фарфора была такова, что рука ощущала даже касанье чаинки о стенки — чаинки, кружащиеся в дымном, оранжево-ярком настое...

Иногда между диском янтарного чая и стенками чашки начиналась забавная световая игра. Тень чайной ряби скользя на влажном исподе фарфора, а золотая кайма, что лежала по бортику чашки, отражалась, дрожа, на поверхности чая. Даже когда чай был выпит, тёплая чашка хранила его аромат. И, случалось, ты долго держал её возле лица, вдыхая уже и не столько слабеющий запах чая, сколько память об этом живом аромате.

Но главное даже не в том, что я здесь, среди мшистых камней и лишайников тундры, вспоминал эту чашку так подробно, как мало о чём вспоминал. Главное в том, что тогда, когда я держал эту чашку в руках, я не испытывал даже малой доли того, что чувствую и вспоминаю теперь. То есть в реальности я так и не встретился со своей любимой чашкой, а рассеянно и торопливо прошёл как бы мимо неё. Зато теперь, воскрешая её в своей памяти, я вижу всё много подробней, внимательней, глубже; я, можно сказать, и обрёл-то её лишь тогда, когда потерял.

И не с одной только чашкой происходило такое. О многих предметах — и, главное, о людях — я мог бы сказать: никогда бы я их не узнал по-настоящему, если бы не потерял. Поразительно: то, что я здесь оказался лишённым так многого, обернулось, каким-то загадочным образом вовсе не потерей, а таинственно-необъяснимой встречей.

“Лучше поздно, чем никогда”, — утешал я себя самого, когда думал о матери. Только теперь, когда она уже умерла, а я оказался на этом вот острове, я представлял себе мать так отчётливо, ясно, как никогда прежде. Раньше, признаться, не так уж часто я о ней вспоминал; но даже когда мне случалось подумать о матери, то вместо её живых глаз и лица я видел лишь некий расплывчатый образ, как бы смутное облако, сквозь которое образ матери так и не мог проступить достоверно и ясно.

Вообще, очень трудно представить лицо человека, рядом с которым живёшь, или, по крайней мере, часто видишься на протяжении многих лет. Скорее запомнишь и чётко представишь лицо человека, которого видел-то, может, всего только раз, но который зато отпечатался в памяти, как фотоснимок. А вот тот, кто сопровождал тебя почти всю жизнь, кто старел и менялся по мере того, как менялся ты сам, он и будет тебе представляться, как некое облако, обобщившее множество разных обликов и состояний. Человек, пока он живой, так же неуловим и расплывчат, как сама жизнь; лишь разлука и смерть могут остановить непрерывный поток этих зыбких, перетекающих друг в друга образов. Да, лишь разлука и смерть позволяют нам вспомнить кого-то отчётливо, в полную силу, лишь они позволяют нам настоящему встретиться с тем, с кем они нас разлучили.

Вот и о матери я вспоминал все последние дни с такой силой и ясностью, словно впервые взглянул на неё внимательным, пристальным взглядом. Чаще всего вспоминались последние годы, когда мать была уже старой и грузной, но удивительно, что с годами лицо её становилось как будто всё более юным: мать смотрела на всё окружающее с выражением радостного недоумения. И так было странно на старом, оплывшем, морщинистом этом лице видеть это сияние влажных, слезящихся глаз и застенчиво-радостную улыбку. Маска суровости, которую мать носила всю жизнь, в последние годы спадала, и матушка словно опять превращалась в ребёнка, в десятилетнюю девочку. Даже ко мне она порой относилась, как к старшему, как к человеку, узнавшему что-то такое о жизни, что от неё самой скрыто завесою тайны.

Несмотря на ту маску суровости, что мать так привыкла носить, в посёлке каждому было известно, что нет человека добрее, чем Марья Ивановна, фельдшер здравпункта. И не только в её кабинете, пропахшем лекарствами, но и в маленьком домике, где мы с ней жили вдвоём, отбоя не было от посетителей. С утра и до ночи к ней заходили соседки или просто знакомые, а таких был целый посёлок. Кому-то была нужна медицинская консультация, кому-то — рецепт, как солить огурцы (матушка славилась как мастерица готовить), кому-то — просто житейский совет. Но каждый, по сути, хотел одного: побыть рядом с добрым и прямо-таки излучающим доброту человеком.

Мать была даже не очень-то и разговорчива. Она большей частью лишь молча сидела, сочувственно глядя на собеседницу, да кивала седою своей головой. А та, что зашла к Марье Ивановне на огонёк, без умолку говорила о пьянице-муже, о детях, которые совершенно отбились от рук, о несправедливом начальстве или о собственном никудышном здоровье. С кем ещё было и поделиться несчастьями, как не с Марьей Ивановной, добрейшей души человеком?

Если же матушка и говорила, то это всегда было что-нибудь очень простое. Для каждой она находила что-нибудь сказать в похвалу. “Вы счастливая мать”, — говорила она той, чей сын-оболтус принёс из школы, вместо привычных двоек, тройку или четвёрку. “У вас замечательный муж”, — говорила она про какого-нибудь совершенно никчёмного мужичонку, единственным плюсом которого было то, что, страдая язвой желудка, он не мог пить так по-чёрному, как большинство поселковых мужчин. “Вы поступили очень разумно”, — могла сказать она той, над чьей бестолковостью и непрактичностью потешались соседи, и ободрённая женщина уж готова была прослезиться.

“А и в самом-то деле, — думал, помнится, я, невольно бывая свидетелем этих бесед, — что есть глупый и что есть разумный поступок? В конце

концов, все дела и все мысли, даже самые умные или самые глупые, пройдут и забудутся — только след доброты сохранится надолго...”

Лишь теперь, вспоминая о матери, я вполне осознал, сколь огромную роль играла она для посёлка, в котором жила. Она, обитавшая тихо и скромно, без мужа растившая сына на нищенскую зарплату, всей своей жизнью убеждала людей в неизбывной, спасительной силе добра. Она была несокрушимой опорой для сотен людей — была именно потому, что никого ничему не учила и не осуждала, а просто жила себе тихо и скромно, с бесконечным терпением выслушивая своих бесконечных гостей, и каждому находила сказать что-то доброе и ободряющее. Я очень ясно себе представляю какого-нибудь похмельного мужика-забудьдугу, обиженного всеми на свете, от государства до стервы-жены, который совсем уж собрался, было, свести счёты с жизнью и думал лишь, где бы понадежней приладить верёвку. Но вдруг мутным муторным утром, случайно встретив на улице Марью Ивановну Лыкову и перекинувшись с ней парой слов, бедолага подумал бы: “А куда это я тороплюсь? Да и что-то мне перед Марьей Ивановной стыдно... Нет, пожалуй, ещё поживу, — может, оно ещё как-нибудь устанится?”

Жизнь, которой жила моя матушка, ни к чему вне себя не стремилась, но была полна внутренним смыслом и светом добра, растворённым в каждой прожитой минуте. Мать жила жизнью как таковой, ни к чему постороннему либо потустороннему не приложенной и не обращённой; именно эта вот самодостаточность, цельность и полнота само-движимой, само-наполненной жизни и делала мать таким удивительным человеком. Она жила не для чего-то, а просто жила, излучая свою доброту так же естественно, как цветок испускает свой аромат. И просто побыть рядом с ней, посмотреть ей в глаза и послушать её утешения, всегда столь же простые, сколь мудрые, для любого её собеседника уже означало очиститься и укрепиться, поверить в неистощимую силу добра.

Даже не представляю: как же теперь существует посёлок без матушки? К кому теперь ходят на исповедь тётки, забытые жизнью, и у кого мужики занимают червонцы “до завтра”? Может, и весь наш посёлок уже опустел без неё, как этот необитаемый остров?

51

Погода испортилась. Небо заволокло плотными, будто из войлока, тучами. Дождь то накапывал еле заметно, то начинал лить сильнее, и из укрытия лучше было не выходить: мокрые камни сделались скользкими, и ничего не стоило подвернуть ногу.

Да и что было делать снаружи? Видимость падала до двух сотен метров, серое море было неотличимо от серого неба, и даже крикливые чайки в такую погоду смолкали: они неподвижно сидели на скалах и не хотели взлетать, когда я к ним подходил. Птицы лишь отбегали, приоткрыв крючковые красные клювы и чуть разведя длинные крылья, и вновь застывали, как изваяния.

В дожди я пытался всухомятку, не разводя огня в очаге. Сырые дрова горели плохо, и при попытках зажечь огонь всё моё логово наполнялось дымом: получалось, что я выкуриваю из укрытия самого себя. После нескольких неудачных попыток обогреться у очага я счёл за лучшее просто терпеть, ожидая конца непогоды.

Эти дождливые дни тяжелее всего были даже не из-за холода и сырости, хотя озноб пробирал до костей, и заснуть по ночам долго не удавалось, сколько из-за мучительной тесноты, из-за чувства, что мир ограничен не просто пределами острова, а этой вот сумрачной полупещерой, в которой только и есть, что стены из отсыревшего камня да провисший навес, из щелей которого там-сям сочится вода.

Записи в дневнике становились не просто единственным делом в мучительно-долгие дни непогоды, но тем, что спасало меня от отчаяния. Я сошёл бы с ума или бросился вниз со скалы, не будь у меня возможности при помощи этих тетрадей посмотреть на себя и на всю свою жизнь как бы со сто-

роны. Порою казалось: есть два разных “я”. Один то затравленно смотрит, как дождь рыхлит море, то вяло грызёт что-нибудь, то пытается законопатить дыру меж камней, из которой всё равно тянет холодом, но делает всё механически и обречённо, как бы заранее согласившись с тем, что он уже проиграл свою битву за жизнь.

Другой же — тот, кто пишет дневник и поэтому смотрит на первого как бы со стороны, и он вовсе не так бестолков и не так безутешен. Он думает: если я до сих пор ещё жив, то, быть может, смогу продержаться и дальше? Бывали, в конце концов, дни и похуже, когда, например, меня двое суток носило по морю, или когда я оказался на этом вот острове без огня и без пищи, и без малейшего понятия о том, как же здесь выживать.

И тот, другой порой утешал и подбадривал первого, и даже давал ему дельные и простые советы. Можно сказать, я передавал дневнику то лучшее, что во мне было: свою рассудительность, волю и опыт, а потом сам же пользовался этим бесценным запасом.

Но дневник был, помимо прочего, ещё и единственным развлечением здесь, в этой сумрачной сырости затяжного ненастья. А развлечения, как ни странно, бывают порой почти так же важны, как тепло или пища. Страница тетради была для меня своего рода театром. Стоило пристально посмотреть на белеющий лист, как за ним, в глубине оживали какие-то бледные тени. Они то делались гуще, то снова редели, как будто ещё не решили: превращаться ли им в настоящие, яркие воспоминания или так и остаться теньями?

В этой странной игре что-то, конечно, зависело и от меня самого — от того, как я смогу сконцентрировать память, внимание, мысли, но многое определялось и собственной прихотью воспоминаний. Словно там, на белеющей странице, шла своя жизнь, а я лишь наблюдал, как движутся призраки прошлого, как они появляются и исчезают, смеются и плачут, и пытаются что-то сказать. Чем-то это всё напоминало галлюцинации, которые нас посещают спросонья или в момент, когда мы засыпаем. Тогда тоже, случается, видишь какие-то лица и слышишь невнятные голоса, но никогда не бываешь уверен: существует ли то, что ты видишь, или это всего лишь продукт твоей сонной памяти или воображения?

(Далее в рукописи отсутствует ещё около 15–20 страниц. — Примечание издателя).

52

День сменял день; ночи, что их разделяли, становились длиннее и холоднее. Я чувствовал, что и во мне самом что-то меняется.

Так, я стал чаще и дольше смотреть на облака — вместо того, чтобы быть погружённым в хлопоты по добыванию и запасанию пищи. Нельзя, впрочем, сказать, что состояние неба и облаков вовсе не отражалось на обыденной жизни, и наблюдение за облаками было бессмысленным делом; напротив, вопросы погоды были едва ли не главным, что занимало меня с утра и до вечера.

А что в предсказанье погоды может быть важней облаков? Когда по высокой, белёсой у горизонта и густеющей к куполу сини были словно рассыпаны лёгкие белые перья, то, несмотря на волнение моря, на ветер, я знал: день-другой будет солнечно. Когда от горизонта до горизонта росли, разбухали, клубились, слепили глаза своим сахарным блеском громадные белые горы, в то время как снизу, с исподу подошвы тех сахарных гор были пепельно-сизы, я понимал, что погода собирается переломиться. И тем более внятно о скором изломе погоды говорили слоистые, бледно-молочные плёнки, которые начинали затягивать небо и которым, тянувшимся низко и вязко, казалось, не будет конца.

Но облака предсказывали не только погоду. Поскольку моё настроение, да и вся моя жизнь очень сильно зависели от состояния атмосферы, то облака были вестниками перемен и во мне самом тоже. Не много было радости сидеть в протекающей хижине, ожидая конца затяжного дождя, или мок-

нуть под ливнем, который тебя захватил где-нибудь на увалах и стланиках тундры во время сбора брусники. Это не говоря уж о том, что ненастье резко снижало возможность того, что я разгляжу проходящее судно, а с него разглядят мой сигнальный костёр. Поэтому всякое приближение непогоды я переживал, как надвигающуюся болезнь: с нарастающим чувством тоски, отвращением к пище и вообще ко всему, что приходится делать. В дни, когда атмосферное давление падало, и было ясно, что непогода приходит надолго, у меня всё валилось из рук: окуни не засекались, креветки ускользали из пальцев с какой-то невиданной шустростью, и даже огонь в очаге горел так неохотно и вяло, как будто и он со мной вместе погружался в уныние.

Но бывало и наоборот. Вдруг проснувшись в сырой, сумрачной хижине, слыша стрёкот дождя, ощущая горячий, безжизненный запах холодной золы в очаге, я испытывал беспричинную радость. Хотелось немедленно встать, что-то сделать, куда-то пойти, словно я был не я, а другой человек, жизнерадостный, сильный и бодрый. С нетерпением я выглядывал из укрытия. Судя по дрожи лозин в неглубоком распадке и по тому, как ложилась на землю под ветром трава, задувало с востока; такой ветер обычно разгонял облака и приносил долгожданный конец затяжному ненастью. И в самом деле: в потоках войлочных туч, монотонно скользящих на запад, уже появлялись просветы, и я улыбался при виде фиалковых просиней неба, как будто увидел вдруг чей-то приветливый взгляд.

Порой я себя ощущал как бы зеркалом, отражающим переменчиво-сложную жизнь беспокойного неба. Прояснялось вверху — и на душе становилось светлее. Если небо, напротив, мутнело, то и я вслед за ним погружался в тоску.

Иногда же мне чудились и совсем уже странные вещи. Казалось, не я отражаю душой состояние неба, а наоборот: то, что происходит во мне, отзывается переменах в окружающем мире. И порой трудно сказать, кто кого отражает, когда я часами смотрю, как надо мной растут пухлые, кипельно-белые горы: облака ли меня, мою душу и мысли, или я, словно эхо, лишь вторю тому, что творится на небе?

Но в любом случае, созерцание неба было мне так интересно, так важно, как будто меж мною и облаками установилась обоюдная связь. Я просто не мог оторвать глаз от неба, когда, например, кучевая громада торжественно и неотвратимо наплывала на солнечный диск, и солнце, уставшее яро светить, с облегчением тонуло в светящейся, пышной небесной перине. Тогда из-за облака веером расходились солнечные лучи; а само облако, поглотившее солнце, становилось другим, как бы одушевлённым. Оно по-другому дышало и жило; его край превращался в сияющий нимб...

Порой, наблюдая за облаками, я впадал в столь глубокое оцепенение — благо, стоял уже август, и мошка больше не донимала, — что казалось: заметь я сейчас у черты горизонта корабль, я могу испытать вместо радости... досаду. Потому что — казалось мне время от времени — на свете нет ничего ни важнее, ни прекраснее клубящихся там, наверху, облаков...

53

Море и небо рождали ещё одно удивительное явление: миражи. Недаром Белое море ещё варяги называли Колдовским: миражи появлялись в нём часто, вторгаясь в реальность с какой-то спокойною наглостью. Особенно часто они возникали на восходе и на закате, когда свет низкого солнца, играя меж облаками и морем, рождал в атмосфере особого рода химеры.

Обычно мерещились острова. Плоские и маслянистые, словно блины, они повисали над горизонтом, и солнцу порой удавалось прокрасить малиновым цветом ту щель, что была между призрачным островом и зеркальной поверхностью моря. Миражи возникали всегда только в тихие дни, когда морю и небу ничто не мешало, обмениваясь отражениями, передавать их за тысячи вёрст от тех мест, где копия была снята с оригинала.

А уж если я подключал к той переключке рефлексов ещё и собственное воображение, то есть как бы вступал, сам-третей, в игры моря и неба, то

миражи становились фантастически разнообразны. Отряд скачущих всадников; обнажённая девушка с пышной грудью; красное знамя, застывшее в сложной-волнистой полёте; тарелка с дымящейся грудой картошки; кит, выпускающий фонтан пара; а вот и роскошный, лоснящийся кремовый торт, слишком вычурный для того, чтобы жить долго, — и действительно, вместо торта уже растекалось свинцовое озеро, по которому шёл караван из понурых верблюдов...

Порою мерещились и корабли. Но я быстро научился распознавать миражи и уж не векакивал, как поначалу, чтоб с дрожью в коленях кидаться к сигнальным кострам. Все корабли-миражи обязательно плыли над горизонтом, по небу; к тому же, я сразу угадывал их двухмерную, плоскую сущность — то, что свойственно лишь декорациям да миражам.

Моё отношение к этим воздушным химерам менялось. Поначалу они удивляли и даже пугали; потом, когда я привык жить в присутствии призраков, я почти перестал их замечать; но потом интерес к миражам опять обострился. Я чувствовал: с ними не так одиноко и скучно. Пусть это призраки; но само их присутствие в мире помогает нести груз обыденной жизни.

Что бы мы делали, как бы мы жили, не будь в нас иллюзий и заблуждений, не создавай мы легенд, не доверяйся мы мифам охотнее, чем доверяемся правде реальности?

А из всех тех иллюзий, что помогают нам жить, самая главная — это иллюзия собственного бессмертия. Поразительно: сколько ни убеждай жизнь и опыт любого из нас, что человек, без сомнения и без исключения, смертен, но о себе самом каждый всё-таки, в глубине души, думает: “Все — это все, а вот я — это я... Для меня-то, быть может, как-нибудь всё обойдётся? Ведь не может же быть, чтобы я, в самом деле, вдруг взял бы да умер?!”

Но вдруг это вовсе и не иллюзия, раз весь опыт жизни не может нас с ней разлучить? Может, это ещё одно доказательство существования Бога? В конце-то концов, даже те миражи, что возникают и тают вдали, в пепельном мареве над горизонтом, отражают какую-то всё же реальность, они никогда б не возникли, не будь в мире того, что их порождает.

Так я рассуждал, проводя час за часом на смотровой площадке над морем, и заносил часть своих рассуждений в тетрадь; но большую часть так и оставлял в виде недооформленных полуобразов, полудогадок — в виде своего рода мысленных миражей, которые возникали и таяли уже не вдали, не в сиреневой дымке над морем, а внутри моей собственной головы.

Порою я думал: а ведь этот дневник — это тоже своего рода мираж, который отражает реальность с неизбежной долей потерь, искажений и домыслов. Как реальный объект, порождающий некий мираж, находится, может, за тысячу вёрст, и его образ всегда искажается при передаче, так же точно и то, что пишу я на этих страницах, может сильно разниться с тем реальным событием или переживанием, что я пробую вспомнить и описать. Порою то, о чём я пишу, происходило не просто вдали от этого острова, но случилось в уже отдалившемся прошлом; но тем не менее, отражения этих далёких событий не рассеялись и не угасли, а легли на страницы этой тетради. И если эти записки какое-то время ещё сохранятся, то даже и в будущем будет жить некий след, некий отсвет давно минувших событий. Получается, что я вот на этих страницах играю примерно в такие же игры, в какие играют и море, и небо, создавая и пересылая в пространстве череду отражений, строя тающий ряд миражей...

54

Пора написать и о том, как я по собственной глупости заболел и едва не отдал Богу душу.

Месяц примерно назад я поддался соблазну поесть настоящего мяса (креветки и мидии осточертели!) и погнался за гусем-гуменником. Нет, я пока что не спятил с ума и вполне понимал невозможность поймать столь осторожную, зоркую птицу, как гусь; но я застал ту короткую пору, когда гуси линяли, летать не могли и показались мне доступной добычей.

Поверхности тундры — её косогоры, холмы и низины — уже поменяли свой цвет: они, словно птицы, тоже линяли. Вместо тех голубых, ярко-жёлтых и синих полей горечавки, камнеломки и мака, которые празднично-ярко цвели между серо зелёных камней, теперь главным тундровым цветом был охристо-бурый. Это был цвет начинающей жухнуть листвы, цвет морошки, чьи рыжеватые ягоды будто светились по влажным низинам, цвет буровато-коричневых шляпок грибов, которых местами высыпало так много, что некуда было ступить, и нога оскользалась по ним, цвет, наконец, тех подпалин, что оставались от бивших по острову молний.

И вот я заметил, что берег озера покрыт, словно снегом, налётом из птичьего пуха и перьев. Эти перья и пух то взлетали, кружились и опускались на воду; то, когда ветер дул в сторону тундры, сбивались в комки и жгуты, облепляли кусты ивняка, до краёв заполняли ложбины и ямки.

“Да это же линька!” — сообразил я, догадавшись, что птицы, наверное, будут сейчас лёгкой добычей. Действительно, многие гуси летать не могли. Они кормились на озере, на мелководе; если их что-то пугало, то они убегали по отмели, шлёная красными лапами и ударяя огромными крыльями по воде, но были не в силах взлететь над волной, которую гнал перед ними напористый мах их же собственных крыльев.

“Значит, так, — разрабатывал я план охоты. — Главное — выгнать гуся на берег. А уж там я как-нибудь с ним справлюсь: не палка, так камень догонит”. Набрал подходящих камней — карманы куртки отвисли — и разыскав на развалинах базы увесистый прут арматуры, я долго и терпеливо, где на корточках, а где и на четвереньках кралясь берегом к отмели, где кормилось гусяное стадо. Ветер, как и положено, дул от гусей в мою сторону. Кусты ивняка хорошо меня прикрывали; чтобы не выдать себя раньше времени, я даже не поднимал головы, а пробирался на слух в направлении рёгота птиц, что кормились на мелководе.

Голод, соединившись с азартом охоты, обострял мои чувства; слух утончался настолько, что я слышал журчанье воды в клювах кормившихся птиц. Но вот всё остальное, чем полон был мир, — посвист ветра и шелест листвы, мышинные пiski и свист пронесшихся надо мной куличков (то есть то, что я слышал всегда) — как бы вдруг отдалилось, почти перестало для меня существовать. То же самое было со зрением: мир сужался. Когда сквозь просветы в листве я мог видеть гусяное стадо, то казалось, что перед моими глазами бинокль: настолько отчётливо я видел горбатые красные клювы, блестящие бусины глаз, видел, где в крыльях гусей, когда они их расправляли, недостаёт выпавших маховых перьев. Но всё остальное, что находилось обочь напряжённого взгляда, словно и вовсе не существовало.

“Главное, выбрать себе одного только гуся и за ним уже гнаться”, — убеждал я себя самого, приближаясь к границе кустов. Я понимал, что мешаёт неопытным хищникам вроде меня: им мешает отсутствие четко намеченной цели. “Вот так погонишься — гуси кинутся в стороны, и останешься, как дурак, стоять со своей железкой в руке... Нет уж: выбрал кого-нибудь — так и гонись за ним до конца!” Я выбрал — конечно, от жадности! — самого крупного гуся. Может быть, это был даже вожак: его рёгот был самым звучным, а взгляд показался мне самым надменным. “Значит, так, — прикидывал я траекторию бега. — Сначала по отмели наискось, чтобы отрезать стадо от озера, а потом гнать их на берег!”

Первая часть операции получилась блестяще. Стартовав, как с колодок, — когда-то я был неплохим бегуном! — я с плеском и брызгами выскочил на мелководе, так что отрезал десятку гусей путь к озеру. Моё появление произвело эффект взрыва: так стали орать, хлопать крыльями и разбегаться вполоншённые гуси. Я едва не упустил из вида вожака. Брызги от собственных ног и от крыльев гусей ослепляли меня, но я всё-таки выбежал точно к нему. Вожак попытался ещё проскользнуть, огибая меня, на открытую воду, но я швырнул два увесистых камня (один тупо шлёпнул его по крылу) и завернул-таки грозно безжавшего гуся на берег.

Казалось бы, на берегу преимущество было уже на моей стороне. Взлететь гусь не мог — он мог только бежать, помогая себе напряжёнными ма-

хами крыльев, но я даже не представлял, до чего быстрым окажется этот его полубег, полудёт. Огромные крылья взвихряли листву, да ещё и от них самих летел пух, а красные лапы шлёпали по камням, и огромное серое сильное тело гуменника, словно снаряд, неслось над тундрой.

Дважды я его чуть не схватил. Но один раз промахнулся — с неожиданной ловкостью гусь вильнул влево, а в другой раз в руке у меня осталось лишь несколько перьев: линька птице не только мешала, но и помогала. Я уже задыхался: всё-таки я поотвык от таких ускорений. А гусь бежал и бежал, рөгоча, разгоняя громадными крыльями ветер. К тому же — хитрец! — он бежал по широкой дуге, забирая всё влево и влево, и вот уже мы не удалялись от озера, а приближались к воде. Почувствовав, что упускаю добычу, я швырнул прут арматуры. Гусь упал, вскочил, снова упал — я вот-вот должен был его ухватить, но тут началось мелководье, бежать приходилось уже по воде, и это прибавило шансов подраненной птице.

Мне бы, дураку, бросить погоню и остановиться — ведь ясно же было, что по воде я его не настигну! — но вожак плыл так неровно, такими судорожными толчками (видно, одна из лап была всё-таки перебита), что я продолжал за ним гнаться. Вода доходила мне уже до колен, потом, оступившись в какую-то ямку, я ухнул по грудь, а гусиный вожак, словно смеясь надо мной, продолжал хлопать крыльями по воде в каком-нибудь метре от моего лица.

Вот я снова его ухватил за тугое крыло. Но под ногами я больше не чувствовал дна, и гусь потащил меня на глубину. Вода была ледяная, и я не мог толком вдохнуть; а тут ещё гусь-вожак решил перейти в наступление и стал бить меня клювом, тяжёлым, как молоток. Один из ударов пришёлся по переносице: из глаз брызнули искры, и всё потемнело. Я взвыл, отпустил эту чёртову птицу и погрузился под воду.

Но гуменник не унимался. Как только я вынырнул, он с шипеньем и криком опять налетел на меня. Я уже плохо видел, где берег, куда же мне плыть, потому что вокруг меня всё кипело, и я думал лишь об одном: как бы этот бешеный гусь не выбил мне клювом глаза. Мы с ним поменялись ролями: вожак передал мне даже свой прежний страх и перенял мой азарт, и торжествующий рёгот гуменника раздавался теперь, как клич победителя.

Плохо помню, как я добирался до берега: всё было, словно в тумане. На погоню и на безрассудный заплыв по ледяной воде ушли все мои силы, и, вместо того, чтоб скорей идти в лагерь и сушиться возле костра, я рухнул ничком на холодные мокрые камни. Сначала дышал хрипло и часто. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Но потом я затих, и меня охватила неодолимая слабость. Было слышно: вода, что стекает с меня, тихо-тихо журчит меж камнями. Мышь-пеструшка, несколько меня не пугаясь, перебежала через мою отведённую в сторону руку, а трясогузка, качаясь, расхаживала перед самым лицом. Вот только недавно я нёсся по тундре, полный сил и азарта, а теперь лежал, как убитый, и не мог даже пошевелиться. Ничего не хотелось: бурная вспышка энергии будто выжгла дотла моё тело и душу.

Не двигаясь, в полузабытьи, я пролежал на камнях долго. Но я слышал шум ветра и писк куличков, пробежавших по отмели, и слышал далёкие клики гусиного стада, которое всё никак не могло успокоиться. Я бы лежал так и дальше, но неудержимый озноб стал трясти моё тело. Зубы стучали так, что я опасался: они раскрошатся. Кое-как я поднялся и побрёл, спотыкаясь, по тундре, но меня всё равно колотила такая крупная дрожь, что казалось: кто-то невидимый бьёт по мне палками, и я весь содрогаюсь от этих тяжёлых ударов...

55

Неудивительно, что я заболел. До хижины кое-как, спотыкаясь, добрёл; но на костёр сил уже не осталось. Я только стянул с себя мокрую куртку, рубаху, штаны, бросил всё возле входа и голый залез под шинель.

Сначала меня продолжал бить озноб. Но вот он затих, меня прошиб пот, и я погрузился в болезненный бред. Не знаю, стоит ли пытаться описать его?

С одной стороны, всё, что ни сочини, всё может стать описанием бреда. Никто ж не проверит, что ты действительно чувствовал, а что сочинил лишь теперь.

А с другой стороны, как бы точно ты ни передал то, что помнишь из сумерек бреда, — это будет лишь приблизительным отражением миража, будет слабой, бессильной попыткой передать ложью слов ложь болезненно-вздорных видений.

Но я всё же попробую. Тем более что я хорошо помню главную тему болезненных грёз: назойливо мне представлялась вода — в самых разных её проявлениях. Видимо, жар и озноб так меня иссушили, что даже при отключённом рассудке подсознание выражало одно лишь желание: “Пить!”

То мерещились иглы сосулек, свисавшие с крыши сарая: они ярко сверкали на солнце, и частой капелью с них падала даже не просто вода, а, казалось, сам солнечный свет. Всё это было так ярко и зримо: капель разбивалась о наледь внизу, и на солнце сверкал влажный радужный дым. Мучаясь жаждой, я жадно тянулся к ближайшей сосулке, хватал и отламывал, торопливо лизал её скользкий конус, но язык оставался шершавым, сухим...

Или виделся влажно-болотистый луг, кочковатый, туманный. Я перескакивал с кочки на кочку, а они прытопали в торфянисто-рыжей воде. Изнывая от жажды, я падал на четвереньки — руки по локти тонули в податливом торфе — и пытался схватить ртом ржавую, всю в болотном мусоре воду. Но не вода, а какая-то едкая пыль набивалась и в ноздри, и в рот: от неё было трудно дышать и першило в груди, и надсадный, отрывистый кашель сотрясал моё жаркое тело...

Но самым мучительным бредом был назойливый бред о колодце. Вот я подбегал к обомшелому влажному срубу, заглядывал внутрь — и глазам открывалась мерцающая плёнка воды. Там, внизу, на качавшемся зеркале появлялось моё отражение, но это был не теперешний я, а мальчик лет четырёх или пяти, который смотрел на меня с изумлением и ужасом. Может, он тоже видел меня, каким стал я теперь, эту грязную, полубезумную рожу? Какое-то время мы с ним смотрели друг другу в глаза. “Неужели я был таким?” — думал я. “Неужели я стану таким?” — должно быть, думал он. И я медленно, чтоб не спугнуть своего двойника, начинал тянуть к нему руку, и мальчик, я видел, тянулся дрожащей ручонкой ко мне. Наши пальцы вот-вот должны были встретиться, я перевешивался внутрь обомшелого, скользкого сруба — и, конечно, срывался! В первый миг было радостно — ведь я падал в воду! — но по мере того, как я погружался в колодец, меня обдавало всё нарастающим жаром. Уже было трудно вдохнуть, и, пока я летел в темноту, мне в лицо било жаркое чёрное пламя...

56

Я очнулся настолько разбитым и слабым, что не только пошевелиться — перевести взгляд было трудно. Но мысли бежали так быстро, как будто болезнь сняла с них тормоза, и через звенящую от пустоты черепную коробку теперь нёсся вихрь обгонявших друг друга образов.

Пить хотелось ужасно. Казалось, не только мои пересохшие губы, но всё тело и даже душа потрескались и почернели, как земля в засуху. Глоток воды означал теперь глоток жизни, но до воды ещё надо было добраться.

Кое-как я перекатился с подстилки на каменный пол и на четвереньках пополз к выходу. В эти минуты я себя видел и чувствовал как бы со стороны: словно вовсе не я, а другой человек, задыхаясь и кашляя, копошится в потёмках пещеры. Я почти с интересом за ним наблюдал: доползёт он до выхода или не доползёт? Помню, что руки мои подгибались от слабости, и я падал на камни лицом. Страшно не было — было как-то мучительно скучно. “Ну, зачем, — думал я, — нужна мне дурацкая эта морока, которая называется жизнью”?

До выхода я всё же дополз. Снаружи стояла порожняя банка, куда дождь налил немного воды. Несколько жадных глотков, что я сделал, конечно, не могли утолить всей моей жажды, но они возвратили мне утешение, бы-

ло, желание жить. Я встал на ноги и, пошатываясь, побрёл к ручью. Тропа вела вниз, поэтому ноги переставлялись как бы сами собой, и вот, наконец, я упал лицом в светлую, быстро бегущую воду.

Пил долго и жадно, захлёбываясь и задыхаясь. Желудок раздулся, как шар, и было уже неудобно лежать ничком на камнях. Я перекатился на спину и какое-то время лежал, отдуваясь и глядя в небо. Лицо, язык, губы онемели от ледяной воды. Слабость была ещё велика — сжать руку в кулак я не мог, — однако поток беспорядочных мыслей уже не летел напролёт сквозь гудящую голову, какие-то мысли задерживались, и на них можно было сосредоточиться.

Я думал: “Что же мне делать?” Было ясно, что лихорадка и бред скоро снова накроют меня, поэтому, если я хочу жить, надо как-то лечиться. “Лечиться — но чем? — спрашивал я себя самого, и сам же себе отвечал: — Только тем, что есть под руками...” Буквальный смысл этих слов так подействовал на меня, что я стал в самом деле рассматривать: что же лежит под руками? Под правой рукой были камни, испачканные птичьим помётом. “Не годится”, — подумал я и медленно перевёл взгляд налево. Левая кисть лежала на сломанной ивовой ветке. “Постой-ка, постой, — начал я вспоминать. — Ветка ивы, кора... Ну, да — этот, как его? — аспирин!” И я вспомнил, что аспирин получают как раз из ивовой коры.

Низкой ивы здесь, возле ручья, было много: её красноватые прутья податливо гнулись под ветром, а узкие листья при каждом порыве показывали свой серебристый испод. “Вот и лекарство, — подумал я. — Только хватило бы сил сделать отвар...”

На то, чтобы наломать тонких веточек ивы, очистить их от листьев, принести в хижину воду, развести в очаге огонь и поставить на пламя кастрюлю с торчащими из неё ветками, — на всё это ушло часа два. К концу этой медленной и кропотливой возни я совсем обессилел и решил лечь, ожидая, пока закипит, а потом настоится отвар. Только сейчас я заметил, что всё ещё голый, и решил, хоть одежда ещё не просохла, одеться. “Когда будет жар — она меня охладит, — думал я. — Да и просохнет на мне, как на печке”.

Едва опустил я на ложе, как полусон, полубред вновь меня одолел. Правда, было уже не так тяжело и не так жарко, как давеча. Меня охлаждала сырая одежда; к тому же, рядом стояла банка воды, и я к ней припадал, когда в голове прояснялось. Тяжелее всего в этот раз было чувство тревоги, которое ни наяву, ни в забытьи меня не отпускало. Я беспокойно стонал и метался. Ложе моё превратилось в бесформенный ворох из веток, мха и потных скомканных тряпок; а тело, казалось, вот-вот превратится в такой же бесформенный ком из костей, сухожилий и мышц...

Когда я снова очнулся и встал, уже вечерело. На ватных ногах, опираясь руками о стены, я вышел наружу и справил нужду. “Да, лекарство...” — вдруг вспомнил я и подошёл к очагу. Ивовый отвар уж остыл: он был коричневым и маслянистым на вид. Морщась, отпил три глотка — от горечи чуть не стошнило — и запил это снадобье чистой водой. Перед тем, как вновь лечь, я какое-то время стоял перед входом в пещеру и смотрел на закат. Море было свинцовым и гладким, а небо над ним розовело, напоминая разбавленный клюквенный сок. Я подумал, что, если закат побледнел — он был уже не такой воспалённо-багровый, как раньше, — то и мне в эту ночь должно быть полегче.

Снился опять тот же самый колодец-родник, в который я падал недавно. Но само настроение сна уже было другим: уж не жажда, не страх, а иное, отрадное чувство вело меня к влажному сруб и заставляло заглядывать внутрь. Внизу голубел квадрат неба — и оттуда опять удивлённо смотрел на меня пятилетний мальчишка. Вместе с небом и мальчиком я видел дно родника: песок словно дышал, поднимаясь живыми буграми, и листья ивы кружились по отражению синего неба. То, что небо и мальчик, и родниковое дно были видны одновременно, и одно не мешало другому, утешало и радовало меня...

Болезнь, которую я пережил, сделала меня другим человеком. Когда на ещё очень слабых ногах я стал выбираться из хижинки и совершать недалёкие выходы к морю — хочешь не хочешь, но добывать пропитание было необходимо, — я почувствовал, как изменился мой взгляд на всё, что я вижу.

Глядя, скажем, на камень, на створку мидии или корягу — на любой из предметов, встречавшихся мне, — я видел не просто корягу или камень, но видел и нечто иное. Границы предметов терялись, и всё, из чего состоял окружающий мир, теперь как бы перетекало друг в друга. Всё для меня перестало существовать по отдельности и само по себе, но стало жить в несомненной, пускай не всегда проявлявшейся ясно, но всё же в реальной и всё более крепнущей связи.

Поэтому, когда я, например, вынимал из песка несколько раковин мидий или сдирал с камня лоскут мха, я чувствовал, что изымаю из мира какую-то часть и тем нарушаю всеобщее хрупкое равновесие сил и предметов. Конечно, мир был слишком велик, я был слишком мал, и следы, что я в нём оставлял, были тут же заглажены, как заглажены были мои следы на песке после двух-трёх накатов приборной волны. Но я всё равно создавал как бы дрожь и вибрацию в мире, нарушал его сонный покой, и это вот странное чувство моего вторжения в мир с каждым днём становилось заметнее.

“Почему же я раньше этого не ощущал? — с удивлением спрашивал я себя самого. — То ли раньше я был сильнее и оттого равнодушнее, то ли просто с течением времени я так сжился со всем окружающим, что мне теперь жаль причинять ему даже малейший ущерб?” Между мной и любым из предметов, на который я долго, задумчиво и отрешённо смотрел, больше не было резкой, неодолимой границы. Всё, чего я касался рукою или взглядом, каким-то таинственным образом переходило в меня самого, и мне было трудно решить: где кончаюсь я сам, а где начинается мир, что меня окружает? Можно сказать, мир стал мною самим; я же сам, созерцавший его, стал отчасти всем тем, что меня окружало: и этим вот облаком, что краснело на палевом фоне заката, и этой вот чайкой, скользящей над гребнями волн, и блеском ручья, и ещё много чем, что я даже сейчас не могу перечислить.

Мне было важно понять: есть ли подобное размягчение взгляда, стирание границ между мною и миром всего лишь следствие и отголосок болезни? Или, может быть, мир и в самом деле таков: то есть в нём всё тесно связано и сплетено, и ни одно из событий не происходит случайно, само по себе? Может, болезнь всего лишь обострила мой взгляд, и я теперь вижу всё в истинном свете?

Главным же чувством, которое я постоянно испытывал после болезни — было чувство жалости к миру, который (как я с изумлением вдруг осознал) оказался таким беззащитно-ранимым. И опять я не мог отделить себя самого, свою жалость к себе от жалости к миру, который как будто всё время таял и плыл, потеряв свою прежнюю жёсткость, в моём размягчённом, рассеянном взгляде.

Я стал до смешного слезлив. Даже как-то неловко об этом писать, но я мог прослезиться по самому пустяковому поводу. Больше того: едва ли не всё, на что я смотрел, вызывало во мне чувство жалости, и глаза мои как-то сами собой наполнялись слезами.

Что это было такое, и почему мне всех было жалко? И вон ту юную, пёструю чайку-чебару, которая так бестолково и неумело гоняла по отмели рыбу; и рыбу, которая серебристыми брызгами прыскала от раскричавшейся чайки; да что там: мне было жаль даже бурю водоросль, что лежала на камне и сохла под солнцем! Я себя сознавал как-то сразу и чайкой, и рыбой, и этой морскою травой, и ещё множеством разных существ — и ощущал совокупный, почти неподъёмный груз существования, который нам всем приходилось нести. Казалось: обязанность всех понимать, всех жалеть, обо всём этом помнить и думать лежит лишь на мне на одном, и если я вдруг не выдержу тяжести этого груза, то вместе со мною обрушится весь окружающий мир.

Потому-то мне было так трудно кого-то поймать, умертвить; порой было трудно даже просто ходить и дышать, просто видеть и слышать что-либо. Я чувствовал, как неверный мой шаг, раздражённо-озлобленный взгляд — даже просто неверная мысль! — могли неожиданно стронуть, нарушить непрочное равновесие мира...

58

А уж случай с зайцем окончательно мне доказал, что я стал другим человеком, и несколько месяцев жизни на острове так изменили меня, что я нынешний мог бы, пожалуй, и не узнать того парня, который когда-то, охваченный страхом и жаждой жить, не мог помышлять ни о чём, кроме отчаянной и беспощадной борьбы за существование. Тогда во мне был избыток жизненной силы, и она, эта сила, словно бы отделяла меня от всего окружавшего; теперь же, когда я ослабел, я больше не чувствовал этой преграды.

Тихим сереньким днём — сыпал мелкий, задумчивый дождик — я вошёл у хижины, поправляя просевшую кровлю, и вдруг услышал далёкий и жалобный крик. “Чайка? Да нет, не похоже”, — прислушался я. Казалось, что где-то плачет ребёнок, и было не по себе от этого жалко-протяжного крика. Выйдя на косогор, на открытое место, я постарался точнее определить: где же это кричат?

Жалобный крик доносился из распадка между холмов, где желтела листва невысокой полярной берёзы. Пока шёл по камням и по мху в направлении крика, я вспомнил: ещё до болезни я поставил там несколько петель на зайцев. Охотник, конечно, я был никудышный, но зайцы здесь были не пуганые, и сработала, видимо, даже моя немудрёная снасть.

Слышать крик было так неприятно, что я торопился, как мог. Воображение живо рисовало мне зайца, попавшего в проволочную удавку, все его муки и отчаянные попытки освободиться, словно в этих силках оказался я сам.

При моём приближении крики затихли, зато затряслась, зашумела одна из берёзок в ложбине, и листва полетела с неё, как от сильного ветра. Действительно, в силках бился заяц. Петля из проволоки захлестнула его заднюю лапу, и бедолага, казалось, вот-вот её вырвет: так он отчаянно прыгал и падал, и снова пытался, царапая камни и мох, оторваться от собственной насмерть прихваченной лапы.

Я опустил на корточки рядом с зайцем. Он притих и припал к земле серым дрожащим комком. Его задняя левая лапа торчала вбок: проволока перетёрла её почти до кости. Видеть это было так неприятно, что я машинально потёр рукой собственную лодыжку, словно сам ощущая саднящую боль от петли.

Потом достал нож, поразившись тому, как дрожат мои руки. То, что недавно казалось простым и естественным — взять да прирезать добычу, содрать с неё шкуру, а потом сварить суп или приготовить жаркое — было теперь невозможно. Для убийства был нужен тот запас жизненной силы, которого у меня больше не было. Зарезать сейчас этого жалкого зайца с торчащей вбок задней лапой было бы почти то же самое, что зарезать себя самого.

Сняв куртку, я накрыл ею зайца, схватил его лапу и перерезал проволоку ножом. Я хотел и совсем снять петлю; но, пытаясь перехватить заячью лапу удобнее, я на мгновение выпустил пленника, и он вместе с курткой, его накрывавшей, рванул по косогору. Метров десять он протащил куртку на себе, а потом, наконец, выскочил из-под неё и уж тогда припустил во весь дух. Истёртая лапа, видно, ему не мешала: заяц нёсся зигзагами, почти не касаясь земли. Вот он напоследок мелькнул серой тенью по рыжим камням и скрылся из глаз.

Вся эта история сильно подействовала на меня. Первым делом я снял остальные четыре силка, чтоб, не дай Бог, ещё кто-нибудь не запутался в них. Потом долго сидел у берёзки, где был пойман заяц, — она была голой, совсем облетевшей среди ярко желтевших подруг — и с грустью смотрел на обрывок петли, что болтался на ней. “Да что же это такое? — пытался я взять

себя в руки. — Если так пойдёт дальше, то я со своею дурацкою жалостью помру здесь от голода...”

Но в то же время я чувствовал: страх за жизнь, за себя самого, который я раньше испытывал, можно сказать, непрерывно, почти совершенно оставил меня. И впервые за три с лишним месяца я сознавал, что спокойное равнодушие к себе самому есть, может быть, самый главный залог спасения. Тот, кто боится погибнуть, обычно и гибнет; но тот, кто уже как бы смирился со смертью и внутренне принял её, тот обретает внутри себя новые силы.

59

Жизнь на острове шла своим чередом, и моё здесь присутствие ей не очень мешало. Я был скорее свидетелем, чем активным участником жизни и, в основном, лишь фиксировал — в памяти или на страницах тетради — те перемены, что совершались вокруг.

Так, ручей обмелел — на перекатах обнажилось хрящеватое дно, — и можно было перейти его, почти не замочив ног. Я уж подумывал, не соорудить ли запруду, чтобы иметь рядом своё небольшое пресное озеро; но в одно ветрено-ясное утро увидел такое, что отбило у меня желание вмешиваться в природу.

Заметив, что чайки кричат и встревожено выются над морем как раз против устья ручья, я пошёл посмотреть, что их так взволновало? По морю шла крупная рябь; но казалось, что там, где орут и волнуются чайки, гребни волн серебрятся каким-то особым, стальным, переливчатым блеском. Странный шум доносился оттуда. Широкое устье ручья пополнило, словно не ручей теперь впадал в море, а море, напротив, прилило к ручью и решило вдруг двинуться против течения.

Лишь подойдя ближе, я понял, в чём дело: огромная стая лососей, теснясь и сверкая, заходила на нерест! Вода в ручье словно кипела; слышался плеск и удары хвостов, и хруст тесно трущихся рыб. Солнце вспыхивало на их серебристых боках. Иногда какой-нибудь из лососей стгоряча вылетал на берег и, высоко подпрыгивая на камнях, не сразу мог возвратиться в тугой, мускулистый поток своих соплеменников. Ощущение неодолимой, слепой, обезумевшей жизненной силы исходило от рыб, упорно стремящихся вверх по ручью. На отмелях и перекатах даже камни летели от яростно бьющих хвостов; казалось, что стая лососей подняла отчаянный бунт против силы тяжести, против течения воды, против мёртвых законов природы. С восторгом и ужасом я наблюдал этот апофеоз слепой жизненной силы, которая заставляет совершать невозможное, а затем погибать, чтобы дать жизнь будущим смертникам.

Тугой, переливчатый блеск рыбьих спин всё полней затоплял собой тесное русло ручья. Чуть выше, где был небольшой водопад, лососи взлетали один за другим, словно кем-то подброшенные, и шлёпались в воду уже наверху, за чертой водослива. Кого-то сносило обратно, но самые сильные, бурявя и пеня хвостами бурлящую воду, остервенело рвались вверх и вверх, к озеру, к тем местам, где когда-то родились и где скоро встретят свой неизбежный конец.

Нельзя было глаз оторвать от этого, — в сущности, очень печального — зрелища. Очевидно же было, что весь этот яростный, самозабвенный порыв, подхвативший лососей, двигал их к смерти. Впервые воочию, так откровенно и ясно мне показали связь жизни со смертью, впервые я понял: чем больше в нас жизни — тем ближе смерть...

Шопенгауэр, мой любимый философ, которого я увлечённо читал, когда сдавал кандидатский минимум, думал, по сути, о том же самом. Воля к жизни, в которой немецкий мудрец видел так много тёмного и рокового, ведёт всех к одной цели: к смерти. Все мы, — так лососи, что люди, — азартно и слепо стремимся туда, где должны, наконец, сбросить пути пленившей нас жизни и освободиться от тяжкого бремени существования.

И как хорошо, что я, уже утомлённый борьбою за жизнь, ослабевший, задумчивый и одинокий, всё меньше в себе ощущаю вот этой слепой, тём-

ной силы, которая называется волей к жизни, и всё больше смотрю на мир, как на некое представление, как на то, в чём я больше почти не участвую, но зато наблюдаю с сочувствием и интересом, как азартно живут и томятся своей неизжитой волей другие... Я восхищался лососями, их красотой и силой, их яростно-самозабвенным порывом и в то же время был счастлив, что я не лосось, что мне уж не надо идти на слепом поводе у самого себя, уж не надо, томясь неизбежным желанием жить, слепо двигаться к собственной смерти.

Что это было: усталость или мудрость? Не знаю. Но знаю, что те перемены, которые все последние дни и недели происходили во мне, были душеполезны. Страх смерти, который прежде руководил моей жизнью, моими поступками, почти перестал меня волновать. Возможно, конечно, что всё это было временно, и когда я наберу сил после болезни, страх смерти и воля к жизни вернутся ко мне, но пока что я жил в отрешённо-задумчивом, благостном и созерцательном состоянии. “Плывите, лососи, — думал я, сидя возле ручья и рассеянно глядя, как поток самой жизни кипит и беснуется передо мной. — Меня-то уж не заставишь плыть против течения, потому что я знаю, к чему нас ведёт наша воля и страсть, наш слепой и обманчивый порыв...”

60

Внешне жизнь моя мало переменилась. Я так же день изо дня совершал обход тундры и побережья, сушил грибы и заквашивал листья берёзы, таскал плавник к хижине и до рези в глазах следил за пустынным морским горизонтом.

Но внутренне я стал другим человеком. Теперь не то, чтобы зайца, но даже рыбу мне было трудно убить. Рыбалкой поэтому я больше не занимался, довольствуясь тем, что море дарило само: то тушею нерпы, то просто-напросто ворохом ламинарии, которая, кстати, если её отварить с грибами, а после приправить брусничкой и жиром нерпы, была очень даже вкусна. Крыля, правда, я всё-таки ел: совсем без белка обойтись было трудно. Да и рыбный запас у меня был довольно приличный: всё лето я ловил и сушил окуней, и теперь их пахучие связки свисали со стен моей хижины.

Интересно, что всякая-разная живность теперь перестала меня опасаться. Вот тоже странно: откуда, казалось бы, зайцам и птицам знать, что я теперь предпочитаю безубойную пищу? Например, куропатки порой подпускали меня на расстояние вытянутой руки, а мыши-пеструшки — так те вообще могли затеять возню у меня на постели. И я теперь, словно какой-нибудь древний волхв, жил в окружении разных птиц и зверей и только что не понимал их звериный и птичий язык.

Тундра, по которой я целыми днями бродил, становилась всё более рыжей, багряной и бурой. Стоял, как-никак, уже конец августа, на мшистых проплешинах и на полях стланика по утрам лежал иней, и лужицы, что оставались на плоских камнях, за ночь вымерзали до гулкой — под ломкими корками льда — пустоты. Дни, впрочем, были прекрасны: безоблачны, с яркой ветреной синевой неба вверху и с фиалковым, в белых крапинах пены морем внизу. Я порою бродил по холмам безо всякой практической цели, просто радуясь солнцу и той красоте, что лежала вокруг. Раньше я даже не представлял, что полярная тундра может быть такой разноцветной и яркой. Порой я жалел, что у меня нет картона или холста и каких-нибудь красок, потому что уж очень хотелось запечатлеть окружающие виды. Вон тот, например, косяк с багряным брусничником, золотой щетиной берёзок и с белой полярной совой, которая, как изваяние, неподвижно сидела на камне, уставясь на меня парой круглых бессмысленных глаз. Или этот спуск к морю: громадные чёрные камни, которые придают морской сини, сквозящей меж них, фиолетово-масляную густоту.

Я бродил и бродил, как бы впрок набирая и света, и разноцветия тундры, и радости от созерцания моря и неба, сознавая, что этот невещественный запас чем-то даже важнее запаса еды или топлива. И слова стариков: “Не могу насмотреться на мир” — становились мне так до боли понятны...

Мысли о приближавшейся стуже и скорой полярной зиме больше не вызвали во мне ни паники, ни отчаяния. “Ну, зима, ну, полярная ночь, — думал я. — Будь, что будет. Если мне суждено замёрзнуть, то, значит, замёрзну: не я первый, не я последний...”

В те дни я часто думал о том, что все люди, в сущности, смертники, которым уже оглашён роковой приговор, не подлежащий обжалованию, но только не названы сроки его исполнения. И я здесь, на острове, был в положении даже несколько лучше, чем все остальные. Меня-то могло ещё, в принципе, забрать проходящее судно и тем существенно переменить мою жизнь; а к большинству из живущих на материке никакое судно никогда не придёт, и они будут дожидаться конца в тех же обычных и безнадежных условиях жизни, в которых они находились всегда. Так что ещё неизвестно, кому кого надо жалеть: людям — меня или мне — остальных, где-то в дальних краях ожидающих смерти людей?

То ли эти и им подобные мысли, то ли что-то ещё, но нечто родило идею, которая поначалу казалась мне дикой. Однако когда я с ней свылся, я стал удивляться другому: как же она не пришла ко мне раньше?

Я решил, что мне надо, не мешкая, ставить на острове крест. То есть буквально: найти на побережье высокое место и воздвигнуть там крест по-аметнее, чтобы его можно было увидеть в бинокль с проходящего судна. Не могу же я целые сутки следить за морским горизонтом: мне надо и спать, и готовить еду, и ходить в тундру на промысел. А ну, как в то самое время, когда меня не было на берегу, какой-нибудь мимоидущий корабль уже появлялся на горизонте? Стоял бы здесь крест — его б не могли не заметить; а зная, что прежде здесь ничего подобного не наблюдалось, моряки должны были задуматься: как же он появился?

Выходит, я сам, по собственному недомыслию, не использовал все возможные шансы спастись. Но теперь, когда я это понял, я обязательно должен был соорудить на берегу крест, напоминающий издали человека с раскинутыми руками, — символ, взывающий к людям и миру о помощи.

61

Место для креста я нашёл сразу: на возвышении берега, как раз над той отмелью, где ручей впадал в море. Это было самой высокой точкой в моей части острова, и странно, что я раньше не догадался поставить здесь какой-либо опознавательный знак.

Труднее всего было притащить сюда ту бетонную балку длиной примерно в мой рост, что я откопал на развалинах базы. Пусть в сечении она была и не очень-то толстой, но, во-первых, надо было сначала её откопать из груды щебня, поросшего мхом, а во-вторых, километра два волочить эту балку по тундре.

Откапывал я её полных два дня. Сейчас, ближе к осени, дни становились заметно короче, я не успевал сделать всё, что задумал, при солнце, и приходилось прихватывать сумерки. Хорошо, что усы арматуры, торчавшие из моей балки, были не очень толстыми, и их удалось загнуть ударами камня.

Затем я долго обдумывал: как тащить эту балку по сопкам? Старинный способ — катки — показался мне очень уж медленным и трудоёмким. Вместо этого я сделал волокушу из жестяного листа. Она очень даже неплохо скользила по мху и по каменным осыпям тундры. Всего за один световой день, — правда, порядочно измотавшись, — я доставил-таки столб из бетона на берег. Давно я не чувствовал себя так спокойно и так хорошо, как тогда, когда я налегал в постромки, а за мной, скрежеща по камням или повизгивая на прутьях стланика, ползла волокуша из жести. По сути, впервые я делал работу, которая поднимала меня над уровнем бытовой повседневной возни. Ведь мне было нужно не просто согреться да набить себе пузо — этим-то озабочено было любое из обитающих в тундре существ, — но мне нужно было осознать себя человеком. Иначе всё то, что я делал, мало чем отличалось от возни какой-нибудь мыши-пеструшки, шнырявшей во мху.

А крест создавал как бы точку опоры, обозначал ту систему координат, в которой моё существо человека вполне обретало свой истинный вес и значение, и я становился вот именно тем, кем судьбой предназначено было мне быть. “Не случайно же, — думал я, волоча по камням жестяной громыхающий лист, — поморы сооружали береговые кресты по любому серьёзному поводу, от чьей-либо гибели до неожиданного спасения. Даже Пётр I, пережив бурю где-то близ устья Двины, своими руками воздвиг памятный крест. Так что я сейчас, можно сказать, исполняю древнейший поморский обряд. А уж знаком чего — гибели или спасения — станет мой крест, про то одному Богу известно...”

Для перекладины я подобрал сосновое ровное брёвнышко — длиною точь-в-точь в размах моих рук — из тех, что недавний шторм подбросил на побережье. Чтобы оно лучше держалось, я вырубил паз, да ещё и усы арматуры торчали из балки как раз на том уровне, где мне было нужно приладить бревно.

Заминка вышла в другом: нечем было долбить мерзлоту. Топора было жаль — не дай Бог, я бы его расколол! — к тому же на небольшой глубине всё равно начиналась скала. Выход был только один: натаскать кучу камней, и укреплять крест ими.

На это ушло ещё несколько дней. Зато на площадке, и так-то высокой, вырос внушительный холм из больших валунов. Поставить крест вертикально удалось только с третьей попытки. Дважды камни вывёртывались из-под его основания, и крест падал. Но, в конце концов, мне удалось утвердить бетонную балку стоймя и на треть завалить её валунами. Крест встал прочно: он не шатался не только от ветра, но даже тогда, когда я пытался его покачать.

Особо внушительно, даже торжественно крест выглядел снизу, от моря. По ветреной сини ползли облака, и порою казалось, что крест летит по осеннему небу, что в нём куда больше свободы, чем в этих вот скалах, камнях или даже во мне, восхищённо глядящем на этот крест снизу.

Теперь, когда над побережьем высился крест, весь окрестный пейзаж обрёл и законченность, и полноту. Недаром само слово “окрестный” означает как раз те места, что находятся вокруг креста. Словно именно крест был тем самым, чего ожидали и скалы, и берег, и даже крикливые чайки; как будто всему, что безбрежно синело, чернело, рыжело вокруг, не хватало именно этих двух скрещенных линий — не хватало торжественной мысли креста.

Крест стал центром пространства, его точкой опоры. Я все расстояния мысленно мерил теперь от креста; блуждая по тундре или по берегу моря, почти отовсюду я видел его, как самый надёжный и верный ориентир. Возвращаясь, к примеру, из тундры, я держал путь строго на крест. И в ощущении, что я шаг за шагом приближаюсь к нему, я находил порой нечто столь же отрадное, как если бы знал, что меня ожидает живой человек.

Крест стал опорой и точкой отчёта не только пространства, но и времени. Мой день начинался тогда, когда в бледных сумерках перед восходом я мог различить перекрестие его линий и знал, что пора раздуть огонь в очаге да идти к ручью за водой. А конец дня наступал тогда, когда крест расплывался и таял в вечернем тумане, когда мы с ним друг друга больше не видели, и внутренний голос мне говорил: “Ну, что ж — пора, значит, спать...”

Потом я сообразил, что крест может служить и солнечными часами. Конечно, длина его тени менялась — солнце день ото дня поднималось над тундрой всё меньше, — но направление тени в определённое время суток всегда оставалось одним и тем же. Я разложил рядом с крестом белые кварцевые гольши — число камней означало час дня — и мог теперь оставлять наручные часы в хижине: крест вёл меня не только через пространство, но и сквозь время.

Удивительно: как я раньше жил без него? Как я мог что-либо думать и делать без ощущения того, что над островом высится мой деревянно-бетонный двойник? Да, размеры креста неожиданно и символично совпадали с моим собственным ростом и размахом рук; и этот двойник — как мой представитель — поджидал за меня корабли, если я спал или был чем-либо занят.

Но с другой стороны, крест был символом и представителем высших, таинственных сил, ещё недоступных моему разумению. То есть он, мной воздвигнутый крест, одновременно был и я — и не я. И вот именно эта бездонная двойственность символа заставляла меня относиться к нему почтительно, даже благоговейно: так, как до этого я относился лишь к морю и небу, к огню и камням — к тем стихиям, которые окружали меня.

И ещё я испытывал перед крестом что-то вроде стыда, когда вёл себя, скажем, мелко и суетливо. Даже нужду я уже не справлял так небрежно, как прежде, то есть в любом подвернувшемся месте; нет, мне теперь было как-то неловко спускать штаны и присаживаться на виду у креста. Было у меня такое чувство, что он меня видит, что он со своей высоты наблюдает за мной, осуждая или одобряя моё поведение. Когда же я к нему подходил, то всегда мне казалось, что это не крест возвышается передо мною, а я, беззащитный и слабый, стою перед ним, ожидая совета и утешения.

Но самое главное: одиночество перестало меня тяготить. Больше того: одиночества, в его прежнем смысле, больше не было — крест словно разбил его заколдованный круг. Потому что, общаясь с крестом, ощущая его благотворно-живое присутствие, я понял важнейшую истину о себе и о мире. Я понял, что человек, даже если живёт в окружении многих людей, всё равно существует, по сути, один. Никто — даже самые близкие — не разделит глубинную боль и тоску, не возьмёт на себя одинокую ношу нашего личного, обречённого на одиночество существования. Но в то же время человек никогда не бывает один. Даже если он, вроде меня, вдруг окажется на необитаемом острове, он всё равно будет жить в окружении и в незримом присутствии множества лиц, голосов, мимолётных или навязчивых воспоминаний; уединение даже, скорее всего, обострит его чувство единства с людьми, его неразрывную и напряжённую связь с остальным — пусть живущим вдали — человеческим родом.

62

Мне теперь было куда ходить молиться. Это вошло в мою жизнь тоже как-то само собой, частью тех перемен, что случились со мной после болезни. Я не мог начать день без того, чтобы не постоять у креста, не осенить себя крестным знаменем и не прочитать те три молитвы, которые знал наизусть: “Царю Небесный”, “Отче наш” да “Богородице, Дево, радуйся”.

То, что я знаю на память так мало молитв, огорчало меня, но не слишком. В конце концов, стоя возле креста, я молился своими словами и мыслями и чувствовал, что именно эти молитвы помогают поддерживать то состояние душевного размягчения и вместе с тем внутренней твёрдости, которое было так ново и дорого мне.

Всё то, что я чувствовал по отношению к Богу и к вере в Него, я не мог ещё выразить внятно: мне пока не хватало ни мыслей, ни слов. Возможно, когда-нибудь эти мысли созреют и проявятся, и попытка перенести их на бумагу не сделает их слишком плоскими и примитивными. Ростки веры были во мне ещё очень слабыми и молодыми, и мне было страшно нарушить их рост слишком грубой и торопливой попыткой анализа тех перемен, что совершались во мне. Я знал одно: Бог существует. Иначе здесь не было бы ни меня, ни вот этих страниц, ни моих робких мыслей о Нём.

То, что я пережил здесь, на острове, за короткое — и вместе с тем бесконечно-огромное — лето, было моим путешествием внутрь самого же себя и одновременно было выходом за пределы себя самого. Да, вот именно так: обретая себя, я с собой расставался; я чувствовал, как я огромен — и как я ничтожен, как силен — и как слаб, как я ограничен — и как бесконечен...

Жаль, конечно, что я помнил так мало молитв, что опыт столетий и миллионов людей не мог поддержать меня так, как поддерживал бы, если б я ходил в храм и молился вместе с другими. Но ни храма, ни хотя бы молитвенника взять было негде, и приходилось надеяться только на память, на то, что из недр её сможет со временем что-нибудь выплыть. Ведь вспомнил же я, например, эту историю о трёх старцах, которую уж и не помню, где прочитал, но которая так утешала и радовала меня.

Один из архангельских архиереев объезжал вверенные его попечению монастыри. Владыке сказали, что на одном из островов в Белом море живут три старца, и архиерей приказал направить корабль к этому острову. Действительно, там жили старцы, и на вопрос, давно ли они здесь обитают, ответили:

— Давно, батюшка: мы уж и молитвы-то все позабыли.

— А как же вы молитесь? — удивился архиерей.

— А вот так: “Трое вас, да трое нас — помилуй нас!”

Владыка всплеснул руками — какое невежество! — и не пожалел целого дня, чтобы научить старцев хотя бы главной молитве: “Отче наш”.

Потом, уже в сумерках, архиерейский корабль отчалил от острова. И вдруг владыка, стоя на палубе, видит: по морю, как посуху, озарённые светом луны, за кораблём бегут старцы и, задыхаясь, кричат:

— Постой, батюшка: мы опять все слова позабыли!

Потрясённый архиерей поклонился им в пояс и отвечал:

— Господь с вами, святые отцы: уж молитесь, как прежде молились...

Я вспоминал эту историю снова и снова, и хохотал, представляя лицо изумлённо-испуганного архиерея, сознавая при этом, что только истинно крепкая вера может так улыбаться и даже шутить над собой, как она улыбалась в этой чудесной истории из старинной северной жизни. И снова ко мне приходило отрадное чувство того, что всё в жизни совершается правильно, что на остров меня занесла не слепая игра равнодушно-бессмысленных сил, но я здесь оказался с особого рода задачей и целью. Только моя ограниченность, слабость тела и духа не давала мне вполне осознать, в чём же именно состоит тот таинственный замысел Господа обо мне; но в том, что такой замысел существует, и, значит, моё пребывание здесь не бессмысленно и не случайно, — в этом я больше не сомневался.

63

Зима была, что называется, на носу. По утрам на пожухлой листве, на полях ягеля лежал серебряный иней; а камни, покрытые коркою льда, становились предательски скользкими. За ночь пар от дыхания оседал на скальной стене надо мной в виде изморози, а днём изморозь таяла, и стена над моим изголовьем всегда была словно заплаканной.

Навязчиво думалось: что же я буду делать, когда ляжет снег? Ведь я, к сожалению, не медведь, и залечь в спячку у меня не получится. “Хотя как было бы славно, — думал я. — Взять да заснуть, а проснуться весной. Или даже так: заснуть здесь, а проснувшись, увидеть себя снова на кафедре, в институте, и осознать, что всё то, что со мною случилось, было всего-навсего сном...”

Но подобные мысли не могли меня ни обогреть, ни обеспечить едою и топливом. Пока я был ещё жив и способен что-либо делать, приходилось бороться за жизнь. Главное, надо было решить: как себя согреть? Очаг, которым я пользовался до сих пор, был неудобен: дров съедал много, тепла давал мало, да ещё и дымил порой так, что в хижине нечем было дышать.

На развалинах базы я давно уже присмотрел несколько порожних бочек из-под солярки. Они прямо просились, чтобы из них сделать печи, и одну из тех бочек я покати́л в лагерь. Было забавно пускать её вниз по пологим уклонам и видеть, как разбегаются от её грохота лемминги и разлетаются куропатки.

Но сделать печь оказалось непросто. Труднее всего было вырубить дверку. Пришлось рискнуть топором — самым ценным орудием из моего арсенала, и он, в самом деле, после вырубания дверцы оказался так выщерблен, что я так и не смог потом, при заточке, затереть все зазубрины лезвия.

Сделать так, чтобы дверца печи ещё и закрывалась, у меня не получилось. Но в крайнем случае, можно было просто приставлять к дыре лист кровельной жести (он у меня как раз был) и тем усиливать тягу в печи. Пробить внизу бочки отверстия для поддува было нетрудно. Сложней оказалось с решёткой: на что класть дрова? Никаких подходящих железок я пока не нашёл; пришлось поставить в печь два кирпича и класть дрова поверх них.

Конечно, это было до крайности неудобно: кирпичи прогорали и трескались, а чтобы вычистить печь, приходилось переворачивать бочку. Но для начала и за неимением лучшего, подходила и такая конструкция.

Потом я решил прикатить про запас ещё пару бочек. Ведь жечь, даже толстая, неизбежно должна прогорать, а выкапывать бочки зимой из-под снега — не самое лёгкое дело.

Дымоход хотел сделать сначала из кровельной жести. Но потом, очень кстати, на базе попалась асбестовая труба, как раз подходившая по диаметру к той дыре, по которой из бочки сливали солянку. “Самовар” у меня получился довольно забавный. Он, конечно, дымил изо всех своих дыр и щелей, но зато так уютно гудел, когда в нём занимался огонь, что казалось: со мной в хижине поселилось ещё одно одушевлённое существо. На верхнем торце раскалившейся бочки кастрюля воды закипала за восемь минут: чего ещё было желать человеку, не очень-то избалованному бытовыми удобствами?

Пока было время и силы, я решил сделать ещё одну печь, и она получилась удачнее. Дверцу я вырубил так, что её можно было подвесить на уголках отогнувшейся жести; и самое главное — я нашёл, из чего сделать топочную решётку. Сбив камнем железные ленты с окна караулки, я загнул их концы и, хоть и криво, но вставил эти ленты внутрь бочки: так было намного удобнее, чем складывать дрова на камни или на кирпичи.

Так что печной вопрос, худо-бедно, но был решён. Тревожило больше другое: а хватит ли дров на полярную зиму? Та поленица, которую я усердно выкладывал без малого три месяца, была вроде бы и высокой, и длинной; но откуда мне было знать, какие ударят морозы и какой предстоит расход топлива?

Как раз, когда я заканчивал делать вторую печь, ветер пригнал с севера льды. Всю ночь штормило, а утром, когда всё неожиданно стихло и прояснело, я вышел из хижины, глянул на море и вместо привычной его черноты, подёрнутой крапом пены, увидел слепящие, сахарно-белые ледяные поля. В первый миг показалось: это отражения облаков, столь же ярких и белых; но облаков на синеем небе было куда меньше, чем белизны на черневшей воде. Мне сделалось не по себе, сердце сильно забилося, и я отвернулся от моря. Лишь когда взгляд отдохнул на привычной, багряной и рыжей поверхности тундры, я смог снова взглянуть на слепящие льды.

Дул крепкий ветер, и с каждой минутой льдин становилось всё больше. Уже не отдельные ледяные поля белели на фоне морской черноты, а напротив: прогалы воды маслянисто чернели там и сям посреди ледяной, протянувшейся до горизонта равнины. Чистой воды между льдами и островом оставалось всё меньше; и пока я смотрел, как с севера надвигаются ледяные поля, мне казалось, что остров вдруг тронулся с места и поплыл в белизну в направлении близкой зимы.

64

Я торопился собрать то из припасов, что ещё можно было сложить или в хижине, или в расщелине рядом — там, где я сделал что-то вроде кладовой. Сушёные грибы и водоросли, ягель и квашеные листья берёзы — вот что составляло основу моего рациона, и я набирал и того, и другого, и третьего так много, как только мог. Надеялся я и на вяленую рыбу: ещё оставались и окуни после летних рыбалок, и ломти лосося, которые я заготовил во время нереста. Неплохо было бы, конечно, запастись и копчёными мидиями, и я продолжал ходить на литораль, как усердный хозяин выходит в поле.

Но с морскими дарами становилось всё хуже. Море стало холодным, креветки пропали, да и мокнуть при сборе мидий уже становилось опасно: больше калорий потратишь на то, чтобы потом обогреться. А очередная простуда, переходящая в пневмонию, могла вообще подвести черту под моей жизнью. “Нет уж, — думал я, — надо быть поосторожнее. Самому торопить свой конец ни к чему: зачем же я столько терпел и боролся?”

Если бы не постоянные хлопоты по подготовке к зиме, в которые я был погружён от рассвета и до заката, я бы, наверное, впал в отчаяние: страх

перед надвигавшейся стужей мог совершенно меня подавить. Ведь даже летнее выживание здесь, на острове, и то потребовало крайнего напряжения сил; что же тогда меня ожидало полярною ночью, в метели, снега и морозы? Вопрос был, скорей, риторическим, но пока смерть ещё не явилась ко мне, я старался хотя бы отсрочить нашу встречу.

В конце концов, все мы, ныне живущие, обречены; но, как ни странно, сознание этого почти никому не мешает ни веселиться, ни обустроить свою жизнь с максимальным комфортом, то есть вести себя так, будто он собирается жить вечно. В нас работают механизмы спасительного отупения, не позволяющие нам ни заглядывать слишком далеко в будущее, ни особо задумываться, и сохраняющие, таким образом, нашу способность жить.

Вот и я, утомившись бродить по жёлто-багряным холмам и распадкам, садился, сбросив мешок, где-нибудь в затишке, поднимал лицо к солнцу, какое-то время сидел, отдыхая, с блаженной улыбкой, и мне почему-то казалось, что я никогда не умру. Солнце грело так ласково, лемминги так дружелюбно, нисколько меня не пугаясь, шныряли в ногах, птица-пуночка так забавно прыгала по кустам голубики, что невозможно было представить: да как же весь этот милый и ласковый мир, наполненный красками, жизнью и светом, вдруг перестанет для меня существовать?

Я вспоминал глуповатую, как мне казалось некогда, мысль кого-то из греков: “Пока есть я, смерти нет; придёт смерть — уж не будет меня; таким образом, для меня лично смерти вовсе и не существует”, — и она уже не казалась мне столь примитивной, а напротив, выражала вот именно то, что я чувствовал. “Где же, — думал я, — эта самая смерть? Вот он я, вот мои руки и ноги, вот мой мешок, от которого пахнет грибами, вот низкое солнце, которое греет меня перед тем, как уйти за холмы, — вот всё то, что я вижу, чувствую, знаю. Но я не вижу, не чувствую и не хочу знать того, что называется этим уродливым словом, я не могу, не хочу верить в смерть. Смерть и я — вещи несовместимые; само моё существование, пока оно длится, изгоняет из мира тот призрак, что называется смертью...”

Вот и пойми после этого человека: как может он, сознавая свою обречённость, ощущать и вести себя так, будто он вечен? И в чём тогда наша ошибка: в том ли, что мы ощущаем себя бесконечными, или в том, что мы себе кажемся смертными? И не лучше ли, раз уж не можешь себе доказать окончательно ни того, ни другого, выбрать то, чего просит душа, то есть поверить в бессмертие?

65

Давно я не спал так сладко и крепко, как в ночь, когда выпал снег. Проснувшись позже обычного, встал не сразу и долго не мог понять: что за белый язык лежит возле входа? И почему всё так тихо, таинственно и хорошо?

Когда же я всё-таки встал и осторожно, словно боясь потревожить кого-то, вышел из логова, глаза зажмурились от белизны, что лежала вокруг. Первым чувством, которое я испытал, была всё-таки радость — давнишняя, детская радость от первого снега. Улыбаясь, я сел на корточки, сгрёб ладонями влажный комок, но вдруг осознал, что выпавший снег означает и нечто иное. “Да, снег — это конец”, — подумал я обречённо. Словно холодная чья-то рука вдруг сдавила мне сердце, и оно замерло, а потом застучало так часто, что у меня потемнело в глазах.

Чуть успокоившись, я побрёл туда, куда ходил теперь каждое утро: к кресту. Снег был сырым, и ноги быстро промокли. Окружающий мир, ещё вчера разноцветный и сложный, оказался вдруг чёрно-белым, знобяще пустым, и от этой внезапной его простоты делалось страшно. Даже чайки, и те были словно испуганы: они не кружили, истошно крича, как обычно, не падали к морю за рыбой, а недвижно стояли вдоль береговой полосы, напоминая мишени в тире, вырезанные из картона.

Крест чернел, возвышаясь среди белизны; его переключина была толстой от снега, налившего сверху. Я попробовал, как обычно, молиться, но странно, что слова молитвы выпадали из моего отвлечённого чем-то сознания.

Стоя перед крестом лицом к морю, я никак не мог понять: в чём же дело, что мне мешает?

Да, пейзаж вокруг переменялся; его белизна, его как бы припухлость, и снежные горы, накрывшие острые спины камней, — это всё отвлекало. Но мешало, я чувствовал, что-то ещё: так, бывает, мешает соринка, попавшая в глаз. Зачерпнув полные пригоршни снега, я растёр им лицо, проморгался, но чувство помехи от этого даже усилилось. Продолжая часто моргать — глаза слезились от холода, от непривычного света и белизны — я опять перевёл взгляд к морю. Какая-то словно помарка светледа вдали, на морской черноте, возле самого горизонта. “Вот она-то мне и мешает, — подумал рассеянно я, и вдруг меня словно ударило током. — Господи, да ведь это корабль!”

Сначала я заорал — хриплым, нечеловеческим голосом! — потом засипел, сорвав связки, и понял, насколько бессмыслен мой крик. То, что я делал потом, совершалось в такой лихорадочной спешке, с такой дрожью рук и с таким колотящимся сердцем, что я запомнил немногое.

Помню, стоял на коленях перед сугробом, в который за ночь превратился сигнальный костёр, и дрожащей рукой просовывал внутрь огонёк зажигалки. Снег таял и капал, и костёр не хотел загораться. Потом я сообразил: если даже займётся растопка — растаявший снег всё равно залёгнет пламя. Но когда я, торопясь, разбросал снеговой холм ногами и попытался, оббив палки от снега, сложить костёр заново — дрова оказались настолько сырыми, что было бы чистым безумием пробовать их поджигать.

Откуда я взял сухие дрова? Не помню; наверное, сбегал к хижине. Но помню, что руки, которыми я торопливо выкладывал новый костёр, были в крови: наверное, я не один раз упал, ободравшись о камни.

Посмотреть в сторону моря — виден ли всё ещё на горизонте корабль? — я боялся. Но его серый контур, похожий на пёрышко птицы, так отпечатался у меня на сетчатке, что я видел корабль всюду, куда бы ни посмотрел: и на чёрной скале, и на ворохе сучьев, и даже на той струйке дыма, что поднималась от засвистевшей, как чайник, растопки. И только тогда, когда пламя костра загудело уверенно, сильно, и даже сырые дрова, которые я поставил высоким шатром над сухими, уже не шипели, а просто дымили, — только тогда, задыхаясь от спешки и дыма, я вновь посмотрел в сторону моря.

Да, корабль был ещё виден, он даже, как мне показалось, приблизился, но морской горизонт был затянута молочной дымкой, и уже нельзя было точно заметить, где кончается море, а где начинается небо. Туман надвигался так быстро, что вот уже и корабль скрылся в его молоке, и только рубиновые топовые огни какое-то время ещё тлели в тумане. Но вот и огни побледнели, пропали, и я опустил на снег обессиленный, в совершенном отчаянии.

Мучительнее всего было то, что я не знал точно: успели ли там, на корабле, заметить дым моего костра, пока он был ещё виден? Шанс оставался — вдруг всё же заметили? — но даже если это и так, никто не рискнул бы подойти к острову при нулевой видимости. Мне оставалось одно: дожидаться, пока поднимется ветер и растащит этот проклятый туман.

Идти в хижину не было смысла: здесь, по крайней-то мере, хорошо разгорелся костёр, и я мог обсушиться. Разувшись и бросив шинель на истоптанный снег, я сушил башмаки и портянки, держа их в руках над костром. Лицо обдавало огнём, и пахло палёным: предплечья были в пепельных крапинах от сгоревших волос.

С недоумением я увидел тетрадь, лежавшую на истоптанном, перемешанном с грязью и сажей снегу. Это был мой дневник; интересно, подумал я, как он здесь оказался? Наверное, когда бегал в хижину за сухими дровами, я прихватил и его — для растопки. Да, середина тетради была вырвана, что называется, с мясом; и я теперь вспомнил, как комкал один лист за другим и подкармливал ими чахлый огонь, пока он не разгорелся.

Это странно, но мне стало жалко сожжённых листов — будто с ними сгорела какая-то часть меня самого. И чтобы как-то восполнить потерю, я — сначала обувшись, усевшись поближе к огню и достав из кармана огрызок карандаша, — стал вспоминать весь сегодняшний день, с той самой минуты, когда я проснулся в заваленной снегом берлоге и удивился тому, как вокруг

тихо и хорошо. Листы тетради были сырыми, и мне приходилось подсушивать их над огнём, прежде чем написать ещё несколько строк.

Я написал о том, как вышел из хижины и зажмурился от сиявшей вокруг белизны; о том, как пытался молиться возле креста и как мне что-то мешало; о том, наконец, как увидел корабль и как, в лихорадочной спешке, пытался зажечь сигнальный костёр. Написал о тумане, о том, как сушил башмаки, о том, как увидел вот эту тетрадь на снегу — и моё прошлое вдруг догнало моё настоящее. Писать стало не о чем: прошлое кончилось, а грядущее было пока неизвестно. Это было тяжёлое чувство: как будто вот в эту минуту, когда текст дневника, повествуя о прошлом, упёрся в тупик настоящего, будто в эту минуту закончилась и сама моя жизнь.

И вот я сижу, занеся карандаш над сырой бумагой и с ужасом чувствую: ещё несколько слов, и рука остановится, потому что мне не о чем будет писать. И в эту секунду — вот-вот, уже скоро! — словно исчезну я сам. Что ж: прощай, мой дневник, прощай, остров... Я здесь жил, как умел, и писал, как умел; а что будет дальше — Бог весть...

(На этом рукопись обрывается. — Примечание издателя).

2010–2013

БОРИС СВЕРДЛОВ



НЕБО И РЕКА

* * *

Игорю Шевченко

Мы раскурили трубку мира
С душистым, терпким табаком,
И нас неспешно озарила
Луна полночным серебром.
Ночь потеснила тёплый вечер,
На яхте парусом шурша,
И нашей радовалась встрече
Моя ранимая душа.
Водили звёзды хороводы
И отражались на воде.
Кто здесь не чувствует свободы,
Тот не найдёт её нигде.
Мы молча выпили без тоста,
И каждый знал наверняка,
Что где-то там сливались просто
И это небо, и река,
И дальний плёс, что еле виден,
И деревья на берегу —
В одну родимую обитель,
Жить без которой не смогу.

СВЕРДЛОВ Борис Аркадьевич, отмечающий свое 60-летие в январе 2014 года, является лауреатом всероссийских литературных премий имени В. К. Тредиаковского и "Русское поле", награждён медалью "Навеки вместе" Республики Калмыкия и общественным орденом Сергея Есенина. Живёт и работает в Астрахани.

* * *

Копая грядки, а в уме стихи.
Сегодня день, услужливый в погоде.
Кто мне сказал, что я не от сохи
И к сельской жизни вовсе не пригоден?

Мой дед и бабка родом из села.
Когда-то в город въехали с вещами.
Возможно, им фортуна помогла
Построить дом у речки с камышами.

Устал копать. Поставлю вешала
И подвяжу разбуженные лозы.
Давно в руке застряла, как игла,
От черенка саднящая заноза.

А солнце, от погоды разомлев,
Присело остудиться на затоне...
Святым напоминаньем о земле
Мне станут огрубевшие ладони.

* * *

Отцу

Отец дошёл до Кёнигсберга.
Пал Кёнигсберг.
Была жестокой перестрелка
И колол снег.
И санитар из медсанбата
Кричал: "Держись!"
Жизнь не оставила солдата —
Осталась жизнь...
Но даже ей не переплавить
Того свинца,
Который вжился, словно память,
В плечо отца.

* * *

Памяти поэта

Ныне незаметно наступает лето.
Отпевают птицы позднюю весну.
Отпевают в церкви русского поэта...
Я его, как друга, дома помяну.

Видимо, от ветра, испугав округу,
Вдруг заголосили все колокола.
И дневное солнце, словно с перепугу,
От угрюмой тучи часть оторвала.

То душа над нами облаком небесным
Молча воспарила в голубой простор...
Неужели стало на земле ей тесно?
Неужели тяжело было до сих пор?

...Тихо поминаем вечером погожим.
Майский месяц в небе мается слегка.
На портрете друг мой выглядит моложе
И на нас, на грешных, смотрит свысока.

* * *

Памяти родителей

Самая милая, малая
Родина в сорок дворов.
Здесь меня дедушка баловал,
Здесь был родительский кров.
Улица детства, околица,
Встречу ли вас на пути?
Светлыми чувствами полнится
Взрослое сердце в груди.
Ныне дорога не пыльная —
Нету былой колеи.
Словно дождями обильными
Смыло пенаты мои.
Где вы, дома деревянные?
Где у реки ветряки?
Время пришло окаянное,
Тёмное время тоски.
Раньше витал по обители
Запах акаций и роз...
Розы куплю и родителям
Я отнесу на погост.
И помяну над могилою
Добрых моих стариков...
Где ж ты, окраина милая, —
Родина в сорок дворов?

АЛЕКСАНДР КЕРДАН



ВНЕ ОЧЕРЕДИ

РАССКАЗ

Слышимость в новых ДОСах* была такой же, как в гостевой комнате знаменитой Невьянской башни, где подполковник Нахимчук побывал, проверяя местный военкомат. По великому благу невянский горвоенком провёл его к этой демидовской диковине, расположенной на территории режимного завода. По словам военкома, наклон у башни был больше, чем у Пизанской, в затопленных подземельях скрыта тайна чеканки демидовской серебряной монеты, а в самой башне оборудована та самая гостевая, где каждый шепоток был слышен в любом углу. И в своём ДОСе, благодаря хлипким межквартирным перегородкам, Нахимчук знал о жизни соседей практически всё: когда ложились, когда вставали, даже звяканье ложечки о чашку слышно, будто чай соседи пили у него на кухне.

Но сегодня Нахимчука спозаранку разбудил не звон посуды, а соседское радио, вдруг разразившееся бодрой песней. “Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом! Лучше работы я вам, сеньоры, не назову... Стану я точно генералом, буду я точно генералом!” — во весь голос радовался модный советский певец. Как-то он давал шефский концерт в окружном Доме офицеров. Низкорослый, в туфлях на высоких каблуках, с натянутой,

* ДОСы – дома офицерского состава.

КЕРДАН Александр Борисович родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Полковник запаса. Доктор культурологии. Сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Автор многих книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, в Западной Сибири и на Урале. Лауреат Большой литературной премии России, международных и всероссийских литературных премий. Живёт в Екатеринбурге.

будто приклеенной улыбочкой. Наполеоновский комплекс — налицо! Такие липипуты обычно и становятся генералами...

Сам Нахимчук генералом стать не хотел. Конечно, курсантом-первокурсником мечтал о счастливой карьере, но быстро усвоил военную присказку про генеральских детей, которым “за ратный труд штаны с лампасами сошьют”... И понял, что простым смертным выше полковника не подняться! Ну, а коли так, то и полковник — чем не мечта? Три больших звезды и два просвета на погонах, папаха опять же: в зимнее время издали видна... Но помимо внешнего вида, был у носителя этого высокого звания целый ряд ощутимых материальных преимуществ. Это он позже, будучи уже офицером, уяснил. И в Военторге полковников в особом отделе обслуживали, и к праздникам почти что генеральские продовольственные наборы выдавали, и в окружной поликлинике не только полковники, но и члены полковничьих семей до скончания века состояли на учёте, в отличие от членов семей подполковников и майоров, не говоря уже о младших офицерах. И была ещё одна, незначительная вроде, но для Нахимчука просто убийственная деталь: полковники имели право брать в воинских кассах билеты вне очереди, равно как и Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы, генералы и адмиралы! Понятно, что генералы в очереди не стояли — у них для этого порученцы имелись. Героев Советского Союза и кавалеров других высоких наград в таких очередях Нахимчук тоже как-то не встречал. А вот разные полковники выскакивали всегда, как чёртики из табакерки, как раз когда подходила его очередь. И это обстоятельство его всегда очень нервировало. Нахимчук не раз ловил себя на том, что, ожидая очереди, глядел на отражение своего погона в стекле кассы. Покачнётся он, и звёздочки на нём удваиваются, посмотрит под определённым углом и — один просвет становится двумя...

Словом, мечта получить звание полковника со всеми вытекающими отсюда льготами грела Нахимчука долгие годы. Но только одно дело мечта, а совсем другое — реальность. Служба поначалу складывалась у него неплохо: взвод, рота, начальник штаба батальона — и всё застопорилось на академии. Экзамены в академию он сдал, но не прошёл по конкурсу. Можно было бы выдвинуться иным способом: скажем, послужив в Афганистане. Но туда он не попал по причине перенесённого в детстве гепатита. Так и завис на батальоне. С трудом получил майора. Потом и вовсе отошёл от карьерной магии — оказалась в организационно-мобилизационном управлении штаба округа, в отделе, курирующем военкоматы. Правда, огорчался этим обстоятельством Нахимчук недолго. Сослуживцы быстро растолковали ему все преимущества новой службы. Ни тебе прямых подчинённых с их вечными проблемами и чрезвычайными происшествиями, ни ранних подъёмов и “тревог”. Спокойная, размеренная работа в тёплом, уютном кабинете, выходящем окнами на центральный проспект областного центра. И квартиру получил Нахимчук в центре, в доме по улице Мамина-Сибиряка, совсем недалеко от штаба округа. Эта привилегия доставалась тоже, в первую очередь, офицерам его управления, отвечающего за мобилизационную готовность.

Если же едешь в командировку, встречают тебя в районных и городских военкоматах не хуже, чем генерала. В Каслях угостят знаменитым местным пирогом из двух десятков сортов рыбы, которая водится в окружающих городок озёрах, с лучком и тонким, пропечённым тестом. Под такой пирог никакая водка с ног не свалит, хоть целый литр в себя залей! Опять же сувениров целый портфель привезёшь — на весь мир известное чугунное литьё... В Златоусте свои прелести — ножи и топоры с гравировкой по амосовской стали... В Тобольске — резьба по кости, северная рыба муксун и стерлядка. В Тагиле — дивные подносы с мастерской росписью. В общем, если дураком не будешь, то и сам не пропадёшь, и старшему начальнику подарок привезёшь, что тоже немаловажно для спокойной службы и возможного повышения... И всё бы хорошо было у Нахимчука, только вот желанное повышение никак не случалось. Кое-как, с задержкой стал он подполковником и затормозился на этом на целое десятилетие. Уж, было, и смирился Нахимчук с тем, что придётся на пенсию выходить в сорок пять подполковником. Но тут для таких, как он, служака, нашлась лазейка. Кто-то там на самом

верху додумался, что негоже простых офицеров, тех, что без академии и не при должности, лишать надежды папаху надеть. И вот в самом начале горбачёвской перестройки появился приказ министра обороны СССР, разрешающий представлять к званию полковника подполковников, проходивших в этом звании не менее двух положенных сроков (то есть как раз десять лет) и, конечно, положительно характеризующихся по службе...

Тут уж Нахимчук стал землю носом рыть, только бы в число этих представленных угодить. И подарок начальнику отдела на день рождения дорогой преподнёс, и на службе стал задерживаться позже других, чтобы рвение своё показать, и даже бегать стал по утрам, дабы жирок, коим от долгого сидения на стуле изрядно запыл, растрясти и не опарафиниться на очередной итоговой проверке при сдаче норм военно-спортивного комплекса. Немаловажным фактором в осуществлении задуманного стала и дружба с одним из старших офицеров управления кадров округа — завзятым рыбаком. Сам Нахимчук рыбалку на дух не переваривал, называл её не иначе, как той же пьянкой, только в болотных сапогах. Но тут купил удочку, книгу по спортивному рыболовству, записался в военно-охотничье общество и напросился поехать вместе с кадровиком на озеро. Стойко перенёс он там и комаров, и подзуживание нового приятеля, когда не смог поймать ни одного карасика, но зато посидели вместе у костерка, вышили, конечно, поговорили... Так раз, другой. Нахимчук старался, не отказывался и червей накопать, и костёр разложить, и за пол-литрой в ближнее сельпо сбегать... А когда месяца через три отношения стали совсем доверительными, во время очередной попойки у костра выложил кадровику свою заветную мечту...

— Это, Вася, сделать нам легко, — важно сказал кадровик, — как два пальца об асфальт...

И слегка заплетающимся языком тут же изложил план действий, в котором самым неожиданным оказалось требование законспектировать все последние доклады Горбачёва, связанные с перестройкой и гласностью.

— А это зачем? — искренне удивился Нахимчук. — Ну, мобилизационные документы, приказы, положения — это понятно, а доклады-то зачем? Я же не политработник...

— Эх, Вася! В том-то и дело, что не политработник! На этом и погоришь!

— Как это погорю? — не на шутку испугался Нахимчук.

— А вот так... — кадровик приблизил к нему покрасневшее от выпитого лицо. — Ты же знаешь, что всех представленных к званию полковника пропускают через Военный совет округа. Так вот там тебя и рубанут!

— Кто рубанёт!

— Ясно кто — “Факел перестройки”.

“Факелом перестройки” прозвали рыжего генерал-майора, недавно прибывшего из Куйбышева на должность начальника политуправления округа.

— Этот “Факел” на последнем Совете трёх претендентов зарубил за то, что генсека процитировать не смогли. Уяснил? — спросил кадровик.

Нахимчук кивнул. И дело закрутилось.

“...Буду я точно генералом, стану я точно генералом...” — надрывалось соседское радио, возвращая Нахимчука к событиям вчерашнего дня, когда на экстренном собрании офицеров начальник управления зачитал приказ о присвоении ему звания полковника, вручил заветные погоны и папаху. Какое это было мгновение!

Конечно, через своего друга — кадровика он уже заранее знал о пресловутом приказе, и даже новый китель с полковничьими погонами в окружном ателье заказал, и к парадной шинели погоны сам лично пришел, исколов иголкой все пальцы... Да что там погоны! Он и отпуск себе подгадал к этому дню, и путёвку в военный санаторий — опять же по блату! — раздобыл. И в какой санаторий! В Архангельское! Туда офицеров ниже полковника просто не пускают! А летом там вообще отдыхают одни москвичи.

“Ничего, — думал Нахимчук, — нам и февраль сойдёт. Зато какие перспективы этот отдых может предоставить... Скажем, окажется соседом по обеденному столу какой-нибудь большой человек из Минобороны... И я ему понравлюсь. Уж я постараюсь это сделать! И тогда...”

Нахимчук нашарил ногами тапки, поднялся, с хрустом потянулся и, с удовольствием глянув на своё отражение в трюмо, шёпотом, чтобы не разбудить мирно спящую жену, поздоровался: “Здравия желаю, товарищ полковник!” На него взирал сразу из трёх зеркал толстый, волосатый мужик в майке и семейных трусах до колен. Он долго и старательно разглядывал своё широкое лицо, точно видел впервые. Крупный нос с ложбинкой посредине, большие, навывкате, серые глаза, залысины на лбу... Жёсткая линия рта. Словом — настоящий полковник. А полковник, он и в Африке — полковник. Сам не замечая того, Нахимчук всё бормотал прицепившуюся фразочку: “Буду я точно генералом, буду я точно...” Он подобрал живот, одобритительно улыбнулся своему отражению и пошёл в туалет, на ходу смакуя все дела, которые предстоит сделать в первый день отпуска. Сегодня он без очереди купит билет на самолёт. Нахимчук специально не покупал его заранее, будучи подполковником, чтобы нынче насладиться открывшейся возможностью...

Он не спеша побрился. Так же со значением выпил чай, который подали проснувшаяся, наконец, жена, такая же толстая и неуклюжая, как и сам Нахимчук. Но и она, надоевшая за четверть века совместного быта, в это утро не вызвала в нём обычного раздражения своим растрёпанным, заспанным видом. И обданный “Индийский чай” Рязанской чаеразвесочной фабрики показался ему необыкновенно вкусным.

Новый китель сидел на нём, как влитой.

— Ой, Вася, какой ты... — счастливо всплеснула руками жена и почему-то прослезилась.

— Полно, полно, Зина! Чего сырость развела? Помоги лучше шинель надеть, — Нахимчук оттопырил назад короткие руки, отчего стал похож на фронтовой бомбардировщик “Миг-15”. Такие самолёты были на вооружении в тот год, когда он поступал в авиационное училище. Поступал да не поступил: подвёл вестибулярный аппарат. Но в военных училищах страны тогда был недобор, и абитуриентам, кто не прошёл в лётное по физическим данным, предложили на выбор другие училища. Нахимчук выбрал общевоинское командное... И не прогадал! Вот стал полковником...

Он вышел на крыльцо, остановился, глядя в серый небосвод, с которого сыпался мелкий, колочий снежок. Ветер, дующий со стороны “Урал-маша”, доносил запахи заводских труб и окрестных кочегарок и всё норовил залезть холодной пятернёй за отворот шинели. Но и это обстоятельство ничуть не расстроило Нахимчука. Напротив, и небо ему казалось не таким низким, и ветер вовсе не был пронизывающим. Он с минуту потоптался на крыльце, раздумывая, какой дорогой направиться к кассам предварительной продажи билетов, что располагались на улице Свердлова. Пройти можно было двумя путями: срезав расстояние, через Харитоновский парк, и более длинным путём — через Вознесенскую горку.

Нахимчук пошёл там, где многолюдней, — так хотелось ему покрасоваться в новой серой папаше, делающей его выше и стройнее.

Как назло, в этот утренний час прохожих было немного. Да и те, что попадались навстречу, не обращали на Нахимчука никакого внимания, кутались в шарфы, закрывали носы воротниками однотипных пальто, спеша по своим делам. Впрочем, и это обстоятельство не поколебало его хорошего настроения.

Нахимчук, тяжело и широко ставя ноги, поскрипывая снежной крупкой, дал кругаля и вышел на набережную Исети. Его взору открылись серые невыразительные дома на противоположном берегу. И только высотное здание обкома партии настырно лезло в глаза. “Белым кльком” окрестили свердловчане детище первого секретаря обкома Ельцина, недавно переведённого в Москву... А по эту сторону реки — старые полуразрушенные бараки да пустырь на месте дома Ипатьева, за ночь уничтоженного молодым и энергичным свердловским вождём. Говорят, Ельцин лично руководил этими работами — он ведь строителем по образованию. Наверное, за исполнительность и партийную непреклонность и пошёл на повышение.

“А что, может, и у меня ещё всё сложится удачно... Возьмут да переведут в Москву, в мобилизационное управление Министерства обороны...”

Для полковника-то я ещё совсем не старый... К тому же с опытом работы и старанием... А там, в Москве, и до генерала — рукой подать!” — счастливо размечтался Нахимчук.

Он пришёл в кассы, предчувствуя долгожданный триумф, как подойдёт к окошечку и, раздвигая толпу, возьмёт свой билет вне очереди.

К разочарованию Нахимчука, очереди возле воинских касс в это утро не было. Стояли всего три человека: лейтенант с эмблемами танкиста, какой-то старичок-отставник и женщина средних лет, видимо, жена или мать военнослужащего. В общем-то, можно было бы и за ними встать.

Но Нахимчук с сознанием собственной правоты бесцеремонно подошёл к окошечку, отстраняя лейтенанта, подал кассиру проездные документы:

— На утренний самолёт до Москвы, будьте любезны... — как бы устало сказал он.

Пока кассир звонила в аэропорт, Нахимчук снисходительно оглядел стоящих. Лейтенант был совсем зелёный — шинель ещё не обмялась. А старичок, видать, воевал... Составить мнение о женщине Нахимчук не успел — кассирша доложила с почтением в голосе:

— Повезло вам, товарищ полковник, последний билет на рейс достался... Оформляем?

Нахимчук кивнул.

— Девушка, скажите, больше билетов совсем нет? — спросил лейтенант.

— Я же русским языком сказала: этот последний, — отрезала кассир.

— Товарищ полковник, вы не уступили бы мне билет? — обратился лейтенант к Нахимчуку. — Я по телеграмме, у меня мама при смерти...

Нахимчук, хотя едва доходил лейтенанту до плеча, посмотрел на него сверху вниз:

— По служебной надобности, лейтенант!

Лейтенант ничего не сказал.

Оформление билета Нахимчука прошло в гробовой тишине. Отходя от кассы, он обернулся, желая подбодрить лейтенанта, мол, улетишь следующим рейсом.

Старичок тем временем расстегнул полушубок. Намётанным глазом Нахимчук сразу приметил на пиджаке планки трёх орденов Славы и вышел на улицу.

“Надо было всё же подсказать лейтенанту, чтобы обратился к военному коменданту в Кольцово: тот в экстренных случаях подсаживает военнослужащих на ближайший борт... — запоздало спохватился он. — Ещё и этот старик, полный кавалер... Тоже ведь мог бы без очереди... Да что уж теперь...”

— Ничего, мне положено, — пробормотал он себе под нос и пошёл домой собирать чемодан. Но только к вечеру, когда в гости нагрянули родственники жены, чтобы поздравить Нахимчука с получением долгожданного звания, неприятный осадок от похода за билетами понемногу развеялся.

На следующее утро об этом инциденте Нахимчук уже вспоминал в больнице: по дороге в аэропорт такси, на котором с *шиком* ехал новоиспечённый полковник, угодило в аварию.

ТАЙНЫЙ СОТРУДНИК

РАССКАЗ

Громов с детства мечтал стать разведчиком. Все книжки в городской библиотеке про чекистов и про шпионов он прочитал запоём, а фильмы “Подвиг разведчика”, “Сильные духом” и “Щит и меч” смотрел в кинотеатре едва ли не каждый день, пока шёл показ.

Но поскольку в его южном городке узнать, где и как готовят разведчиков, было невозможно, поступил Громов в обычное военное училище связи. Там у него проявилась склонность к общественной работе. Поэтому после назначения в полк лейтенанту Громову предложили стать секретарём комитета ВЛКСМ.

Комсомольская работа расширила круг его знакомых: работники местного областного комитета комсомола, учителя соседних школ, сотрудники клубов и библиотек, где проводились комсомольские мероприятия. Особенно подружился Громов с Олегом Закутько — заведующим отделом оборонно-массовой работы обкома. Закутько оказался парнем прямодушным, обаятельным, открытым. Такие люди всегда нравились Громову.

В числе приятелей оказался и начальник особого отдела полка капитан Листовой. Был Листовой из “пиджаков”, то есть, призван в армию после гражданского вуза. По профессии он был учителем ботаники, кроме того, был завзятый книголюб и знаток литературы и тем сразу пришёлся по душе Громову, пробовавшему писать короткие рассказы. Ну и, конечно, Громову льстило, что он дружил с человеком из секретных органов, куда сам когда-то мечтал попасть...

Громов, в свою очередь, познакомил Листового и Закутько. Посидели, выжили, понравились друг другу. С той поры ни одного выходного не проходило, чтоб приятели не собирались то в бане за кружечкой пива, то на берегу речки с удочками...

Всё было в ажуре до одного случая, изменившего их отношения. Как-то Листовой пропустил общий сабантуй, потом поинтересовался, как всё прошло. Громов рассказал, сделав упор на то, что и напились, и напелись...

— Что пели-то? — спросил Листовой.

— Да, разное. Военные, комсомольские. А потом Закутько на рідной мове запел — заслушаешься... Голос у него — хоть в Большой театр бери!

Рассказал об этом Громов и забыл. А через день Листовой зашёл к нему в комитет комсомола и бухнул с порога, что с Громовым хочет встретиться один важный человек.

— Кто такой? — поинтересовался Громов.

— Поедем, там узнаешь.

На “шестёрке” Листового они выехали за ворота гарнизона и покатали в центр города. За всю дорогу не проронив ни слова, Листовой притормозил у подъезда областного управления КГБ.

С трепетом вошёл Громов в “святая святых”, не понимая, кому он мог понадобиться и по какой причине.

Старший сержант с буквами “ГБ” на синих погонах проверил пропуск у Листового и внимательно просмотрел все страницы удостоверения Громова, потом взял под козырёк.

Громов и Листовой поднялись на третий этаж в приёмную начальника управления. Секретарша, очевидно, была хорошо знакома с Листовым. Она ласково улыбнулась ему и окинула Громова пристальным взглядом кондукторши в автобусах или женщины-разведёнки.

— Проходите, вас ждут, — произнесла она с пониманием своей важной миссии.

В длинном сумрачном кабинете, стены которого были закрыты такими же, как в обкоме комсомола, полированными панелями цвета морёного дуба, за огромным столом с бюстом *Железного Феликса* сидел человек с полковничьими погонами на плечах. Он не спеша поднялся им навстречу.

— Здравствуйте, Иван Сергеевич. Называйте меня Владимиром Николаевичем, — он пожал руку Громову. Рукопожатие было крепким, и сам полковник, хотя едва доходил Громову до плеча, внушал уважение и невольный трепет. Наверное, всё дело было в глазах — колбочих, как буравчики. Крючковатый нос, высокий лоб с залысинами, — словом, вылитый “ястреб холодной войны”, как на карикатурах изображали хищных американских империалистов.

По-свойски, но без панибратства полковник поздоровался с Листовым, пригласил за стол, стоящий в торец к его начальственному столу, и сам усел

ся не в своё кресло, а на стул напротив. Выдержав томительную для Громова паузу, спросил:

— Вас, должно быть, удивляет моё приглашение?

Громов слишком поспешно кивнул, невольно выдав своё волнение, что не ускользнуло от пронизательного взгляда полковника и, похоже, понравилось ему.

— Я слышан о вас, — сказал он веско. — Знаю вас как честного офицера, молодого коммуниста, человека, преданного нашим идеалам.

“Что же ему от меня надо? — терялся в догадках Громов, с трудом выдерживая взгляд полковника. — Чего он тянет?”

Но полковник и не думал тянуть — сразу взял быка за рога:

— Ко мне поступила информация, что сотрудник областного комитета комсомола Закутько Олег Петрович, с которым вы состоите в дружеских отношениях, является носителем националистических взглядов и убеждений. Вы можете это подтвердить?

Громов оторопел: ничего подобного он услышать не ожидал. Во рту у него сразу пересохло.

— Нет, не могу, — не сразу выдавил он из себя.

Полковник укоризненно покачал головой:

— Как же не можете? А не вы ли говорили, что Закутько любит петь украинские песни и на рідной мове гарно розмовляеть? — он выразительно посмотрел на Громова.

Только тут до Громова дошёл истинный смысл происходящего. Он вспыхнул, но полковнику ответил как можно сдержаннее:

— Товарищ полков... простите, Владимир Николаевич, мне кажется, мои слова были неверно истолкованы. Я действительно как-то похвалил певческие способности Олега Петровича, но не более того. Да, Закутько говорит по-украински. Но ведь он сам — украинец, кажется, из-под Ровно... А песни он поёт разные, и русские, и украинские... Но все они написаны известными советскими композиторами и поэтами... Что же касается политической характеристики товарища Закутько, то могу утверждать с полной ответственностью: он — наш, советский человек!

— Да вы не волнуйтесь, Иван Сергеевич, — взгляд полковника сделался чуть-чуть добрее. — У нас служба такая: поступила информация, её надо проверить. И перепроверить, если потребуется... Спасибо, что не отказались приехать.

Громов про себя усмехнулся: “Попробовал бы я отказаться...” — но вслух произнёс то, что полковник хотел от него услышать:

— Полагаю своим долгом коммуниста помогать органам безопасности.

Полковник поднялся со стула:

— Хочу вас предупредить: о нашем разговоре, пожалуйста, никому не рассказывайте. Тем паче самому Закутько. Ясно?

— Так точно, — по-армейски ответил Громов.

— Надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится, будет длительным и плодотворным, — полковник на прощание ещё раз мёртвой хваткой стиснул ладонь Громова.

Только в машине Громов, наконец, дал волю своему гневу:

— Зачем ты передал наш дружеский разговор? Это же настоящее предательство!

Листовой и не думал оправдываться:

— Ты ничего не понимаешь, а ещё мечтал стать разведчиком! В нашей службе нет ничего личного! Всякая информация важна. К тому же, скажу тебе по секрету: Закутько у “конторы” на особом контроле.

— Как это *на особом*? Он что — враг?

Листовой понизил голос и сообщил доверительно:

— Да нет. Просто написал заявление с просьбой отправить его учиться в Высшую школу КГБ и потому должен быть проверен по высшему разряду. А ты сам-то не передумал стать чекистом?

Громов пробормотал что-то невнятное, но с этого дня грезить о карьере разведчика перестал, да и дружба с Листовым и Закутько оборвалась.

Ещё раз судьба свела Громова с тайным ведомством много лет спустя, уже в пореформенной России. К этому времени он стал полковником, военным журналистом и разрабатывал тему первых русских поселенцев на Аляске. Областная библиотека решила провести широкую презентацию книги его очерков.

Один знакомый депутат посоветовал Громову пригласить консула США по культуре, который, дескать, родом был оттуда, с Аляски, к тому же был историком по образованию, а значит, может оказаться полезным для дальнейшего продвижения книги. Громов возражать не стал.

Через несколько дней Громову позвонили. Мужской голос на ломаном русском сообщил, что консул господин Хаган ждёт его завтра в своём консульском отделе для знакомства и переговоров.

Громов сказал, что придёт. И тут-то в нём проснулась вышколенная годами советско-американского противостояния бдительность: как он, действующий офицер, пойдёт на территорию чужого государства, не получив разрешения командования и специальных органов?

К счастью, соседом Громова по лестничной площадке был подполковник Сойкин, служивший в особом отделе округа, время от времени захаживавший пропустить чарку-другую и поболтать на отвлечённые темы.

Сойкин отнёсся к сообщению с неподдельным интересом. Пообещал немедленно сообщить коллегам из областного управления ФСБ, и уже через пару часов на связь с Громовым вышел капитан, назвавшийся Игорем, и назначил randevu в сквере у драмтеатра в половине седьмого вечера.

Игорь оказался приятным молодым человеком неброской наружности. “Наверное, таким и должен быть настоящий разведчик, чтобы его было труднее запомнить”, — промелькнуло в голове у Громова.

— Вам, Иван Сергеевич, горячий привет от полковника Закутько, вашего давнего знакомого, ещё по городу N, — безошибочно назвал Игорь первое место службы Громова.

— От Олега Петровича? — не поверил своим ушам Громов.

— От него самого. Олег Петрович недавно назначен к нам заместителем начальника управления. Он с большой теплотой вспоминал вас и годы комсомольской юности...

“Значит, донос Листового не помешал Закутько поступить в школу КГБ...” — тихо порадовался Громов.

— Олег Петрович поручил мне проинструктировать вас о поведении там, куда вы завтра пойдёте, — перешёл к делу Игорь. — Скажу прямо, как офицер офицеру: вы поступили очень осмотрительно, предупредив нас об этой встрече. Господин Хаган — профессиональный разведчик, сотрудник ЦРУ с многолетним стажем... — заметив, что Громов внутренне напрягся, успокоил: — Смело идите на встречу, но помните: вас будут пытаться завербовать. Первый признак вербовки, если Хаган станет долго рассказывать о себе. Это профессиональный приём, который должен расположить собеседника, вызвать доверие и встречную откровенность...

Далее последовал подробный инструктаж, что и как говорить Громову, как себя держать с иностранцем.

— После встречи, Иван Сергеевич, пожалуйста, проинформируйте меня, как всё прошло. Олег Петрович очень надеется на вас... — чуть заметно улыбнулся Игорь, прощаясь.

Встреча с американцем была разыграна, как по нотам. Хаган вёл себя в точности, как предсказывал Игорь. Он много рассказывал о своём аляскинском детстве, об учёбе в университете, об археологических экспедициях вглубь материка, о загадочных тотемах индейцев-тлинкитов и своей неизменной любви к великой русской литературе... Громов, следуя инструкции, больше молчал, внимательно слушал и запоминал. На вопросы американца отвечал односложно. И тот вскоре потерял к нему всякий интерес, но на презентацию прийти согласился и попросил три билета для себя и своих сотрудников.

Громов передал билеты американцу и попрощался.

Игорь, выслушав отчёт Громова, в свою очередь, взял шесть билетов на предстоящее мероприятие:

— Вы же понимаете, за такими “археологами” нужен глаз да глаз... Неровен час, не то и не там накопают... — с многозначительной улыбкой пояснил он.

— А Олег Петрович на презентации будет? — спросил Громов.

— Знаете, Иван Сергеевич, начальникам такого уровня публичные мероприятия посещать у нас не рекомендуется... Но я передам товарищу полковнику ваше желание повидаться.

Представление книги было многолюдным и торжественным. Взволнованный Громов подробно рассказал о своей работе, раздал несколько десятков автографов. Хаган выступил с короткой речью об истории своей родины, а на фуршете провозгласил тост за российско-американское сотрудничество и дружбу. Все дружно кричали “ура” и чокались бокалами с шампанским. Всю презентацию по пятам за Хаганом и его коллегами парами ходили “топтуны” (так, кажется, называются сотрудники и сотрудницы наружного наблюдения). Громов без труда заметил незнакомцев в строгих костюмах среди своих друзей и коллег. Ему даже показалось, что слежку обнаружили и американцы, но они упорно делали вид, что ничего не замечают, щедро раздавали свои визитки, щёлкали фотоаппаратами и демонстрировали широкие голливудские улыбки. Словом, праздник удался на славу и долго ещё был предметом разговоров в Союзе журналистов.

А вот повидаться с Закутько Громову так и не удалось.

Игорь сказал, что полковник неожиданно был отправлен в длительную командировку. Но и эти скудные слова он сказал так, что Громов содрогнулся и проникся важностью услышанного.

— Олег Петрович обмолвился, что вы когда-то мечтали стать разведчиком... — вдруг сказал Игорь.

— Была такая детская мечта... — смутился Громов.

— Так ведь ничего ещё не поздно, — серые глаза Игоря излучали доброжелательность и дружелюбие. — Вы очень способный человек, Иван Сергеевич, к тому же патриот России. Это сегодня такая редкость. Исходя из этого, мне поручено предложить вам долговременное сотрудничество... Скажем, не согласились ли бы вы информировать нас обо всём, что происходит в местной журналистской среде: что пишут, о чём говорят? Конечно, на взаимовыгодных условиях.

— Вы предлагаете мне стать осведомителем, капитан? — Громов на миг опешил, но потом гордо вскинул голову: — Извините, но я — русский офицер. У нас доносительство не в чести...

— Ну, зачем вы так, Иван Сергеевич? — лицо Игоря стало строгим и неприступным. — Я предлагаю вам помогать органам безопасности в разоблачении врагов Отечества...

— Этого мне можно было и не предлагать! Если такой враг среди моих коллег появится, я сам его к вам за шкуру приведу. А штатным информатором, извините, не буду...

Игорь снова растянул узкие губы в улыбке:

— Вот и хорошо. Рад, что мы поняли друг друга.

Уходя, он бросил загадочно:

— Что же касается доносительства, так у нас добровольных помощников, поверьте, и без вас, уважаемый Иван Сергеевич, предостаточно... Вы же, человек твёрдых убеждений и чести, помогли бы отсеять зёрна от плевел...

Громов поёжился: “Значит, среди журналистов кто-то “стучит”... Но кто? Вроде все такие порядочные люди...”

С тех пор он другими глазами смотрел на коллег, подозревая в доносительстве каждого и стыдясь своих подозрений.

Как-то в Доме журналистов, проходя мимо курилки, он увидел доцента университета и светоча местной журналистики Раказина, курящего в окружении трёх юных дев. Раказин между глубокими затяжками вещал с апломбом небожителя:

— Да мне все эти спецслужбы — КГБ, ФСБ, ЦРУ — глубоко индифферентны. Я ничего не боюсь! Я в жизни и не такое видал. Два года в дис-

бате кайлом мёрзлое дерьмо отковыривал. Саданёшь по нему — брызги на солнце радугой переливаются. А мороз — пятьдесят градусов...

Громов знал, что Раказин любит прихвастнуть, пустить пыль в глаза, особенно молоденьким девицам. Впрочем, он и с коллегами обычно в карман за словом не лез, много о себе разных историй рассказывал, но про дисбат Громов слышал впервые.

Он невольно замедлил шаг, стараясь оставаться незамеченным, и напряг слух. Но на него и так никто не обращал внимания. Девицы, как зачарованные, таращились на Раказина, буквально поедая его влюблёнными глазами. Одна из них — белобрысая и плоскогрудая, — не выпуская сигареты из полураскрытого рта, раскачивалась в кресле, словно кобра перед флейтой заклинателя:

— А как вы в дисбат попали, Ювеналий Эдуардович?

Раказин как будто ждал этого вопроса. Он набычился, придавая лицу ещё более brutальное выражение, и зло процедил:

— Да всё из-за стукачей! Одного гадёныша на апперкот поймал, а меня сразу в казарменные хулиганы записали и — за Полярный круг...

Девицы заахали и вытаращились ещё сильнее:

— А как же вы потом, в университет, в аспирантуру?

— Если человеку дан настоящий талант, он и стену лбом прошибёт...

Дальше слушать рассказы Раказина Громов не стал, пошёл прочь. Но фразу про дисбат запомнил. И когда к очередному юбилею Раказин опубликовал свои мемуары, прочитал их с пристальным вниманием.

В мемуарах Раказин в соответствии с требованиями эпохи обрушивался на советскую тиранию, в цветах и красках описывал, как невыносимо тяжело ему, Раказину, жилось при прошлой власти, как не пускали его, молодой талант, на страницы толстых журналов злые и бездарные фронтовики, как непроста и извилиста была его жизненная дорога. Особенно упирал Раказин на два года, которые ему пришлось провести в страшном дисциплинарном батальоне, где заставляли изо дня в день есть невкусную баланду, а после ломом отбивать наледь в отхожих местах.

“Надо же, не врал, значит, тогда девицам...” — удивился Громов. Но гораздо больше его удивило другое: сразу же после отсидки Раказин поступил на журфак. По окончании вуза он, единственный из всего курса, был направлен в заграничную командировку в Пакистан, где несколько лет преподавал журналистику в Пешаварском университете. Там же женился на французке, потом развёлся. Вернулся на кафедру в родной университет, успешно защитился и по сей день процветает, возглавляет, учит, раздаёт оценки...

Громов досконально знал советскую систему: “Ну, не могло быть такого, чтобы всё это сошлось в одной судьбе: дисбат и поступление в универ, заграничная командировка в капиталистическую страну и разрешение сначала жениться на французке, а после развестись с нею, защита кандидатской и тёплое место доцента... Всё это взаимоисключающие события: в вуз никогда бы не приняли с “волчьим билетом”! Имея за плечами даже погашенную судимость или только намёк на неё, нельзя было и мечтать о заграничной командировке. А уж связь с иностранкой не прощалась никому... А если и могло всё это случиться с человеком, то только в одном-единственном случае: какая-то очень могущественная сила вела его через все эти передрыги, чьи-то очень важные поручения он исполнял... Скорее всего, Раказин и есть тот тайный сотрудник, о котором проговорился Игорь! Наверное, ещё в дисбате армейские особисты его завербовали, а потом “на гражданке” передали коллегам по эстафете... И те помогли сделать карьеру. Наверняка до сих пор его услугами пользуются...”

И хотя никаких иных подтверждений принадлежности доцента к секретной службе у него не было, он старался держаться от Раказина подальше. Ибо сам Громов, хоть и не мечтал уже быть разведчиком, но так и не научился держать язык за зубами.

ПОЭЗИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

ДЕНИС ЦВЕТКОВ

* * *

И если уж на то пошло,
Окиньте взглядом
Наше прошлое:
Ведь, невзирая ни на что, —
В нём было много и хорошего!
Пусть с горя
Плакали порой
И головой о стену бились, —
Но в праздники
И в выходной
Самозабвенно веселились!
И был сам чёрт
Не страшен нам!
Последнюю краюху хлеба —
И ту делили пополам,
Чтоб только чистым
Было небо!
В те “крепостные” времена
Себя в работе не жалели.
Трудней всего
Была война,
Но и её мы одолели!
Я верю,
Что воспрянет Русь!
Рассудку трезвому внимаю...
А всё ж
Чего-то я боюсь,
Чего-то недопонимаю!..

* * *

Поборов сомнения и страхи,
Потеряв доверие к царям,
Разбрелись народы, как монахи,
По чужим,
Глухим монастырям.
Разбрелись и “вольной” не спросили,
Спрятались в лесах от суеты:
В диких дебрях
Матушки-России
Снова возрождаются скиты.

Мы весь век
Неистово грешили,
Так и не начав разумно жить.
И грехи,
Что миром накопили,
Нам за сотни лет не замолить!
Слышатся былого отголоски,
Медленно оттаивает жизнь...
Где ты, где ты,
Серафим Саровский?
За Россию
С нами помолись!..

БАБКА МАРЬЯ

Одна, без мужа
Вырастила сына.
Как честь свою, сыночка берегла.
И гнулаь,
Будто тонкая рябина,
Что к дубу перебраться не могла.

А сын подрос,
Уехал из Кривуши:
Жизнь на селе — не сладкая весьма...
Четвёртый год
Он где-то бьёт баклуши,
Четвёртый год —
Ни одного письма!..

А может быть,
Он безнадёжно болен
Или в сырой покоится земле?
А может быть,
Томится сын в неволе
На позабытой Богом Колыме?

В беде не помогает и иконка.
Как холодно в родном дому одной...
Про бабушку Марью
Вспомни, почтальонка,
Не обходи старушку стороной!

г. Иркутск

ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ

* * *

А в нашем крае не было войны,
но радость и покой — истреблены.
Стихийных бедствий не было в селе,
но в каждом доме — пусто на столе.

Леса и реки вольные — больны,
и, кажется, они обречены:
повсюду хлам, развалины и страх...
Но не было войны в моих краях.

Да, в нашем крае не было войны,
но стынет кровь от мёртвой тишины,
и вдоль села, куда ни бросишь взгляд,
деревья одичавшие стоят.

* * *

Обещал я родителям, в мир уходя,
что вернусь обязательно в срок.
Я был счастлив упасть хоть слезинкой дождя
на родительский милый порог.

Растворились с годами былые мечты,
ничего я вернуть не могу...
Стал обычным рабом городской суеты,
позабытой иголкой в стогу.

Мне бы ветром лететь в дорогие края,
волны рек поднимать на лету,
облака собирать и дождём октября
на могильную плакать плиту.

СЛЕПОК С ЛАДОНИ ЕСЕНИНА

Ты обнимал берёзку на раздолье,
держал бокалы, руки жал друзей...
Кто знал тогда, что слепок с той ладони
наполнит духом лирики музей!

Твой путь земной, к несчастью, был недолог,
но ты зажёл в сердцах такой огонь,
что век спустя задумчивый филолог
с волнением смотрит на твою ладонь...

СТАЛИН ПРАВ

Дорога “к счастью” новая открыта,
вождей убрали с лозунгом “Вперёд!”...
Оставшись у разбитого корыта,
ворчит и стонет праведный народ.

Не расстреляли лысого Хрущёва,
лукавый смех с лица его содрав,
и породили шельму Горбачёва!
Теперь гадаем:

— Может, Сталин прав?

Народ виновен, сколько он ни кайся!
Молчи, как раб! Смири поганый нрав!
Когда я слышу наглого Чубайса,
приходит мысль:

“А всё же Сталин прав”.

Опять в стране нашествие хазаров...
Россия, встань! И, смертью смерть поправ,
смахни с лица чубайсов и гайдаров
и осознай,

что Сталин всё же прав!

г. Москва

ГЕННАДИЙ ЁМКИН

СНЕГИРИ

Снимите шапку, гражданин!
Н. Рубцов

Утром в парке тихо-тихо,
Свет, снежинки, снегири...
Словно здесь не бродит лихо
По тропинкам до зари.

Всё — одна большая ложь!
Ночью тёмною, без крика,
На скамейке умер бомж —
Гражданин страны великой.

На руке его культяпой
Выпавший не тает снег.
Гражданин! Снимите шляпу —
Умер русский человек.

На скамеечке своей
Он нужды уже не знает,
И душа его летает
Среди красных снегирей.

* * *

Зиновьеву Николаю

Дело сявок — подхватывать вой,
Скалить пасть в непотребной улыбке.
Знаешь, Коля!
Мы встали с тобой
На краю
И без права ошибки!

А за нами остатки страны
Замирают в предчувствии снова:
Перевоет ли вой сатаны
Наше Русское Правое Слово?

* * *

В жестокий век, в глухие времена
Я память сохранил о лучших годах.
Тогда сияло солнце в русских водах!
И слово освящало письмена.

Я жизнь принёс, Отчизна! Не отринь.
Она для тех, кто говорит не всуе,
Она для тех, кто истины взыскует
И не хулит отеческих святынь.

А вот душа.
Её возьмите те,
Кто на краю, потерян и страдает.
Пусть она свечою тонкой тает,
Но светит всем, кто брошен в темноте.

Вот кровь моя.
Возьмите, Времена!
Я кровно перед Родиной в ответе.
Быть может, ей напишут наши дети
Святые на знамёнах имена.

Вот кровь, душа, и жизнь моя, и память.
Возьмите всё! Мне нечего добавить.

* * *

Вчера убили волка егеря.
Не просто так убили, а по праву.
За то, что самый дерзкий из зверья,
За то, что стаду он чинил траву.

Вчера волчица выла от тоски
Не на луну, а на свою потерю.
И тыкались в опавшие соски
Прозревшие едва четыре зверя.

Вчера убили волка егеря,
Но овцы блеют в страхе отчего-то...
И я подумал: зря убили, зря —
Теперь волчица выйдет на охоту.

А от природы суке быть хитрей
Назначено, чтоб выкормить породу.
И нет надежды впредь на егерей,
Когда волчица выйдет на охоту.

Нижегородская область

ВИТАЛИЙ СЕРКОВ

* * *

Поверьте мне, я чист душою...
Н. Рубцов

Я такое сказать о себе и в бреду не смогу...
Отогревшись душой под багряными зорями, каюсь
И за мелкую месть, и за долгую смуту в мозгу,
И неправедным быть до последней черты зарекаюсь.

Ах, как хочется мне отбелить бытия черновик,
Да не зря говорят, что из песни не выкинешь слова!
И несдержан я был оттого, что юлить не привык,
И глаза отводить не пытался от взгляда косого.

Хоть обиды простил я давно и друзьям, и врагам,
И грядущие дни пустотою уже не пугают,
Но бывшие грехи тяжким грузом прилипли к ногам
И в небесную рать записаться меня не пускают.

То ли лодку Харон до сих пор не успел осмолить,
То ли, хуже того, и его обуяла усталость...
Значит, можно грехи, суету одолев, отмолить,
И не важно уже, сколько дней мне на это осталось...

* * *

Мне нынче приснились родимые дали —
Их северный ветер на крыльях принёс.
Я видел: вдоль Сухоны скирды метали,
И ветер курчавил созревший овёс.

Старушка шагала к Оборинским ёлкам,
Как видно, грибная настала пора.
Грибы разглядеть не позволила толком,
Поднявшись над тучей, Святая гора.

Потом сновиденье моё разломилось,
И я потянулся руками к лучу,
Не зная, за что же мне выпала милость,
И я, словно Ангел, над миром лечу.

Так сладко и славно берёзы коснуться
И знак обнаружить забытой поры,
И сесть на поленицу вдруг, и проснуться,
Храня на ладонях шершавость коры.

г. Сочи

ВИКТОР БРЮХОВЕЦКИЙ

ГРОЗА

Она меня настигла за рекой.
Тревожно в темноте заржали кони.
В разрядах луг лежал, как на ладони,
С мольбой в глазах и тайною тоской.

Косые струи зрелого дождя
Согнули придорожные деревья,
И молнии, кромсавшие деревню,
Взорвали ночь, почти с ума сводя.

Как всё вокруг ничтожно и мало
Перед таким величием природы!
И этот луг, и кони, и село,
И я, стоящий около подводы.

Оцепенели...

Ну, куда спешу!

Зачем толкаюсь, ближнего не слышу,

Не замечаю нищего, не вижу

Лица того, кому в лицо дышу!

Смотри, душа, молясь и трепеща,

Ведь нам с тобой нужна такая малость...

А молнии хлестали в край плаща,

И под ногами бездна открывалась.

* * *

Дома пусты, и улица пустынна,

Приносит ветер соль солончака,

Над крышей почерневшего овина

Отарой кучерявой облака,

Вскипая по краям, отходят к югу,

Теснятся и, грузнея изнутри,

Роняют дождь...

Всё движется по кругу...

Что, Господи, творишь, то и твори!

Плечи крылом в черёмухах зелёных,

Верши зароды, бей копытом шлях,

Коси хлеба и охраняй влюблённых,

Звездой падучей грохочи в горах.

Детей расти! Сверкающую ленту

Гни в радугу, разрядами сверкай...

Что хочешь делай,

Но планету эту —

Прошу! — из рук своих не выпускай.

г. Санкт-Петербург

АЛЕКСЕЙ АБАКШИН

РУССКИЕ ПЛЯШУТ ВПРИСЯДКУ

Леониду Галкину

Может быть, где-то, не знаю,

В жизни всё славно и гладко.

Только, забыв про удобства,

Русские пляшут вприсядку.

Вдрыг сапоги разбивая,

С посвистом, валко ли, шатко,

В пляске про всё забывая,

Русские пляшут вприсядку.

Стройно кавказец гарцует

В бешеном вихре лезгинки,

Джигу ирландец танцует —

Такт отбивают ботинки.

Где-то в баварской глубинке,
Выпив отменного пива,
Бюргер, в угоду старинке,
Кружит по залу игриво.

Бьются в стойбище чукчи
В трансцендентальном припадке...
Гордо храня равновесье,
Русские пляшут вприсядку.

Есть в этом танце надежда,
Есть в нём мечта и свобода.
Бабочкой кружит над лампой
Горькая радость народа.

И ни при чём тут пол-литра,
И кто кого уважает,
Этим затейливым танцем
Русский себя выражает.

Вот он я весь, нараспашку,
Видишь — люблю и не трушу.
Рвётся на части гармошка
Выплакать русскую душу.

Где-то, наверно, не знаю,
В жизни всё гладко и сладко.
Но сквозь года и метели
Русские пляшут вприсядку.

* * *

Фрукты, коньяк и икра,
Грамм этак триста.
Это такая игра,
Завтрак туриста.

Вся панорама в дыму,
Местность гориста.
Это сюжет на ТВ:
“Смерть террориста”.

Тянется электорат,
Смотрит угрюмо:
Лихо провёл аппарат
Выборы в думу!

Дружно шагает народ
Фронтом единым,
Хватит копать огород —
Стань хунвейбином!

...Только по горло уж сыт
Этим позором,
Медленно перемещусь
Мысленным взором

В край, где бегут по тропе
Дети босые,
Где и покой, и простор.
Там, где Россия

Вдаль провожает века
Сонно и долго.
Чувствуешь, как глубока
Матушка-Волга.

Бьётся о берег волна,
Помня о давнем.
Слышишь малиновый звон
Над Ярославлем?

Грезит туман ноября
Снежной зимою.
Видишь, алеет заря
Над Костромою?

...Осень заплачет с утра,
Солнышком брызнет...
Это уже не игра —
Сценка из жизни.

Московская область

ВЛАДИМИР ЛОРИЯ

* * *

Париж беспечен был в тридцатых:
Мосты в гирляндах и дома,
Лихой Чапаев на плакатах —
Спешат французы в синема.
А на подмостках пляшет клоун
И кеглей валится на бок...
Чужою музыкой окован,
Он в людном зале одинок.
И участи иной достоин
Изгой в изношенном пальто.
Он офицер, он бывший воин,
А ныне — лишь шофёр авто.
Вот гаснут медленные лампы,
Замолк двусмысленный канкан.
И русской бойни страшной залпы
Являет вспыхнувший экран.
И кульминация картины:
В зубах — сигара, в пальцах — трость...
С отвагой редкостной мужчины
Идут в атаку в полный рост.
Вдруг он кричит, вставая грузно,
Он в зал кричит, как на войне:
“Смотрите, господа французы,
Какими были мы в огне!”
Как будто вновь он в бой идущий —
Парижу дерзостный пример —
Шофёр авто, рабочий, грузчик,
А сердцем — русский офицер.

г. Москва

АЛЕКСАНДР ГРИДНЕВ

* * *

Штурмовой батальон уходил на войну.
А зачем и за что? Я не думал об этом...
Через множество лет мне поставят в вину
То, что стал офицер православным поэтом.
И бросало меня на подрыв, на износ...
Я был ранен шутя, и удачно контужен...
Я ответил за всё, но остался вопрос:
“Почему не убит?” Значит, всё-таки нужен...
Но кому и зачем? В нашей доброй стране,
В хороводе судьбы и в быту бесшабашном,
У достойных властей хуже, чем на войне,
И гораздо страшней, чем в бою рукопашном.

г. Липецк

ВЛАДИМИР СОРОКАЖЕРДЬЕВ

ПАРАД

Не ломит стены лютый враг,
И судьбы юные не шатки.
Печатай, молодость, свой шаг
По исторической брусчатке.

Печатай на весь белый свет!
В одну линейку лица слиты,
И никакой в них тайны нет —
Они доступны и открыты.

Не воевали — ну, и что ж!
Булыжник ценит дедов опыт:
Ту пыль с изношенных подошв,
Перешагнувших пол-Европы.

И опыт тот перенимать,
Не сбиться с принятого такта,
И может, главное понять:
Здесь не кончается брусчатка!

* * *

Я не скажу, что жили плохо,
На времена обиды нет,
И та советская эпоха
Ещё сердечно машет вслед.

Кому-то — фронтовое знамя,
Кому-то — выпел трудовой,
А мне — простой платочек мамин,
Как мотылёк над головой.

г. Мурманск

АНДРЕЙ КАНАВЩИКОВ

ЖИЗНЬ ЗАНОВО

У дома покосившегося, ветхого
Сидит старик, на палку опершись,
Закрыв глаза, и думает, наверное,
Что слишком быстро пролетела жизнь.

Колхозы, молодость...
Всё, словно ночи летние,
Всё слишком кратко, слишком второпях.
Что заслужил? Медали юбилейные
Да пачку грамот, что лежат в сених.

А, впрочем, нет!
Бежит с восторгом искренним,
Смеясь счастливо, к деду его внук,
Его спасенье, милость, его истина,
Его кровинка, радость, его друг.

Внук сядет рядом — и, забыв лишения,
Старик сидит с улыбкой во весь рот,
И кажется, что молодость ушедшая
Вот в этом внуке заново живёт.

Что не успел, то внук поправит, выстроит,
Что не сбылось, то сбудется у них,
Когда есть руки, ноги — в силе, быстрые,
Себе и деду, словно на двоих.

Внук убегает.
Снова на завалинке
Старик пытается себя же воскресить,
Он шепчет еле слышно:
— Здравствуй, маленький!
Закрыв глаза. И не о чем просить.

ПОД ПАТЕФОННУЮ ИГЛУ РЕЗЦА

Струилась стружка лентою под ноги —
Две нормы в смену полагалось им.
Победы добиваются не боги —
Подростки, лет тринадцать с небольшим.

Мальчишка, зуб заправивший под кепку,
Стоит на ящике и крутит рукоять,
Надёжен глаз и руки его крепки,
Ведь под бомбёжкой давно погибла мать,

Отец убит на фронте в сорок первом,
Сестра блокаду не пережила...
Гудит станок, и стружка вьётся лентой,
Резец, как патефонная игла,

Ведёт мелодию тревожно и знакомо,
Круги у глаз, но спать ещё не срок.
Мальчишка помнит, что лишился дома,
Он помнит школьный трепетный звонок.

Снарядных гильз сияние теснится,
Струится стружка под ноги и вниз!
Мальчишка помнит все родные лица,
Он видит их в зеркальном блеске гильз.

Ему вдруг чудится, что души этих близких
В снаряды мстящие вселяются сейчас,
И стружка льётся, рассыпая искры,
Металла блеск и блеск бессонных глаз.

Мальчишка вырастет, запомнив всё навечно,
Пусть незатейлив этот маленький рассказ,
Но давит груз той памяти на плечи...
Он помнит всё. Не для себя — для нас.

г. Великие Луки

АНАТОЛИЙ ЛИПИН

ДО СВИДАНИЯ, НАВСЕГДА

31.12.1995

Падал снег осторожно на плечи,
Затихала под снегом Москва.
В новогодний томительный вечер
Я услышал смешные слова:
“До свидания, навсегда!” —
Со слезами, по-детски упрямо
Сын кричал их взволнованной маме
(Уезжает встречать Новый год,
А мальчишку с собой не берёт).

Эта сценка совсем не по теме,
Улыбнуться бы и забыть,
Но не те мы сегодня, не те мы —
Пропитала политика быт.
Нестерпимая острая грусть
Ожила, словно старая рана:
Вот и я ведь один остаюсь —
Разъезжаются... веси и страны.

До свидания, навсегда,
Поднебесные тропы Кавказа,
Над родною рекою ковыль...
Всё привычнее форма спецназа
И таможни негаданной пыль.
Это горькое слово чужие —
Как беда, как отчаянья крик...
А ведь были и мы молодыми,
И счастливыми были, старик.

До свидания, навсегда,
Голубая, как небо, вода,
Золотые пески Иссык-Куля
И ущелие “Бабы-Яги”,
Слободзейские сладкие дули
И полтавские пироги,

Наши праздники, наши застолья
От Карпат и до самых Курил.
Эх, вернулось бы время застоя —
И ему бы руля и ветрил!

До свидания, навсегда...
В старой Риге аккорды органа,
И зурна, и Алайский базар,
И пустынная прелесть Севана,
Приозёрск, Коктебель и Кап. Яр,
И саянские быстрые сани,
И Байкала живая вода,
Цинандали, Твиши, Гурджаани —
До свидания, навсегда.

До свидания, навсегда,
Приамурские чёрные срубы
И закат над обжитым плотом,
Юных женщин горячие губы,
Рек сибирских волна за бортом,
Аккерманские крупные раки
И медовые гроздья сошлы́,
И киргизские чудо-собаки,
И хорезмские чудо-ослы,
Сортавальские белые ночи,
Синь Гек-Гёля, Домбай, Теберда,
И крымчанок весёлые очи —
До свидания, навсегда.

Под луною мерцание льда —
Изумрудная Пирита-речка.
До свидания, навсегда,
Закарпатские чудо-местечки
И застывшая в небе заря
Над бескрайним сиянием моря.
Ах, как много разлук,
Но настала пора
Вспомнить мальчика личное горе.

Той обиды давно уже нет.
Хорошо быть ребёнком здоровым
Тех особенных радостных лет,
Когда в мире всё кажется новым,
Как снегов свежесвыпавших свет!

До свиданья, родной МГУ,
Шпиль и башни, колонны и залы —
Эти летние сны на вокзалах
На нелёгкой дороге к нему,
И волнующий свет у Большого,
И ночные дежурства у касс,
И уютный театр на Садовой —
Храм сатиры, печальной подчас.
Мир, что был и добрее и проще.
(Ах, как быстро проходят года!)
Подмосковные тихие рощи —
До свидания, навсегда...

г. Москва

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ПОЧЕМУ ВЫ ЛИБЕРАЛЫ

Очередной спор на страницах российской прессы

ПОЧЕМУ Я НЕ ЛИБЕРАЛ

Либералом быть легко: везде свои.

Либералом быть хорошо: он и сам за всё хорошее.

Либерал не любит мрачное, суровое, марширующее. Горн, барабан, дробь. Картечь, государеву службу, “Катюшу”. Марфушу, крестьян сиволапых, берёзки. Почву, кровь.

Во всём этом либерал задыхается.

Во всём этом ему душно, как в гробу.

Он кривляется не от злобы, а от муки: ему и правда невыносимо. Вокруг него всё время как бы настраивается оркестр, только вместо струнных и духовых – танковые дула, берёзовые полешки, строчка из Есенина, русское самодовольство, щи кипят и пахнут капустой.

Россия со всем её барахлом – куда она годна? Избы, заборы, Байконур за пограничным столбом. Привычка чесаться всеми когтями, дружить с сатрапами, тосковать по тиранам. Советская литература, попы на джипах.

В нашем скудном понимании хороший русский человек – он как дерево. Деревья не умеют ходить. Вцепились в свою землю, как мертвецы. В голове – воронье гнездо. Ждут лесника, но, кажется, приближаются браконьеры.

Либерал уверен, что наступили иные времена, и в эти времена войдут только избранные. Те, кто не потащит за собой хоругви, телеги со скарбом, почву, ворон в голове.

То есть только он – либерал – войдёт в новое время. Как бы голый. Другим он тоже предлагает раздеться: оставьте всё, пойдёмте за мной голые, без вашей сохи, атомной бомбы, имперских комплексов.

И вот ты оставил всё, пошёл голый, прикрываешь срам – двух рук мало: срам повсюду, ты сам по себе – сплошной стыд и срам. Сморгнул – и вдруг выясняется, что тебя обманули. Он-то одет, наш новый друг! Он-то вовсе не голый, но, напротив, наряжен, заряжен, поводит антеннами, настраивает локаторы, сканирует, всё сечёт.

У него – загибаем пальцы! – хартия о правах. У него – экономическая целесообразность. За ним – силы добра. У него честные глаза, неплохой английский. И даже русский лучше вашего – а вы и родным-то языком владеть не умеете, лапти. “Вот смотрите, как надо” – наш друг замысловато что-то делает языком, мы внимаем, зачарованные.

Он всего добился сам, это только мы взяли займы, отняли, украли. Это у нас история рабства, пыток, кнута, а у него, представьте, есть своё собственное прошлое, память о нём, боль. У нас – пепла, который стучит в наши сердца, – нет, а у него – есть, и его пепел более пепельный. Наш мы уже развея-

ли, а его пепел остался – и лишь о нём имеет смысл вести речь. Говорить про наш пепел – оскорбительно, в этом определённо есть что-то экстремистское.

Его история мира всегда начинается с “европейского выбора”. Пока нет “европейского выбора” – вообще никакой истории нет, одни половецкие пляски и соловецкие казни.

“Европейский выбор” – это как десерт в хорошем доме с высокими ступенями и просторной гостиной без мух. К десерту норвят дотянуться грязные крестьянские дети – руки в навозе, ногти не стрижены, загибаются, как у Бабы Яги, сопли засохли на щеках, трусов под портами нет: это мы.

Ну-ка, быстро идите оттирать сопли, причёсываться, отмывать своё национальное превосходство, “гой ты, Русь свою святую, хаты, в ризах образа”, гагаринскую улыбку, звёздочки на фюзеляже. Иначе не будет вам мороженого с ванилью и шоколадного штруделя, так и будете грязным скотом жить, как последнюю тысячу лет.

То, что для хорошего русского человека в его убогом ценностном мире “европейские ценности” стоят на сорок шестом месте, сразу после картошки в мундире и сметаны с луком, означает, что он вообще не человек.

Быть может, он рогатина. С ним можно пойти на медведя.

“...Началось, – протянет либерал, – опять про медведя. Кто вас хочет завоевать, прекратите. Кому вы нужны вообще?”

Мы никому не нужны, да. Но чего ты здесь делаешь тогда? Может, мы тебе нужны? Или, с чего-то вдруг, должны?

Ничего, что мы на “ты”?

Ты ведь с нами с первого дня на “ты”, и ничего, терпим, слушаем.

Россия построена только затем, чтоб пришёл либерал и сказал, что с ней делать. Он и правда так думает. Это как будто стоит корова, а внутри коровы живёт какое-нибудь живое существо много меньше размером, отчего-то уверенное, что оно наездник и сейчас поскачет на корове верхом.

Оно рассказывает корове, что внутри у неё сыро и неприятно, никакой цивилизации.

Либерала несколько не смущает, что в целом русская светская культура либерала не любит. Русскую светскую культуру тоже можно приватизировать, взять на вооружение то, что нужно, остальное не замечать.

Автора текста “Клеветникам России” в Facebook’е затоптали бы. Гоголя слили бы. Лескова засмеяли бы. Толстого бы с его “русским мужиком”, на которого он так хотел быть похожим, тихо обходили бы стороной: чудит.

Либералы странным образом возводят свою генеалогию к Чехову, иной раз Акунин посмотрит на себя в зеркало и видит Антона Павловича, но и представить страшно, как Антона Павловича воротило бы от нынешних его наследников.

Спасибо Чехову – он умер.

Спасибо Блоку – он умер.

Спасибо классикам – их нет.

Теперь мы точно знаем, что “Бесы” – это про большевиков, а не про либералов, и вообще Достоевского мы любим не за это (а за что?).

Либералы так уютно себя чувствуют во главе русской культуры, что в этом есть нечто завораживающее. Собрали в кучу чужие буквы, построили свою азбуку, свою мораль, своё бытие.

Теперь люди смотрят на знакомые буквы, читают, вникают – всё вроде то же самое, что у Пушкина, а смысл – противоположный. Как же так?

Попробуйте набрать из этого букваря “Клеветникам России” – получится абракадабра: “Каклемтивен Сироси”. Лекарство, что ли, такое?

...Находятся во главе, а считают, что им нет места.

Нет места, но при этом они повсюду.

Либерал сначала сказал, что он интеллигенция, а всю нелиберальную интеллигенцию объявил “свинным рылом”. Потом заявил, что он “тоже народ”. Подумал и добавил, что он и есть народ. Остальные уволены.

Либерал наверняка думает, что он – оппозиция, но он – власть. Власть может думать о себе всё, что угодно, но она тоже либерал. Одни шарлатаны делают вид, что хотят завоевать свободу, другие шарлатаны делают вид, что её отнимают. Чем заняты в этот момент их руки, никто никак не поймёт. Но если схватить за локоть либерала, выяснится, что это локоть манекена, а настоящая рука у вас в кармане.

Либералам вечно затыкают рот, но слышно только их. Если кто и затыкает кому рот, так это один либерал затыкает рот другому.

Но слышно даже, как они брезгливо молчат.

Выросло целое поколение детей, которое уверено, что Россия – это глобальный косяк. В том смысле, что она всю свою историю косячит. Хотя, в принципе, её можно и *скурить*.

Это либерал, наш любезный гуманист, сам уверен и других приучил так думать, что мы умнее всего нашего прошлого. Мы! Которые, по сути, умеем быть только мародёрами.

Отныне мы в курсе, что ветеран – это старая и глупая обезьяна в медалях, тем более что и медали – не его. Что счастья не будет, пока не вымрет “совок”, а совок – это всякий, кто не либерал. Что сто лет мы занимались всяким кровавым бредом, в то время как делом надо было заниматься, делом.

Посмотрите, как всё ладится в руках у либерала. Как у напёрсточника.

Либералы хотели вырастить нам человека, который взывает правды, а вырастили человека, который знает, что всё – ложь.

Хотели вырастить человека, который рефлексировал и сомневается, а вырастили толпу, которая куда более внушаема, чем толпа эпохи позднего тоталитаризма. А то и раннего.

Как давно и верно заметили, в те трупным ядом пропитанные времена люди говорили неправду и блажь, зная, что говорят неправду и блажь, а либерализм добился того, что ныне человек, говоря неправду и блажь, уверен, что говорит правду. Ибо он – *в тренде!*

Тренд – это вам не генеральная линия партии, это серьёзная штука, выжигает мозг, как напалм.

Уже говорил и повторю снова, что мечтал о мире, описанном в книгах ранних Стругацких. Но нас, чтоб мы не угодили в книги поздних Стругацких, увели туда, о чём никакие Стругацкие не догадывались.

В нашем новом либеральном мире нет идеализма, самоотречения и мужества – но есть ставка на субъективизм и самооценку индивида со всеми его странностями, а также мужеложество, зачем-то возведённое в идеологию сопротивления и свободы.

Вместо ставки на преодоление человеческого в себе получили право пестовать в себе всё самое скудное, низменное и подлое.

Каждый имеет право на всё, и только мрачное большинство должно заткнуться и молчать. А то ему не достанется десерта.

...Грязные, корявые дети, утритесь: ваш десерт уже съели.

Идите по своим избам.

Не слушайте чужих сказок. Вспоминайте свои.

“12” Ежедневное интернет-издание

ДМИТРИЙ ГУБИН

ПОЧЕМУ Я ЛИБЕРАЛ

Прилепин написал уже второй манифест, стремительно разлетающийся – *ретвитами, репостами, лайками* – по интернету: “Почему я не либерал”. Первым было “Письмо товарищу Сталину”.

Прилепин – человек искренний, талантливый, деятельный и тёмный. Когда в “Письме...” он, булькая, взхлёб бил тех тонконогих хлюпиков, кто топчется на великом сталинском трупе (ведь Сталин – это не только репрессии, но и метро! Атомная бомба! Мартены! Высотки! И будь манифестант начитан, он бы добавил про второе место в мире по объёмам промышленного произ-

водства. Слышите, вы, обгаживающие наше великое прошлое?!), так вот, уже тогда было понятно, что о Сталине Прилепин читал, условно говоря, только Проханова.

<...>

Прилепин сам создаёт врага, сам называет его либералом – и сам начинает с этим големом бороться.

Между тем либерализм – всего лишь идея свободы и прав отдельно взятого человека, подкреплённая знанием, в том числе историческим: слабость может быть сильнее силы, одиночка способен исторически выиграть у толпы, а часть оказаться важнее целого. Либерализм – это признание жизни отдельно взятого человека такой же ценностью, как и всё человечество. Христианство, если убрать из него религиозную догматику, – это либерализм.

<...>

По мысли Прилепина, историю страны нужно принять абсолютно – и Сталина в том числе, – потому что другого прошлого нет и другого будущего не будет, любить надо то, что есть: где родился, там и пригодился. "...Грязные, корявые дети, утритесь: ваш десерт уже съели, – кричит он на разрыв аорты, как будто и впрямь его слушатели – *гопота* из Бирюлёво. – Идите по своим измам. Не слушайте чужих сказок. Вспоминайте свои".

Он не читал Давида Самойлова, заметившего о дочери Сталина, что, не отказываясь от родства, она отказалась от отцовского наследства. И это точное решение кажущейся неразрешимой дилеммы, когда у тебя в родне – сплошь то ээки, то вертухаи, то палачи, то жертвы.

А Прилепин расценивает отказ от наследства как отказ от родства, а европеизм – как предательство. "То, что для хорошего русского человека в его убогом ценностном мире "европейские ценности" стоят на сорок шестом месте, сразу после картошки в мундире и сметаны с луком, означает, что он вообще не человек", – издевательски разъясняет идеологию либерализма (так, как он её понимает) Прилепин.

Хотя "европейские ценности", столь презируемые Прилепиным в своём манифесте, – это вообще-то права человека: право на жизнь, на свободу, на неприкосновенность жилища, на свободу слова и собраний. Я давно обратил внимание, что те, чьи права уничтожала российская власть, над кем издевалась и глумилась, – как она издевалась над самим Прилепиным или над Достоевским, – что они по отношению к своим гонителям испытывают стокгольмский синдром, превращаясь в их апологетов.

Достоевский написал после ссылки несколько великих романов, но нельзя не заметить, что их писал человек с перебитым хребтом. Мы, люди одного варианта, не думаем о том, каким писателем Достоевский мог стать, когда бы не каторга, на которую его и отправили всего лишь за список письма Белинского к Гоголю.

Прилепин – из таких же. Из сломленных. Знающих лишь одно – масса важнее части, государство важнее личности, организованные гонители – неорганизованных гонимых...

Преступление талантливого человека против интеллекта – это *соблазнение малых сих*, поскольку малые умом реагируют на яркость и чувство.

Прилепин – соблазнитель. Соблазнитель тем и соблазняет, что предлагают гордиться тем, чего следовало бы стыдиться.

Соблазнённые множатся.

<...>

Хуже нет, чем напеть шпане и погромщикам, что они – двигатели двигателей, гордость нации и соль соли земли.

Для меня бирюлёвцы – шпана. Выплёскивающая отчаяние, что ей в Бирюлёво век вековать, а Рублёвки не видать и глазом, на тех, кто инаков, но кто не сможет ответить. В городе, где я рос, шпана была любого мальчика из чужого района, а если ещё и в очках – то с особым злорадством. В деревне, куда я приезжал к бабушке летом, деревенские ходили в пионерлагерь выламывать штакетник и бить *понаехавших* городских. Из-за того, что *чистенькие*, городские.

Дело не в том, что Прилепин тоже из деревенских.

А в том, что он подстёгивает, подстрекает идти и бить.

“Огонёк”

НЕ РОК-Н-РОЛЛ

Пять лет назад на Красной площади был большой концерт в честь очередной инаугурации, выступали, как это принято на таких концертах, все; то есть я не помню полного списка выступавших там групп, а помню только “Любэ”, потому что под их песню из Спасской башни выходили, чуть ли не взявшись за руки, Путин с Медведевым, и “Машину времени”, потому что именно её поклонники на фанатском сайте устроили лидеру группы Макаревичу что-то вроде обструкции.

Писали ему, что, мол, как же ты, Андрюша, продался, как же ты прогнулся под изменчивый мир, и как же тебе вообще не стыдно быть марионеткой в ловких и натруженных руках. “Андрюша” начал огрызаться.

Линия его защиты выглядела так: группе много лет, группа была популярна ещё при Брежневе, но коммунисты сначала вообще долго не признавали право группы на существование, потом травили её в своей коммунистической прессе, потом, признав, наконец, начали нещадно эксплуатировать группу в Москонцерте: “Машина времени” собирала стадионы, зарабатывая космические деньги, но всё забирало себе государство, оставляя музыкантам нищенскую концертную ставку. Те времена давно прошли, но Макаревич помнит о них, не хочет их возвращения и поэтому искренне поддерживает нынешнюю власть, при которой он свободный музыкант, зарабатывающий хорошие деньги.

Почему в такой ситуации он не имеет права спеть на Красной площади? Это же действительно его гражданская позиция. Это, напомним, две тысячи восьмью лет. Советского Союза нет уже почти двадцать лет. Дети, которые родились в постсоветской России, уже закончили школу. Коммунисты – скучная системная партия, тихо заседающая в Госдуме и меньше всего думающая о группе “Машина времени” и о том, чтобы опять, как при Брежневе, загнать её в подполье. Я, кстати, не так чтобы совсем не верю объяснениям Макаревича – он действительно должен быть доволен своей жизнью при Путине, – и поэтому его присутствие на путинском концерте вполне логично. Я даже совсем не верю в “продался”, – думаю, гонорар на таких концертах не имеет значения вообще: позвонили и позвали; кто-нибудь другой за выступление перед Путиным на Красной площади ещё бы сам доплатил.

То есть Макаревич, оправдываясь перед поклонниками, был вполне искренен. Но эта искренность никак не отменяла того, что Макаревич в этой ситуации выглядел предельно глупо и, что более непростительно для деятеля искусства, пошло. Потому что это омерзительная пошлятина – ссылаться на тридцатилетней давности безобразия, оправдывая ими – да нет, не гражданскую позицию, Бог бы с ней! – а вот именно себя между группой “Любэ” и Димой Биланом, между ГУМом и Мавзолеем, перед толпой молодёжных активистов и собранных по разнарядке бюджетников, на сцене, охраняемой автоматчиками ФСО.

То есть всё каждой деталью, каждым штрихом, каждой нотой орёт: это не рок-н-ролл. Вот это важно, а не гражданская позиция. Я рассказываю сейчас эту историю, надеясь на то, что меня прочтает Захар Прилепин и узнает в Макаревиче-2008 себя сегодняшнего – того Захара, который зачем-то воюет с либералами, как если бы сейчас на дворе был одна тысяча девятьсот девяносто второй год. Представьте, что вот тогда, когда в Кремле сидел Ельцин, в мэрии – Гавриил Попов, в Лужниках расположился вещевой рынок, в телевизоре – Сергей Адамович Ковалев, на Красной площади – реклама кока-колы, в Олимпийском – Сёко Асахара, в школе – половое воспитание и “Лолита” Набокова, ну, и так далее (нужное вписать!), – вот если бы Захар Прилепин начал свою войну с либералами тогда, им можно было бы только восхититься!

Но в 1992 году Захар заканчивал среднюю школу и даже если вёл какую-то войну с либералами, то мы о ней ничего не знаем. Зато знаем, что он ведёт её сейчас, в две тысячи тринадцатом, когда от либералов осталось пол-

торы газеты и тысяча человек в Facebook'е. Захар, это круто – переспорить сейчас Шендеровича, сразить наповал аргументом Рыклина, высмеять Альбац? Нам жить с Путиным до твоих сорока девяти и до моих сорока четырёх – какие либералы? какие избы? какой там Байконур? Одна история удивительнее другой, ей-Богу. Не будь Макаревичем, Захар, зачем нам два Макаревича?
<...>

“12” Ежедневное интернет-издание

ИЛЬЯ МИЛЬШТЕЙН

РУСОФОБИЯ

У каждого амбициозного писателя – свои, глубоко выстраданные убеждения. Свой сад, который он возделывает, чтобы закопать в нём врагов. Короче, свои тараканы в голове.

Так, Эдуард Лимонов сживает со свету Алексея Навального. Дмитрий, допустим, Быков ностальгирует по советской власти. Александр Проханов занят мистическим скрещиванием славянофильства со сталинизмом.

Захар Прилепин разоблачает либералов. И надо отдать ему должное: разоблачает красиво.

Читаешь – прямо дух захватывает.

“Он всего добился сам, это только мы взяли взаймы, отняли, украли. Это у нас история рабства, пыток, кнута, а у него, представьте, есть своё собственное прошлое, память о нём, боль. У нас пепла, который стучит в наши сердца, – нет, а у него есть, и его пепел более пепельный. Наш мы уже развеяли, а его пепел остался – и лишь о нём имеет смысл вести речь. Говорить про наш пепел – оскорбительно, в этом определённо есть что-то экстремистское”.

“Он” – это либерал. Высокомерный, всезнающий, склонный к “европейскому выбору” и “мародёрству”, предводитель и растлитель *малых сих*. А “мы” – это народ, от имени которого говорит Прилепин, косоватый такой народишко. “Руки в навозе, ногти не стрижены... сопли засохли на щеках, трусов под портами нет <...> грязные, корявые дети...” Вдобавок либералы украли у них (у детей!) все русские буквы, “собрали в кучу... построили свою азбуку, свою мораль, своё бытие”. И Пушкина им подменили, и Блока, и Чехова, и Достоевского.

И вышло так, что малый несчастный многосотмиллионный народец стонет под пятой немногочисленной, но злобной и непобедимой *зондеркоманды* либералов. А если уж до конца договаривать, то известно, из каких песков зыбучих израильских вышла эта команда, и в других текстах Захар Прилепин, не чинясь, имена и явки либералов называет. А здесь, значит, только намёком, про пепел Холокоста и пепел ГУЛага: у либералов есть память о прошлом и боль, а русским вспоминать и плакать не разрешают. Кто не разрешает? Да известно кто!

У каждого национально ориентированного писателя своя драма и свой путь, и если не предаваться эмоциям, вчитываясь в новый текст Прилепина, то легко постигаешь его внутреннюю логику. Это закономерный, хотя и редкий в литературе путь превращения автора в собственного персонажа. Как если бы, не поумнев, но научившись писать публицистические статьи, заговорил Санька – один из самых известных героев ранней прозы Захара Прилепина. Или, если уж высказываться с предельной точностью, даром публициста овладел герой Зоценко – во всей силе его плаксивого агрессивного невежества и внушённого советского патриотизма.

Причём литература здесь на первом месте, а убожество – лишь на втором, хотя это тоже важная составляющая текста. И когда автор год с лишним назад писал своё прогремевшее “Письмо товарищу Сталину”, в котором ут-

верждал, будто тот “положил в семь слоёв русских людей, чтоб спасти жизнь” либеральному семени, уже можно было догадаться, что этот тренд станет основным. Что прозаик ещё добавит немало ярких мазков к портрету либерала и, вжившись в образ, сообщит публике, будто идеальное будущее для врага-плюралиста – это “чтобы сдохли” русские рабочие и крестьяне. Он ещё и Путина назовёт “вполне себе либералом и рыночником”, чтобы, не вдаваясь в подробности, побольней засадить в рыло ненавистным демократам. Во всём этом, говорю я, была своя железная внутренняя логика, ибо если тов. Сталин уничтожал русских, чтобы спасти космополитов (хотя почему-то решил довершить дело Гитлера вскоре после окончания войны!), то Путин – несомненный либерал.

Олег Кашин увещевает писателя: мол, стоит ли сегодня, Захар, мочить в сортире этих малоприятных людей, когда от них “осталось полторы газеты и тысяча человек в Facebook’e”, но, полагаю, он старается зря, и Прилепин останется безутешен. Речь ведь не о том, что автор “Патологий” глубоко изучил тему или хоть на школьном уровне постиг значение слова “либерализм”. Просто он настолько вжился в роль своего персонажа и настолько её затвердил, что глух к доводам рассудка. Поэтому ищет, находит и казнит врагов с той интенсивностью, которую диктует темперамент.

<...>

“Сноб”

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ, КОЛЛЕГИ

Сразу к делу, без лирики.

Как мы уже говорили, один из вариантов развития событий – постепенное видоизменение российской политической системы в подобие американской.

Самая демократическая демократия в мире, как мы знаем, выглядит, мягко говоря, очень просто, даже проще, чем российский Парламент.

Там есть республиканцы и есть демократы – две либеральные партии, которые сражаются за власть. Гипотетически всегда можно проголосовать за “третью партию”, но политическая система построена так, что эта “третья партия” никогда не появится на вершине власти.

Российская власть и её руководящая партия (допустим, “Единая Россия”, хотя может на этом месте появиться и что-то другое, но того же толка) постепенно начнёт трансформироваться в подобие республиканской партии.

Так называемая “болотная оппозиция” вкупе, например, с движением Михаила Прохорова уже сейчас по факту занимает место “демократов” – только не оформленное должным образом.

Почему не оформленное? Потому что, видимо, пока сложно достичь договорённости по некоторым пунктам.

И первые, и вторые схожи в одном: основой существования России по-прежнему должна быть “рыночная экономика”. Аристократией такого типа экономики является российская буржуазия.

Именно взгляд на буржуазию объединяет и власть, и оппозицию: вспомним того же Прохорова (и его сестру). С одной стороны, деятельность Прохоровых периодически является центром притяжения либеральной интеллигенции, с другой – сам Прохоров легко вписывается в государственный управленческий аппарат.

Дальше начинаются частности.

Так как первой группировке (республиканским *единороссам*) необходимо удерживать власть, они вынуждены позволять себе риторические фигуры, не совместимые со званием истинного демократа и либерала. Отсюда их нанос-

ное, PR-технологическое славянофильство, советский гимн и прочие, вове-
мя (к выборам) поставляемые развлечения для бедных.

Участники этой группировки позволяют себе милитаристскую риторику (в целом характерную для американских республиканцев), умеренно нацио-
налистическую риторику (втайне не чуждую американским республиканцам) и, к примеру, нежелание идти на поводу у ЛГБТ-сообщества (этим республи-
канцы тоже отличались до недавнего времени, пока их окончательно не побе-
дили и не запугали демократы).

“Республиканские *единороссы*” самой логикой событий будут вынуждены
пойти на некоторые либеральные уступки: они всё больше нуждаются в леги-
тимности внутри западных политических и финансовых систем, в которые, по
сути, вписаны, так и в среде креативной российской интеллигенции.

Идеально в этом смысле может сложиться ситуация, если “республикан-
ские *единороссы*”, предварительно оговорив условия с “болотными демокра-
тами”, временно проиграют им власть.

Демократы, едва возьмут власть, быстро забудут о свойственных им ра-
нее издержках либерализма. Власть — дело серьёзное, и кому бы она ни до-
сталась — Михаилу Прохорову или **Леониду Парфёнову**, коллективному “Эху
Москвы” или очередному Союзу правых сил, — мы достаточно быстро убе-
димся в том, что их модель управления тоже предполагает наличие нелибе-
ральных методов, включая лёгкое принуждение и применение спецсредств в
случае возможных погромов. И даже, Боже мой, коррупционные схемы! Мы,
конечно, никогда не поверим, что **Владимир Рыжков** или какой-то там **Алик
Кох** способны так же пользоваться общенародным достоянием в корыстных
целях, как нынешние “опытные управленцы”, но... всякое бывает.

И тут они, две эти либеральные партии, наконец, сольются до степени
полного смешения.

Сегодня же они видят себя на противоположных полюсах.

Мало того: убедили в своём непримиримом противостоянии огромные
массы населения.

Их вовсе не смущает, что одни и те же персонажи переходят из оппози-
ции во власть и обратно.

Их не смущает, что их экономические воззрения идентичны.

Просто одни несут ответственность за власть (хотя предпочли бы пользо-
ваться властью без излишнего внимания посторонних), а другие не несут ни-
какой ответственности.

С российским либералом, как вы могли бы заметить, невозможно спо-
рить — он действительно ни за что не отвечает, кроме чистоты своих манжет.

Любой человек, скажем, “левых” взглядов отвечает одновременно за Се-
верную Корею, **Фиделя**, **Сталина**, насильственное переселение народов,
хрущёвскую кукурузу, **Брежнева**, застой, **Пол Пота** и **Ленина** с харьковским
ЧК. Хотя, казалось бы, что общего между Брежневым и Пол Потом?

Либерал же так устроен, что отвечает исключительно за “небесный”,
“идеальный” либерализм, который, как известно, озабочен исключительно
свободой личности. А за приватизацию, крошечное социальное расслоение,
Егора Гайдара, расстрел Парламента, Ельцина, многолетнюю войну в Чечне,
дефолт, отрицательный демографический дисбаланс, избавивший нас от
двадцати миллионов не родившихся в последние десятилетия россиян, за
бомжей и беспризорников, офшоры, **Собчака** и дочку Собчака, и любимого
ученика Собчака — либерал не отвечает.

“Нет! — восклицает он. — Я тут ни при чём!”

То есть, ещё раз повторю: “левым” всегда подsunут Пол Пота, и они за-
ткнутся, обескураженные, но ни одна либеральная... голова и не подумает
объяснить, отчего в Африке либерализм периодически не противоречит людо-
едству.

“Потому что это не либерализм”, — скажет он.

“Ну, так и Пол Пот — не коммунизм, — ответите вы, — и к харьковскому
ЧК социализм тоже, по сути, не имеет отношения”, — но тут либерал, конеч-
но же, отмахнётся.

У либерала на всё готовы уморительные доводы. К примеру, нам говорят,
что получившееся в России в последние 20 лет — не либерализм, потому что
именно *бывшая партноменклатура всем занималась*. А кто *всем этим* должен
был заниматься? Марсиане? Вся страна до начала “демократизации” состоя-

ла в партии, в комсомолии, в пионерии — другим людям просто было неоткуда взяться. Тем более что **Путин, Медведев** и вся их команда ни к какой номенклатуре не принадлежали, а если кто и принадлежал — так это Ельцин, которому либеральная общественность поставила памятник.

Но нет, 25 лет прошло с тех пор, как мы живём при “рынке”, а, согласно либералам, нам всё Советский Союз палки в колёса вставляет!

Давайте тогда спишем 37-й год на царский режим... Большевики учились в царских школах, заправлял всем недоучившийся семинарист, а **Андрей Януарьевич Вышинский** до Октябрьской революции едва не посадил **Ленина**; Красную армию и заодно все остальные “силовые структуры” создали военспецы из “бывших”, к массовым репрессиям призывали опять же бывшие белогвардейцы **Валентин Катаев, Виктор Шкловский, Леонид Леонов, Всеволод Иванов и Евгений Шварц...**

Скажите, что это бред? Ещё какой! Но почему тогда ваш бред нужно выслушивать на полном серьёзе?

Пора взрослеть и брать на себя ответственность за результат своих действий, коллеги.

Понятно, что идеальный либерализм — “за всё хорошее”, но ведь и идеальный коммунизм стремится к исключительно добрым и полезным делам!

Только что был на программе одного либерального ведущего, который спрашивал с меня, как с нацбола, за разрушение церквей в советские времена, — хотя основатели национал-большевистской идеологии были поголовно расстреляны в 30-е годы и к разрушению церквей не имели не малейшего отношения, не говоря уже об их последователях в лице лимоновской партии.

Но я, как ни странно, отвечаю, я несу ответственность за всё: за коллективизацию, за смерть **Мандельштама**, за убийство **Флоренского**, за штрафбаты и заградотряды.

Зато в среде оппонентов мы видим людей, которые занимали ключевые позиции в государстве, обеспечивали её идеологию, строили глобальный рынок, — и всё равно делают вид, что они вообще не при делах.

Вот три богатыря российского либерализма: **Немцов, Чубайс и Кириенко**. Кто-то знает о существовании кардинальных отличий в их взглядах? Едва ли. Отличие их друг от друга состоит только в том, что первый — в оппозиции, а остальные встроены в государственную машину и адекватно себя чувствуют в ней.

То, что часть либеральных деятелей выступает в качестве оппозиционеров, означает одно: в принципе принимая порядок вещей (капиталистический рынок, финансовая свобода), они желают изменить отдельные частности (больше других либеральных свобод, вертикальная мобильность, уничтожение отдельных коррупционных схем).

Оппозиция левого толка должна отрицать нынешний порядок вещей, утверждая, что необходимы изменения кардинальные: смена политического курса, отмена итогов приватизации, изменение налоговой системы, национализация крупнейших объектов хозяйства, ставка на государственность, преодолевающую ложные либеральные постулаты о человеке, который “ничего никому не должен”, ну, и так далее, то есть банки, оборонка, космические программы, образование, наука — всё должно работать на совсем других основаниях.

Тут приезжал мой хороший знакомый из Польши и очень удивился, когда слушал моё выступление, где я говорил о либеральных реформах в образовании и здравоохранении, а публика роптала: мол, какой это либерализм?!

“У вас что, — спросил мой товарищ, — никто не понимает, что Путин делает ровно то, что делают, например, в Польше? Это и есть либеральные реформы!”

Но у нас всё с ног на голову становится!

Другой мой замечательный знакомый из либеральной газеты “МК” воскликнул недавно, что в Турции вводят бесплатное образование, а Россия на всех парах летит к платному — и ему удивительным образом кажется, что это не либерально.

Что ж такое с вами творится, друзья!

Бесплатное образование и прочий *бесплатный сыр в мышеловке* — это шаг назад, в *проклятое советское прошлое*. Мы же хотим двигаться вперёд? Хотим. Тогда — вперёд!

Всё, что произошло, например, в сфере сельского хозяйства — это и есть последствия либеральных реформ. Мы живём в рынке, рынок едет по нам: всё, как и было задумано. Вся наша нынешняя жизнь — это результат удавшихся или не удавшихся (а кто сказал, что они должны всегда удаваться?) либеральных реформ.

Допустите скорей демократов к власти — они доведут эти реформы до необходимой кондиции!

Потом нам надоеет власть демократов, и мы выберем республиканцев. Республиканцы продолжат заниматься тем же, но немного по-своему. Получится, впрочем, примерно то же самое. И мы их, естественно, переизберём, и снова выберем демократов. А потом ещё раз республиканцев...

И всё это будет продолжаться до того момента, пока не развалится страна.

Тогда либералы обеих мастей отойдут в сторону, и когда осядет пыль, уверенно скажут: “Мы тут ни при чём! Это — они!”

И покажут на нас, дорогие сограждане.

“Свободная Пресса”

ГЕРМАН САДУЛАЕВ

ВЛАСТЬ ПОБЕЖДЁННЫХ

Я ждал этого времени, и вот это время пришло. Я готовился к нему с самого детства. Сделав домашние задания, я тотчас брался за синий том суровой критики новой западной философии с точки зрения марксизма-ленинизма (других источников не было) и пытался из негативного обзора получить представление о Франкфуртской школе. Я видел: советский социализм дышит прерывисто, утомленно прикрывая глаза. А вурдалаки топчутся вокруг, и вороны в небе кружат, и круги их всё уже, уже... И вот уже скоро, скоро... Грядёт битва. Надо вооружаться. И когда на домашней ферме я чистил от навоза коровник, то думал о том, как буду очищать авгиевы конюшни застарелого догматизма. И когда боксировал в ДЮСШ, то готовил себя к схваткам на ринге чистого интеллекта. Окончив школу, я собрал в старый чемодан кирпичи своих книг и поехал в город трёх революций, чтобы дальше учиться и в назначенный срок принять участие в последней битве Добра со Злом.

А потом как-то странно получилось: никакого сражения не случилось — враг на ристалище не явился. Он просто отменил все турниры и объявил себя победителем. Зрителям показали: видите, джинсы и колбаса! Какие ещё вам нужны аргументы? И все признали единого всемогущего бога-благора, и пали перед ним на колени. А когда оказалось, что джинскоколбаса была фатаморганой, оставалось лишь жить на мёрзлой картошке и удивляться, но ничего уже изменить было нельзя.

Идеологию отменили. Сказали: “Не надо никаких идеологий, надо просто жить, естественно, в природе, как звери, по закону джунглей, а если что-то пойдёт не так, то у нашего бога-благора есть волшебная рука рынка, которой он всё исправит и всё устроит: накажет бесполезных и наградит эффективных”. И если кто-то начинал что-то спрашивать или объяснять, то все делали покерфейсы и потом говорили: “Так это же идеология! Не надо нам никаких идеологий! Были у нас идеологии, все эти ваши фашизмы и коммунизмы, и вот к чему они привели! Нет уж, хватит с нас идеологий! Мы будем просто жить!”

А я думал: “Вы будете жить, а я? Дельфин будет жить, а я умру. Что я буду делать, если я рождён для идей? Как мне выполнить свою миссию?” Ведь каждый должен выполнять свой долг. Лучше несовершенным образом следовать предписанной тебе дхарме, чем пытаться совершенным образом выполнить дхарму другого, ибо следовать по чужому пути опасно. И бесполезно.

Но пусто было и темно. В мире ценились только клоуны и эстеты, и спор шёл только между клоунствующими эстетками и эстетствующими клоунами о том, как лучше сделать читателю *интересенько*. Но не грузить, ради Бога, только не грузить. А что, если я грузчик? Гуру значит 'тяжёлый', значит — 'с грузом'. Я рождён грузить. Что я мог? Злился, как идол металлический среди фарфоровых игрушек.

Были и другие такие же. Они жили под землёй: в газете "Завтра", в газете "Правда", в журнале "Москва" и прочих подземных коммуникациях. Иногда они вылезали на свет, а там неоновая реклама, вывески, виски и вискас, *все дела*, и глаза суживались, слепли. Им говорили: "С чем пришли? А, опять идеология! Идите под землю. Не нужна ваша идеология, и никакая идеология не нужна. Хватит, как говорится, болтать! Пора дело делать". Дело. Бизнес, если по-современному. И они закапывались и рыли. Каждый рыл свои ходы, и я тоже что-то куда-то рыл.

В сорок лет я закончил рыть — вылез где-то в пустыне. Как-то так получилось, что нас всех выпустили. Мы увидели, что земля выжжена. Церкви, библиотеки, дома культуры — всё в золе. И мы поняли, что если мы хотим, чтобы было куда вернуться, пора вернуть эту землю себе. И принялись за работу. Мы стали строить. Настало весёлое время.

Право, мне нравится наше время! Жаль только, что упущено так много лет. Мне уже сорок. Нет юношеского задора. Поздно, волосы все седые, а война — дело молодых. И мы плачем, но радуемся и поднимаем выше стропила.

Стало понятно не только нам, что это самое "не надо больше никаких идеологий" и есть идеология, причём самая жёсткая и тоталитарная. Но очень тупая. Она не могла выдержать соревнования ни с какой иной системой мысли, потому что сама она дуриная и злая, и схитрила, зачистила поле лживым кличем: "Долой идеологии!" А когда попросили чемпионский титул подтвердить, оказалось, что у либерализма (а это был он!) нет приличных поединщиков. Выходит левый интеллектуал в среднем весе Максим Кантор, против него выставляют либерального тяжеловеса Дмитрия Быкова, но вместо схватки получается избивание младенца, и левым даже как-то неудобно смотреть, потому что они гуманисты, да и сам Кантор понимает, бьёт в четверть силы, и после первого раунда бой можно заканчивать ввиду явного преимущества...

Как только либералы согласились на открытую битву с левыми, правыми, националистами, монархистами и с кем угодно, хоть с толкиенистами, они сразу же, в этот самый момент проиграли всем, даже и особенно толкиенистам. Потому что "не-идеология" либералов с их *идеями*, что в мире правят естественные законы конкуренции и эффективности, сама по себе абсолютно неконкурентна в идейном поле и неэффективна в социальной инженерии, и только силой государства и властью денег могла присваивать себе золотые медали и удерживать пьедестал.

Наш милый Егор Холмогоров диктует в штаб победную реляцию: либеральное западничество как идейная сила разгромлено, в идеологическом поле его можно не принимать в расчёт. Враг бежал, побросав пушки и танки. Поэтому Холмогоров полемизирует с Егором Просвирниным, упрекая его в имперском уклоне национализма за то, что Просвирнин обвинил Холмогорова в этноромантическом уклоне того же национализма. А Валерий Коровин отстаивает евразийство, прежде всего, от нападков националистического редуccionизма. А Герман Садулаев, жонглируя гуннами и вестготами, провозглашает имперский национализм в пику как этническому национализму, так и национал-имперцам (о, эта тонкая, но важная разница!), но и с евразийством не соглашаясь. Вот так у нас на "12" всё чудненько!

И в других приличных обществах тоже. Левые, правые, националисты, имперцы и толкиенисты спорят друг с другом и внутри себя, уточняя некоторые важные детали дискурса, искореняют ереси (среди толкиенистов появилась теория, что раз орки раньше были эльфами, то эльфы подлежат уничтожению как потенциальные орки: боевое крыло секты проводит зачистки среди остроухих). А если какой-то идеолог высказет сомнительное положение, то ему говорят: "Э, батенька, да вы либерал!" "Кто либерал? Где либерал?" — пугается идеолог и пытается оправдаться, и показывает вытатуированного на своей груди Сталина, и Достоевского из-за пазухи достаёт, но тщетно — сомнение посеяно!

И только Захар Прилепин продолжает сражаться с либералами. Мало ему было письма вождю! Теперь он рассказывает, почему он не либерал. Звучит несколько странно в изменившихся обстоятельствах. И ему от имени всех отвечает Олег Кашин, который раньше был тоже вроде как либералом, но теперь скорее националист или что-то вроде. Он говорит Прилепину, что не надо бить либералов. Какие теперь либералы? Жалкие, ничтожные люди!.. Вот раньше были титаны! Раньше даже сам Кашин был либералом. Тогда сражаться с либералами было почётно. А теперь вроде как неприлично. Как смеяться над болезненными инвалидами. Как добивать раненых. Обругать либерала – всё равно, что ударить слабую женщину. Некрасиво. *Не рок-н-ролл!*..

Третьего дня мы были у Захара Прилепина в деревне. Не просто так, а чтобы провести идеологический диспут. Нас собралось у него 12. И были среди нас большевики и националисты, и консерватор, и социалист, и либералы были в лице двух с половиной человек. Мы все, конечно, убедительно победили. Каждый победил всех остальных, а все вместе расправились с либералами и растворили труп либерализма в кислоте сарказма (ни один либерал физически не пострадал, если что...). В бане я, помнится, говорил что-то похожее на позже прочитанное у Холмогорова: либерализм повержен и в силовом поле идей сведён к величине арифметической погрешности. Его можно не принимать во внимание, рассчитывая взаимное напряжение действующих идеологий. И было так хорошо: баня, веники, минералка, свежий воздух... И ощущение победы.

А потом я летел обратно в Питер через Москву двумя бортами “Аэрофлота”. И каждый раз мне предлагали почитать свежую прессу – её развозили на тележке с колёсиками. И пресса вся была... такой ориентации... такого направления... которое повержено. Побеждено. Но ему, видимо, об этом не сообщили. Оно и не знает об этом. И живёт себе, как раньше, не подозревая, что уже *закатано в асфальт и размазано по стенке*. И сверкает гляncем и прочим. А наших на той тележке нет.

Я увидел какой-то новый журнал, называется “Дилетант” – что-то про историю. Историю я люблю, взял почитать. И – о, Господи! Название, конечно, правильное. Либерал – он ведь всегда дилетант. Его каким доводом ни припрещь, он отвечает: “Ну, я в этом не специалист, но моё убеждение такое, а подтвердят вам специалисты, наверняка у них есть данные. Я ведь не историк (не экономист, не юрист, не геодезист, не таксидермист и так далее). Просто либерал”. А либерал, он, как женщина, всегда прав. А если либерал не прав, то надо перед ним извиниться.

В этом журнале я прочитал такое – такое прочитал! Это *адь*. Нашим парням из “12” читать не стоит. Может не выдержать истощённая в подземельях психика. Какие теории! Какие авторы! Достаточно того, что про Наполеона III рассказывает В. И. Новодворская. Или как-то так. Может, я путаю. Я ведь осторожно читал – боялся заразиться, держал за кончики листов, пробежал по диагонали, и не прямо смотрел на текст, а через зеркало, хоть и трудно отражённые буквы узнавать, зато безопаснее: живее будешь!

Закончив просмотр, я извбирался от журнала и продолжал читать биографию Жданова. Успокаивал себя: “Да ну, это ничего не доказывает. Просто, может, в руководстве “Аэрофлота” окопались полутрупы...” Но потом подумал внимательно и опечалился.

Мы, конечно, победили. Просто это ещё не так заметно. Совсем не заметно, честно говоря. И в главных журналах – либералы. И в *зомбоящике* – либералы. И самые посещаемые интернет-ресурсы контролируют либералы. И социальные сети – сплошь либеральные, а если ты что-нибудь нелиберальное там делаешь, то *мордокнига* тебя блокирует, потому что либерализм в том и состоит, что свободно высказываться можно только в либеральном ключе, а если ты в нелиберальном ключе высказываешься свободно, то тебя репрессировать.

А главное, у власти до сих пор – только одни либералы. Никого другого нет, даже для смеха. Все министры – либералы. Судьи – либералы. Подавляющее большинство депутатов – либералы. Иногда Президент прочитает охранительную речь где-нибудь на Валдае, так сразу откуда-нибудь из Сочи ему отвечает речью премьер-министр – корректирует в противоположную сторону. Даёт знак старшим товарищам на Западе: “Всё в порядке, у нас либера-

лизм, либерализму ничего не угрожает, а что на Валдае было сказано, – ну, вы же понимаете, для кого и для чего, не маленькие”.

И ведь само то, что нас из-под земли “выпустили”, что нам “разрешили”... О чём это говорит? Не знаю, но вспоминается мне пыльная арена, политая кровью. Товарищи, немногим отличные от меня, в доспехах стоящие против меня с оружием на изготовке. А вокруг трибуны с жирными горожанами, и жёны их бряцают драгоценностями. И все кричат: “Вперёд, гладиаторы!” Но был среди нас один гладиатор, который закончил этот спектакль. Его звали Спартак.

“12” Ежедневное интернет-издание

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ПОЧЕМУ ВЫ ЛИБЕРАЛЫ

Написанный мной текст “Почему я не либерал” вызвал некоторую реакцию.

Помимо сотен возмущенных ответов в соцсетях, мне публично ответили, как минимум, в десяти СМИ более или менее именитые представители либеральной общественности. Не будем углубляться в разбор их (достаточно однообразной и предсказуемой) аргументации. В качестве характерных стоит отметить лишь два момента.

Либеральная общественность в последнее время очень любит говорить, что её “травят” – в том числе, например, и я: путём публикации своей статьи на ресурсе, который проработал к моменту публикации один день. А либеральная общественность в ответ, как мы видим, всего лишь “защищается”, огрызаясь из своего подполья, в качестве которого был явлен, например, едва ли не самый тиражный журнал в России – “Огонёк”, где полноценно отметился Дмитрий Губин со статьей “Почему я либерал”. В итоге статью мою прочитали на сайте десять тысяч человек, а “Огонёк” выходит тиражом 100 000 экз.; но травят, повторяю, всё-таки либералов.

Наконец, часть либеральной общественности имеет устойчивую привычку переводить разговор в плоскость межнациональных отношений: меня, надо сказать, волнующую мало.

Напротив, для самых скудномыслящих моих оппонентов я неоднократно сообщал, что в определяющих нашу сегодняшнюю жизнь знаковых вопросах национальный аспект играет роль малозначительную. Зато имеет значение вопрос экономический, сводящий различия между “либеральной оппозицией” и властью к минимуму.

“Кто же такой этот страшный либерал, которого ты так ругаешь, если он одновременно похож и на власть, и на оппозицию?” – наперебой спрашивали меня мои оппоненты.

Мне казалось, что ответ очевиден, но я заблуждался.

Придётся ещё раз объяснить, что называется, на пальцах.

Либералом в нынешней России является человек, который:

а) выступает за рыночную экономику (писатель Герман Садулаев использует также термин “рыночный фундаментализм”);

б) считает финансовое состояние российской буржуазии в целом легитимным (если формулировать радикальней: выступает не только против пересмотра итогов приватизации, но и против так называемого налога на роскошь);

в) находит слом советской системы, случившийся в 1987–1993 годах, в целом обоснованным, логичным и даже благом для страны.

В этом смысле, как мы видим (или вы по-прежнему не видите?), различия между Борисом Немцовым и Дмитрием Медведевым – минимальны. Может быть, их и вовсе нет.

Подставляйте любые другие, якобы с разных политических полюсов взятые фамилии, – скажем, Алексей Венедиктов и Владимир Соловьёв, – и получите тот же результат: в обоих случаях мы видим перед собой безусловного либерала.

Три этих пункта были определяющими для новейшей буржуазной российской элиты, как финансовой, так и властной: именно с этих позиций фактически одновременно стартовали в постперестроечный период и Владимир Путин, и любой современный либеральный оппозиционный лидер со стажем.

То, что одного судьба привела в Кремль, а других – нет, не более чем издержки внутрицеховой конкуренции: по крайней мере, в том виде, в котором она была создана руками самих либералов путём расстрела Парламента в 1993 году и фальсификации президентских выборов в 1996-м.

Российские либералы, несмотря на ряд финансовых кризисов, периодически происходящих как во всём мире, так и в России, продолжают почти религиозно верить в эту самую “конкуренцию” (по крайней мере, пока она не проезжает по ним самим), в “рынок” как саморегулирующуюся стихию, в “эффективность” и прочую “рентабельность” – буквально как в китов, на которых стоит мир.

Они предпочитают говорить о государстве, чья идеальная модель сводится к функциям “ночного сторожа” (при этом парадоксальным образом либералы ссылаются на скандинавские страны, где государство, спасаясь от стихии рынка, исполняло куда более жёсткие функции, чем сторожевые, – у нас бы их назвали “левыми” и “авторитарными”).

Впрочем, в публичных дискуссиях российские либералы чаще всего уходят от разговора об экономической сущности либерализма, упирая на то, что основная задача либерализма – это поддержание “прозрачности власти”, “честных судов”, “частной собственности”, “свободы печати” и т. п.

Тут выясняется, к примеру, что политик, негативно влияющий на “свободу печати”, автоматически перестаёт быть либералом.

Надо ли понимать, что один из самых почитаемых в либеральной среде блогеров – бывший министр правительства Бориса Ельцина и политический деятель Алик Кох сначала, пока был младореформатором, являлся либералом, потом, когда закрывал НТВ, либералом быть временно перестал, а сегодня опять им стал?

Нет, так не надо понимать, потому что это абсурд.

За год до событий на Болотной автор этих строк был в гостях у Ксении Собчак на радио “Серебряный дождь”, и она там мне в некотором даже раздражении доказывала, что люди, которые находятся у власти, пришли к власти “всерьёз и надолго”, и находила это безусловным благом.

Спустя год она уже выступала на Болотной как бы против этих самых людей...

Значит ли это, что во время программы на радио Ксения Анатольевна не была либералом, а потом стала?

Нет, и это неправда.

Поведение всех этих граждан – суть либеральные разборки, которые отчего-то навязаны стране в качестве повестки дня.

Что до частной собственности, то она была придумана, безусловно, не либералами, а, так или иначе, имела место достаточно давно – ещё, к примеру, в Древней Руси, да и при “советском рабстве” (недавно изобретенное выражение либеральной мыслительницы Юлии Латыниной) тоже. Например, все мои бабушки и дедушки (“советские рабы”) владели в 70-е годы домами и подворьями, на которые никто и никогда ни при каких условиях не претендовал бы, у одного деда было три мотоцикла, у другого – такая большая лодка, что почти уже могла бы именоваться яхтой, все они торговали мясом и молоком, и никто не объяснит, почему из элементарного права на вещь, характерного фактически для любого социального устройства, надо делать исключительно либеральный фетиш.

“Честные суды” и вообще суды как таковые тоже придуманы, естественно, не либералами: в них были заинтересованы граждане как при первобытно-общинном строе, так и при любом другом, и далеко не факт, что либера-

лизм гарантирует в данном случае идеальную судебную работу, по крайней мере, многолетнее лидерство США по количеству заключённых на душу населения заставляет серьёзно задуматься на эту тему.

Дело в том, что экономический либерализм так или иначе принимает как неизбежную составляющую социальное неравенство (иногда подменяя осознание этого факта рассуждениями об “успехе”, “работоспособности” и прочих вещах, поселивших всех обитателей списка журнала *Forbes* на вершину иерархической лестницы). Но там, где имеет место социальное неравенство, никогда не будет по-настоящему честной судебной системы — в этом нужно отдавать себе отчёт. Либеральная общественность очень любит ссылаться на то, как дочку или сына того или иного американского сенатора сажают на 15 суток за езду в пьяном виде с бардачком, полным наркотиков, но крайне редко приходят к нам новости о судах, к примеру, над финансовыми дельцами, периодически обрушивающими экономику суверенных государств.

Существование “прозрачной либеральной власти”, решения которой поддаются здравому анализу, давно и безусловно стало блефом — его просто смешно развенчивать! — тем не менее, ввод войск в Афганистан товарищем Брежневым по сей день рассматривается как вопиющий пример “советского милитаризма”, а ввод войск либеральных держав в любую суверенную страну Азии, Африки, а то и Европы разъясняется в терминах исключительно политических PR-технологий, которые при всей их абсурдности неизбежно принимаются основной массой либеральной общественности за чистую монету.

Многие обращали внимание на то, какую очевидную неприязнь испытывает среднестатистический российский либерал к сталинскому кино, но волшебным образом он, как правило, не имеет ничего против людоедского голливудского лубка: то есть “Кубанские казаки” и “Весёлые ребята” — это ложь и подлость, а тысячи “Крепких орешков” — это просто такая жанровая штука; ею, правда, окучивают уже не отдельно взятый СССР, а целую планету, но это не беда!

Всё это не значит, что российская либеральная общественность всецело доверяет мировому либеральному политическому абсурду, но какие доводы ни приводи, мои оппоненты неизбежно дают понять: пусть этот мир и не совершенен, но мы будем жить в нём, потому что иначе опять начнётся какой-нибудь отвратительный казарменный социализм (“...а это мы уже проходили”, — неизменно заявляет либерал, отчего-то уверенный, что либерализм — это единственный урок, который надо повторять до тошнотворной оскомины, сколько бы дефолтов и войн ни случилось!).

Между тем Россия, если ей суждено выжить, неизбежно пойдёт по пути новой социалистической идеократии — отмены итогов приватизации, полномасштабной индустриализации как государственной программы, вступающей в наглядные противоречия с идеалами “рынка”, построения самодостаточной экономики, выхода из системы мировых финансовых манипуляций и спекуляций, в которые насильственно была втянута наша страна, создания новейшей политической, духовной, научной и военной аристократии взамен аристократии “рыночной” (мы имеем в виду шоу-бизнес) и буржуазно-олигархической (компрадорской по своей сути, ведь если либерализм — это свобода, кто вправе закрепить деньги?).

Если Россия пойдёт по этому пути, либерализм как направление мысли займёт идеально подходящую ему нишу: станет жёстким критиком власти с позиций правозащиты.

В этом смысле либерализм просто необходим России. Но только в этом.

Однако к построению и удержанию такой машины, как российская государственность, и сохранению народов России идеология экономического либерализма оказалась непригодна.

Чем скорее мы отдадим себе в этом отчёт, тем больше у нас шансов на будущее России.

Впрочем, если вы собираетесь встретить своё будущее в другой стране, вы зря читали этот текст.

Зато мы имеем в наличии ещё один пункт, по которому можно с лёгкостью определить, что вы — либерал. Ибо вы, как всегда, свободны.

“12” Ежедневное интернет-издание

АЛЬФРЕД КОХ

Господи! Ну, что он, реально, что ли, считает, что открывает дискуссию? Так я её сразу закрою: антитезой либерализма является не некое современное издание почвенничества вкупе с ностальгией по совку (как он наивно полагает), а само это почвенничество с ностальгией есть всего лишь проявление глупости и/или злонамеренности.

То есть антитезой либерализма на самом деле является эклетичная смесь глупости со злонамеренностью, а не некая самостоятельная стройная система взглядов.

Ещё раз (и последний, для идиотов: повторение не является ни матерью, ни даже мачехой учения) — как не может быть осетрины второй свежести, так не может быть и не-рыночной экономики. Экономика может быть только рыночная и никакая другая.

Все попытки представить экономикой так называемую “плановую экономику”, то есть то убожество и глупость, которые были в совке (и которые, к счастью для него, неведомы не жившему в совке Прилепину!) — это всё пустое.

То была не экономика, а морок и развлечение вождей. Все эти фокусы с бомбой и ракетой (главный и, пожалуй, единственный аргумент прилепичных) имеют такое же отношение к экономике, как кормление голодных парижан би-сквитами по рецепту Марии-Антуанетты.

Или ещё: “плановая экономика” имеет такое же отношение к экономике, как “суверенная демократия” к демократии настоящей.

Прилепин! Зарубите себе на носу: либералы разные потому, что умные. Только идиоты — одинаковые. И требовать от либералов единства взглядов — лишнее доказательство глупости вопрошающего, а не свежести и оригинальности его взглядов.

...А сейчас молодой, подающий надежды писатель Прилепин исполнит на балалайке свой коронный номер “Камаринский мужик”... В сотый раз... Хватит. Сколько можно? Надоел. Исписался. Всё. Езжай в Нижний, радуй там местных.

Facebook

ОТВЕТ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Ну, наконец-то Альфредыч наш Кох в очередной раз прокричал со своей рубливской дачи, какое я убожество, в числе прочего заявив:

“Ещё раз (и в последний, для идиотов: повторение не является ни матерью, ни даже мачехой учения) — как не может быть осетрины второй свежести, так не может быть и не-рыночной экономики. Экономика может быть только рыночной и никакой другой”.

2. “Все попытки представить экономикой так называемую “плановую экономику”, то есть то убожество и глупость, которые были в совке (и которые, к счастью для него, неведомы не жившему в совке Прилепину!) — это всё пустое. То была не экономика, а морок и развлечение вождей. Все эти фокусы с бомбой и ракетой...” ну, и так далее (впрочем, про фокусы мне особенно нравится!).

3. “Либералы разные”.

Алик, чем ты недоволен, я не пойму. Ты по пунктам повторил мою статью. Либерал — это тот человек, который считает, что существует только рыночная экономика. Либералы разные (одни во власти, другие типа как ты, но живёте, кстати, по соседству). А “совок” был мороком, и его надо было сломать (ну, или он сам сломался — это ведь только либерализм ломают плохие люди, а “совок” — он исключительно сам по себе, это мы в курсе).

Доказывать про вас (и про тебя лично) ничего не надо, ты сам всё доказываешь с присущим тебе блеском (и хамством, кстати).

Претензия, видимо, одна: я описываю вас как-то без должной любви и благодарности, ну, ты ж, с другой стороны, не доллар... Ты — много долларов. А у меня так много любви нет...

Да, и по поводу того, что мне пора валить в свой Нижний. Дорогой Альфред, я и не уезжал отсюда. Сажу тихонько в лесу, тукаю по клавишам, не обращая внимания, пожалуйста. Мы уже по всем пунктам сошлись.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ

ПРОГРЕСС

Смысл прогресса

Одной из трёх составляющих триады национальной идеи России, кроме “единства” и “социальной справедливости”, по моему мнению, является “прогресс”. Предложенная триада отвечает острым вызовам нашей современной жизни. К ним относятся развитие и постоянное совершенствование нашего государства и общества.

В современном мире смогут жить только те цивилизации, где есть движение вперёд. Прогресс или движение вперёд во все времена были актуальными. Ниже приводятся высказывания известных мыслителей прошлого, подтверждающие это:

Жить – значит непрерывно двигаться вперёд.

Без движения жизнь – только летаргический сон.

Жить – значит жечь себя огнём борьбы, исканий и тревоги.

Глубокую мысль высказал французский писатель и мыслитель А. Франс: “Не следует предаваться сожалениям о прошлом, ни жаловаться на перемены, которые нам в тягость, ибо перемена есть самое условие жизни”.

Если же более чётко и обобщенно охарактеризовать прогресс, то это понятие несёт в себе идею единства исторического процесса, преемственности, сохранения и преумножения высшей материальной и духовной культуры человечества, всех его гуманистических ценностей, расширения возможностей разностороннего и гармоничного развития общества.

Если же рассмотреть структуру развития прогресса, то можно вычленил несколько основных составляющих:

– социальная – процесс движения к справедливости, к решению острых социальных проблем общества;

– материальная – процесс наиболее полного удовлетворения материальных потребностей людей;

– духовная – развитие духовной жизни общества, направляемой на сохранение и преумножение гуманистических ценностей цивилизации;

– научная – процесс непрерывно расширяющегося и углубляющегося познания окружающего мира, служба науки, направленная на развитие человечества.

С философской точки зрения прогрессу противопоставляется регресс. Так, прогресс в истории цивилизаций происходил чрезвычайно неравномерно. Периоды быстрого подъёма в мировой истории продолжались, как правило, не более 100 лет, а дальше наступали периоды затяжных войн, междоусобиц, политическая нестабильность, катастрофы. Из глубины веков к нам дошли египетские пирамиды, но песок времени похоронил создавшую их цивилизацию: расцвет Древнего царства продолжался менее 200 лет.

Древнегреческая культура существовала почти 700 лет – до завоевания Греции Римом. Самые великие достижения пришлось на V век до н. э. Параллельно с Древней Грецией происходил величайший расцвет Персидской империи, давшей небывалое экономическое и духовное развитие всему Ближнему Востоку – от Ирана до Египта. Продолжался он тоже недолго – с последней четверти VI века до середины V века до н. э., уступив место междоусобным войнам и стагнации.

В Древнем Риме было несколько этапов очень быстрого прогресса и расцвета, чередующихся с упадком и внутренними кризисами. Большая же часть достижений средневековой западноевропейской цивилизации укладывается в недолгий период – всего 150 лет.

Времена “великих географических открытий” в XV–XVI веках н. э. характеризуются прогрессом в технологии, искусстве и открытием новых земель. За одно поколение представление европейцев о географии мира полностью изменилось. Появились тысячи новых вещей и товаров, привезённых из далёких, не известных ранее стран.

После появления и быстрого развития океанского мореходства в парусном кораблестроении прогресс постепенно замедлился. И только по истечении трёх веков, в середине XIX века произошла новая революция в мореплавании – появились пароходы.

В современной истории взлёты прогресса можно сравнить с эпохой освоения космоса: 1957 год – запуск первого спутника Земли, 1961-й – полёт Гагарина, 1972-й – высадка на Луну... Можно привести ещё много примеров быстрого развития новейших технологий – книгопечатание, телеграф...

Говоря о смысле прогресса, его быстром развитии и наступлении затем регресса, можно сделать вывод, что сейчас глубина “провалов”, по сравнению с прошлым, стала меньше и происходят они реже. Это обусловлено возрастающей исторической, культурной и технологической памятью человечества.

Всё это не застраховывает цивилизацию на будущее от катастроф и провалов. В то же время изменения, происшедшие в мире за последние 200 лет, убедили людей в том, что прогресс безграничен.

В дальнейших рассуждениях о возможности развития прогресса в настоящее время без “провалов” и падений следует остановиться не только на общемировых проблемах, но и на наших, российских. Наша страна сейчас довольно основательно интегрирована в мировую систему, поэтому думать о “тихой заводи”, оберегающей нас от бурного мирового океана с его взлётами и падениями, мягко говоря, опрометчиво. Мировой экономической кризис 2008 года не оставил от заверений “лучшего министра финансов” камня на камне. Поэтому, говоря о тенденциях мирового развития, мы обязаны “проецировать” их и на нашу страну.

Социально-материальная основа

Для того чтобы ещё раз обосновать одну из составляющих триады национальной идеи России – прогресса, его крайнюю необходимость в жизни страны и её народа, – следует остановиться на одной из составляющих **прогресса**, а именно на социально-материальной жизни общества.

Первоочередной проблемой в материальной сфере, с какой вскоре столкнётся мир и, естественно, Россия, – обеспечение страны топливно-энергетическими ресурсами.

Без преувеличения можно сказать, что запасы дешёвой нефти и газа лежат в основе современной обеспеченной жизни. Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом балансе. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растёт.

Всего с начала промышленной добычи (1850) извлечено из недр около 41 млрд тонн. То, что происходило в мире после Второй мировой войны, трудно даже представить. Ведь во время войны глобальная добыча нефти составляла около 300 млн тонн в год. И это при том, что Вторую мировую называли “войной моторов”.

К сожалению, эпоха дешёвой нефти заканчивается. В 2008 году Россия добывала 500 млн тонн, или 9,2% от мировой добычи. По данным специалистов, нефти в мире хватит на 46 лет, в том числе в России – на 21 год, в США – на 11 лет, в Китае – на 10 лет, в странах ОПЕК – на 85 лет.

Это главная угроза жизни человечества, поэтому уже сегодня необходимо думать о прогрессе других видов энергии или о кардинальном ограничении её потребления.

Безусловно, человечество будет искать альтернативные источники энергии вместо нефти и газа. Конечно, заменить их в полноценном виде невозможно, но стремиться к этому необходимо, хотя без потерь это вряд ли произойдёт. Какая же альтернатива может быть предложена?

В первую очередь, это уголь. Он должен снова вернуться в энергетический комплекс. Его запасов хватит на нескольких столетий. По запасам угля Россия занимает 3-е место в мире после США и Китая. К сожалению, легкодоступность нефти и газа, их относительная экологическая безопасность отрицательно повлияли на использование угля. В СССР практически были приостановлены проводимые в послевоенный период работы по газификации угля, получению из него жидкого моторного топлива, кардинальные работы по улучшению экологической составляющей тепловых станций, работающих на углях, и т. д.

Конечно, учёные и специалисты будут работать в области замещения нефти атомной энергией, водородным топливом, гидроэнергетикой, солнечной и ветряной энергией, биотопливом. По этим вопросам имеются прямо противоположные мнения. Одни говорят, что нынешний научно-технический прогресс позволит быстро перейти на эти виды энергии, другие же считают, что для этого потребуются десятилетия.

Надо непременно иметь в Минэкономразвития топливно-энергетические балансы, без которых мы всё время будем блуждать в потёмках. В качестве примера можно вспомнить, что происходило в угольной промышленности: то мы в 1990-е годы получаем 600 млн долларов из-за рубежа на закрытие шахт, то позднее ищем инвесторов для создания новых мощностей в отрасли. Нет необходимости диктовать собственникам-угольщикам, какие горизонты осваивать в шахтах или сколько добывать угля открытым способом. Но дать им ориентир потребности угля на определённом этапе необходимо.

Говоря о заменителях природного газа и нефти, следует более подробно остановиться на сланцевом газе.

В начале 2000-х годов в США развернулись масштабные работы по добыче сланцевого газа. После его появления цены на мировом рынке на природный газ стали падать. Но в начале 2012 года цены на сланцевый газ в США упали значительно ниже себестоимости его добычи. Это заставило ведущие газодобывающие компании сократить добычу, и цены пошли вверх.

По проблеме сланцевого газа в мире, в том числе и в России, развернулись большие дискуссии. Особенно настойчиво обсуждался вопрос стоимости.

По сведениям директора Института проблем нефти и газа РАН академика А. Дмитриевского, себестоимость добычи сланцевого газа в США на 2012 год составила не менее 150 долларов за тысячу кубометров. В России себестоимость природного газа со старых газовых месторождений, с учётом транспортных расходов, составляет около 50 долларов.

По оценкам специалистов, ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн куб. м. Прогнозируют, что в 2018 году в мире будут добывать 180 млрд кубометров в год.

В числе факторов, положительно влияющих на перспективы добычи, близость месторождений к рынкам сбыта; значительные запасы сырья; заинтересованность властей ряда стран в снижении зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов. В то же время у сланцевого газа есть ряд недостатков, негативно влияющих на перспективы его добычи в мире. Среди них относительно высокая себестоимость, непригодность для транспортировки на большие расстояния, быстрая истощаемость месторождений, низкий уровень доказанных запасов в общей структуре запасов, значительные риски при добыче.

В настоящее время лидером в добыче сланцевого газа являются США. Какова же позиция руководства США в этом вопросе? В ноябре 2009 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что "использование сланцевого газа, как ожидается, значительно повысит энергетическую безопасность США и поможет снизить загрязнение парниковыми газами".

В России ещё в 2010 году Комитет Госдумы по энергетике провёл "круглый стол" на тему "Перспективы освоения ресурсов сланцевого газа". Участ-

ники рекомендовали Правительству РФ провести оценку газосланцевого потенциала России, изучить передовые технологии добычи сланцевого газа, оценить возможность и перспективы их внедрения в России, а также детально проработать вопросы, связанные с влиянием развития сланцевой промышленности в США и других странах на текущие и перспективные экспортные поставки газа из России.

В то же время «Газпром» не планирует в ближайшие десятилетия начинать разработку месторождений сланцевого газа в России. В начале 2012 года один из зампредов правления «Газпрома» отметил, что традиционные резервы компании в 10 раз более эффективны, чем разработка месторождений сланцевого газа. По его словам, компания отложила добычу сланцевого газа в «долгий ящик» и к вопросу его добычи, возможно, вернётся «лет через 50–70». Ряд высокопоставленных чиновников и представителей «Газпрома» высказывались в том духе, что сланцевая революция – не более чем пиар-кампания, направленная на то, чтобы подорвать интересы России.

Но подобную позицию у нас занимают не все. В октябре 2012 года Президент России В. В. Путин впервые признал опасность для «Газпрома» глобальных изменений на рынке энергоносителей, происходящих вследствие наращивания объёмов добычи сланцевого газа, поручив в этой связи Минэнерго скорректировать генеральную схему развития газовой отрасли до 2030 года.

Я позволил себе дать столь подробный анализ создавшемуся положению вокруг «сланцевой революции», поскольку ситуация напоминает мне угольную проблему. Как бы нам не повторить своих ошибок и в вопросе добычи сланцевого газа.

Одно из первых мест среди альтернативных источников энергии занимает атомная энергетика. Она имеет в нашей стране большую историю. Используя теоретические разработки, опыт производства военной техники в СССР, в 1954 году была пущена первая атомная электростанция.

Россия обладает технологией атомной энергетика полного цикла: от добычи урановых руд до выработки электроэнергии; обладает значительными разведанными запасами этих руд. В настоящее время в России на 10 действующих АЭС эксплуатируется 33 энергоблока. В 2012 году российские атомные станции дали 17,1% от общей выработки электроэнергии в Единой энергосистеме России. Большое значение атомная энергетика имеет в европейской части России и особенно на северо-западе, где выработка на АЭС достигает 42%.

В 2010 году бывший тогда председателем правительства России В. В. Путин озвучил планы доведения атомной генерации в общем энергобалансе России с 16% до 20–30%. В разработках проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 года предусмотрено увеличение производства электроэнергии на атомных электростанциях в 4 раза.

Всё большее количество стран – и развитых, и развивающихся – сегодня приходит к необходимости освоения мирного атома. Сегодня в мире обозначилась тенденция, получившая название «ядерный ренессанс». Самые сдержанные прогнозы говорят о том, что в перспективе до 2030 года на планете будет эксплуатироваться до 500 энергоблоков (для сравнения: сейчас их насчитывается 435).

Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 700 миллионов тонн CO₂. Действующие АЭС России ежегодно предотвращают выброс в атмосферу 210 млн тонн углекислого газа. По этому показателю наша страна находится лишь на четвёртом месте в мире.

Мировым лидером по установленной мощности является США, однако ядерная энергетика составляет лишь 20% в общем балансе этой страны. По доле мирного атома в общей выработке лидирует Франция – 74%. На Украине удельный вес энергии атомных станций – 48%, в Японии – 30%, Венгрии – 42%, Финляндии – 28%.

Говоря о прогрессе в социально-экономической жизни страны, нельзя обойти вопрос аграрного сектора экономики. Здесь накопилось много нерешённых вопросов – это и сельскохозяйственное производство, и производство продуктов питания, земельные и водные отношения...

Не вдаваясь в подробности, хотелось бы выделить основные проблемы. В первую очередь, это относится к сохранению села с его традициями и самобытностью, сохранение пахотных земель, которые в размере 40 млн гектаров зарастают бурьяном и подлеском, в максимальной степени обеспечить продо-

вольственную безопасность страны, что весьма актуально в связи с тем, что в настоящее время половина потребляемых нами продуктов – зарубежные.

Несмотря на негативные явления в агропромышленном комплексе страны, нельзя делать вывод, что всё погибло. Многое зависит от той политики, которую проводят федеральные и региональные власти.

На фоне разрухи на селе мы имеем примеры, которые показывают большую эффективность в этом секторе экономики. Так, в Белгородской области с населением в полтора миллиона человек производство мяса со времён СССР увеличилось с 200 тыс. тонн в год до 1,5 млн тонн. С 2000 года производство птичьего мяса увеличилось в 20,7 раза. Производство свинины за это же время увеличилось в 9 раз.

Здесь впервые в Российской Федерации с гектара пашни произведено продукции в среднем на 104 тыс. рублей. Производство агропродукции в этом районе в 2,7 раза выше, чем в среднем по России. Белогорье обогнало Краснодарский край с его богатейшими землями.

В прошлом веке в мире прошли “зелёные революции”. Вопрос стоял так: или накормить народ (Индия, Китай), или обеспечить развитие этого сектора как высокодоходной части экономики. К нашей аграрной науке много претензий, но тем не менее, на мой взгляд, нельзя было лишать самостоятельности Российской академию сельскохозяйственных наук.

Что касается обеспечения материальными природными ресурсами в целом, Россия занимает одно из первых мест по запасам нефти и газа, второе – по запасам железной руды, третье – по запасам угля и пресной воды на душу населения.

Истощение этих ресурсов замедлит прогресс и породит попытки передела мира. Россия с её природными богатствами и выгодным транзитным положением является одной из самых вероятных целей агрессии.

Прогресс страны в материальной сфере заключается не только в полезных ископаемых. Движущей силой развития являются многие виды перерабатывающих отраслей, сельского хозяйства, инфраструктуры. Сложившееся положение в стране диктует необходимость считать их развитие основной целью национальной идеи России. За прошедшие годы произошло тотальное разрушение ведущих отраслей экономики.

Возьмём машиностроение. Всем здравомыслящим людям известно, что без него невозможно развивать экономику страны, её индустриализацию, систематически обновлять основные фонды, износ которых сейчас в среднем по стране составляет 70%. Сегодня эта отрасль оказалась не только на обочине жизни, а даже далеко в хвосте.

Станкоинструментальная промышленность практически прекратила своё существование. О какой модернизации основных фондов страны на современном техническом уровне может идти речь, если в 1990 году станкостроители произвели 78 тыс. единиц металлорежущих станков, в том числе 27 тыс. с ЧПУ и 5,5 тыс. обрабатывающих центров, а через 20 лет, в 2011 году нашей промышленностью было изготовлено всего 4,8 тыс. станков и кузнечно-прессовых машин? Даже простейшие токарные станки приобрели в Китае!

Не менее угнетающее впечатление оставляет ситуация в производстве отечественной сельскохозяйственной техники. Скажу только о производстве тракторов. В 2010 году их было выпущено всего 8,9 тыс. единиц, что в 20 раз меньше выпуска 1990 года. Для сравнения: в 2010 году Минский тракторный завод поставил в Россию около 16 тыс. тракторов. В целом же на весь парк тракторов российского производства пришлось 12%.

В том же 2010 году в России было произведено 4,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, в то время как в 1990 году их выпуск в стране составил 66 тыс. Подобное положение сложилось и в целом в производстве сельскохозяйственной техники.

Мне горько говорить о судьбе тяжелого машиностроения, отрасли, которая была мне ближе всего, так как 25 лучших лет своей жизни я отдал знаменитому Уралмашу. К сожалению, этот флагман отечественного тяжелого машиностроения стараниями Гайдара и биолога Бендукидзе путём массовой скупки ваучеров по дешёвке был приватизирован. Обидно сознавать, что человек, весьма далёкий от промышленности (ему бы проводить исследования на белых мышках!), встал во главе одного из крупнейших заводов страны и сделал всё возможное, чтобы разрушить его.

Следует заметить, что всё это происходило на глазах у Правительства России. В стране было в своё время два подобных завода: Уралмашзавод и Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) в Донбассе. Так вот, сейчас от Уралмаша остались осколки, а НКМЗ процветает: совершенствуются технологии, работают конструкторы и технологи, на заводе – стабильный коллектив, ему помогает Правительство Украины. О его расчленении никто даже и не помышляет. Этот младший брат Уралмаша стал блестящим предприятием, а мой родной завод богат только (к счастью, сохранёнными) одиннадцатью орденами...

Можно много ещё говорить о содеянном. К примеру, химическая отрасль страны, которая в советское время занимала 2-е место в мире, сейчас занимает 22-ю позицию. По-видимому, в некоторых направлениях мы отстали навсегда, и следует здесь ориентироваться на мировой рынок.

Далее. Может ли наша страна в ближайшие 50–100 лет покрыть всю свою территорию железными и шоссейными дорогами? Конечно, нет. Более 60% территории нашей страны относится к северным и приравненным к ним районам. Здесь существует единственное транспортное средство передвижения – авиация. Недаром в советские годы была популярна песня о таёжном крае, куда “только самолётом можно долететь”. На таких территориях полностью или частично расположены 24 субъекта Российской Федерации с 20-миллионным населением.

Для того чтобы представить себе истинное положение с местной авиацией, можно привести в пример Магаданскую область: из 60 аэропортов действующими осталась лишь пятая часть. Износ основных фондов достигает 80%, в 2016 году должны быть списаны все самолёты местной авиации. Ориентация же на европейский и американский авиационный рынок пагубна для нашей страны. Для того чтобы иметь в целом картину с производством самолётов и вертолётов, приведу некоторые статистические данные. В 1992 году в Российской Федерации был произведён 81 самолёт, а в 2011 году – только 18.

В этот же период производство вертолётов составило соответственно 337 и 121. За январь–декабрь 2011 года произведено вертолётов гражданских – 65 единиц, из них 50 единиц – на экспорт.

Вот мы и летаем на “Боингах” и европейских аэробусах. Можно ли с этим согласиться?

Сдерживающим фактором развития экономики нашей страны является инфраструктурная отсталость. Эксперты подсчитали, что Россия ежегодно теряет 6% ВВП из-за плохого качества дорог или их отсутствия (почти три триллиона рублей!), кроме того, тысячи людей гибнут в ДТП. В ближайшие годы необходимо построить, как минимум, 100 тысяч дорог, в основном 4-х полосных автобанов.

Для решения такой масштабной задачи потребуется особая программа. Будет ли она называться “национальной” или нет, не меняет сути дела. Она должна иметь свой чёткий бюджет, который будет обладать теми же защитными свойствами, что и госбюджет. Правила и нормы должны здесь устанавливаться стабильные, на много лет вперёд.

Руководству страны следовало бы запросить из архива систему финансирования и организации строительства железных дорог в конце XIX века, когда велось довольно интенсивное их создание, а патронировал их цесаревич Николай, будущий царь Николай II.

Уже сейчас многими экономистами вносятся предложения по решению этой проблемы. Национальная программа масштабного дорожного строительства позволит создать огромное количество рабочих мест в смежных отраслях промышленности, загрузить машиностроение, привлечь передовой иностранный опыт.

На мой взгляд, следует остановиться ещё на одном острейшем вопросе современной жизни людей в мире и в России. Речь идёт об экологии, ведь она является составной частью развития человечества и в то же время может быть основным тормозом, вплоть до глобальных катастрофических последствий.

Экологическая ситуация в России характеризуется большим количеством различных проблем. Наша страна занимает первое место в мире по площади лесов. В последнее время интенсивные их вырубки приводят к обезлесению многих частей страны. Несмотря на противодействие властей, процесс интенсивной браконьерской рубки набирает силу. Это касается, в первую очередь, Архангельской области, Карелии, Забайкальского края, Амурской области,

Хабаровского и Приморского краёв. 16 млн гектаров леса ежегодно уничтожается в результате вырубок, пожаров и загрязнения окружающей среды.

Вскоре после войны выдающийся классик литературы Леонид Леонов написал книгу “Русский лес”. Это великая поэма о нашем национальном достоянии. Он как зеницу ока призывал беречь и преумножать леса – “лёгкие” нашей, да и других стран мира. На протяжении многих лет “Русский лес” был настольной книгой специалистов лесного хозяйства.

Несколько лет тому назад правительство страны внесло в Госдуму новый проект Лесного кодекса вместо действовавшего с 1978 года. Послушный Парламент одобрил его, несмотря на убедительные возражения учёных и специалиста-лесоведа академика А. С. Исаева.

Последовавшие затем масштабные лесные пожары показали ущербность этого закона. Средства же массовой информации и правительство так и не сообразили, какие леса горели – государственные или принадлежащие частным лицам, взявших в аренду на 49 лет лесные угодья для охотничьих утех.

Главной же ущербностью этого закона было практическое уничтожение корпуса лесничих. Эти уважаемые в обществе люди имели достаточно большие права, носили особую форму, были вооружены. Это были хранители леса, то есть они представляли собой лесной правоохранительный орган.

Загрязнение водного бассейна в стране приняло пугающие масштабы. По некоторым оценкам, 75% поверхностных вод и 50% всех вод страны сейчас загрязнены. Это вызвало серьёзные проблемы со здоровьем у жителей как российских городов, так и деревень. Устаревшие очистные сооружения вместе с недостатком финансирования, изношенность основных фондов привели к небывалому в советское время распространению заболеваний, передающихся водным путём.

Надо полагать, что требуется ужесточение борьбы с этим злом. Это и новые, более жёсткие законы, и более существенные экономические наказания предприятий и организаций, нарушающих экологические требования.

Российский воздух считался самым загрязнённым во времена РСФСР. Но в связи с общим упадком развития промышленности в стране его качество заметно повысилось с начала 1990-х годов. Так, если в 1993 году в атмосферу попало 43,8 млн тонн твёрдых отходов, то в настоящее время – 19 млн тонн.

Но надо полагать, рано или поздно обстановка изменится. Всё больше и больше раздаётся голосов в обществе о необходимости новой индустриализации. Поэтому нельзя расслабляться и предавать забвению эту проблему. Пример тому – использование попутного нефтяного газа. Проект закона о его рациональном использовании всячески торпедируется в Парламенте уже несколько лет.

В России широко используется, как уже говорилось выше, ядерная энергия. Здесь есть немало проблем: истечение сроков службы реакторов, захоронение ядерных отходов, их утилизация.

Таковы некоторые размышления об экологической проблеме. Без её решения не может быть прогресса в стране.

Заканчивая размышления о роли прогресса в социальной и материальной жизни нашего общества, следует подчеркнуть, что всё, что было сказано, должно обеспечить нормальную жизнь человека. Ещё раз подчёркиваю, *нормальную* потребность. Великий драматург Виктор Сергеевич Розов в “лихие 90-е”, когда стали усиленно вбивать в головы населения культ денег и богатства, справедливо указывал: “Нам нужен *разумный* достаток”.

К социально-материальной сфере жизни общества, безусловно, следует отнести и проблему здоровья людей. Здравоохранение в России и Западной Европе шли двумя путями. За рубежом медицинская наука и лечебная практика развивалась по линии медицинского страхования и, в основном, на частной основе. В России потери в Первой мировой и гражданской войнах, последующий голод и эпидемии заставили искать иные, принципиально новые пути, решительно используя все силы и ресурсы государства.

К 1970-м годам по обеспечению врачами СССР занимал первое место в мире: число врачей приближалось к 900 тысячам, а вся армия работников медицины составляла 6 млн. На 10 тыс. населения было врачей колебалось от 29 до 54 человек. Медицина Советского Союза являлась одним из реальных завоеваний советского общества.

С изменением общественного строя в 1990-е годы произошли и коренные изменения в системе здравоохранения. Все они были направлены не на улучшение системы, а на её разрушение. Я не буду подробно останавливаться на новой системе здравоохранения, она всем известна, и люди, ожидавшие от либералов-демократов улучшения, с горьким разочарованием ощутили эту “новизну”.

Для того чтобы люди болели меньше, по мнению наших чиновников, нужно сделать медицинскую помощь... малодоступной! И для этого сделано всё: и нормированное нахождение больного в больнице, и перевод скорой помощи в разряд платных услуг, и выдавливание узких специалистов, и формирование в стационарах очередей на плановую госпитализацию и операции. Полагаю, что нет необходимости дальше продолжать этот перечень. А проблема с лекарствами? Они уже недоступны многим слоям населения, особенно пенсионерам.

Духовная жизнь общества

Экономическая, социально-материальная жизнь страны, безусловно, чрезвычайно важна. Но она, в свою очередь, зависит от качества человеческой среды, обусловлена духовностью народа.

Духовная составляющая является величайшей ценностью общества, непосредственным фактором прогресса.

История нашей страны подразделяется на несколько исторических периодов развития духовной жизни. Наиболее эффективным и значимым был “золотой век” русской культуры – XIX-й. В это время создаются национальные школы в литературе, музыке, театре, живописи и архитектуре, творят А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Д. М. Достоевский.

В XX веке происходят значительные изменения в культурной политике: идёт воспитание человека нового типа, ведётся активная политика по распространению всеобщей грамотности и просвещения, создаются художественные произведения, воспевающие трудовые подвиги людей. Проводится национализация учреждений и памятников культуры, которая позволила сохранить их от разрушения. СССР становится самой читающей державой мира. Качество культурной продукции, созданной в этот исторический период, несмотря на жестокую цензуру, следует оценить высоко.

В конце девяностых – начале нулевых основные усилия были направлены на развитие рыночной экономики. Произошло сужение духовной жизни до рамок необязательной сферы услуг.

За двадцатилетний период в области духовной жизни накопилось много проблем. Массовая культура, особенно благодаря телевидению, радио и другим средствам массовой информации, внедряется в сознание людей в её неприглядном виде. Народ не понимает, почему всё это происходит. Он боится за моральный облик своих детей и будущих поколений. Ответ руководства страны один – практически все СМИ в настоящее время являются частными, и они вольны поступать по своему разумению.

Я полагаю, что подобные заявления не могут быть оправданны. Если в стране находятся люди или организации, призывающие к терроризму, они сурово наказываются. И это правильно. Идейное разложение общества – это тоже терроризм, но моральный. И при чём здесь частная собственность на СМИ? Государство обязано защитить своих людей. Это его священный долг.

Сдерживающих начал, как внутренних, так и внешних, нет. Любой призыв прекратить разлагать народ вызывает острую реакцию, и каждый раз звучит: “Снова вводится цензура!” Я не пророк, но убеждён, что для некоторых стран Европы это рано или поздно обернётся большими неприятностями. Не хотелось бы, чтобы и Россия постигла духовная катастрофа.

Говоря о прогрессе в широком его понимании, следует особо остановиться на основном носителе прогресса в обществе. Речь идёт об интеллигенции. По своей природе интеллигенция должна быть выразителем всего передового и чистого, нравственных идеалов. Но в последние годы она погрязла в политическом лицемерии, принялись назойливо пропагандировать *рыночные ценности и мораль*.

Разумеется, интеллигенция неоднородна. Есть и сегодня те, кто может по праву именоваться Интеллигентом с большой буквы. Однако место настоящей интеллигенции всё чаще стремятся занять не созидатели, а разрушители!

Я специально ввёл в статью о прогрессе в цикле статей о национальной идее этот раздел. Она не может быть сформулирована без высоко нравственной и любящей свой народ интеллигенции. Точно так же без интеллигенции эту идею невозможно проводить в жизнь.

В цивилизованных странах на первое место ставят науку и образование. Они являются реальной силой осуществления прогресса страны.

В России всегда особое внимание уделялось образованию. Со времен Петра I и Екатерины II наше отечественное просвещение систематически обновлялось в соответствии с требованием времени.

Но какая бы модернизация ни проводилась, она должна преследовать цель повысить уровень образования. Так было всегда, так должно быть сегодня и завтра.

С началом нынешней “модернизации” прошло более 10 лет. За это время сменилось три министра образования. С трудом верится, что они все не понимают, что творят.

Схожая проблема с отечественной наукой. Без науки немислим прогресс страны.

Первый удар по отраслевой, то есть прикладной науке был нанесен в 1990-е годы при ликвидации отраслевых министерств. В пылу разрушения уничтожили не только министерства, но и отраслевую науку.

Второй мощный удар был произведен в 2013 году, “реформировали” Российскую Академию наук (РАН). Последствия этой реформы трудно представить.

Особо следует остановиться на ценностях российского общества. Традиции русского народа во многом отличаются от западных. На Западе, как известно, исповедуют философию индивидуализма. Во многом это является результатом влияния протестантской религии. Она рассматривает общество как арифметическую сумму индивидуальных личностей, которые имеют между собой только социальные взаимоотношения.

Наши традиционные ценности основываются на совершенно иной философии.

С приходом к власти в начале 1990-х либеральных реформаторов началась массированная обработка населения по внедрению не свойственных России ценностей. О том, что традиционные российские ценности в современных условиях обществу уже не подходят, было провозглашено открыто: “нравственно все, что приносит прибыль”. Но эта идеология натолкнулась на сопротивление народа – слишком глубоко, в исторических генах заложены ценности нашего общества.

Прошло 20 лет, и половина населения не приемлет эти западные ценности. Национальная идея должна базироваться на своих исторических ценностях. И тогда народ поддержит политические цели руководства страны.

Заканчивая свои размышления о необходимости включения прогресса в триаду национальной идеи России, хочется сказать, что **без прогресса страна не может развиваться ни экономически, ни духовно.**

ТАТЬЯНА МИРОНОВА

доктор филологических наук

РУССКИЕ ИДЕАЛЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Что отличает народы друг от друга в физическом смысле, изучает антропология. Философы, историки, лингвисты, психологи задаются вопросом, что представляет собой дух народа и чем отличаются народы друг от друга духовно. Так что же входит в понятия “природный русак”, “истый англичанин”, “настоящий немец”, “истинный француз”? Характер, привычки, убеждения, обычаи и представления создают особенные свойства каждого народа, они зримы и ощутимы, причём эти особенные свойства задаются человеку его родным языком. Именно в языке на протяжении тысяч лет сохраняются архетипы этнического мышления и поведения, которые и отличают народы друг от друга. Именно язык предоставляет возможность обнаружить и раскрыть первообраз слова, и задан он как вечная ценность, которая множится в течение времени в новых и новых словах с тем же корнем.

Посмотрите, как развивается, плодоносит архетип мысли в слове **рука**. Изначально **рука** значит *хватаящая, держащая*. Затем это слово приобретает высокое значение – *властная сила*. Из этих двух значений проистекают – **руководить, поручаться** (брать под свою власть). Так **рука** превращается из понятия о физическом органе человека в символ власти и силы.

Не только мысль каждого народа направляется словом его родного языка, но и образ жизни народа, его видение мира и своей роли в нём зависят от слова. Но что самое важное – опасное! – это то, что ослабление народов тоже возможно через язык, когда человеку навязываются представления и обычаи, образ мысли и видение мира, отличающиеся от тех, что заданы его родным языком. Осознание национальных архетипов мышления и поведения психологи называют душевной гигиеной, укоренённостью человека в своём прошлом, наследственным свойством его природы. Душевная гигиена необходима сегодня русским, как никогда, ибо разум наш всячески пытаются замутить. Поскольку изменить архетипы мышления, сломать их практически невозможно, так как они даны нам в родном языке, в его корневом запасе, то их пытаются именно замутить. Человек с помутненным разумом – душевнобольной, – вот то состояние, к которому неуклонно ведут наш народ. Поэтому перед русским народом стоит задача: очистить от мути свои исконные представления – архетипы национального мышления или русский разум.

Архетипы русского мышления

Архетип подсознания – популярный сегодня в науке термин, и это не случайно. Человеческая цивилизация зашла в тупик, увлечшись идеями прогресса и борьбы с предрассудками, отвергая традицию и духовность. Человече-

ство заболело невиданными доселе болезнями: отказом от деторождения и создания семьи, эпидемией психических заболеваний, самоубийств, повальной одержимостью пороками, которые ведут личность и народ к самоуничтожению, вопреки инстинкту выживания, который свойствен всему живому. Превращение человечества в управляемую, безнациональную биомассу, в биороботов осуществляется методами нейролингвистического программирования (НЛП), то есть, как выражаются специалисты по НЛП, “переписыванием текстов человеческих душ”.

В поисках выхода из этого тупика современная философия, психология, социология обратились к изучению защитных механизмов сознания человека и обнаружили, что наше сознание исконно контролировалось подсознанием. В человеческом подсознании заложены инстинкты и рефлексy, заставляющие нас действовать разумно в соответствии с задачей продолжения рода, с целью выживания своего народа и с замыслом Творца о каждом отдельном человеке и о народах в целом.

В русском языке это противопоставление сознания и подсознания соответствует двум дополняющим друг друга понятиям – **ум** и **разум**. Ум – категория сознания, благое для человека свойство. Но ум не является для русских признаком исключительно хорошим, добрым, ведь недаром говорят “на ум взбрело”, “с умом жить – мучиться”, “от ума сходят с ума”, “с умом подумаем, а без ума сделаем”. Разум в представлении русских – безусловно положительное качество. Если ум может привести человека к беде, то разум – никогда. Недаром русские пословицы гласят: “ум без разума – беда”, “ум разумом крепок”, “разум не велит – ума не спрашивайся”, “ум разуму подспорье”, “ум за разум заходит” (это когда ум подавляет разум), “где ума не хватит, спроси разума”. Эти вековые начала народной мудрости свидетельствуют, что разум обитает не в человеческом мозгу, разум – это свойство души. А душа и есть кладезь подсознательного.

Архетип подсознания или архетип мышления – термин, введённый Карлом Густавом Юнгом. Мы употребляем его в силу выразительности и точности формулировки: архетип, то есть “древнейший тип” – это исконно заложенная в человеческой душе модель и образец инстинктивного поведения под влиянием врождённых, по наследству передающихся импульсов. Психологи говорят, что архетипы мышления – это прамысли, праобразы мыслей. А мысль невозможна без слова, она неразрывна со словом, она облечена в слово. Значит, без языка действие архетипов мышления невозможно. Именно в языке следует искать и формы выражения таких архетипов для защиты от нейролингвистического программирования.

Мысль действительно облечена в слово, но и само слово несёт в себе мысль. Именно слово, являющееся выразителем исконно заложенной в него мысли, определяет образ мышления и поведения большинства человечества. Как это происходит? Психолог К. Г. Юнг говорил о подобных случаях, что мысли словно “всплывают” в голове человека. Однако “всплывание” мысли должно осуществляться из каких-то глубин. Психологи метафорически именуют их “глубинами подсознания”, “наследием жизни предков”, лингвисты же до сих пор спорят о языковых источниках “всплывания мыслей”.

На этот счёт существует несколько гипотез. Одна из них утверждает, что “элементарные мысли”, “прамысли” хранятся в корнях языка. Такова высказанная академиком Н. И. Толстым идея о выделении семантического ядра – исходного значения слова. Причём, как полагают лингвисты В. И. Абаев, О. Н. Трубачёв, Д. Н. Шмелёв, память об исконном значении корня слова хранится даже в словах, уже утративших всякую связь со своим корневым прародителем. Итак, исходные значения корней праязыка, а в нашем случае мы будем говорить о праиндоевропейском языке, из которого возрос праславянский язык – предок русского, – так вот, исконные смыслы слов праязыка существуют как генетически врождённое наследие предков, которое пусть и безотчётно, но надёжно сохраняется в глубинах подсознания человека.

Вот индоевропейский корень **nw-* несёт в себе “элементарную мысль”: он обозначает “нечто новое, неизвестное, непознанное”. Исконное значение этого корня установлено замечательным русским лингвистом Н. Д. Андреевым, это “обозначение перемены в окружающем мире”. Корень **nw-* существует во всех индоевропейских языках. В русском языке такой корень присутствует не только в прилагательном **новый** (ср. латинское *novus*, греческое

нео, английское new и т. д.), но ту же “элементарную мысль” о новом и неизвестном, о переменах и постоянном движении хранят в себе другие слова русского языка, в которых мы даже не подозреваем родства с прилагательным **новый**. Однако такое исконное родство в них присутствует: **но** – союз, вводящий новую информацию, грамматический знак перемен, **ныне** – “теперь”, буквально означает – “в новый день”, **ну** – утвердительная частица, требующая от собеседника получения новой информации, **ну** – команда, даваемая лошади ездоком, сигнал к началу путешествия, то есть получения новых впечатлений. Так что “элементарная мысль”, которая содержится в древнем корне *n^w-, сохраняющемся во множестве слов русского языка, определяет действия человека на получение новых знаний, новых впечатлений, новых известий, нацеленность на ожидание перемен.

Сколько таких прамыслей было в древнейшем языке человечества – неизвестно. Достоверно установлены 203 корня праиндоевропейского языка и описаны их исконные значения. Это великое открытие, в истории науки равнозначное открытию Периодической системы элементов Д. И. Менделеева, сделано лингвистом Н. Д. Андреевым. Он же показал, как из крохотного зёрнышка-корня, состоявшего всего из двух звуков в нашем языке, произрастали, словно дерево со стволом и ветвями, производные слова со множеством значений.

Установленные Н. Д. Андреевым 203 корня праиндоевропейского языка с их реконструированными исходными значениями, породившими смыслы слов в современных языках, на сегодняшний день с достоверностью могут быть приняты как материальное – языковое воплощение архетипов мышления индоевропейских народов, что психологи называют коллективным бессознательным, свойственным этим народам, а антропологи – расовым типом поведения. Вот один из примеров расового типа поведения, определяемого языком.

Индоевропейское понятие **муж, мужчина** *xp- (греч. an-dros) исконно означало **идуший впереди**. Мужчина, по смыслу своего именованья в индоевропейских языках, должен был быть вождём, ведущим – для семьи, для рода, – обязан был направлять, продвигать своё дело, проводить свои идеи, искать и прокладывать путь в любом полезном направлении. В русском языке это понятие сохранилось в предлоге **над**, который говорит о превосходстве и предводительстве. Одновременно **мужчина** является носителем **ума** и **мысли** благодаря смыслу другого своего индоевропейского именованья – *mp-, сохранившегося, например, в русском слове **муж** и в английском man. То есть архетипы мышления, хранящиеся в языковых корнях, диктуют мужчине установку, что он является ведущим для всех и думающим, то есть заботящимся обо всех в роду и семье.

А понятие **жена** в индоевропейском означает **рождающая**, то есть предназначенная для продолжения рода. Задача женщины согласно именованию – рождение детей, архетипы мышления не закладывают в неё программы вождя или мыслителя. Жизнь женщины, согласно языковым представлениям индоевропейцев, оправдывается рождением детей.

Архетипы мышления, то есть “элементарные мысли”, хранящиеся в словах **муж** и **жена**, действуют независимо от нашего желания, мы подчиняемся им, как инстинктам, эти инстинкты укоренены в поговорках, к примеру: “муж – голова, жена – душа”. Но врождённые языковые инстинкты входят в конфликт с меняющимся под влиянием внешних воздействий общественным статусом мужа и жены, мужчины и женщины в современной европейской цивилизации. Жена уравнивается в правах и предназначении с мужем, а тот перестаёт выполнять функции ведущего, главенствующего в семье и обществе. Результатом такого конфликта является высокая смертность мужчин, прежде всего в странах, где их роль наиболее принижена.

Почему сегодня в России беспрецедентно умирают мужчины? Число умерших или погибших русских мужчин трудоспособного возраста, по данным Роскомстата, превышает число умерших и погибших женщин в четыре раза. Повторяю: в четыре раза больше гибнет в России мужиков по сравнению с женщинами, и войны как будто нет, и повальные болезни вроде бы не косят население, а вот поди ж ты – мрут! Объяснить мор пытаются разными причинами: пьянством, наркоманией, высокой смертностью в дорожных авариях, сердечной недостаточностью, которая избирательно предпочитает именно молодых мужчин... Но эти объяснения не касаются одного: почему

русские мужики не хотят жить? Почему они спиваются, травятся наркотиками, бьются на дорогах, почему у них не выдерживает сердце?

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров дал на этот вопрос ответ, близкий, по моему мнению, к истине: “Эпидемия сверхсмертности в России является результатом навязывания исторически и культурно чуждых для нас духовных ценностей. Тип мышления, всячески внедряемый в сознание русского человека, противоречит его нравственно-эмоциональному генотипу, и вымирание нации является специфической реакцией отторжения на чужую духовность”. Я бы сформулировала жёстче: те задачи, которые ставит перед народом его язык, а именно язык, повторяю, направляет мысль человека в национальное русло, в условиях чужой духовной экспансии оказываются невыполнимы. И человек отказывается от бессмысленной жизни, он интуитивно отказывается жить, не желая быть овощем на человеческой грядке.

Что происходит ныне в России с русским народом? Русские женщины ещё кое-как выполняют своё предназначение: они рожают, пусть по одному, по двое, но производят на свет детей, и тем держатся за жизнь. Но вот русские мужчины в своей собственной стране, в своих собственных семьях перестали быть **идущими впереди**. Мужчина сегодня не может сам определять своё будущее – и будущее тех, за кого он отвечает, будущее тех, кто вручён ему судьбой как **идущему впереди**. Взять хотя бы самую малую матрицу общества – семью. Прокормить её мужчины в большинстве своём не могут. По последним данным Роскомстата, зарплату ниже прожиточного минимума получают сегодня в стране семнадцать процентов населения, то есть 24 миллиона человек. А рядом с не просто нищими, а голодными семьями русских мужиков, не имеющих никакой возможности прокормить своих детей, жируют, пируют, процветают чьи-то очень немногочисленные семьи. Ведь недаром при такой массовой нищете средняя зарплата в России составляет, как пишут в СМИ, 37 тысяч рублей! Но ведь крышу над головой и на такую зарплату в России не купишь даже за десять лет, так что не может русский мужик быть **идущим впереди** своей семьи.

А где русскому мужчине быть ведущим в делах на благо своего Отечества, если промышленность загублена, сельское хозяйство деградировало, а землю распродают иностранцам? Законы написаны так, чтобы губить страну, а не созидать её могущество, а русские губить и разрушать своё не способны: тот, кто призван вести вперёд, – обязан вести к добру! Где же русскому мужику послужить Родине, чтобы оправдать свое имя **идущего впереди**? Негде!

И во власть, чтобы попытаться свергнуть скотство жизни, русскому мужчине вовек не пробиться. Там очередь из других – немужской ориентации, особопролазных, хищнических способностей и нерусской хватки персонажей.

Что остаётся? Умирать! Не дорожа жизнью, просаживать её то в пьяном угаре, то в наркотическом полусне, то в бесплодных мечтаниях.

Всякий раз в истории, когда русским мужчинам пресекали все мирные пути созидания, они волей-неволей выходили на дорогу воинской битвы. Почувствовать себя воином, идущим впереди обездоленного, осиротелого, оскорблённого народа – вот единственно возможный спасительный путь для русского мужика. Этот берегающий нацию опыт подсказывает нам, к примеру, сербский язык, в котором жена именуется мужа **войно**, то есть глава семьи, женатый мужчина по-сербски – **воин**. Сербы, находившиеся под турецким владычеством пятьсот лет, знают, что выстоять поработённому народу можно, только когда его мужчины, мужи поголовно становятся воинами.

Русским женщинам необходимо сегодня следовать примеру сербских жён. Наши мужья, чтобы не потерять смысл своего существования, должны стать воинами. Это их единственная возможность выбрать путь **идущего впереди**. Иного способа спастись история народам не предоставляет.

Материнство и Родина

Исходное значение слова **мать** – огромная, обширная, основная в жизни, что создало древнейший архетип матери, понятный человеку с рождения: **мать** – опора всего сущего (ср. однокоренные слова **матерый, материк, матица**), мать – корень всех человеческих начинаний и творческих устремлений, основа всяческого начала и конца. Привязанность к матери как к основе

нашей жизни неизменно заставляет каждого возвращаться к родному очагу, искать здесь новых сил и новых вдохновений.

Своеобразие же русского национального сознания состоит в том, что архетип матери у русского человека напрямую соотносится не только с привязанностью к родившей его женщине, но и с любовью к родной земле, которая имеет отчетливые черты материнства.

“От земли взят, землёй кормлюсь, в землю пойду”, – так издревле говорили русские. “Земля еси и в землю пойдеша”, – в лад исконному поверью вторит богослужебный чин. Это и есть понятие **Родины**. Ибо все мы рождены и живём в физическом, телесном смысле именно землёй, в ней лежит прах наших предков, из которого возрастает всё, чем кормятся новые поколения, и сами эти поколения в своё время тоже станут прахом и почвой для потомков. Земля и впрямь рождает нас и носит на себе, и потому она – Родина, и потому она – Мать. “Добра мать до своих детей, а земля – до всех людей”. “Как ни добёр кто, а всё не добрей Матери Сырой Земли: всяк приючает семью до гробовой доски, а земля приючает и мёртвого”. “Нужна рыбе вода, птице – вольная ширь поднебесная, а человеку нет ничего нужнее, как Мать Сыра Земля: умрёт, и то в неё уйдёт”.

Но не всякая земля – мать, а только родная, та, где человек родился, ибо в ней лежат его отец и мать, деды и прадеды. **Земля – это икона предков**. И потому издревле перед лицом земли родной человек не мог солгать, и говорили в старину: “Не моги солгать – земля слышит!” И потому человек не смел выругаться чёрным словом, ведь по поверью, у того, кто ругается матом, земля три года под ногами горит. А ещё русские твёрдо верили, что земля не принимает в себя после смерти тех, кто знается с нечистой силой: такие скитаются тенями среди живых, наводя страх и ужас. Вот отчего колдуну в могилу вгоняли осиновый кол – чтоб не шастал по земле, раз она его не принимает, да не пугал добрых людей.

Клятвы перед лицом земли донесла до нас языковая память, то были обеты, слышанные поколениями наших предков: “В земле деды-прадеды лежат, из земли всякое слово слышат!” Считалось, что тяжких грешников земля ни на себе, ни в себе не держит, они проваливаются “сквозь землю”, и потому в подтверждение добросовестности говорилось: “Да провалиться мне на этом месте!” А в древности клялись: “Не роди Мать Сыра Земля!”, – что равносильно было молитве-оберегу: “Не дай Бог!” И ещё сохранялась в народе клятва “Пусть прикроет меня Мать Сыра Земля навеки!”, – так говорили, принося обеты, осеняя себя правой рукой крестным знамением, а в левой держа ком земли. Братающиеся на жизнь и на смерть не только менялись крестами-тельниками, а порой вручали друг другу по горсти земли. Было поверье, что если собрать на семи утренних зорьках по горсти земли с могил заведомо добрых покойников, то эта земля будет спасать собравшего её от всяких бед и напастей.

“Язычество дремучее!” – вздохнет кто-то, но ведь в русском христианстве сохраняется та же древность: и землю с могил Святых Божиих носят православные как святыню, и в гроб почившего после отпевания кладут горсть освящённой земли.

А это поверье кому из современников не знакомо? Кто не захватит с собой в чужедальний путь горсть родной земли, тот никогда больше не увидит Родины. Отправляющийся в дальний путь человек потому и брал с собой родную землю, завязанную в тряпицу, что это частица мощей его прародителей, зримое благословение его народа. Вот что стоит за ныне ещё живой традицией.

Сколько русских поговорок, основанных на особом понимании Земли Матери, карающей и милующей, заботливой и суровой, водится в нашем быту до сих пор: **сквозь землю бы провалился; земли под собой не взвидел; да как его ещё земля носит; хоть из-под земли достань; легче в землю лечь**... Это впечатано в нашу генетическую память, это нерушимый архетип нашего национального сознания: земля – Мать, земля – Родина, земля – икона предков, земля – кормилица, земля – целительница.

Именно кормилица и целительница, за что русский человек не уставал благодарить землю! Кто не почитает земли-кормилицы, тому она, по словам народным, не даст хлеба не то что досыта, а и впроголодь. Кто сыновним поклоном не поклонится Матери Сырой Земле, выходя впервые по весне в поле, на гроб того она ляжет не пухом лёгким, а камнем тяжким. Больные, мучимые

лихоманками, выходили раньше в поле, клали поклоны на четыре стороны и приговаривали: “Прости, Мать Сыра Земля!” А разве не знакомо это нам, когда в болезни, при смерти в дальней стороне, на чужбине человек начинает стремиться вернуться на Родину! И именно действием инстинкта-архетипа можно объяснить, казалось бы, столь нерациональное завещание многих умирающих вдали от России: быть похороненными на родной земле и там упокоиться.

Многие из этих поверий уже утрачены, мы почти не осознаём, что родная земля – это икона наших предков и многотысячелетняя толща останков благочестивых родов. Мы не осознаем этого настолько, что на местах старых кладбищ, снося их бульдозерами, строим сегодня развлекательные центры и магазины. Мы не думаем о том, что нас из земли может кто-то услышать, и потому, не стыдясь, сквернословим, лжём, подличаем. А главное: мы стали воспринимать землю как **окружающую нас среду**. Да, именно так: *окружающую нас*. А мы, стало быть, ныне живущие, – пуп земли. Каких только пакостей не претерпела от нас родная земля: мы вырубаем леса, поворачиваем реки, иссушаем болота, убиваем всё живое на родной земле, мы не думаем, что Она – живая, что Она – святыня. Мы считаем её только источником ресурсов, доходов и прибыли. Добрый сын так с матерью не поступает...

А ведь земля – Мать. В архетипах нашего русского мышления искони и навеки записано: Земля – Мать. Вот все знают: охватит, обхватит человека горе, надсмеётся злосчастье над его душой, задавит несправедливость или тоска, и кидается тогда горемыка ничком на землю, обхватит её, родимую, руками, как пал бы в детстве на грудь к родной матери, выплачет своё горе, вырыдает всё, что на душе, и легче становится, а почему к земле приникает человек – кто ж знает? Да только сердце подсудно ведаёт старое поверье: “Держись за землю – трава обманет!” Держись за землю!

Но если Земля – Мать, а это в тайниках нашей души, в архетипах мышления живёт несомненно, то мы-то тогда – её дети, сыновья и дочери. Материнство земли заложило в нас животный инстинкт Её защищать, заботиться о Ней, как о Матери. Я повторяю: *животный инстинкт*. Все русские, родившиеся на русской земле, – по зову предков непререкаемые защитники Родины, Матери Земли. Такая убежденность на протяжении веков хранила Россию и русских от внешних нашествий. Кто бы пришлый ни явился к нам на Родину – не в гости, под какой личиной бы ни скрывался чужак, его намерения выявлялись по тому, как он обходился с Матерью Землей нашей, с Родиной русской. Топтал её, терзал, разорвал, губил цвет земли, – поднималась, хотя порой и не сразу, сила русская, вздымались сыны Родной Земли, сколько бы их ни осталось, постоять за Мать. Не было в том русском гневе никакой корысти: ни защитить себя, ни заступиться за родню, ни отстоять свою собственность русские при этом не помышляли – они вставали именно за Родину-Мать. Знают наши враги этот исконный инстинкт русский, потому и внедряют в наше сознание толерантность, то есть безразличие сына к матери, терпимость к тем, кто над Ней ругается.

В известном древнерусском стихе о Голубиной книге задаётся вопрос: “Которая земля всем землям мати?” И следует ответ: “Свято Русь земля всем землям мати” – “Почему же Свято Русь Земля всем землям мати?” – “А в ней много люду христианского, они веруют веру крещёную, крещёную, богомольную самому Христу, Царю небесному, Его Матери Владычице, Владычице Богородице, на ней стоят церкви апостольския, богомольные, проясненные, Они молятся Богу распятому...” Эти слова нельзя назвать проявлением русского шовинизма или самовозношения. Не только русские считали свою Родину матерью всех земель. Территорию, на которой располагается Русь, геополитики Европы и Америки называют heartland, то есть “сердце земли”. Такой видели нашу землю другие народы планеты, и это подтверждается новыми исследованиями глобального потепления климата. В то время как Западная Европа, Америка, Австралия, Африка будут подвержены ужасным катастрофам, по прогнозам учёных-климатологов, самым удобным и безопасным будет лишь одно место на планете – страна под названием Россия. Вот и зарятся на нашу Родину-Мать завидующие глаза и загребушие руки чужаков, вот чем объясняется исподволь управляемое нашествие в Россию некоренных народов: надо разбавить, растворить русский народ, чтобы истребить и истощить его сыновнюю силу, когда придёт наш час постоять за Мать Сыру Землю – за нашу с вами русскую Родину.

Отцовство и Отечество

В славянском слове **отец** заключено древнейшее значение – *источник существования*. Корень **от-** у слова **от-ец** – исконно тот же, что и в нашем русском предлоге **от**, который употребляется с родительным падежом. То есть **отец** – это тот, **от кого** ты приходишь, **отец** – это твой источник. Когда жена рожает **от** мужа, он становится **от-цом**. Так **отец** в истоках русского языка именуется источником нашей жизни.

И ещё одно слово обозначает отца в русском языке – это **батя**. Оно восходит к индоевропейскому *pater*, английское *father* и немецкое *fater* имеют те же истоки. Корень этого слова сохраняет исконное индоевропейское значение – “защитник”. **Батя** в русском представлении, как и в представлении других народов-языков, – это защитник рода и семьи, тот, кто бережёт и ограждает от беды, о чём предупреждают русские поговорки всякого зарвавшегося сына: **Не лезь поперед батьки в пекло**. Это слова о том, что подвергаться риску и опасности – это привилегия и обязанность отца – защитника семьи.

А ещё есть мудрая поговорка, какую вспоминают русские обычно с запоздалым раскаянием: **Был отец – убил бы его, нет отца – купил бы его!** А ведь как точна природная наша мудрость! Всякий сын бывает отцу поперечником, отцовское старое да надёжное представляется ему отсталым и устарелым. И сколько таких раскаявшихся после отцовской смерти сыновей вспоминают эту поговорку! Вспоминают и тогда, когда растят уже собственных сыновей, таких же, как сами, поперечников, привередников и спорщиков.

Два смысла, связанные с именем отца в русском языке, – **источник нашей жизни и наш защитник**, – ускользают ныне из сознания русских людей. Не всякий помнит и пятую заповедь Закона Божия: “Чти отца и мать свою, да благо ти будет, да долголетен будешь на земли”. Заповедь постановляет, в чём залог нашего благосостояния на земле и залог долголетия нашего рода, то есть детей и внуков. По сути же, почитание отца-матери как заповедь и как архетип мышления являются основой идеологии национализма. Национализм – это любовь к своей нации, единственная идеология, позволяющая народу выстоять в процессе глобализации. Любовь к отцу, а у отца – любовь к своему отцу – нашему деду, а у деда – почитание своего отца – нашего прадеда... Почитание старших в семье преобразуется у нас в почитание дедов и прадедов в роде, а любовь и уважение к своему роду выливается в любовь к родному народу.

Законы наследственности, прописанные в архетипах русского мышления так же, как и пятая заповедь, видят долголетие рода в сохранении доброго духа, передающегося от отца к детям, в преемственности добра и зла в роду: **Каков батюшка, таковы и детки; у доброго батьки добры и дитятки; яблоко от яблони не далеко падает; сын – в отца, отец – в пса, а оба – в бешеную собаку**.

Каждый из нас, слыша эти слова от родителей, взрослеет в убеждении, что будущее нашей семьи и нашего рода, судьба и счастье наших детей – в **наших** руках. И не надо изучать биологические законы наследственности, штудировать генетику, чтобы понимать, откуда у наших детей изъяны и пороки, – от нас самих.

У русских сегодня ещё довольно крепко укоренена любовь к матери: сыновей-дочерей, властвовавших или презирающих мать, очень немного. Но при этом в России властвует полное пренебрежение к отцам. Отчего это?

От вас – отцы! Посмотрите на себя, во что вы превратились! Вы ли источник жизни для своих детей? Вы ли защита и оберег для своих семей? Нет. Повальное пьянство, от которого, согласно докладу ООН, к 2025 году в России вымрет 11 миллионов человек. Отсутствие воли и ответственности за Родину и детей. А сколько брошенных детей, сколько детей-бродяг, беспризорников. Это яблоки от каких яблонь? Вина отцов, отдавших в России власть чужеземцам и иноверцам, всегда расплатой падает на головы их детей. И в наших детях – трусливых, безвольных, не желающих думать и учиться, сквернословящих, наркоманящих, пьющих, – мы должны узнавать себя. Только пороки и грехи детей удесятятся, потому что уже не сдерживаются усилиями родителей, как это было в нашем детстве.

Народ, утративший отеческую любовь, нация, в которой нет почитания отцов, обречены на вымирание, точно так же, как и семья, в которой отец –

не защитник, а сын не чтит отца, уже не семья и не род. Этот архетип мышления надо очищать от мути в глубинах своей души.

Слышу скептические голоса: где уж очнуться горькому пьянице! Как человеку, никогда не имевшему воли к победе и успеху, пытаться чего-то добиться в жизни, ну, разве можно встать на ноги, если ты провёл на коленях всю жизнь?.. Не верьте этим лукавым рассуждениям! Вши и клопы одолевают нас не потому, что мы не можем от них отбиться, а потому, что грязны, запущены, ленивы. Так что ж теперь, всем погибать из-за пьющих, расслабленных, безвольных, из-за тех, от кого заболело, завшивелило тело народа? Будем отмываться и очищаться. Возможно, какие-то добрые дети поднимут из руин своих погибающих родителей, возможно, какие-то опаматовавшиеся отцы вразумят падших детей. Для спасения нации надо восстановить в народе чувство **отеческой любви**. Таков закон национального выживания: он коренится и в исконном названии Родины. Отечество — это ведь не только наша земля, это, прежде всего, земля наших отцов, земля наших предков, передавших её новым поколениям.

Добро и зло по-русски

Отличительная черта нашего времени — наглое и упорное смешение представлений о добре и зле, когда человек, творя преступления, не отдаёт себе отчёта в том, что совершает зло. Различать добро и зло свойственно любому человеку, но понимание того, “что такое хорошо, и что такое плохо”, во многом национально обусловлено.

Древние корни слов **добро** и **зло** в русском языке изначально несут в себе понятия хорошего и плохого. Причем **добро** и **зло** существуют в постоянном сопоставлении друг с другом, они — основа шкалы оценок всего, с чем сталкивается человек в течение всей жизни. Поэтому отговорки, что кто-то чего-то не понимает, творя зло, — притворство и негодяйство.

В той же системе координат пребывает множество пар слов, соотносясь одно — с добром, а другое — со злом: **право** и **лево**, **верх** и **низ**, **прямо** и **криво**, **перед** и **зад**, **свет** и **тьма**, **белый** и **чёрный**. По тому, как в русском языке эти слова распределяются в категориях добра и зла, мы можем судить о представлениях нашего народа о том, что он считает добрым, а что ненавидит и презирает как безусловное зло.

Итак, понятия **добра** и **зла** есть исходные установки, заданные нашим родным языком. В той же системе координат размещены противопоставленные друг другу пары слов, которые отражают представления народа о том, что для него в жизни хорошо, а что плохо. Таковы, прежде всего, слова **правый** и **левый**. Разумеется, они обозначают конкретно правую и левую стороны при ориентации человека, правую и левую руки и части его тела. Но одновременно они хранят в себе представление о том, что правое — это **добро**, а левое — это **зло**. Вот почему в понимании русского народа **править** в государстве можно, лишь творя добро, **управлять**, согласно нашему языку, должно лишь во благо. Если русские убеждаются, что власть имущие несут зло, они требуют **исправления** ситуации. Они интуитивно стремятся **выправить** свою жизнь, если власть не **правит** народом, а ведёт его ко злу.

Корень **прав-** необычайно плодотворен в нашем языке, вся человеческая деятельность, с точки зрения русского самосознания, должна быть освящена идеей **правоты**. Ключевое для нас понятие **правда** исконно означало свод правил, по которым живут русские люди. И первое русское собрание законов и **правил** называлось “Русская правда”. Правду как правило русской жизни, то есть жизни в добре, народ рассматривал как всепобеждающую силу: **Не в силе Бог, а в правде; деньги могут много, а правда — всё.**

Справедливость — это основной принцип, движущий русским человеком, который готов терпеть материальные невзгоды и лишения, нужду и голод, но нарушение справедливости его оскорбляет и разъяряет. Помните Манежную площадь, где против беззакония и государственного беспредела, то есть против несправедливости, выступили наши дети — шестнадцати- и семнадцатилетние мальчишки. Уж кажется, им-то где было научиться чувству справедливости, ведь они выросли в самые несправедливые за последние

полвека времена! Но в том и дело, что это чувство – врождённое у русских, и вздымается в наших душах непредсказуемо.

Насколько благим понятием **правый** пронизана вся наша жизнь, настолько слово **левый** носит в русском языке и сознании ярко негативную окраску. В нас стойки понятия **левачить, левак, гулять налево, добыть слева, продать налево, зайти слева**. Всё это – о незаконных, неприличных, неприглядных, с точки зрения русского человека, делах. А как живучи установки, основанные на древнем представлении, что слева за плечом у нас хоронится нечистая сила, и, чтоб не сглазить, надо плюнуть на неё через левое плечо. И ещё вспомним наши древние выражения, которые никому объяснять не надо: **встать с левой ноги, надеть рубаху на левую сторону**...

Слово **правда** противопоставлено в русском языке понятию **ложь**. Причём **правда** – всё, что не содержит в себе лжи, а **ложь** – безоговорочное зло, неприемлемое для русского человека, который полагает безнравственными все производные **лжи** – обман, хитрость, ловкость. Наша русская психология правдивости, честности резко контрастирует с психологическими установками других народов, к примеру, иудеев, у которых данные понятия являются позитивными качествами, что отражено в их религии. Так что древнейшие пространственные ориентации **правый** и **левый** в архетипах русского мышления предстают категориями **добра** и **зла**. И понятия **верх** и **низ**, первоначально пространственные, оказываются и признаками доброго – **верх** и злого – **низ**. Тело человека в древних, надёжно хранящихся в подсознании представлениях следует покрывать ниже пояса, прятать его от чужих взглядов, ибо там срам и стыд. Все, что относится к проявлениям физической жизни ниже пояса, рассматривается как подлежащее сокрытию, дабы избежать греха, впадения во зло. Оголившегося прилюдно человека именовали **наглым**, то есть обнажившимся и, следовательно, бесстыдным. А что такое **стыд**? Это слово сродни понятиям **стужа, студить**. **Стыд** – это когда телу холодно, то есть когда человек раздет. Не зря существует и глагол **издеваться**, что значит **раздеваться, не чувствуя холода и стыда**, тем самым выказывая своё бесстыдство.

Напротив, верх человеческого тела – и, прежде всего, **лицо** – должен быть открыт; лицо в представлении русских непременно несёт в себе черты добра. Если лицо человека не выражает добра, его по-русски называют рожей, харей, мордой, и бьют русские люди, заметьте, не по лицу, а исключительно **по морде**, ибо по лицу, согласно нашим исконным установкам **добра** и **зла**, бить нельзя. Лицо – это верх человеческого существа, на лице должна быть печать добра. По-русски, если есть охота ударить негодяя, приходится прежде переименовать его лицо, назвать его **рожей** или **мурлом, рылом** или **харей**, то есть приравнять к звериной морде, и тогда с чистой совестью **по морде** и **вмазать!** Так язык диктует нам правила нашего русского поведения.

Но не только человеческое тело рассматривается в русском языке как разделённое на злую часть – **внизу** и добрую – **вверху**. Понятие о вышнем как о духовном, представление о высоком как о лучшем и по праву главенствующем в социальной иерархии, воззрение на верховенство как на справедливое руководство нижестоящими – эти установки показывают, что всякий успех расценивается как восхождение на высоту, то есть как заслуженное превосходство и возвышение. В то же время слова **ниц, навзничь, никнуть, нищий** связаны не только с обозначением поникшего человека, они характеризуют всякое нисхождение, в том числе и духовное унижение, и нравственное падение, именуемое по-русски **подлостью** или **низостью**. В богословской картине мироустройства на высоте, в небесах, на горах, на облаках обитают Высшие Силы, Господь Бог и Ангелы его, а нижние сферы, подземный мир суть обиталище нечисти – демонов и самого сатаны. Поэтому власть имущие, те, что находятся на вершинах власти, согласно русским архетипам, должны быть непременно праведными, боголюбивыми и стремящимися к добру. Мы обычно долго пребываем в иллюзиях, что они таковы. Когда же открывается, что, находясь на высотах государственного управления, нами верховодят личности подлые и низкие, которым место в преисподней, вот тут поведение русского народа может стать непредсказуемым: он интуитивно, повинувшись национальным архетипам поведения, способен восстановить иерархию, соответствующую нашей русской картине мира. И народ будет стремиться по заслугам отправить таких власть имущих на дно ада, где им и надлежит по справедливости обитать.

И другие характеристики пространства – **восток** и **запад**, к примеру, – в русском представлении чётко ориентированы в категориях **добра** и **зла**. **Восток** представляется источником добра. Это и понятно: для древнего человека новый день как исток жизни начинался с восхода солнца, движением его **ввысь**, а заканчивался закатом светила – падением его **вниз**. Но архаические, вполне материальные представления сопрягаются и здесь с духовными понятиями. Звезду, знаменующую пришествие Христа, волхвы увидели на **Востоке**, храмы христианские обращены алтарём на **Восток**, ибо именно с **Востока** ожидается Второе пришествие Христа. У каждого народа, у каждой религии мира с Востоком связаны представления о явлении Божества, а с **Западом** – знамения человеческого падения и конца света. И доселе мы называем **Западом** не только Европу, которая действительно расположена к западу от России, но мы также именуем **Западом** и Соединенные Штаты Америки, разумея под этим словом наше древнее представление о мире зла, несущем России и русским одни невзгоды. Русская история вполне подтвердила интуитивное прозрение нашего языка: все самые страшные нашествия Россия претерпевала с Запада. Это и тевтонские рыцари в XIII веке, и Смута 1613 года, и нашествие французов в 1812 году, и две мировые войны XX века, и нынешняя оккупация России тоже пришла с Запада. С Запада же исходила экспансия самых вредоносных для русского народа идей – католицизма, реформации, масонства...

Категории человеческой ориентации, именующиеся в русском языке **перед** и **зад**, тоже привязаны к категориям **добра** и **зла**. Что такое **быть впереди**? Это значит быть сильнее, умнее, выносливее и терпеливее других. Что значит – **оказаться позади**? Это является знаком того, что ты слаб, что тебе не хватает воли и выдержки. Это тысячелетние языковые представления о первенстве и отсталости. Они так же древни, как и понятия русского этикета, которые предписывают не поворачиваться к собеседнику спиной, ведь отворачивать лицо – это знак немилости или обиды. Даже **переднее крыльцо** и **задняя дверь, задний двор** – не такие уж и древние в историческом плане вещи – воплощают именно архетипы нашего мышления, упорно разделяющие **переднее** и **заднее** как **хорошее** и **плохое**, парадное и обыденное, чистое и грязное. Много веков и плохим приметам, несущим те же древние представления: надеть одежду задом наперёд – значит, вскоре быть битым.

Но ведь **задом наперёд** у нас оказывается перевёрнутым целое государство. Люди, не достойные быть впереди, руководить, возглавлять, пробились в вожди и лидеры нации. Явные злодеи, торгаши и маркитанты, лихвари и спекулянты выставляются **вперёд**, напоказ как праведные и мужественные государственные мужи, а подлинные герои и подвижники отодвигаются на **“задний план”**. Положение **задом наперёд** и **с ног на голову** в русском представлении не только шатко и неустойчиво – оно губительно и опасно для народа и требует скорейшего исправления, чтобы восстановить исходный древний архетип **добра** и **зла**: когда вести народ **вперёд** должны лучшие его представители, а все недостойные – плестись в обозе.

Пара слов **день** и **ночь** в связи со своими природными свойствами – **света** и **тьмы** – оказываются носителями **добра** и **зла**. Образы **света** и **тьмы** вмещают в себя и слова **белый** и **чёрный**. Белый цвет – символ добра, светлости, чистоты и обновления жизни. Чёрный – образ скорби, зла, мрака, страха и смерти. Этот символический цветовой контраст также врождённо присутствует в нашей душе. Скажешь: **светлый человек**, – и всё ясно, и никому ничего не надо объяснять. А обронишь: **тёмная личность** или **чёрный человек** – и припечатаеть эту личность так, что никаким мылом печати не смыть. Возвращаясь к современной политике: чем больше мы видим тёмных личностей и чёрных людей в нашем правительстве, в средствах массовой информации, даже объективно – физически – чёрных, тем больше осознаем, что эта тьма несёт нам зло и неправду. Наш язык помогает нам разобраться в этом.

Противопоставления слов **прямой** и **кривой, простой** и **лукавый** тоже сориентированы в категориях **добра** и **зла**. Конечно, всем ясны преимущества прямоты и невыгоды кривизны на дорогах и перепутьях. Но этими же словами описывают духовные понятия: **прямота** как свойство характера и тип поведения представляется русскому человеку безусловным **добром**, а **кривизна** видится нам несомненным **злом**, пороком, достойным презрения. Не зря существует древнее выражение **кривить душой**, то есть лгать, изворачиваться,

лицемерить. Простота – та же прямота, ещё и с готовностью простить всякого перед тобой провинившегося – явное добро и преимущество перед лукавством, которое есть уклонение от прямого пути. Простота и прямота, по убеждению русских, – сильнейшие и лучшие свойства человеческого духа, они умножают даже физическую силу человека. А из этих исконных установок проистекает природное русское качество преданности и верности, а также русское презрение к предательству и измене как производным кривизны и лукавства. Вот почему никогда никто нас не убедит, что изменник Горбачёв и предатель Ельцин, развалившие наше государство, – это хорошие, добрые люди. Наш язык противится таким уверениям всеми своими смыслами, как бы сегодня ни возносили иуд и какие бы памятники из белого мрамора им ни ставили. И белый мрамор не спасает предателей, потому что в нашем представлении они, безусловно, чёрные люди, тёмные личности, криводушные, низкие и лукавые.

Во врождённых русских понятиях о **добре** и **зле** мы видим тяготение к свету и отторжение тьмы, предпочтение белого, то есть чистого, светлого, и отрицание мрачного, чёрного, нечистого, безусловное служение правде и деятельную ненависть ко лжи и кривде, приверженность к честности и прямоте, осознание себя правым, белым народом, то есть стоящим на началах добра и истины. Русские по врождённому свойству языка обращены к своим ближним лицом, а не спиной, язык же диктует им необходимость целомудрия и стыдливости, требует презирать наглость и бесстыдство, отвергать предательство и измену.

Всё это – архетипы наших представлений о **добре** и **зле**. От них никак не отказаться, их невозможно забыть, ибо они в кровеносных сосудах нашего языка. И именно с этими архетипами **добра** и **зла**, укоренёнными в душе нашего народа, ведёт борьбу дьявол в лице современных властей имущих. Потому что невозможно вести народ во тьму, если он инстинктивно рвётся к свету. Трудно руководить народом, который ждёт, чтобы им правили, то есть вели его к правде, и при этом погружать народ в ложь и гибель. Без этих путевых вешек, которые вырубili, выжгли, выволокли на нашей русской дороге пропагандой лжи, пороков, откровенного поклонения злу, многие русские могут превратиться в скот.

Путные мы или беспутные

В архетипах русского мышления жизнь человека от рождения до смерти оценивалась как **путь**, как движение, осмысленное или бессмысленное, направленное или хаотическое, но непременно движение. Не случайно христианские проповедники говорили о путешествии человека по морю житейскому, а само слово **море** по-гречески, к примеру, звучало как **понт**, то есть наш русский **путь**. Древние индоевропейские народы передвигались на далёкие расстояния в основном водным путём, отсюда неслучайные соединения в языках: **море** греческое – это **путь** по-русски, **reid** и **raid** в германских языках, однокоренные русской **реке**, означают **езду**, а индоевропейское слово-корень **berg-** – **берег** созвучно и односмысленно русскому **беречь**, то есть спасаться от невзгод на берегу житейского моря.

Каковы же русские представления о пути жизни, о дорогах нашего бытия? Ведь именно ими определяется русский смысл жизни.

В Словаре Владимира Ивановича Даля **путь** означает всякую дорогу, ездовую накатанную полосу, ходовую тропу. Всякому встречному радушно желают: **Путь-дорожка! Счастливого пути!** Однако, как это всегда бывает в языке, слово **путь** имеет и более общий смысл: это способ достижения, направление движения – путь человеческой жизни, направляемый Богом. Поэтому мы говорим: **Пути Божии неисповедимы**. Поэтому старшиеставляют младших: **Ходи всегда путем правды**. На **путь истинный** мы ставляем, когда разумеем пользу, разумность, толк человеческой жизни. От **путей неправедных** предостерегаем детей: **В этом деле пути не видится; делаешь не путём**. Человек у нас именуется **непутёвым**, если по неразумию не имеет заботы о смысле своей жизни, или **беспутным**, если сознательно отказывается следовать по жизни прямым и честным путём.

С представлением о прямом пути связана русская идея праведной жизни – жизни **путной**, осмысленной, пройденной с пользой. Это жизнь по Бо-

жким заповедям: **За Богом пойдёшь – добрый путь найдёшь**, это жизнь по заветам отцов: **Слушайся добрых людей – на путь наведут**. Правило не дорожное, а жизненное, которым наставляли свою молодёжь русские люди, состояло в том, что **не ищут дороги, а спрашивают**. Ведь дорогой традиции, дорогой обычая проходило и проходит каждое новое поколение нации. Само слово **обычай** означает нечто навек установленное, чему люди обыкли или навыкли, то есть научились. Обычаям надлежит учиться, чтобы их исполнять.

И ещё одно важнейшее представление о правильном пути человеческой жизни коренится в архетипах мышления русского человека: **Нужный путь Бог правит; Бог пути кажет**. Это очень важно для всякого колеблющегося, для нерешительных и робких это спасительная мысль, заставляющая собираться с силами, сосредотачиваться и двигаться вперёд!

Мы не всегда отдаём себе отчёт, как много в нашей нравственной жизни связано с представлением о пути-дороге. Ведь что такое наши **поступки**? Это поступь по дороге жизни. Мы привычно говорим: *войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старших*, а ведь в основе всего этого лежит идея *следования, вхождения, поступи*. Отец ведёт за собой детей, муж – жену, оттого она издревле называлась водимой, и, смотря по тому, как люди шествуют за своими вожатыми, составлялся приговор об их **поведении**, и само поведение наших близких, выходит, зависит не только от водимого, но и от ведущего. Нарушение уставов и законов мы называем **проступком, преступлением**, и действительно с этими словами соединена идея совращения с настоящей дороги и *переступания законных границ*: кто не следует общепринятым обычаям, тот человек *беспутный, непутёвый, заблудший*. Сбившись с дороги, он осуждён блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным, круглым путём. Сама же дорога – жизненный путь – воспринимается русским мышлением как **путь прямой**, свернуть с него – значит блуждать кривыми дорожками, развращённым называли человека, отворотившегося от прямого пути.

Напомню ещё одно суеверие, связанное с дорогой и хорошо знакомое всем нам. Как обломок древних инстинктов сохранилась примета: если собрался на какое-то дело, возвращаться нельзя – успеха не будет. За древним поверьем стоит запрет на всякое движение вспять, а следовательно, мощный позыв к продвижению вперёд – и только вперёд. Возможно, этот инстинкт руководил продвижением нашего народа на Север и в Сибирь, на Дальний Восток и Аляску. Именно этот инстинкт – запрет на возвращение – породил великую державу на шестой части суши Земли. Отвращение к движению вспять, пока не достигнешь поставленной цели, лежит в основе открытий русских путешественников, освоения новых земель, вообще в основе интереса ко всему новому и неизведанному. И этот инстинкт столь живуч, что окаменел в суеверии, нарушать которое и сегодня решается далеко не всякий.

А выражение **перейти кому-то дорогу** до сих пор употребляется в смысле *повредить успеху, заградить путь к достижению задуманной цели*. Отсюда примета: тому, кто отправляется из дому, не должно переходить пути; если же это случится – не жди добра. Встречный-поперечный, встав поперёк дороги, даёт понять: это моя земля, двигаться дальше нельзя. Сохранившееся в суеверии представление влияет на людей, которым переходят дорогу, предупреждая о трудности предстоящего пути, обещает, что путь будет связан с препятствиями.

Вспомним ещё одну трогательную русскую примету: в тот день, когда уезжает кто-нибудь из родичей, в доме обычно не метут полов, чтобы не замести ему следа, по которому он мог бы возвратиться под родную кровлю. Как метель и вихри, заметая проложенные следы и ломая поставленные вехи, заставляют плутать дорожных людей, так издревле думали, что, уничтожая следы отъехавшего родича, можно помешать его возвращению. Русские люди бережно хранят память об ушедшем страннике, свято веря, что он вернётся.

А ещё наш язык уподобляет дорогу разостланному холсту: и донныне говорится: **полотно дороги**. Народная загадка: **“Ширинка – всему свету не скатать”** – разумеет дорогу. И недаром существует обычай: когда кто-нибудь из членов семейства уезжает из дому, то остающиеся машут ему платками, чтобы путь лежал **скатертью**, так и говорится: **скатертью дорога**, – дабы путь был ровен и гладок.

Архетип мышления, что **жизнь** – это **путь**, и поэтому движение неизбежно, двигаться надо, следовать **путями жизни** так или иначе придётся, застав-

лял русского человека торить новые стези, соблюдая при этом здравомыслие и осторожность: **Тише едешь — дальше будешь**, хотя всё равно побеждали непоседливость и рисковость: ведь **стоячая вода гниёт; под лежач камень и вода не течёт; и камень лёжа мхом обрастает**.

Вековечная русская мечта — увидеть **край света**, то место, где **свет клином сошёлся**, — гнала наших предков из дому. Необъятная наша Русь делала дороги неизбежной частью жизни. Домоседство русскому не свойственно. До сих пор уму не постижимо, как дерзновенно осваивали русские люди далёкие земли, им на своих ближних просторах было тесно, они искали воли и отправлялись в путь, и рисковали головой, и заселяли земли, которые называли потом Великой Русью. Великую Русь могли освоить, сделать своей только великие люди, богатыри, волевые и сильные, расчётливые да приметливые, всегда готовые пуститься в путь.

Не зря только в русской земле с её психологией жизненного пути явилось **казачество**. **Казак** в переводе с тюркского — **бродяга**. Говорили на Руси: **“Казачьему роду нет переводу”**. Это о том, что были и будут у нас пассионарные, смелые и дерзкие любители вольной волюшки, не способные ходить под ярмом по кругу. Но то не азиатские скитальцы, не кочевники перекасти-поле без роду-племени. Русские казаки — это люди, расширявшие границы нашего государства, бившие царю челом новыми землями. Ермак Тимофеевич, завоевав Сибирское ханство, покорив Кучума и договорившись с множеством мелких местных князьков об их подданстве, не сам взялся править покорённой землёй — он поклонился этой землёй Царю-Батюшке. Одна забота была у русского человека, торившего новые пути-дороги, — о родной земле, чтобы она, родимая, была просторнее, богаче, крепче, собравшись под одной могучей дланью.

Так что в наших архетипах мышления исконно заложено, что **жизнь** — это **путь**, не топтание на месте, не лежание на печи, а именно **путь** — движение к цели. Твёрдо усваивал русский человек, что путь жизни должен быть прямой, без кривизны и лукавства, иначе проживёшь, как беспутный или непутёвый человек, забудыга. С прямого пути нельзя сворачивать, ибо так уходишь от своей, Богом назначенной судьбы. С пути нельзя возвращаться назад! Это ведёт к несчастью. *Следовать по пути жизни* — значит, не искать его вслепую, а руководствоваться обычаями предков. Вот те черты, которые составляют цельную русскую натуру, таковы ключи, которые лежат в основе величия и размаха русского человека. Вот они — наши русские правила жизни: двигаться вперёд и прямо, не сворачивать на кривую дорожку, не переходить пути своему ближнему, никогда не возвращаться вспять, а значит — никогда не сдаваться.

Жить, а не наживаться

Двадцатилетие капиталистического развития России создало два противостоящих друг другу имущественных слоя: богатых — это, как правило, представители бизнеса и высшего чиновничества, и бедных, заполняющих все иные социальные страты нашего общества — интеллигенцию, крестьянство, рабочих, а также вышедших из этих слоёв пенсионеров и молодёжь. По данным Роскомстата, 80 процентов населения России пребывает в бедности и нищете, и лишь двадцать — в достатке. При этом богатые богаче бедных в среднем в 800 раз. Такая чудовищная диспропорция социального и имущественного неравенства сопровождается в средствах массовой информации её идейным обоснованием: населению внушают, что подобные явления закономерны и естественны для капитализма, и теперь одним предстоит нескончаемо существовать в состоянии беспросветной нищеты, а другим даровано счастье получать сверхприбыли. И тем, кто хочет перескочить пропасть от бедности к богатству, придётся волей-неволей жить по законам капиталистического мира, где человек человеку — волк, где каждый — сам за себя, где нет места жалости и солидарности. Многие эту риторику восприняли всерьёз, и общество получило чудовищные результаты нацеленности богатых на сверхприбыли любой ценой: безудержный рост цен на жизненно необходимые энергоресурсы, некачественные продукты питания, фальшивые лекарства, смертельно опасный алкоголь, вредное для здоровья лечение. . .

У русских, нацеленных на получение сверхприбыли, произошёл слом национальной психологии, и они ринулись жить по канонам западноевропейской

цивилизации, резко отличающейся от нашей русской цивилизации ценностными ориентирами и языковой картиной мира. Западноевропейские ценностные установки и языковую картину мира очень точно охарактеризовал философ Эрих Фромм в фундаментальном труде “Иметь или быть”: “Общество, принципами которого являются стяжательство, прибыль и собственность, порождает социальный характер, ориентированный на обладание, и как только этот доминирующий тип характера утверждается в обществе, никто не хочет быть аутсайдером, а вернее, отверженным; чтобы избежать этого риска, каждый старается приспособиться к большинству, хотя единственное, что у него есть общего с этим большинством, — это только их взаимный антагонизм”.

В чём главное отличие языковой картины мира русского человека, которого рьяно принялись перевоспитывать в духе приобретательства и вожделения к богатству, от языковых представлений европейца — англичанина, француза, немца? Это отличие состоит в том, что европеец всегда стремится к обладанию, приобретательству, вожделеет проглотить и присвоить весь мир, недаром Фромм роняет обобщающую фразу: “...никто не хочет быть аутсайдером”, а русский — он предпочитает просто жить и действовать.

Различие это проистекает из коренного расхождения наших языков в видении мира и отношении к нему. Ключевым для европейских языков является общеиндоевропейский корень, выражающий значение приобретательства: латинское *habeo*, английское *have*, немецкое *haben*, греческое *echo*. Этот корень организует грамматику прошедшего времени данных языков, он лежит в основе английского слова *happiness* — счастье, он коренится в английском *shopping* — покупки, составляющем сегодня средоточие жизненных целей человека общества потребления.

В русском языке данный древний индоевропейский корень содержит лишь слова **хапать, хавать, хватать, хитить**. Он не участвует ни в каких грамматических структурах, он находится на периферии языка, обозначая весьма неприглядные для русского мышления понятия: *хитрость, хваткость, хищничество*. Всё это слова, синонимичные понятиям стяжательства, рвачества, делячества (в смысле попытки делить и присваивать себе общее), захватничества. Причем *habeo, have, haben* ни в коем случае не переводятся на русский язык русскими словами с таким же корнем — уж слишком негативны эти речения, они последовательно заменяются у нас глаголом **иметь**. Хотя глагол этот обладает совершенно иным исконным языковым смыслом: корень **им-** означает “внутренне присущий, свойственный чему-либо”, этот корень содержится в слове **имя**, где обозначает внутренние свойства человека или вещи, этот корень, пусть и не участвует в грамматике русского языка, но образует множество глагольной лексики, которая описывает манипуляции человека с другими людьми и вещами: **принять, взять, обнять, перенять, обнять, унять, снять, отнять, разнять, разъять**. Слова **имущество** и **имение** содержат этот же корень. Но в отличие от *хапанья* и *хватанья*, данные слова означают вполне нейтральные с русской точки зрения понятия, не несущие стяжательского, грабительского смысла.

Другие же русские слова, связанные с приобретательством, также не имеют подобного индоевропейского корня: **приобрести** буквально значит *найти, получить* — *взять* по случаю, **добыть** и **достать** — *достигнуть* существующего, **овладеть** и **обладать** — *получить* власть над вещью. Так что понятия об обладании в русской и в западноевропейской картине мира — разные, чему свидетельством является язык. И взгляды на жизнь в свете этих понятий — тоже различны.

Главное же различие состоит в том, что у западноевропейца подход к миру — захватнический, а у русского — бытийный, что сказывается практически во всех областях нашей жизни: в обучении, в общении, в любви и браке, в вере и религии и даже во власти.

К примеру, обучение по принципу приобретения подразумевает приобретение знаний, накопление их путём механического запоминания, как собиранье товара, купленного за деньги. Обученные таким образом люди становятся обладателями коллекций чужих мыслей, идей, высказываний, при этом они не склонны думать и творить самостоятельно, вырабатывать собственные идеи. Методика тестирования — это наилучший способ проверки подобных знаний, не случайно она внедряется в нашу образовательную систему именно сегодня вместе с западными принципами обучения.

Обучение по принципу бытия подразумевает использование полученных знаний для выработки собственных представлений и идей. **Учение, наука, навык, обычай** – все это русские слова, обозначающие соединение получаемых знаний с жизнью, с собственным опытом. Творческое задание – сочинение, многовариантное решение задачи, проект, изобретение – формы приобретения и проверки знаний при этом принципе обучения.

Столь же различны в западноевропейской и русской картинах мира подходы к общению и принятию решений. Общение по принципу приобретения представляет собой отстаивание каждой стороной своей точки зрения как собственности, которую не хочется потерять. В таких спорах не рождается истины: с чем спорщики пришли, с тем и уходят, безуспешно пытаясь переубедить друг друга. Политически подобное явление воплощено в европейском понятии **parlament**, буквально означающем *место для речей*. Совместная выработка решений в подобных случаях оказывается трудно достижимой. Именно поэтому в европейской и американской деловых культурах стали популярны методы воздействия на партнёров, разработанные Дейлом Карнеги в книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», строящиеся на притворстве, лицемерии, обмане собеседника с тем, чтобы добиться от него нужного решения или согласия.

Общение по принципу бытия, напротив, подразумевает живой интерес, открытость собеседнику в том смысле, что он может быть полезен нам опытом, идеями, информацией. В таких спорах могут быть успешно выработаны коллективные решения, они в русской деловой культуре выражены в слове **совет**, понимаемый как согласное общее речение и одновременно как собрание людей для совместной выработки решения. При этом замечено, что русского человека довольно легко переубедить, заставить отказаться от своего мнения, ибо он не рассматривает его как собственность и способен увлечься жизненно актуальными доводами, приводимыми собеседником. Именно в этом кроются причины пресловутой русской доверчивости и восприимчивости к новым заманчивым, хотя порой и абсурдным идеям.

Подобные же различия находим и во взглядах русских и западноевропейцев на власть. Власть, воспринимаемая властителям как приобретение, удерживается им как богатство и влечёт за собой непрременную узурпацию с применением силы. Такая власть ради власти сопровождается излишествами, которым сопутствует её нарастающая некомпетентность. Именно поэтому западноевропейская цивилизация выработала множество мер, называемых демократическими институтами, ограничивающими пребывание руководителей во власти.

Власть, организованная по принципу бытия, строится на необходимости ответственности руководителя перед подчинёнными, а следовательно, обязывает его быть компетентным в управлении. Это власть, основанная на долге и совести, она не регулируется законами и выборными технологиями, и как раз такая власть представляется в русской политической жизни идеалом.

Даже в Вере западноеuropeец и русский в корне отличаются друг от друга. Вера, строящаяся на принципе обладания, – это получение ответов на вопросы бытия, ответов, которые не нуждаются ни в каких доказательствах. Они сформулированы в виде догматов. И человеку надлежит их усвоить, чтобы освободиться от тяжёлой необходимости самостоятельно мыслить и искать решения трудных жизненных вопросов. Католическая церковь с её жёстким догматизмом, непонятным народу латинским богослужением, отпущением грехов за деньги и жёсткими катехизисами является наглядным примером Веры, основанной на принципе обладания.

А Вера, опирающаяся на бытие, – это живое общение с Богом, сердечная молитва, поиск ответов на мучающие нас вопросы, поиск смысла жизни, проникновение в Св. Писание, словом, то, что называется богообщением и не может быть сковано догматизмом и жёсткими канонами. Именно такова Православная Русская Церковь, где служба изначально была понятна и доступна любому человеку, катехизисы отсутствовали, а отпущение грехов за деньги полагали кощунством.

Даже взгляды на любовь и брак у нас с западноевропейцами не схожи. Любовь, опирающаяся на идею обладания, – это стремление покорить другого, сделать его своим приобретением. На любовь смотрят почти как на лишение свободы. Отсюда проистекают брачные контракты, движение фемини-

сток, выступающих за освобождение женщины, измены и разводы как бегство на свободу и поиск новых предметов обладания.

Любовь, основывающаяся на идее бытия, созвучна именно русским представлениям о жизни, это существование двоих как “единой души и единой плоти”, такая любовь не требует обязательств и брачных договоров, потому что изначально зиждется на идеальной установке: дойти вдвоём, рука об руку, до гробовой доски, жить долго и счастливо и умереть в один день.

Таким образом, основные пласты жизни у европейцев и русских организованы по-разному. Но в русскую картину мира сегодня активно внедряют именно западноевропейские образцы обучения, общения, власти, веры и любви. В образовании нас переводят на поголовное тестирование, а учителей именуют *предоставляющими образовательные услуги*. В общении заставляют жить по законам Карнеги, убеждая в необходимости притворяться, чтобы обхитрить собеседника, не желающего расставаться со своей точкой зрения. Во власти нам навязывают убеждённость, что ответственность и долг властителям не нужны. Их задача — подчиняться законам, которые тем временем власть имущие переделывают под своё безответственное правление. В Вере нас приучают к католическому догматизму, запрещая думать и рассуждать. В любви нам навязывают идею физического и материального обладания с закономерно следующими из неё брачными контрактами и так называемыми “гражданскими браками” как наименьшим ограничением свободы.

Но это всё действует в России довольно плохо, потому что в отечественной культуре и языке существует мощное противоядие — преграда для представлений, основанных на западной по происхождению идее обладания. Вот примеры разных национальных типов поведения в истории. Выдающийся русский лингвист А. А. Шахматов, получив письмо от своих земляков, крестьян Саратовской губернии, о царящем там голоде, отказался от места адъюнкта Российской Академии наук и уехал на родину, чтобы помочь крестьянам преодолеть голод и эпидемию. С другой стороны, великий Гегель, получив приглашение работать в престижном университете, живо откликнулся письмом к ректору: “А сколько кулей полбы я буду получать за свои услуги университету?” И это естественное восприятие мира русским учёным и немецким мыслителем. Оно исходит из языка. В русском мы знаем формулу владения: *у меня есть*. Собственность по-русски не завоевывается и не захватывается — это то, что дано, и точка. А в немецком формула обладания: *Ich habe*, в английском — *I have*. У нас этот корень, напоминая, представлен в слове *хапать*. Завоевательность, напор, стремление получить прибыль любой ценой кроются в корне этого слова, вот почему оно получило у нас весьма пренебрежительный оттенок.

Формула владения — *у меня есть* — в русском языке бытийна. И русская грамматика тоже основана на понятиях бытия, а не обладания. Именно глагол **быть** формирует наше будущее время, сослагательное наклонение. Этот глагол в качестве нулевой связки участвует в русской формуле собственности — вместо *мой сын, мой дом, моя машина* мы чаще говорим — *у меня есть сын, у меня есть дом, у меня есть машина*. Наконец, именно бытийный корень **бы-** содержится в словах, обозначающих обладание и связанные с ним действия: **добыча\добывать, прибыль, прибыток, сбыт\сбывать**.

Само слово **богатство** показывает, что русские воспринимают нажитое имущество как достаток, дарованный Богом, а значит, за своё достояние надо перед Богом и отвечать, с умом и душой им распоряжаться.

Показательно также отношение русских к деньгам — основному средству и символу богатства и накопления. Пословицы и поговорки, концентрирующие такие суждения, выставляют деньги второстепенной частью человеческой жизни: **Деньги не голова: наживное дело; не деньги нас наживали, а мы деньги нажили; деньги — забота, мешок — тягота; и то бывает, что и деньгам не рад**. Богатство в русских представлениях связано со злом и пороком, оно не радует и не спасает душу: **Богатому черти деньги куют; через золото слёзы льются; деньгами души не выкупишь; пусти душу в ад, будешь богат**. Русское убеждение, хранимое пословицей: **Деньги могут много, а правда — всё**, — показывает многовековое критическое отношение нашего народа к наживе. О том, что это отношение остаётся неизменным и по сей день, свидетельствует пренебрежительное именование современных денег различными эвфемизмами: деревянный (рубль), зелень, капуста, бакс, бакинский рубль (доллар). Они наследуют таковое же пренебрежительное от-

ношение к деньгам на Руси, когда **копейкой** называлась монета с изображением Георгия Победоносца с копьём, а **рублём** (буквально: *обрубком*) – часть драгоценного металла, отсечённого от слитка-гривны.

Торговля в русском менталитете, в отличие от западноевропейского, – дело не почётное, хотя и необходимое. Корень этого слова **торг-** исконно означает “исторгать”, “вырывать”, “вытягивать”, то есть извлечение прибыли при торговле изначально расценивалось как “вырванное, отторгнутое у кого-то имущество”. **Не обманешь – не продашь** – такова поговорка, выказывающая русское отношение к торговле. И именованья людей, занимающихся торговым промыслом, при всей нейтральности значений рано или поздно в нашем языке приобретают негативный оттенок: **купец, торговец, торгаш, продавец, лавочник, приказчик**. Сегодня негативные оттенки значения стремительно приобретают слова **бизнесмен** и **менеджер**.

Особенно выразительно в русском языке отношение к ростовщичеству, именуемому с древности **лихвой**. **Лихва** – *излишек, прирост капитала, ссудный процент* и **лихо** – *зло, рожаемое излишеством*, – в русском языке слова одного корня.

Но самым мощным барьером приобретательству и накоплению в русской языковой картине мира является активное использование в языке слов со значением “дать, давать, дарить”, противоположным идее накопительства и приобретательства.

Русское **давай** является важным фактором речевого общения. Мы говорим: **давайте пойдём, давайте сделаем, давайте подумаем, давайте решим**. . . В подобных формулировках содержится два важнейших смысла – это призыв к общинности (совместному деланию) и бескорыстию. Кроме того, слово **дать** является сигналом к самостоятельному и решительному действию русского человека, когда он принимает решение что-то сделать в общую пользу, помочь другому: **дай-ка мне; дай-ка я; а ну, дай!** А ещё слово **дать** является знаком чисто русского восхищения своим *выдающимся* собратом: **Ну, ты даёшь! Во даёт! Он как дал!** Помимо этого, слово **дать** оказывается формулой силовой защиты: **Я те дам! Он тебе задал! Поддай ему!** Вообще слово **дать** побуждает русского человека к действию или поступку. Ребёнку говорят: **давай кушай, давай иди, давай учи, давай помоги**. Русских благодаря языку приучают сызмала именно к самоотдаче, поэтому устойчивы выражения: **отдать долг, отдать жизнь, отдать честь**.

Эта языковая установка русского языка резко контрастирует с европейскими языками, где подобный призыв к самоотдаче отсутствует, где поступки людей мотивируются лишь “ожиданием материальных выгод, то есть вознаграждений и поощрений, и призывы к солидарности и самопожертвованию не вызывают у людей никакого отклика” (Эрих Фромм “Иметь или быть”).

Но нам навязывается сегодня именно такая социокультурная модель общества, в которой способами воздействия на людей полагают лишь материальное поощрение и вознаграждение, подкуп и подачки, обещания и посулы. В этой модели прибыль любой ценой, даже в ущерб другим членам общества, получает законные права. Но подобная социокультурная модель, безотказно действующая в Западной Европе и США, где она совпадает с языковыми представлениями народов, входит в глубокое противоречие с русской языковой картиной мира, формирующей совершенно иные представления о жизни и человеческом поведении, нежели западноевропейские языки. В основу идеалов русского народа положена идея справедливости, которая несовместима с захватом чужого и обманом ближнего. Здесь презирают или считают второстепенными наживу и прибыль, а почитают идеалами жертвенность и самоотдачу. Поэтому в России западная социокультурная модель общества, изуродовав души и мозги значительной части населения, всё же рано или поздно потерпит крах, ведь изменить картину мира целого народа можно лишь, заставив этот народ забыть свой родной язык.

Будущее русского народа на карте русского языка

В годину кризисов и надломов народа усиливаются процессы архаизации сознания. То есть начинают работать древние инстинкты племени и законы национальной традиции. Это касается и национального взгляда на время на-

шего бытия. Народы в эпохи кризисов словно погружаются в своё национальное время. Одни углубляются мыслью в прошлое, возрождая древние обычаи и восстанавливая культ предков. Другие успевают взять от жизни всё, ценя только текущий момент. Третьи нацелены в будущее и изо всех сил приближают его приход.

Наше славянское время происходит от глагола *вертеть*, и звучало исконно **vert-men*, что значит “вращение”. Так что изначально время понималось нашими предками как череда сменяющихся событий. Это древнее представление находит соответствие в современной модели мироздания: земля вращается вокруг солнца и своей оси, являя череду дня и ночи, смену времён года. Время – пространство в бытии, череда сменяющихся событий – естественным образом в человеческой картине мира разделяется на прошедшее, настоящее и будущее. Такое видение времени осуществляется через систему глагольных времён, существующую во всех языках. В каждом языке категории прошедшего, настоящего и будущего времени имеют специальные формы. Однако, несмотря на общее сходство этих представлений, время у разных народов мира осмысливается по-своему. И каждый народ выбирает, чем он дорожит больше – настоящим, прошедшим или будущим. У каждого народа свои предпочтения времён, которые усиливаются в эпохи кризисов, войн и катастроф.

Кочевники-тувинцы, к примеру, представляют время как путь, по которому они двигаются всю свою жизнь. Но, стоя на этом пути, тувинцы лицом обращены в прошлое, к предкам, там сосредоточены все их надежды, в опыте прародителей ищут они опору, помнят свой род до седьмого колена и могут назвать его поимённо. И так мыслят время не одни тувинцы. Точно так же чеченцы, чтобы доказать свою принадлежность к тейпу-роду, обязаны помнить двенадцать имён своих предков по мужской линии. Для якутов посредниками между предками и ныне живущими членами рода являются шаманы, они верят в возможность общения с предками до девятого колена. Всё, что кочевник хочет получить от жизни, он вымаливает у предков своего рода, обращаясь в прошлое. Согретье покровительством праотцов, кочевники повернуты к будущему спиной, будто едут на лошади по бездорожью, сидя верхом, но задом наперёд. Будущее они не выбирают как цель, оно надвигается на них сзади, наступает на человека из-за его плеч, будущее непредсказуемо, а потому опасно, оно несёт в себе неожиданные угрозы роду-племени. Именно потому у якутов есть особый дух-хозяин дороги, которому молятся о благополучном кочевье, задабривают его на распустьях, на горных перевалах и водоразделах. Подобный взгляд на время нам, русским, кажется парадоксальным, но он подтверждается, к примеру, многовековым укладом тувинцев, чеченцев, якутов и свидетельством исследователей их национальных кочевых культур.

Прошедшее время в языках этих народов многогранно представлено грамматическими формами. Так, в чеченском языке насчитывают пять прошедших времён: недавно прошедшее, очевидно прошедшее, прошедшее совершенное, давно прошедшее, прошедшее многократное. А будущее у чеченцев существует в двух формах – будущее фактическое и будущее возможное. Настоящее время также представлено двумя формами. Народы, душой погружённые в прошлое, более всего внимательны к языковым формам прошедшего времени.

Совсем иной взгляд на время у англичан. На своём жизненном пути они, в отличие от тувинцев, обращены лицом в будущее, а прошлое оставляют за спиной, за плечами. Родовая память прошлого для англичан не существенна, разве что почитается в аристократической семье предок, прославивший своё имя в истории Англии. Зато будущее представляет для англичан предмет вождений, будущего желают, к грядущему стремятся. Стремление “проглотить будущее” выражено в английском вспомогательном глаголе будущего времени *will*, что значит *желать, хотеть*. Буквальное значение английского будущего времени – *я хочу, я желаю сделать*. Однако не этот грамматический факт является главной особенностью английского представления о времени. Англичане больше всего ценят среди временных категорий время настоящее. Широко известно их выражение *right now* – *прямо сейчас*, навязанное ныне и русскому языку. Жизнь здесь и сейчас, *прямо сейчас* – вот в чём смысл существования англоязычного джентльмена. В английском языке присутствует целых три грамматических формы настоящего времени: настоящее совершен-

ное (переводимое на русский язык только прошедшим временем), настоящее продолженное (которое растягивает временной миг в длительность), и настоящее независимое. Всё бытие англичан, да и других западноевропейцев, имеющих сходные системы настоящего времени, сосредоточено на сегодняшнем дне, на текущем моменте. И потому удобства, комфорт, порядок, помогающие улучшать и украшать сиюминутную жизнь, занимают так много места в их деятельности. Пресловутый английский консерватизм – стремление ничего не менять в настоящем укладе – тоже произрастает из удовлетворенности настоящим моментом жизни. Так что если кочевник-тувинец более всего ценит на жизненном пути прошлое, то англичанин дорожит именно настоящим и ради стабильности настоящего стремится, желает положить к своим ногам, покорить и оседлать будущее.

Настоящим и только им живут китайцы: в китайском языке у глагола вообще нет форм времени. Чтобы выразить действие в настоящем, прошедшем или будущем, китайцу достаточно слов вчера, сегодня, завтра. Китайские глаголы существуют в одной-единственной форме: *Вчера я ел цыпленка; сегодня я ел цыпленка; завтра я ел цыпленка*. А значит, время представляется китайцам вечно длящимся настоящим. Именно текущий момент китайцы ценят выше всего и умеют им наслаждаться.

Сравним представления о времени чужих народов с русским взглядом на бытие. Он оказывается своеобразным, особенным. В грамматическом русском настоящем-будущем времени грань между настоящим и будущим почти неуловима, ведь тонкости совершенного и несовершенного вида понятны только природным русакам.

Русский язык словно не замечает настоящего, он использует для обозначения настоящего времени одну-единственную форму, которая, впрочем, готова выражать и прошедшее (*иду я и вижу*), и будущее (*поживем – увидим*), и даже повелительное наклонение (*пойдём!*). Связка настоящего времени от глагола **быть**, обязательная для всех славянских языков, у нас вообще канула в небытие, грамматики скромно называют её “нулевой”. Прошедшее время в русском языке, в отличие от других, даже близкородственных нам языков, выражено одной-единственной формой: **пришёл, увидел, победил**. Мы, русские, пренебрегаем в языке и в жизни тонкостями и деталями грамматики прошедшего времени, которые существенны для других народов. И лишь будущее время у нас существует в двух формах – одна, неуловимо скользкая из настоящего (*пойдут, вспомнят*), а другая – с волевым и уверенным вспомогательным глаголом **будет**. Русская обращённость лицом к будущему и пренебрежение настоящим грамматически очевидны.

Каков же наш национальный образ времени? Русское время воплощено в образе воды, недаром о настоящем мы говорим, что **“время течёт быстро”**, а о прошлом – **“много с тех пор воды утекло”**, **“было, да сплыло”**, **“что прошло – в воду ушло”**. По реке времени русские мыслят себя плывущими по течению – вперёд, в будущее, подгоняемые им, увлекаемые его неумолимой силой. На нашем русском жизненном пути прошлое, как и у англичан, остаётся позади, за спиной. И нам понятно выражение “у него **за плечами** долгая жизнь, большой опыт”.

Русский архетип прошлого отличен от других народов. Да, к прошлому русские относятся уважительно. **Как отцы и деды наши, так и мы; не нами установлено, не нами переставится**. Но наша родовая память измеряется лишь тремя поколениями предков, что отразилось в русских именах: они в России состоят из трёх частей – собственного имени, отчества – имени отца, и фамилии – исконно имени деда или его прозвища.

Однако уважение к прошлому прочно соединяется у нас с мыслью о том, что его не вернуть: **Было да быльём поросло; прошлого не воротить, вчера не догонишь; что с вазу упало, то пропало**. О невозможности вернуть ушедшее напомунают насмешливые поговорки: **Были кости, да легли на погосте; был пан, да пропал; был мужичок да помер; была кляча да изъездилась**. В прошлом мы оставляем не только события, людей, вещи, легко с ними расставаясь, особо не печалься о потерях. Заповедано же русским обычаем, выходя в путь, не возвращаться вспять, не то удачи не видать.

Примечательно, что русские оставляют в прошлом и память о причинённом им зле, тем самым освобождаясь от греха и тяготы злопамятства. Мы привычно повторяем зарок: **Кто старое помянет, тому глаз вон**. Мы с го-

товностью выставляем упрёк: **Что прошло – помянуть на что?** Нам по сердцу призыв: **Не поминай лихом!** Так что с прошлым, оставленным за плечами, русские не сентиментальничают, покидают в нём злобу, погребают отживших своё стариков, не дорожат и имуществом, пуская его даже в пожар и разруху. И когда наступает нужда покинуть близких, рискнуть самой жизнью ради высокой цели, сверкнувшей призывной звездой на жизненном пути, русский человек безоглядно молвит: **Эх, была, не была!** И, убедив себя этим крылатым словом, что всё прошлое словно и не бывало, жертвенно кидается в неведомую или заведомую опасность. А бывает, является необходимость бросить нажитое, отказаться от наработанного и накопленного, и тогда русский способен сказать: **Пропади всё пропадом! Гори всё огнём!** – ради высокой мечты или светлой надежды.

Именно наш исконный архетип прошлого породил особые черты русского характера: с одной стороны, нестяжательность, незлобивость, умение забывать обиды, а с другой – национальное беспамятство и пренебрежение наследием предков.

Столь же своеобразен и русский взгляд на время настоящее. Рассматривая факты нашей истории и быта, поражаешься тому, что в них словно и места нет настоящему, ровно по премудрости, услышанной Владимиром Далем в русской деревне: **Время за нами, время перед нами, а при нас его нет.** И правда, вспомним свой опыт жизни и обнаружим, что не чтим, не любим текущей действительности, а всё ждём-пождём того, что будет вскорости. Взять, к примеру, воспитание детей в русской семье. Жизнь ребёнка от рождения – сплошные ожидания матери: сначала – когда ходить начнёт да заговорит, потом – когда в школу пойдёт, затем ожидание взросления, армии, завершения учёбы в институте. Все радости возрастания ребенка растворяются в напряжённом ожидании, и будущее дитятка для матери всегда важнее настоящего.

Точно такая же установка на ожидание видна и в русских праздниках. К ним долго готовятся, припасают угощение, стряпают, жарят-парят, закупают подарки и гостинцы. А придёт праздник, сверкнёт быстрой молнией – не заметим его, ибо уже хлопочем о том, что будет завтра, и готовимся к новым семейным событиям, по русскому присловию: **У завтра нет конца.** Точно так же тягостна русским работа. Не труд, понимаемый как необходимое, полезное и полное испытаний преодоление тягот, не дело, которое русские мыслят непременно *делом жизни*, а именно работа – выматывающая, бесконечная, рабски бессмысленная, бесцельная. Почему и бытуют у трудолюбивого и дельного русского народа поговорки о том, что **дураков работа любит**, и что **работа не волк, в лес не убежит.**

И в праздниках, и в воспитании детей, и в работе мы непременно торопим настоящее, с неприязнью к нему повторяем: **Ждать и догонять – хуже нет.** И вправду, нам бы поскорее достичь будущего, того самого *утра*, что **мудренее вечера**, и эта наша черта, что становится поперёк насущной радости, спасительна для русских как раз тем, что позволяет отиться в стесненных клетушках квартир, не тяготиться “удобствами во дворе”, а главное – с надеждой переносить тяготы войн и лишений, словом, терпеть настоящее в надежде на лучшее будущее. Мы стремимся к будущему, как в русской прибаутке: **Долго ль до вечера? – кричала квакушка. Далеко ль до зореньки? – тосковал соловушка.**

Возможно, в таком пренебрежении настоящим коренится одна из причин великого русского долготерпения: **перемелется – всё мука будет** – присловье как раз о настоящем, что так трудно и мучительно достаётся русскому народу на протяжении многих столетий. Но мы знаем, что **всё до поры, до времени**, и тяготы проходят и преодолеваются: **и горе не море – выпьешь до дна.**

Поскольку в нашем отношении к настоящему есть доля пренебрежения им, нам, русским, свойственны качества, удивляющие другие народы, – это бесконечное русское терпение, немислимая неприхотливость в быту и, к сожалению, разгильдяйство и беспорядочность, которые у русских преодолеваются только строгим воспитанием.

Повторю ещё раз: на дороге жизни мы всегда были обращены лицом в будущее и ради него готовы жертвовать прошедшим и настоящим: **Дней много, а все впереди.** Будущее для нас много дороже и важнее прошлого

и настоящего — вот о чём сложена поговорка: **Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее.**

В нашем русском времени даже сутки не измеряются астрономическими часами, как у англичан, где жизнь течёт до полудня, а затем до полночи. В английских сутках и минуты дробятся — до и после назначенного часа, строго сверяясь с циферблатом часов. Русский час иной. В нём та же неудержимая погоня за будущим. Ведь что такое *половина пятого*? Это загляд в дневной пятый час, который ещё не наступил. А без четверти семь — это когда мы уже обживаем час седьмой, также ещё его не достигнув. Наши сутки тоже особенные, с русским пренебрежением к точному времени. Так, утро у англичан — это время до полудня. А у нас утро настанет только в момент пробуждения, хотя бы это был и полдень, и длится лишь до начала работы. Когда же мы приступаем к работе, вот тогда по-русски и начинается день. Но тянется он хоть до утра, если работа заставляет и ночью бодрствовать. И вечер для русских — это не время до полуночи, как у англичан, а срок, отведённый на отдых после работы вплоть до сна. Так что русский день не измеряется часами, а русский час не дробится на минуты. Не зря говорят, что **русский час долог**, и в нашем наречии **сейчас** заключено исполнение обещанного именно в будущем.

Но что замечательно в русском взгляде в будущее: мы надеемся на лучшее, но оно зависит не от нас, а от Бога. Потому и говорим мы, что **день на день не придёт**, потому и не любим загадывать и мечтать, а осторожно-ненько так приговариваем: **будь что будет**, и ещё суеверно прибавляем, что **де загад не бывает богат, даст Бог, доживём — так увидим; не угадаешь, где найдёшь, где потеряешь.**

Итак, наше русское будущее непредсказуемо, а значит, к неожиданностям и невзгодам надо всегда быть готовым. Создание запасов — отличительная черта русских, думающих о будущем. Над этим смеются, к примеру, тувинцы, которые никогда не создают запасов, зато у них, по свидетельству этнографов, существует обычай воровства, если требуется необходимое. Земледельцы и кочевники тем и различаются — одни запасаются, готовясь к невзгодам будущего, и для земледельца иного пути выжить нет: где взять еду завтра, как не у себя самого, ведь воровство для земледельческих народов — преступление. А другие народы — исконные кочевники — в силу особенностей своего языка и культуры не думают о будущем, и по мере оскудения живут чужими запасами, для них набеги — национальная доблесть.

Чисто русские присловья: **Поживем — увидим! Посмотрим, а вперёд загадывать нечего** — составляют суть нашего отношения к грядущему в готовности к любым невзгодам и трудностям. Такой готовности, что легко себя утешаем в беде: **нет худа без добра**. Мы предупреждаем самодовольство ближних, у которых “жизнь удалась”: **от сумы да от тюрьмы не зарекайся**. Мы твёрдо знаем, что **любая палка о двух концах: либо ты меня, либо я тебя**, и бабушка у нас, ворожа о будущем, говорит всегда **надвое**: то ли будет, то ли нет. И всё же, хоть завтрашнему дню верить возбраняется, именно он является главным устремлением русского человека, легко расстающегося с прошлым и пренебрегающего настоящим.

Замечательно в русской картине времени и то, что будущее мечтается нам непременно светлым. Причём модель светлого будущего строится в сопоставлении с прошлым и настоящим. Тяготы и беды насущного дня в русском представлении столь многочисленны, что у нас вошло в привычку хулить сегодняшний день, сравнивая его с прошедшим веком: **Деды наши живали — мёд, пиво пивали, а внуки живут — и хлеба не жуют; прежде жили — не тужили, теперь живём — не плачем, так ревём; деды не знали беды, да внуки набрались муки**. Убеждение, что прежде мир был лучше, высказывается не только в ворчании стариков, но и картина мира молодого поколения хранит спасительную для нации установку. Именно поэтому в русском языке существует формула идеальной модели будущего, в основе которого заложено наследие предков: **Было бы начало, будет и конец; была бы нитка, дойдём и до клубка; были ли бы бобры, а ловцы будут; был бы лес, а топор сыщем; был бы бык, а мясо будет; был бы мешок, а деньги будут**. Будущее в подобной русской формуле непременно венчается успехом. Но для успешности действия русскому человеку естественно преодолеть препятствия и побивать врагов, без чего невозможна победа, в том числе и над самим собой — своей трусостью, ленью, нерасторопностью, над бес-

смысленностью собственной жизни. Вот откуда рождаются парадоксальные русские надежды на препятствия, ведущие нас к самоутверждению: **Была бы собака, а палка найдём; была бы шея, а хомут найдётся; был бы крик, а верёвку сыщем.**

Цепляясь, как за якорь, за трудности и беды, русский человек упорно закликает свою неперемную победу над ними: **Была бы собака, а палка будет.** Само слово **будет** в отличие от английского *will* – хочу, выражающего настойчивое желание, хотение, в отличие от чеченского будущего возможного, которое не обязательно сбывается, русское будущее отражает неизбежность наступления того, чего мы обязательно достигнем. Мы говорим **будет**, и знаем, что по этому слову, отражающему непреложность грядущего, достигнем цели. **Что-нибудь да будет. Так не будет, а как-нибудь да будет.** Но это **будет** возникает у нас в решительные минуты жизни. Так, когда немцы вторглись на нашу землю, прозвучало убеждённое: “Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!” Словно печатью запечатлелось это **будет!** в каждой русской голове, и мы добились победы. Не желанием, не хотением прозвучало слово **“будет!”**, а ничем неодолимой русской волей: Победа будет! И точка. А само слово **победа** значит “то, что приходит после беды”, победа – преодоление беды. Стало быть, без беды и победа по-русски не возможна. Вот она – реализация заклинательной формулы **“была бы собака, а палку найдём”**.

Так что привычка терпеть, бороться, преодолевая беды, и надеяться на лучшее есть плод русской отрешённости от прошлого, которым мы не дорожим, пренебрежения настоящим, которого для нас как бы и нет, и всецелой устремлённости в светлое будущее. Причём если мы не дорожим настоящим, то и с жизнью расстаёмся легче других, надеясь на будущую вечную жизнь. Христианство в этом смысле нашло в русском народе благодатную почву, ведь **жизнь будущего века** для многих русских – реальность большая, чем быстротекущее бытие. Утешаем же мы себя в тяготах: **на том свете отдохнём.**

А в жизни нынешнего века русские во всём ожидают своей поры. Удивительное это слово **пора** – удобный к делу, самый что ни на есть урочный час. В этом слове заключено своеобразное понимание времени по-русски, в котором всякому делу – своя пора. **То было время, а ныне пора.** Слово **пора** однокоренное понятиям **переть, вперёд**, и потому исконно означает тот самый момент, когда надлежит действовать, двигаться, идти вперёд, чтобы достичь успеха. **Пора** – это когда дело будет спориться, если к нему у приложить упорство и напор. Пора – такое русское время, которое надо учуять и узнать, когда зверя или врага бить: **пора что железо – куй, покуда кипит.** Даже неправда на Руси стоит только до поры, а придёт пора, ударит час – и, не загадывая, не сомневаясь и не медля, вступает русский человек в дело, в схватку, в бой в самую пору.

В эту самую пору все средства, даже самые отчаянные, для русского дела хороши. Даже тактика выжженной земли, по русскому призыву: **Гори всё огнём! Пропадай всё пропадом!** – по сердцу нашему характеру, что не считается ни с нажитым в прошлом добром, ни с удобствами существования в настоящем. Тактика выжженной земли – последнее русское средство обороны, которым наш народ овладел издревле и успешно применял его вплоть до Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Ничего нам не жаль на последнем рубеже обороны – ни своего добра, ни своих домов, ни своих сёл и городов, погибают в огне даже храмы, сами люди готовы гореть вместе с неприятелем. **Эх, была – не была! Пропадай всё, была бы жива Россия.** Может быть, именно потому мы и прослыли в мире самым непобедимым на земле народом, что готовы были жертвовать всем былым имуществом своим, не дорожа, в конечном счёте, и самой жизнью, в смертельной схватке с захватчиками.

В 1941 году русский город Смоленск оборонялся от немцев с 10 июля по 5 августа. Русский город стоял насмерть почти месяц. И он такой был не один. А за год до этого перед Германией капитулировала Франция. Целая страна, великая держава, с огромными ресурсами и хорошо вооружённой армией сопротивлялась оккупантам всего лишь с 10 мая по 17 июня, чуть больше месяца. И отдала захватчикам всё нетронутым и нерушимым: и шахты, и заводы, и целёхонкие города. Французов погибло за эту коротенькую войну всего 84 тысячи человек, и 45 тысяч немцев. А у нас под Смоленском в такие же сроки была совершенно иная картина. Дорогой была цена Смоленско-

го сражения. Безвозвратные потери составили со стороны советских войск 486 171 человек. А раненых — 273 803 человека. Огромны были и потери немецких войск. По признанию самих немцев, к концу августа моторизованные и танковые дивизии лишились половины личного состава, а общие потери врага составляли около полумиллиона человек. Эти цифры говорят сами за себя: наши войска сражались с немецкими до конца — любого: победного или смертного, но до конца, оставляя за собой не целёхонькие заводы, фабрики, склады продовольствия и оружия, а выжженную землю, взорванные мосты и железные дороги, пепелища городов.

Давайте же задумаемся об этом сегодня, когда многим так хочется думать, что можно сдать на милость оккупантам, как те же французы, приветствовать их и служить им, и всё ради того, чтобы благоденствовать сейчас, увлекаясь и наслаждаясь сегодняшними благами цивилизации. Но так ли поступали наши прапрадеды и деды в великих русских оборонительных войнах, где они сражались до конца — по победного или смертного конца, не оставляя врагу ни трофея, ни добычи, ни крова, ни пищи, устремляясь всем существом своим в будущее, забыв совершенно о прошлом и настоящем. Наши предки сами теряли и лишались всего, но терпели и надеялись — тактика выжженной земли, последняя линия обороны русского народа нас никогда не подводила.

Итак, наше русское время — особое, время, в котором практически нет текущего настоящего, зато есть пора — тот урочный час, когда всё спорится и кипит. В нашем русском бытии по прошлому мы не тоскуем и им не дорожим, хотя оно и лучше нынешнего, и о будущем не загадываем, ибо боимся прогадать, ведь мы только предполагаем, а располагает Бог. Но мы всегда ждём и рассчитываем на грядущее, ведь **если во времени подождать — у Бога есть что подать**. Наше русское **будет!** пересиливает все мимотекущие невзгоды, оно велит стремиться к тому, о чём предначертано: **будет!** Наши национальные преимущества — терпение и воля — воспитаны русским временем, а решительность вскормлена **бедой**, после которой неизбежна **победа**.

Вдумайтесь, почему мы, русские, стали творцами великой империи, почему мы — государствообразующий народ? В том числе и потому, что мы обладаем такой моделью времени, которая позволяет народу строить великое государство. Мы не держим зла на другие народы, даже если нам пришлось с ними долго воевать, и легко принимаем их в пределы своей страны. Мы не держимся за нажитые богатства и щедро делимся ими с соседями. Потому что мы легко расстаемся с прошлым. Мы терпеливы и неприхотливы в настоящем, потому легко переносим бедствия и невзгоды и берём на себя всё самое тяжкое в строительстве государства, как его становой хребет. Мы любим наше будущее и видим его непременно светлым, свободным от бед и несчастий, и стремимся, чтобы всем народам было рядом с нами хорошо. Народ такого психологического склада с нашей моделью времени способен построить империю. И мы её построили!

Но почему сегодня в русском народе такое разочарование и апатия, почему мы не хотим жить, не боремся за своё будущее? Да потому что светлого будущего у нашего народа нет... У детей нет будущего, нет любимой мечты, которую можно приближать, к которой надо стремиться. А мы не можем жить без будущего. Ведь призыв к обогащению, обращённый к людям среднего возраста, надежда на сытую старость, внушаемая пожилым людям, идея уехать с родной земли и там устроить свою жизнь, которую навязывают молодёжи, — вот всё, что нам предлагают в качестве светлого будущего. А остальных, кто не хочет принимать этих скотских, с русской точки зрения, идей, ждут нищета, беспросветность, безысходность...

Но не падайте духом. Это всё до поры. Наш русский архетип светлого будущего рано или поздно зарядит нацию новой спасительной энергией. И эта взрывная, волевая энергия непременно вырвется наружу. Когда придёт пора, победа будет за нами!

Парламентские выборы в ФРГ прошли в сентябре, а правительство было сформировано лишь под Новый год. Ни одна партия не получила решающего большинства для формирования правительства. Пришлось договариваться о коалиции. Переговоры шли крайне тяжело, что показывает, как напряжена политическая ситуация в крупнейшем государстве Западной Европы. Об атмосфере в Германии накануне и после выборов рассказывает кадровый дипломат Владимир Родин.

ВЛАДИМИР РОДИН

ДЕМОКРАТИЯ, СОГЛАСОВАННАЯ С БИЗНЕСОМ

К итогам выборов в Германии

Монополии на власть не получил никто

Выборы в бундестаг закончились победой консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель (59 лет). Христианские демократы завоевали 41,5% (+ 7,7%) голосов, или 311 из 630 мест в парламенте. СДПГ укрепила свои позиции – 25,7% (+ 2,7%) Левая партия понесла потери, но осталась в бундестаге – 8,6% (– 3,3%). Результат “зелёных” – 8,4% (– 2,3%). СвДП не прошла в бундестаг 4,8% (– 9,8%). Большого успеха добилась созданная всего лишь пять месяцев назад партия евроскептиков – “Альтернатива для Германии”. Она почти преодолела 5% порог, набрав 4,7% голосов.

Победа ХДС/ХСС – безусловно, личный успех канцлера Ангелы Меркель. СМИ не скупались на комплименты: “Любимица Германии”, “Матушка...” Её сравнивали даже с Екатериной Второй. В беседах друзья в Германии говорили мне, что немцы любят стабильность и порядок. В том числе и в семейных отношениях “сильных мира сего”. И в этом отношении Ангела Меркель очень выгодно отличается от некоторых политиков как внутри страны, так и за её пределами. Досужая немецкая пресса не может раскопать ничего скандального в её личной жизни.

“Большинство немцев, – отмечает журнал “Шпигель” (25.09.2013) в специальном номере, посвящённом выборам в бундестаг, – живёт хорошо. Они довольны своим положением. Немцы не очень долго и не очень сильно волновались по поводу того, что за ними шпионят спецслужбы США и что правительство недостаточно решительно противодействует этому”. Правда, во время визита Обамы летом 2013 года в Берлин его встречали плакатами: “Мы можем, мы прослушиваем”. Немцы ёрничают: во время войны в городах Германии висели плакаты, на них – суровая немка с пальцем, прижатым к губам

и надпись: “Враг подслушивает!” – а теперь впору развешивать плакаты: “Друг подслушивает!” Довольно неуклюже американцы пытались оправдаться за ту “свинью”, которую они подложили своему союзнику Ангеле Меркель в канун выборов в бундестаг. Но замаять дело не удалось. В немецкую прессу (“Шпигель” от 27.10.2013) просочились сведения о том, что американские спецслужбы прослушивали с 2002 года все разговоры Меркель по мобильному телефону. Возмущению канцлера не было предела. Франция и Германия заявили, что подобные действия США подрывают к ним доверие со стороны ЕС.

Но на исход выборов эта история не повлияла. Успеху Ангелы Меркель на выборах способствовал, в первую очередь, рост германской экономики за счёт экспорта. Меркель воспользовалась также реформами бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, чтобы снизить – примерно до 2,7% – уровень безработицы в стране. А это сегодня – самый большой вопрос на Западе.

Меркель стремится укрепить влияние ХДС/ХСС среди германского рабочего класса – одного из самых дисциплинированных и квалифицированных в мире.

И если сегодня Германия остаётся локомотивом Европейского Союза, то в этом заслуга её рабочего класса, немецких инженеров, постоянно занятых поисками новых альтернативных источников энергии и т. д.

Меркель старается создать у немцев впечатление, что под её руководством Германия продолжает движение по пути, проложенному в экономике Конрадом Аденауэром. В своё время Аденауэр заявил: “Никаких экспериментов!” Ангела Меркель заявляет в адрес левых сил: “Никаких политических экспериментов!”. Тем самым она предостерегает немцев от угрозы дестабилизации политической, а значит, и экономической обстановки в стране. С другой стороны, она без всяких сантиментов пресекает попытки неолибералов в ХДС/ХСС “пройтись косою по социальным завоеваниям трудящихся”. Меркель очень умело перехватывает требования оппозиции, прежде всего СДПГ, и выдаёт их за свои. Мой берлинский партнёр по прежней работе в структурах правительства Москвы (проблемы миграции) Вольф-Рюдигер Вестфаль прямо сказал мне, что “во многих областях ХДС под руководством Меркель проводит социал-демократическую политику, поэтому у СДПГ не остаётся порой тем для споров с ХДС/ХСС”. Как и на выборах в 2009 году, Ангела Меркель брала на вооружение темы СДПГ и “зелёных” (альтернативные источники энергии, установление минимальной заработной платы), распространяя в обществе настроение – “всё идёт прекрасно и пусть “матушка” продолжает в том же духе”.

В ходе предвыборной борьбы лидеры блока ХДС/ХСС обещали не допустить повышения налогов (пострадает экспорт). Все с нетерпением ждут, сдержит ли новое правительство Германии это обещание.

Касаясь итогов выборов, видный деятель Левой партии Вольфганг Грабовски сообщил следующее: в настоящее время идут переговоры о создании коалиционного правительства. Ангела Меркель может взять в партнёры СДПГ или “зелёных”. Создание “Большой коалиции” – ХДС/ХСС–СДПГ – рискованный проект для социал-демократов, поскольку они уже хватили лиха с подобной коалицией в 2005 году: на следующих выборах 2009 года СДПГ потерпела крупное поражение из-за “соглашательства” с правыми. Лозунги СДПГ – никакой “двуклассовой медицины”, установление минимальной зарплаты, социальная справедливость – некоторые избиратели воспринимали скептически, поскольку Меркель, оперируя такими же требованиями, сумела “украсть у СДПГ ветер из парусов”. В интервью газете *DIE ZEIT* (26.09.2013) министр финансов Вольфганг Шойбле отметил: мы едины в том, что в Германии “надо платить достойную заработную плату. Вопрос в том, кто это регулирует. СДПГ говорит: законодатель, а мы заявляем: тарифные партнёры, поскольку они могут сделать это гибче”. Это – аргумент.

Меркель искусно использовала также тот факт, что по некоторым спорным и важным вопросам – спасения Греции от финансового краха, отказа от атомной энергии – СДПГ и “Зелёные” голосовали вместе с правительством. Грабовски считает: СДПГ в будущем получит шанс, если она вернётся к своим традиционным ценностям. Хотел бы добавить от себя, что под руководством Вилли Брандта СДПГ одерживала в своё время победы на выборах в бундестаг, выдвигая на первый план такие крупные вопросы, как примирение с со-

ветским народом и другими народами, ставшими жертвами нападения со стороны гитлеровской Германии, борьба против реваншизма и милитаризма, гонки вооружений.

Левая партия, — по словам Грабовски, — не тешила себя иллюзиями и не собиралась любой ценой участвовать в правительстве. Потерю партией голосов на выборах её противники трактуют как поражение левых. В какой-то мере это так, поскольку партия набрала на 3,3% голосов меньше, чем на выборах 2009 года. Но четыре года назад партия переживала подъём, эйфорию, поскольку немало бывших сторонников СДПГ и профсоюзов на Западе Германии перешли на сторону левых сил. Но в повседневной работе у левых возникли споры и взаимные оскорбления. Большой потерей для партии стала болезнь одного из самых ярких её лидеров Оскара Лафонтена и его уход из большой политики.

Казалось, что левые вот-вот скатятся в пропасть. Однако, несмотря ледяной встречный ветер, клевету со стороны СМИ, которые смотрели на неё как на политический труп, называли её “чумазым ребёнком нации”, Левая партия завоевала 8,6% голосов.

Партия преодолела внутренние разногласия и сумела выдвинуть на передний план темы, волнующие население: установление — на основе закона — минимальной заработной платы в 10 евро в час, минимальной пенсии в 1050 евро, выравнивание зарплаты между Востоком и Западом, последовательная борьба против использования Бундесвера в военных конфликтах.

“Зелёные” попали на выборах впросак. Они мечтали о том, что катастрофа с атомной электростанцией в Фукусиме поднимет их рейтинг на 20%, но уже в канун выборов у них наметился сильный спад. Они потеряли монополию на защиту окружающей среды и ничего не могли противопоставить опытному министру окружающей среды ХДС. Они требуют повышения налогов и разрабатывают рекомендации немцам для питания в ресторанах. К тому же “зелёные” превратились в партию хорошо зарабатывающих людей. Партия, выступавшая за отказ от применения силы, в защиту мира поддержала использование бундесвера за границей.

Сенсационное поражение потерпела СвДП — партнёр ХДС/ХСС в коалиционном правительстве, сформированном в 2009 году после выборов в бундестаг.

Либералы остались за бортом парламента. По мнению избирателей, либералы уж слишком рьяно лоббировали интересы банков и концернов. ХДС/ХСС были по горло сыты своим союзником и постарались избавиться от него, как от балласта. Поражение СвДП вызвано, не в последнюю очередь, тем, что партия не располагает сегодня руководителями, обладающими харизмой. С грустью там вспоминают о таких тяжеловесах, как Вальтер Шеель, Г.-Д. Геншер. Сможет ли партия выработать новый политический профиль — покажет время.

Неожиданный успех выпал на долю евроскептиков в лице “Альтернативы для Германии”, созданной всего лишь за пять месяцев до выборов. Она набрала 4,7% голосов и едва не прошла в бундестаг. Солидный немецкий еженедельник *DIE ZEIT* (26.09.2013) отмечает, что речь идёт о попытке создать новую партию справа от ХДС. Решающие места в ней заняты “серьёзными профессорами экономики, публицистами и предпринимателями. Они знают, как надо руководить и соблюдать дисциплину. Сам руководитель партии Бернд Луке пользуется большим авторитетом”. Метте Фархат, богатая немка, вступившая в “Альтернативу для Германии”, рассказала мне, что многие немцы поддерживают эту партию, потому что не желают видеть Германию “дойной коровой” для южных стран ЕС. Они должны, мол, сами наводить порядок в экономике. Что же до мигрантов, то немцы хотят брать пример с Канады: “Политическое убежище — да! А остальных отбирать по принципу, нуждается ли в них Германия или нет”.

Живи и давай жить другим?

Ну, хорошо, скажет читатель, “зелёные”, “красные”... А как живут немцы спустя почти четверть века после присоединения ГДР к ФРГ? В июле, то есть за два месяца до выборов в бундестаг, мне удалось побывать во Франкфурте-на-Майне.

Франкфурт – город Гёте. Он родился здесь в 1749 году. В городе 10 театров, 9 музеев, библиотеки, высшие учебные заведения и, прежде всего, Университет имени Иоханна-Вольфганга Гёте. С 1240 года Франкфурт – город ярмарок и бирж. Эти традиции сохранились и по сей день. Здесь сосредоточена финансовая мощь Германии.

Франкфурт был одним из красивейших городов Германии, пока в 1944 году его не разбомбила авиация союзников. Город потерял свой первоначальный облик. Тем не менее, он мне понравился. В нём царит атмосфера спокойствия и благожелательности. В центре Франкфурта – пешеходная зона. Но даже там, где едут автомобили, никаких нареканий со стороны пешеходов нет. Водители и пешеходы не мешают друг другу, но преимущество – у пешеходов. Встаёшь на “зебру” – поток машин останавливается, как вкопанный. А иной водитель тебе ещё рукой сигнализирует: проходите, пожалуйста. Дисциплина на дорогах вызывает восхищение. Один раз я даже остановился, не поверив своим глазам: по дороге едет молодая женщина на велосипеде, в шлеме, как и полагается, а за ней девчушка лет десяти – тоже на велосипеде, в шлеме, а огромный автобус осторожно объезжает их и продолжает свой путь. Вы можете себе представить такую картину в Москве?

С другой стороны, во Франкфурте трудно представить себе типичную московскую сценку: водители, не поделив дорогу, выходят из машин и начинают дубасить друг друга. Полиция в Германии пользуется большим уважением. Бытует даже такое выражение: “Полицейский – твой друг и помощник”. По внешнему виду они отличаются от наших блюстителей порядка: поджарые, натренированные, корректные, но – в случае необходимости – очень жёсткие: с нетрезвыми за рулём и хулиганами не церемонятся.

Не попались мне огромные внедорожники, которые стали у нас “визитной карточкой” каждого уважающего себя “нового русского”. Водители-немцы рассказали мне, что финансовый кризис заставил немцев пересмотреть их отношение к автомобилям. Они покупают теперь машины экономичные, среднего класса, предпочитая механику, а не автоматику. На недавней автомобильной ярмарке во Франкфурте наблюдалась тенденция к созданию автомашин-гибридов, то есть с применением альтернативных источников энергии. Были, конечно, и роскошные авто, но немцы говорили: это для русских, они же богатые.

В городе много велосипедистов. Они гоняют повсюду с большой скоростью. В небольшом парке, куда я зашёл, любители здорового образа жизни носились, как охумелые, поднимая облака пыли.

В хорошем состоянии находится жилой фонд Германии. В маленьких городах можно долго любоваться театральными домиками средневековой постройки... Они содержатся в идеальном порядке самими хозяевами. “Немец любит свой домик”, – сказала мне жена моего давнего друга Анне Шумахер. Её муж организовал в своё время кооператив, чтобы приобрести старинный дом немецкого фабриканта. Так вот, верхний этаж дома – 13 комнат (!) – Ханс Шумахер (редактор журнала) отремонтировал – в одиночку! – с большим вкусом, используя обработанные доски и деревянные балки. Для этого он соорудил в подвале целую столярную мастерскую.

Автор этих строк с грустью вспомнил Щёлковское шоссе и покосившиеся домики по его обочинам.

В аэропорту, магазинах, ресторанах – всюду я встречал хорошее обслуживание. “Der Kunde hat immer recht” – “Клиент всегда прав”, – говорят в Германии.

Зашёл я и в ресторан. Заказал супчик и венский шницель со спаржей. Должен сказать, что обед оказался отменным! Шницель – размером с тарелку! И спаржа таяла во рту! Говорю официанту по-немецки: жаль, что расстояние между Москвой и Франкфуртом столь велико, а то бы стал я у них *Stammgast*’ом – “постоянным посетителем”. Немец улыбнулся и ответил: “Спасибо”. Обед обошёлся мне в 12 с половиной евро. Если с деньгами туго, можно заказать – тут же на площади – кружку пива и пару длинных франкфуртских сосисок. Вот тебе и еда на свежем воздухе. Дёшево и сердито.

Совершил, как и положено, небольшой “шопинг”. И здесь меня ожидало приятное удивление: цены доступные. Купил дочке красивую блузку (чистый лён!) всего за 30 евро. Попробуйте у нас купить такую вещь за 1200 руб. В ФРГ я заметил интересную деталь – широкий разброс цен. Ты можешь купить кос-

твом за 1200 марок, а можешь и за 120 марок – в зависимости от доходов. Но будешь одет чистенько и аккуратно. То же самое и с выбором автомобиля.

“А доходы-то у немцев какие?” – спросит читатель. По данным Министерства финансов Германии, средняя зарплата в 2012 году составила 28 950 евро в год. Самые высокие доходы – у чиновников, а самые низкие – у студентов, безработных, пенсионеров. Разумеется, в Германии есть и крупные проблемы. На первом месте – безработица. Особенно болезненно её воспринимают молодые люди. Но вот что мне однажды сказал редактор одной консервативной газеты: “Безработица – это та цена, которую мы платим за наш высокий жизненный уровень”. Ну, что ж, это мнение имеет право на существование.

Постоянной *головной болью* для немцев остаётся иммиграция. Когда власти Берлина решили этим летом передать пустующие здания в городе мигрантам, то вспыхнул самый настоящий бунт, в организации которого активно участвовали правые экстремисты. Их лозунг: “Подумали бы лучше о немецких пенсионерах!” Сегодня немцы с ужасом наблюдают за возрастающим потоком мигрантом из Северной Африки. Они тонут в Средиземном море, которое становится “кладбищем для мигрантов”, но всё равно стремятся попасть в Европу, а значит – в Германию. А в нашей стране миграция уже воспринимается народом как национальная угроза.

Демократия, согласованная с бизнесом

Своими наблюдениями жизни немцев на примере Франкфурта я поделился с Вольфгангом Грабовски. Складывается впечатление, что Германия не так уж сильно страдает от финансового кризиса, что Ангела Меркель стремится продолжать политику Аденауэра и Эрхарда – “благополучие для всех”. Разумеется, с определёнными купюрами. Грабовски покачал головой. Политика, направленная на создание в ФРГ общества “без обездоленных”, приказала долго жить. Сегодня в Германии около 7 млн человек живёт на грани бедности. Чтобы разобраться в непростой внутривнутриполитической обстановке, Грабовски предложил мне прочитать книжечку Инго Шульце “Наши новые красивые одежды”*. Шульце родился в 1962 году в Дрездене, изучал классическую филологию в Иене, затем работал в Альтенбурге театральным драматургом, с 1993 года живёт в Берлине. Его книги неоднократно отмечались премиями, они переведены на тридцать языков.

Опираясь на факты, Шульце даёт анализ современной модели капитализма в Германии и на Западе в целом. При этом он сравнивает его с королём в известной сказке Андерсена “Голый король”, содержание которой хорошо известно.

В одном из самых известных стихотворений Иозефа Ейхендорфа, пишет Шульце, речь идёт о волшебном слове: “Песня спит во всех вещах, / которые мечтают о том, о сём, / но весь мир запоёт, / если ты волшебное слово найдёшь”.

Таким волшебным словом, расставившим всё по своим местам, стала, по Шульце, фраза, которую как-то обронила Ангела Меркель: “Marktkonforme Demokratie” – “Демократия, согласованная с рынком”. Вот теперь стало ясно, за кем решающее слово, кто определяет политику, – тот, кто даёт деньги! Руководители МВФ заявляют, что предоставляют кредиты тем странам, которые готовы проводить реформы. А какие реформы? Да те, которые выгодны международному капиталу в лице США. Дословно эту мысль повторяет Ангела Меркель: “Мы даём деньги, а вы (Греция) должны проводить реформы”. Греки стонут, выходят на демонстрации, протестуют. А из Берлина слышат голос с металлическими нотками: не проведёте жёстких реформ – не получите кредитов. И в Греции увольняют государственных служащих, квалифицированных управленцев. Уровень безработицы приближается там к 30%.

Шульце приводит интересный эпизод. Как-то он выступал с лекцией в Португалии. Один слушатель задал такой вопрос: “Не считаете ли вы, что с помощью евро и экспорта Германия сегодня добилась больше, чем во время войны с помощью танков?” Шульце ответил, что ров проходит не между Португалией

* “Ingo Schulze. Unsere schönen neuen Kleider”. Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag. München. 2012.

и Германией, а между бедными и богатыми в Европейском Союзе в целом. Украинские политики, взявшие было курс на евроинтеграцию, думали, что свалят свои проблемы на Брюссель, включая согласование цены на российский газ, а сами будут жить, как у Христа за пазухой: галушки начнут прыгать им прямо в рот. А не опасаются ли они, что Украину постигнет судьба Греции?

Далее Шульце высказывает такую мысль: “Даже при Рейгане и Тэтчер широкомасштабный поворот в сторону приватизации и подчинение интересам экономики (читай: бизнеса) практически всех сфер жизни, включая внешнюю политику, которая, само собой, использовала военную силу в качестве средства для достижения своих целей, встречал на своём пути сопротивление, то есть упирался в определённые границы. С падением Берлинской стены и крахом Советского Союза эти границы пропали, а возражения – не говоря уже о сопротивлении – в западных странах тоже таинственным образом исчезли”.

“Экономический рост – вот цель всех политических решений!” – говорят на Западе.

Его должна стимулировать политика. Самый лучший способ – всеобщая приватизация. Меньше государства, больше рынка (так говорят и наши либералы). Чем больше свободы, тем больше благосостояния. Но никто не спросил: свободы для кого? И – свободы от чего? Такие слова, как *капитализм*, *классовая борьба*, *извлечение максимальной прибыли* или *эксплуатация*, высмеиваются, как устаревшие. Их стремятся исключить из употребления, – отмечает Шульце.

Я согласен с Шульце в том, что крах Советского Союза, ГДР, социалистического лагеря Восточной Европы нанёс огромный ущерб развитию мирового сообщества. Люди старшего поколения помнят, как некоторые страны Африки, освободившиеся от колониальной зависимости, вступали на некапиталистический путь развития. Они внимательно присматривались к опыту многопартийной системы, в частности, в ГДР. Теперь у них нет выбора. Альтернатива капитализму Запада как в области внутренней, так и внешней политики исчезла. Хорошо это или плохо? Если нет выбора, то какая же это демократия? При всех недостатках Советского Союза, советская власть высвободила огромную энергию народных масс. У нас были созданы передовая наука, замечательное образование, высокая культура. Советский Союз – по сути дела в одиночку! – разгромил нацистскую Германию – самое мощное в то время в экономическом и военном отношении капиталистическое государство, напавшее на нас. Соревнование двух различных социально-экономических и политических систем на мировой арене приносило немалые выгоды народам и капиталистическим, и социалистическим стран. Ведь экономическое чудо ФРГ родилось в эпоху самого острого противостояния двух систем на немецкой земле. Думая всё время о достижении германского единства, власти ФРГ пошли на серьёзные уступки рабочему классу, чтобы привлечь на свою сторону граждан ГДР. Они даже сделали ряд крупных шагов навстречу социализму. Хороший опыт в социальной сфере был накоплен и в ГДР. Если бы германское единство было достигнуто при сохранении всего положительного, что имелось в то время в обоих германских государствах, то выиграли бы и западные, и восточные немцы. Идею конфедерации вынашивал в своё время и первый руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт. Но власти ФРГ, в частности, канцлер Гельмут Коль, лидер консервативного блока ХДС/ХСС, обошлись с ГДР, как с трофеем, который попал ему в руки по воле “добротного человека из Ставрополя” Михаила Горбачёва. В результате жизненный уровень западных немцев упал, а восточные немцы лишились своих достижений в социальной сфере.

Шульце рассказывает, как готовилось поглощение ГДР. Канцлер Коль решил воспользоваться услугами восточногерманской партии ХДС, и его не смутил тот факт, что эта партия верой и правдой служила социалистической системе. В канун выборов в ГДР Коль бросил клич: “Кто выбирает ХДС – тот выбирает меня”. Его обещанию: “Завтра утром вы будете жить в обществе благосостояния”, – трудно было что-либо противопоставить. Граждане ГДР “клюнули” на приманку – вождьленную *западную марку*. Боннский лозунг звучал так: “Мы оплачиваем всё, и мы решаем всё”. Пришедшие к власти в Восточной Германии в ходе свободных выборов народные избранники “передоверили свои полномочия чиновникам в Бонне”, а те поставили предостережение кредитов “в зависимость от отказа от суверенитета”.

Предвижу возражение читателей: но ведь сами граждане ГДР высказались за германское единство. Вспомним их лозунг: “Мы один народ!” Всё правильно. А что им оставалось делать, когда руководство СССР во главе с Горбачёвым предало идеалы социализма в нашей стране, а значит, предало и первое социалистическое государство на немецкой земле, построенное на этих идеалах?

В нарушение всех договоров, наш самый верный союзник в Европе был брошен Горбачёвым на произвол судьбы. Именно поэтому власти ФРГ так сурово обошлись с руководителями ГДР: некоторые из них оказались в тюрьме.

Введение 1 июля 1990 года западной марки в ГДР означало “смертный приговор восточногерманской промышленности”, — подчёркивает Шульце. Экономический крах был запрограммирован. Зарплата рабочим должна была выплачиваться не в восточных, а в западных марках. И это произошло в тот самый момент, когда всё народное хозяйство ГДР было вброшено на рынок. Нежелательная конкуренция не была допущена в страну. Попытки самостоятельного выживания пресекались административными методами. За счёт восточных немцев, а, в конце концов, за счёт всего населения концерны и банки ФРГ “заработали” миллиарды в ходе приватизации предприятий ГДР.

Новые Восточные земли Германии превратились в регион, на 70–80% лишённый промышленности. “За это, — подводит итог Шульце, — мы расплачиваемся до сих пор”. Западные немцы говорят восточным: “Мы ежегодно даём вам миллиарды, чтобы вы привели в порядок свои дома, дороги и спортивные площадки. Но теперь хватит! Мы сами обеднели от этого”. А восточные немцы в ответ: “Вы забрали у нас все рабочие места, отнимаете всю прибыль, поскольку остались только западные фирмы, а свою продукцию мы видим только в музее”.

— А ведь в ГДР, — отмечает Шульце, — очень много было более разумного, чем мы имеем сегодня. Начать хотя бы с единой трудовой книжки, права на труд, современного семейного права, образцового лечения онкологических заболеваний, заботы о подрастающем поколении.

С нескрываемой горечью Шульце говорит о том, что “времена демократии, когда деньги и размер собственности едва ли играли существенную роль, когда было возможно — хотя и непросто и, зачастую, не без сопротивления — выбирать на предприятиях, в школах, университетах или театрах тех людей, которых желали видеть в качестве нового шефа, — эти времена прошли”.

Интересно то, что в такой демократической и свободной стране, как ФРГ, в настоящее время стараются задушить в зародыше всякую дискуссию на тему о различных социально-экономических моделях общества. Шульце цитирует заявление президента ФРГ Иохима Гаука: нет никаких оснований для попыток “начать дискуссию относительно новых вариантов антикапитализма”. А почему, собственно говоря?

Да, граждане ГДР требовали свободы и демократии осенью 1989 года. Но не было ни одного плаката, ни одного требования отменить право на труд! “Почему свобода и демократия невозможны в сочетании с общественной ответственностью на средства производства? — спрашивает Шульце. — Ведь работает же успешно предприятие *Zeiss-Jena*” — бывшее предприятие ГДР?

Какие же тенденции наблюдаются сегодня в Германии, спустя 23 года после присоединения ГДР к ФРГ? “За последние десять лет реальная зарплата уменьшилась на 2%. 10% населения владеют 2/3 всего состояния в Германии, а более бедная половина немецкого населения (примерно 35 млн человек) владела в 2007 году лишь 1,4% всего состояния — меньше, чем десять самых богатых немцев в том же году. И эта тенденция продолжается”, — подчёркивает Шульце. Согласно социологическим опросам, каждый шестой ребёнок в Германии живёт в бедности. . .

Подчинение общества законам рынка ведёт к снижению уровня культуры, образования, здравоохранения. Библиотеки не приносят прибыли, поэтому расходы на их содержание урезаются... Знакомая картина.

“Мы уже привыкли к тому, — отмечает Шульце, — что почти во всех общественных сферах, неважно — где: на уровне федерации, земель или коммун, — бюджет ежегодно сокращается. Всё меньше денег выделяется на общественные нужды. И это происходит на фоне последовательного роста ВВП, за исключением нескольких лет”.

Шульце вскрывает механизм влияния бизнеса на политику. Своих представителей предприниматели отдают как бы “взаймы” федеральным министерствам, где они трудятся как чиновники, но зарплату получают в концернах и объединениях. “Они разрабатывают проекты законов (!), которые должны, собственно говоря, регулировать деятельность их предприятий”. Сегодня более 100 представителей концернов трудятся в федеральных министерствах. Но есть и встречное движение. 12 чиновников прошли краткий курс повышения квалификации на предприятиях “свободной экономики”.

Выход из создавшейся ситуации в Германии, да и в других капиталистических странах, Шульце видит в том, чтобы демократию “с головы поставить на ноги”. Он предлагает такую концепцию: “*Demokratiekonforme Markte*” – “Рынки, согласованные с демократией”. На таком рынке, подчинённом интересам общества, не разрешалась бы, к примеру, спекуляция на продуктах питания. Это позволило бы потребовать от промышленности соблюдения социальных, моральных и экологических норм. Но для этого необходима политика, которая не подчиняла бы все решения экономическому росту.

Мне кажется, что соображения Шульце – очень хорошая информация для размышления российским политикам, определяющим сегодня судьбы нашей страны. В борьбе с проблемами, которые возникают у нас сегодня в сфере образования, науки, культуры, надо использовать новейшие наработки западных левых, так же как и опыт Советского Союза. Нельзя прибыль ставить выше науки, культуры, образования, медицины.

А ленинградские блокадники тоже должны покаяться?

В июле 2013 года Россия отметила 70-летие самого крупного и ожесточённого сражения Второй мировой войны – битвы на Курской дуге, где потерпела окончательный крах идефикс Гитлера: разгромить вооружённые силы СССР, а его народы частично истребить как “неполноценных”, частично превратить в рабов немцев – “расы господ”. Мы отметили эту дату без гордыни, без злопыхательства. Спокойно рассказали о том, что имели дело с очень сильным противником, самой мощной военной машиной в мире. Поведали молодому поколению, какой храбростью и силой духа должны были обладать советские солдаты, чтобы справиться с вышколенными дивизиями Манштейна, Гудериана и других маршалов Германии, не потерпевших до нападения на нашу страну ни одного поражения! И буквально в то же время – 18 июля 2013 года – в Берлине выступил президент Германии Иоахим Гаук с резкой критикой в адрес Владимира Путина и России в целом. Он, частности, призвал “россиян почувствовать стыд и раскаяние, когда они занимаются вопросами прошлого, связанного с коммунистической диктатурой”. Россия, по мнению бывшего уполномоченного по архивам Штази, “должна (!) при осмыслении и преодолении своего прошлого ориентироваться на пример Германии” (“Шпигель” 18.06.2013). Выступление Гаука вызвало критику со стороны СМИ: “Может ли немецкий президент выступать с такого рода поучениями? Это было разрушением табу” (“Шпигель” 18.06.2013). Когда Ваш покорный слуга рассказал друзьям в Москве о выступлении президента Германии, они решили задать германскому лидеру такой вопрос: “А ленинградские блокадники, которых нацисты хотели уморить голодом, тоже должны почувствовать стыд и раскаяние?”

Схоластический разговор на тему Гитлер–Сталин длится уже давно. Толку от него мало. Мне кажется, разумнее было бы извлечь уроки из нашей общей трагической истории, чтобы человечество вновь не наступило на те же грабли. А такая опасность сегодня вполне реальна. Хотелось бы напомнить некоторым ястребам на Западе следующее:

1. В результате разгрома нацистской Германии была в пух и прах разбита расовая теория Гитлера – превосходство германской расы господ над остальными народами, в частности, над славянами–“недочеловеками”. Но именно русские – в братском союзе с другими народами Советского Союза – оказались сильнее духом и победили “расу господ”. Этот факт вынужден был сквозь зубы признать Гитлер в своём завещании.

2. Потерпела полный провал ставка Гитлера на обожествление войны как “главного дела для настоящих мужчин”, как средства для достижения внешнеполитических целей.

3. Попраание нацистами моральных и нравственных ценностей с целью превращения немецкого народа в послушного исполнителя преступной политики имело самые негативные последствия, в том числе и для самих немцев. “Если человек выбирает зло, то душа его погибает, и он превращается в животное”, – говорит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Гитлеру удалось отравить сознание целого поколения немцев. “Я освобожу вас от химеры, которая называется совестью”, – заявлял фюрер, обращаясь к молодёжи. С ключем: “Русский должен умереть, чтобы жили мы”, – немцы вторглись на русскую землю. Они выбрали зло и поплатились за это.

Большую опасность, на мой взгляд, представляет русофобия, которая распространяется сегодня в Прибалтике, Польше, на Украине. Она мало чем отличается от нацистской пропаганды ненависти к другим народам.

4. Во время нападения на СССР и в ходе войны нацистская Германия растоптала все принципы международного права, все законы ведения войны. Немцы без суда и следствия расстреливали советских политработников (“Приказ о комиссарах”), миллионы советских военнопленных были буквально истреблены нацистами (а Сталин вернул домой немецких военнопленных, что они и оценили по достоинству).

Советский народ разгромил нацизм не только в военном, но и в идеологическом плане. Сегодня немцы много и охотно рассуждают о фактах насилия и мародёрства со стороны отдельных советских солдат, которых, к слову, расстреливали на месте за такие преступления. Но они не имеют ни малейшего понятия о том, что бы с ними произошло, если бы Сталин поступил с немцами так же, как фюрер обращался с советскими людьми! Буквально с первых дней подлого, вероломного нападения Гитлера на Советский Союз Сталин начал разрабатывать концепцию послевоенного примирения с немецким народом, налаживания с ним дружбы и сотрудничества в борьбе за установление прочного мира и безопасности на европейском континенте. В критические дни, когда враг стоял у ворот Москвы, Сталин в своей речи на параде войск 7 ноября 1941 года возложил на советских воинов миссию освобождения народов Европы и самого немецкого народа от фашизма. При этом Сталин прекрасно понимал, что преступления немцев на оккупированной территории СССР могут вызвать гнев и ярость в сердцах наших солдат.

И его опасения имели под собой основания.

В ходе войны наши писатели и журналисты информировали народ о бесчинствах фашистов на нашей земле. Вольно или невольно эти очерки и репортажи способствовали росту вражды и ненависти к немцам в целом. Особенно этим отличался Илья Эренбург. (Отец моего друга Руслана Карсанова – генерал Казбек Карсанов, герой осетинского народа и Герой Советского Союза – рассказывал ему, что во время подготовки к Параду Победы 24 июня 1945 года в Москве возникла проблема: никто из солдат не хотел брать в руки фашистские знамёна, чтобы бросить их на землю у стен Кремля. Пришлось отрядить на эту операцию роту сотрудников МВД в чёрных перчатках).

Сталин вовремя заметил эти настроения и начал большую разъяснительную работу по исправлению допущенных перегибов. Ярким примером тому служит “Приказ народного комиссара обороны СССР” от 23 февраля 1942 года. Это был не только военный приказ, а идеологическое обоснование, директива советским воинам в их борьбе с нацистами. Это был ответ Сталина на бредовые идеи Гитлера в его книге “Майн Кампф”. Из этого приказа широкой публике у нас известны лишь слова: “Опыт истории говорит, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, государство германское остаётся”. А в этом приказе Сталин развенчивает расовые теории Гитлера. “Сила Красной Армии, – подчёркивает он, – состоит, наконец, в том, что у неё нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов”. Расовая теория немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии. Теория расового равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза.

В книге “9 мая 1945 года” генерал-лейтенант Н. А. Антипенко подробно рассказывает о том, как в 1945 году тыловые службы Советской Армии спасали от голода мирное население Берлина. 9 мая 1945 года в Берлин прибыли

зам. Председателя СНК СССР А. И. Микоян и начальник тыла Красной Армии генерал А. В. Хрулёв. Они привезли решение Советского правительства об организации помощи населению Берлина, о снабжении его продовольствием. Была проделана большая организационная работа, завезено продовольствие, отпечатаны карточки. Детям стали регулярно выдавать молоко. “Прослышав, что советское командование никакие расправ не учиняет, а наоборот, намеревается кормить жителей Берлина, сюда, со всех концов Германии устремились нескончаемые вереницы мужчин, женщин и детей”, — отмечал генерал Антипенко.

Навстречу 70-й годовщине Победы над германским фашизмом

С новым правительством Ангелы Меркель мы будем отмечать эту знаменательную дату — самый светлый праздник в нашей истории. Автор этих строк беседовал с немецкими друзьями в Германии о том, каким содержанием мы должны наполнить это событие. Маститый журналист Рихард Кислер говорил мне, что эту дату надо отметить “*mit dem Blick auf Zukunft*” — “с взглядом в будущее”. Можно было бы обсудить крупные вопросы современной политики, с упором на укрепление принципов международного права, роли ООН в сохранении мира и предотвращения военных конфликтов. Что же до двусторонних отношений Германия–Россия, то не следует предъявлять друг другу “перечень взаимных болей... и обид”. Желательно проанализировать состояние отношений Россия — Западная Европа и постараться понять, в чём причина того, что “имидж России в Западной Европе хуже, чем он есть на самом деле”. И не надо поучать друг друга. Вынести на передний план всё позитивное, что было достигнуто в отношениях России с Германией и ЕС в целом: в развитии экономических, научно-технических, культурных связей и контактов между людьми и посмотреть, “где жмёт ботинок”.

Автор этих строк надеется, что хотя бы к этой дате будет сделан ещё один важный шаг к примирению: достигнуто соглашение о безвизовом сообщении между Россией и Германией.

ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

СТО ТЫСЯЧ КОРОЛЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ ДВА ГОСУДАРСТВА

В последнее время на белорусских просторах, особенно в кругах интеллигенции, стало модным искать “благородные корни” в родословных. Недавно один минский актёр, фамилию которого хорошо знают и российские театралы, и кинозрители, заявил, что происходит из польских князей. Ему, правда, никто не подсказал, что княжеских фамилий у любого народа было раз, два — и обчёлся. Ну, да ладно, актёр всё-таки популярный. Современный белорусский поэт, кстати, весьма хороший, который всю жизнь подчёркивал, что ведёт свою родословную от хлебобобовских деданок, поэтому, по его же стихотворному признанию, даже по городу ходит, нагнув голову, словно за плугом, притом всегда шагает осторожно, будто идёт по лугу и боится наступить на птичье гнёздышко, тоже вдруг стал утверждать, что нужно “возродить шляхту”. Похоже, забыл ветеран литературы, что ходить бы ему всю жизнь как раз за плугом, а не извлекать звуки из лиры Аполлона, если бы, как и в давние времена, всем продолжала заправлять шляхта — не дружил ведь “бархатник” с пахотником. Впрочем, только ли тогда! Вот уже и в наши дни в некоторых сегментах политического лексикона запестрели словечки из шляхетского обихода: “быдло”, “болото”, “быдлятина”, “хамский народ”. Правда, с добавлениями, относящимися уже к новейшему времени, — “колхозники”, “совки”.

Уже возникли и соответствующие объединения по признаку древности крови. Даже спор обозначился, кто старше: шляхта Речи Посполитой или русские дворяне? Где найдёшь таких шляхтичей, которые бы не спорили с русскими! И наследники шляхты, конечно же, утверждают, что их сословие древнее на целых триста лет и, конечно же, лучше русского дворянства, даже понятие благородство в польском языке обозначается как “шляхетность”. Правда, в белорусском, как и в русском языке, слово “шляхтич”, а тем более “шляхтук” имеет заметно выраженный ироничный оттенок и подразумевает, как правило, тех, кто непомерно задирает нос. Эта ироничность имеет, скорее, охладительный характер: мол, умерь свой пыл, человек, но иногда и осудительный, если кто-то и вовсе не способен посмотреть на себя со стороны, однако сами носители “шляхетности”, как правило, остаются уверенными в своей правоте и действуют чаще всего с неубывающей настырностью.

Минувшим летом по одному из минских телеканалов был показан фильм “Белорусская шляхта: от раздела до разбора”. Под разделом подразумевается расчленение Речи Посполитой, совершённое Австрией, Пруссией и Россией в конце XVIII века, а разбор — это то, что произошло через несколько десятилетий после раздела, когда шляхте, оказавшейся в Российской империи,

было предложено предъявить документы, подтверждающие её принадлежность к данному сословию. Фильм любопытен двумя нюансами. В первой его части устами молодых историков и известного театрального режиссёра говорилось о благородстве самого сословия, о том, что главным для тех, кто принадлежал к нему, было представление о чести, которое столетиями передавалось из поколения в поколение и являлось основным достоянием шляхтича. Плюс золотая вольность и равенство, господствовавшее в этом сословии, согласно которому любой шляхтич мог быть избран королём. Современный польский историк Януш Тазбир в интервью журналу “Новая Польша” заключил, что именно убеждение в абсолютном равенстве стало главной причиной избрания на польский королевский трон иностранцев, так как “магнаты не могли прийти к согласию, какой из знатных родов достоин сесть на престол”, поскольку “каждому из этих магнатов грезилась корона”. Потому и “выбирали преимущественно иноземного короля, веря, что будет легче опутать его новыми ограничениями”. Более того, шляхта, подчёркивает Януш Тазбир, уже в XVI веке “считала себя самым совершенным слоем нации, а поляков – принадлежащими к ведущим народам Европы – вершиной вершин”, её мегаломания – самовлюблённость – “достигала заоблачных высот”. Ещё в XVII столетии писатель-францисканец Войцех Демболенцкий, говоря о рае, утверждал, что “там тоже говорили по-польски”. Два столетия спустя всё это вылилось в теорию о польском мессианстве, главными “двигателями” которой были сокурсники по Виленскому университету философ-мистик Анджей Товяньский, основавший в Париже секту “Круг Божьего дела”, а также выдающийся польский поэт Адам Мицкевич, в жилах которого, кстати, не было ни капли польской крови. Согласно этой концепции Польша – единственная католическая и единственная христианская страна, и она должна искупить грехи всего человечества. Теперь о своей избранности поляки узнают чаще всего именно со слов Мицкевича, из его “Книг польского народа и польского пилигримства”.

В том телефильме театральный режиссёр особо подчёркивал, что шляхтич был европейским человеком, рыцарем с именем и достоинством, а основной его обязанностью было служение королю и государству. Разумеется, когда речь заходит о белорусской шляхте, надо понимать, что белорусской её стали называть сейчас, потому что она обреталась на территории, которая нынче входит в границы Республики Беларусь. Сама же она к белорусам себя вряд ли относилась, а попытки сделать это, скорее всего, приняла бы за оскорбление, поскольку, можно не сомневаться, идентифицировала себя с “ведущим народом Европы”, хотя и вела свою родословную от русичей и поначалу называлась боярством, а также от литовцев, евреев, татар и других народов, которые здесь проживали. Но вот вторая часть фильма была посвящена рассказу о том, как шляхтичи, для которых, как только что утверждалось, самым главным было чувство чести, оказывается, поголовно занимались подделкой документов, подтверждающих благородное их происхождение и, надо полагать, право на столь ревностное отношение к чести. Таких бумаг от них потребовал императорский указ, последовавший после польского восстания 1830–1831 годов, запустивший процесс “разбора”. При этом авторы фильма утверждали, что подделкой документов занимались буквально все, потому что если кто и не подделывал сам, то знал, кто это делает. Более того, столицей подделки был назван Минск, где возник настоящий синдикат, именно так сказано в фильме, во главе которого стоял Викентий Дунин-Марцинкевич, который и ныне почитается как один из основоположников белорусской драматургии. Его пьеса “Пинская шляхта” стала белорусской классикой, и белорусу без неё уже невозможно представить национальную литературу. Достоинства этого водевиля подтверждаются и тем, что он поныне находится в репертуаре многих трупп, в том числе Национального академического театра имени Янки Купалы, а в 2013 году её сценическая версия удостоена Государственной премии Республики Беларусь.

Создатели фильма отметили, что Дунин-Марцинкевич писал её на основе хорошего знания материала и ситуации, правда, писал уже в тюрьме, куда попал за подделку документов, которая зачастую состояла в том, что нужно было написать соответствующие данные в архивные документы или “пополнить” архивы “нужным документом”. Был бы только доступ к архиву. Особенно отличился в те годы минский чиновник Гаусман, который на этом заработал на дом в Минске и имение в окрестностях Минска. При обыске у него была

найдена целая коллекция печатей, наличие которой он объяснил тем, что очень интересуется античностью. Подделкой документов занимались не только в Минске, но и в Гродно, в могилёвском дворянском собрании, и бороться с таким явлением было невозможно, поскольку служащими государственных учреждений являлись тоже шляхтичи или люди, претендовавшие на шляхетство. Проверка, проведённая в 1852 году государственным чиновником Спрогисом, показала, что бумаги, представленные в имперскую герольдию на подтверждение дворянского происхождения, были на сто процентов фальшивыми. Впрочем, кое-кто утверждал, что один процент документов можно было отнести всё-таки к настоящим.

Шляхты в Речи Посполитой было много. Если в Российской империи численность дворянства не превышала и одного процента населения, что подтвердила перепись 1897 года, то в Речи Посполитой – до десяти процентов подданных, а в отдельных регионах – значительно больше. Некоторые исследователи утверждают, что кое-где к шляхте себя относил не менее половины обывателей. В упомянутом фильме говорится, что самодержавие настойчиво стремилось к уничтожению шляхты не только потому, что после разделов её “притекло” с избытком, но больше всего потому, что она “имела достоинство”, постоянно бунтовала, и в этой ситуации подделка документов стала главным средством борьбы с властями, стремящимися к ущемлению “золотых вольностей”.

Разумеется, ограничение вольностей имело место быть, было и понуждение к выполнению конкретных обязанностей, однако статистика тех лет напоминает, что в конце XIX века, уже после “разборов”, выходцы из Речи Посполитой составляли примерно треть российского дворянства – даже несколько больше, чем собственно русские.

Однако в данном случае резонно сосредоточиться на двух моментах. Во-первых, из-за чего все-таки пала Речь Посполитая, в которой главную роль играли люди, выше всех ставившие честь и достоинство, у которых “был только один долг: выступать в поход, защищать Родину, изгонять врага со своей родной земли”? Ведь утверждается, что “шляхта” происходит от немецкого schlagen – “бить”, а дословный перевод – “люди сражения, вояки, воины”. А поскольку Речь Посполитая, в которую входило Польское королевство и Великое княжество Литовское, Русское и Жмудское, управлялась и защищалась именно такими людьми да ещё и была самым крупным государством в Европе, то вопрос: “Почему случился упадок, а затем и исчезновение, и только ли кровавадные соседи виноваты в её разделах?” – приобретает особую значимость. Во-вторых, весьма интересно, откуда у многовековых приверженцев чести взяли “навыки” для создания целого “синдиката” фальсификаторов? В этой связи придётся обратиться к иным источникам.

Для начала приведём цитату, пусть пространная, зато весьма красноречивая. Вот они: “Кто не верит, может проверить, что Адам Смит в самом деле именно так написал о государстве наших предков: “В Польше, насколько нам известно, не производится ничего, за исключением простейших вещей, необходимых для домашнего хозяйства, которые производятся везде”. И далее: “Главной причиной, из-за которой давняя Речь Посполитая вынуждена была пасть, ...даже если бы якобинцы (французские. – **Авт.**) не подталкивали к принятию угрожающей российским интересам конституции и даже если бы польская политическая система не была целиком парализована “либерум вето”, была шляхетская анархия и магнатское самовольство... Речь Посполитая Обоих Народов была редким примером полной непродуктивности и невероятного растраниживания огромных ресурсов. Её хозяйственная деятельность ограничивалась продажей на запад плодов земли и природы. Единственным известным нашим предкам методом максимализации прибыли было всё более усиливающееся обдирание крестьян – даже до уровня, означającego заталкивание их в нечеловеческую нищету и отсталость, а также всё более грабительская эксплуатация лесов”.

Дальше – ещё резче: “Жители менее благословенных Господом стран вынуждены были заниматься торговлей, ремеслами, судоходством, комбинациями, создавать мануфактуры и банки, придумывать фонды, чеки, облигации. Поляки же всё то, что само не выросло в поле, покупали, пока хватало средств, притом покупали в наилучшем виде и со временем всё больше утверждались в убеждении, что всякий труд позорит, что нахождение в доме ка-

кого-нибудь изделия, произведённого в собственной стране, — это попросту последнее дело. Для торговли был еврей, кухней и опекой детей занимался француз, стекло должно было быть голландским, ружьё — английским. Трудно себе представить что-то более паразитическое и непродуктивное, нежели Речь Посполитая Обоих Народов. Стоит ли удивляться, что однажды Бог посмотрел на неё сверху и решил: пора с этим кончать”. Для большей убедительности автор сослался на авторитетных в нынешней Польше учёных: “Искренне советую книгу Ежи Лоека о Конституции 3 Мая; книгу, которую он не смог целиком издать при жизни не столько из-за политической цензуры, сколько из-за того, что сформулированные в ней тезисы, неопровержимо подтверждённые документами и трудами западных историков, превращают в ничто бессмысленно лелеянное в Польше представление, согласно которому раздели были результатом насилия, которому нечего было противопоставить...”.

В то же время он напомнил, что Польша “не была единственной страной, против которой ополчились соседи”. И привёл пример: незадолго до разделов Речи Посполитой Австрия, Франция, Англия, Россия, а также Саксония и Бавария, которые тогда ещё были самостоятельными государствами, на конференции в Версале решили разделить быстро крепнущую Пруссию, которая угрожала тогдашним порядкам в Европе: “Порезали имущество Старого Фрица на куски: часть — для Австрии, часть — для Франции, часть — для России, куски поменьше — для Баварии и Саксонии, а парочку портов — для Англии”. Простое сложение потенциала этих стран, замечает автор, показывало, что защититься Пруссия не сможет, тем не менее, Пруссия устояла. Каким образом? Довольно просто. Когда происходили разделы Речи Посполитой, а они длились больше двух десятков лет, одни из её высоких представителей во главе с жалостливым королём подписывали эти разделы, другие публично рыдали об утрате независимости, рвали на голове волосы, третьи с криком бросались поперёк сеймовых дверей и сходили с ума от воплей “топчите меня, а не державу”. А вот в Берлине “никто не плакал и не бил в колокола кирх. Старый Фриц — король — объявил мобилизацию, собрал армию, молниеносно ударил по Австрии, сразу же сбив с неё спесь, затем по России. И, воюя семь лет, убедил европейских монархов, что если попытаться что-то забрать у Пруссии, то будет очень больно”.

Справедливости ради уточним, что Старому Фрицу в той войне, которая длилась семь лет и была названа Семилетней, тоже пришлось отнюдь не просто. Коалиция Австрии, России и Франции, которую Фридрих называл союзом трёх баб, поскольку австрийской императрицей была Мария-Терезия, российской — Елизавета, а французскую политику во многом определяла фаворитка короля Людовика XV госпожа Помпадур, была довольно сильной, самого Фридриха считала выскочкой и взялась за Пруссию не на шутку. Судьба Пруссии висела на волоске, в Кёнигсберг императрицей уже назначались русские генерал-губернаторы, одним из которых был отец генералиссимуса А. В. Суворова, генерал-аншеф В. И. Суворов, жители Восточной Пруссии, включая знаменитого философа Иммануила Канта, принесли присягу на верность русской короне. И кто знает, какими путями пошла бы германская и европейская история, если бы не смерть Елизаветы Петровны, которая заявляла, что намерена вести войну до победного конца, даже если бы ей для этого пришлось продать половину своих платьев. Оказавшийся после неё на российском троне Петр III, для которого Фридрих был кумиром, заключил с ним мир и вернул всё, завоеванное русскими солдатами. Однако процитированный польский автор был абсолютно прав в том, что Фридрих очень старался “сделать больно” своим недоброжелателям.

Рафал Земкевич, о книге которого “Поляцтво” в данном случае идёт речь, — известный в нынешней Польше публицист и отнюдь не полонофоб. Скорее, наоборот, он является горячим польским патриотом, искренне болеющим за свою родину, но призывает соотечественников критичнее посмотреть на историю родного государства, как бы просит земляков снять розовые очки, открыть “покрыты негой взоры” и убедиться, что не всё в национальной истории было красиво, а тем более логично. Временами он умышленно эпатарует читателя нелецеприятными суждениями, потому в книге досталось всем: живым и мёртвым, ушедшим и нынешним временам, богатым и бедным, знатным и не очень, первой, и второй, и третьей, и даже четвёртой Речи Посполитой, строительство которой провозглашал погибший в авиакатаст-

рофе в апреле 2010 года польский президент Лех Качиньский. Следуя этому эпатажному подходу, Земкевич одобрительно высказался по адресу только трёх человек: о Папе Римском Иоанне-Павле II, своём собственном папе и своей маме, а из государств симпатию проявил лишь к Соединённым Штатам Америки и Эстонии: США для него – образец демократии, Эстония – пример успешного развития молодых государств. Россию, как и положено поляку, Земкевич не любит. Он, как и большинство его соотечественников, тоже считает её основным виновником польских бед, но и к сородичам подчёркнуто критичен, саркастически констатируя, что по отношению к кацапам “средний поляк излучает безграничное чувство цивилизационного превосходства”, компенсируя, таким образом, свой комплекс неполноценности, который, “в свою очередь, имеет по отношению к Западу”. На Беларусь тоже смотрит свысока, как на территорию нищеты и отсталости. Для него, похоже, граница цивилизации проходит по Западному Бугу, как когда-то для французов – по Рейну, а для англичан – по Ла-Маншу. Но не в этом всё-таки основное содержание книги. Автор искренне болеет за Польшу, за ту, которая была когда-то, которая есть теперь, которая – историческая и нынешняя – живёт в его понимании, потому яростно бичует тех, кто приводил её к упадку раньше и мешает развиваться сейчас. Вот одна из характеристик: “Вся наша история в миниатюре: грозим бунчушно, что не отдадим даже пуговицы, а потом остаёмся все без одежд”. И снова приводит болезненный пример: по сравнению с Пруссией, Речь Посполитая Обоих Народов была огромным государством. У Пруссии не хватало людей даже для того, чтобы сформировать нужную для своей же защиты армию. “Так из кого же они её сформировали?” – задаётся вопросом Земкевич. И сам же отвечает: “Из поляков”. И даже деньги на армию пруссаки выжимали из поляков, которые своему королю налоги платить не хотели. Целые полки тогдашней прусской армии “состояли из поляков, которые, кстати, служили в ней весьма жертвенно, поскольку прусский офицер не любил шуток, неповиновения, собраний, за несубординацию от него можно было получить гауптвахту или даже пулю в лоб”.

И ещё одна цитата на ту же тему: “Когда уже после катастрофы (раздела Речи Посполитой. – **Авт.**), генерал Домбровский, о котором теперь мы поём в нашем национальном гимне, прибыл в Италию формировать легионы из польских пленных и дезертиров, в австрийской армии, только в той её части, которая действовала на итальянском военном театре, служило 150 тысяч поляков. Сто пятьдесят тысяч! Свободная Польша никогда не могла выставить даже третьей части той цифры солдат, а ведь Австрия в ряду трёх оккупантов поживилась самым меньшим куском”. Рассуждая о польской истории, Рафал Земкевич приводит массу примеров, которые приходится воспринимать по принципу “против факта не попрёшь”. И главными виновниками упадка первой Речи Посполитой Земкевич уверенно называет тех, кто являлся основной политической силой государства – аристократию и шляхту. Давняя Речь Посполитая была страной невероятной безнаказанности, говорит он. За редчайшим исключением, в ней не был повешен ни один предатель, ни один Радзивилл.

Речь идёт, надо полагать, о Януше и Богуславе Радзивиллах, один из которых заключал договор со шведским королём об отрыве ВКЛ от Польши и присоединении княжества к Швеции, второй подписывал многосторонний пакт о демонтаже всей Речи Посполитой. Но, возможно, и о вице-канцлере, говоря по-нынешнему, вице-премьере Иерониме Радзеевском, который известен нынешней Польше как политический авантюрист, сотрудничавший и с Богданом Хмельницким, и со шведским королём Карлом X Густавом, но, тем не менее, жизнь закончивший посланником Речи Посполитой в Турции. А настоящим символом безнаказанности и самовольства автор называет Самуэля Лаца, который, решив показать, что плевать ему на суды и трибуналы, приказал сшить себе одежду из пергаментов, на которых теми судами и трибуналами были написаны осуждающие его решения, и в таком виде явился на бал. Да ещё и высказывал сожаление, что одежда получилась коротковатой, поскольку приговоров оказалось меньше, чем нужно было для пошива длинной. Белорусский историк М. В. Довнар-Запольский, уточнял, что тех приговоров было 373, из которых 236 предусматривали изгнание Лаца из страны, 37 – лишение чести и гражданских прав, так как “коронный стражник, то есть блюститель порядка в пограничных областях, известный Самуил Лац производил беспрестанные наезды на шляхетские имения, убивал людей, обрезывал

вал носы, уши и вообще неистовствовал, как хотел”, тем не менее, он “не только не уехал из государства, но и продолжал нести свои государственные обязанности”. А ещё был вор и аферист Адам Понинский, который, являясь подскарбием – министром финансов – самого короля Станислава Августа Понятовского, – “грабил государство сотнями способов, собирал дань и взятки, продавал ордена, должности, военные звания – всё, что кто-то мог купить”, а также “без тени смущения брал деньги и у Берлина и у Кремля”. После того, как его с большим трудом всё-таки осудил сам Великий сейм на конфискацию имущества, Понинский отъехал немного от Варшавы и закатил бал, на который пригласил весь высший свет государства, стоявший за приговором. И никто из приглашённых сановников не отказался, все прибыли, чтобы пить шампанское и “брататься с архивором”. Рассказ об этом случае Рафал Земкевич завершил ссылкой на историческое эссе земляка Станислава Козьмяна “Безнаказанность”, который утверждал, что безнаказанность была основой жизни в давнишней Польше и привела к падению государства, ибо для общественного строя нет загнивания более опасного, чем “отсутствие кары за зло”.

А как же искусства, мануфактуры, о которых столь часто сейчас у нас говорится? Они тоже были в Речи Посполитой. Если брать её восточную часть, которой и было Великое Княжество Литовское, а нынче это Беларусь и Литва, то в Несвиже, Слуцке, Слониме, Ружанах, Гродно в имениях аристократов были крепостные театры, оркестры, оперные, балетные, драматические труппы. Выписанные из-за границы мастера для увеселения господ ставили оперы, балеты, случалось, превосходившие по качеству западноевропейские. Основывались придворные типографии в Несвиже, Гродно, Слониме. На мануфактурах, бывало, производились настоящие произведения искусства: пояса – в Слуцке, гобелены – в Кореличах, посуда и зеркала – в Налибоках и Уречье, добротные ткани – в Гродно и Ружанах. Много делалось с невиданным размахом. На сцене дворцового театра Огинских в Слониме хватало места даже для кавалерийских атак, возможна была постановка водных феерий, во время которых часть сцены затоплялась водой из соседнего пруда; на ней были фонтаны, плавали настоящие лодки, как вспоминали современники магнатов. Слоним называли “полесскими Афинами”. Театр в резиденции князей Радзивиллов в Несвиже вмещал две тысячи зрителей и имел лучшее по тем временам сценическое оснащение. Но у тех же Огинских крестьяне пухли с голоду. Российский поэт и сенатор Гавриил Романович Державин, которого в 1800 году царь послал в Витебскую губернию разбирать жалобу местных крестьян, с откровенной болью писал о том, что он увидел: от плохого питания “все вокруг вялые, худые и бледные, как мертвецы. Сравнивая их с самыми бедными великорусскими крестьянами, я без сомнения сказал бы, что они находятся в самом жалостном состоянии и терпят такой голод, какой скоро их уморит и которого при этом вряд ли найдутся средства избежать, если судить по тому, что нигде... нет никакого хлеба, а также скота и птицы”. Известный белорусский учёный профессор Адам Мальдис пишет, что тогда Гавриил Романович распорядился, чтобы господа часть своего хлеба передали крестьянам, а “у одного из Огинских, который совсем не заботился о своих крестьянах, Державин даже взял под опеку имения”. Тот “один из Огинских” был близким родственником знаменитого композитора Михаила Клеофаса Огинского – автора известного всему миру полонеза “Прощание с Родной”, имя его сейчас носит музыкальное училище в Молодечно. Кстати, Державину тогда могло не поздоровиться. Мальдис напоминает, что местные помещики накатали на проверяющего донос в Петербург, в котором утверждали, что своими действиями сенатор Державин “может поднять крестьян на панов”.

Да, Урсула Радзивилл, Антоний Тизенгауз, Иоахим Хрептович, Михаил Огинский, которые занимались искусствами, историей, мануфактурами, были, но они, скорее, исключение из общего правила, нежели само правило. К XVIII веку, пишет профессор Мальдис в книге “Выбранае” (“Избранное”), вышедшей в 2007 году в серии “Беларускі кнігазбор”, “выразительно обозначается физическое и моральное вырождение магнатства”. Всё чаще проявляются “психические расстройства, маньячество, садизм, распущенность. В XVII столетии магнаты ещё брали в руку саблю, занимались государственными проблемами... Теперь же шляхетская элита проводит время в непрерывных балах и охотах”. Аристократы после себя не оставляют даже потомст-

ва. Зато не знало пределов магнатское высокомерие. Ничтоже сумняшеся, они ставили знак равенства между собой, нацией и государством, утверждали, что мешане и крестьяне ниже шляхты в физическом и умственном смысле, что даже происходят они не от библейского Иафета, а от подлого Хама. Более того, аристократы при собственной жизни ставили себя вровень со святыми. В мемуарных источниках, на которые ссылается А. Мальдис, говорится, что когда жена одного из Радзивиллов пела в костёле, то на её слова: «Я так сделала на небе, чтобы восходить бесконечный свет», — хор придворных с поклоном обязан был отвечать: «Покорно благодарны вашей княжеской милости». Николаю Потоцкому один из провинциальных дворян пал однажды в ноги со словами: «Ты — Бог триединый, возьми моего сына...». А Павел Ясеница в книге «Польская анархия» приводит ещё один красноречивый факт, являющийся «точным отражением порядков, господствующих в обществе и государстве»: «Ян Клеменс Браницкий герба Гриф был в XVIII веке господином Белостока. А его — Браницкого — господином был разве что сам Бог». Тот Браницкий, пишет историк, мог возвести памятник самому Господу и учинить на нём соответствующую надпись: «На этом месте Пан спас пана от смерти. Благодарный пан поставил Пану этот памятник».

В Великом Княжестве Литовском, особенно на склоне его истории, то есть в XVIII столетии, бал правили Радзивиллы, Сапеги, Чарторыйские, Пацы, Огинские, Тышкевичи, Массальские. Наиболее могущественными из них были Радзивиллы. Против них польский король был почти нищим. Они могли позволить себе многое. Например, отчеканить и пустить в оборот монету, на которой вместе с портретом монарха могла красоваться надпись «Божией милостью дурак» вместо «Божией милостью король». В других странах, скажем, во Франции, отмечает историк А. Широкопад, за подобное самовольство могли казнить несколько раз: за оскорбление царствующей персоны и за фальшивомонетничество. В Речи Посполитой всё сходило с рук. Радзивиллы почти с пелёнок получали высокие должности и награды. Один из наиболее известных — Кароль Радзивилл, воевода виленский, староста львовский, великий мечник литовский, имевший поэзию Пане Коханку, который лишь чуть-чуть не дождал до исчезновения Речи Посполитой с политической карты Европы, — первый свой орден заимел в пять лет, в шестнадцать стал депутатом сейма Речи Посполитой, в восемнадцать был уже мечником Великого Княжества Литовского. Это он во время выходов короля Речи Посполитой, который одновременно являлся Великим Князем Литовским, нёс перед монархом обнажённый меч — символ войсковой власти. При этом он был человеком ограниченным, настолько малообразованным, что с трудом разбирал буквы. Да и различать их гувернер научил его весьма необычным образом: в виде букв он делал мишени, по которым стрелял юный Кароль. В пятнадцать лет он еще не умел читать. Этот «деспот и пьяница, распутник и авантюрист, фантаст и чудак... был типичным порождением своего времени», — подчёркивает Адам Мальдис. Обратите внимание: ТИПИЧНЫМ.

Владелец пяти тысяч деревень и тысячи городов и местечек проводил время на охотах и диких оргиях. На Рождество в 1780 году в Несвиж было завезено 1500 бутылок шампанского, 300 — рейнского, 200 бургундского вина, три бочки английского пива, 15 бочек свежих и маринованных устриц. Надо полагать, не случайно его называли третьим по значению пьяницей во всей Речи Посполитой. Притом Радзивилл имел «хорошую компанию». Первым и вторым пьяницами в государстве были не божьи какие-то, говоря по-нынешнему, или люди без роду и племени, выражаясь по-тогдашнему. Главным алкоголиком считался надворный литовский маршалок Януш Сангушко — наивысший правительственный чиновник в Великом княжестве Литовском, руководивший, как поясняет «Энциклапедыя гісторыі Беларусі», двором Великого князя, принимавший иностранных послов, следивший за этикетом, командовавший придворной стражей и королевской гвардией и даже судом. За ним следовал коронный кравчий Адам Малаховский, подававший за столом блюда своему коронованному господину.

В умении выпить не отставал от Радзивилла и Пане Коханку. Первая жена от него убежала, а от второй ему самому временами приходилось прятаться. Так вот этот человек мог сказать королю, что королём тот является лишь в Варшаве, но не в его — радзивилловских — владениях. Похоже, сам король Станислав Август Понятовский в этом тоже не сомневался. Особенно после

того, как побывал в Несвиже в 1784 году. До окончательного “демонтажа” Речи Посполитой оставалось всего одиннадцать лет. Прочитав ещё раз А. Мальдиса: “Вся дорога от Снова (ныне деревня перед Несвижем – райцентром в Минской области. – **Авт.**) до радзивилловской резиденции была обставлена крестьянами и бедной шляхтой, украшена триумфальными арками. Воевода выехал навстречу на турецком коне, в колпаке с бриллиантами, которые стоили несколько тысяч дукатов. Покои в замке были обиты дорогими восточными тканями, украшены аллегоричными фресками. Балы, представления, охоты, фейерверки продолжались несколько дней. Одновременно за столы в замке садилось несколько тысяч человек. Ещё столько же – в монастырях и шатрах за городом... Дважды король выезжал в пригород Несвижа Альбу, где были построены десятки идиллических крестьянских хаток, выкопаны каналы и водохранилища. По ним плавали настоящие лодки и корабли (князь готовил флот... для Чёрного и Балтийского морей). Альбу освещало около восьми тысяч лампиров. Кульминацией торжеств был “морской бой, который инсценировал штурм Гибралтара”. Бой вёлся настоящими снарядами, потому были убитые и раненые. Станислав Август благодарил Радзивилла, раздавал направо и налево чины, медали, перстни и табакерки со своим портретом. Но Несвиж покидал принижённый: такой роскоши он не мог себе позволить. Настоящим королём выглядел не король, а Кароль Радзивилл”.

С обычными соотечественниками, включая высоких государственных чиновников, Пана Коханку не церемонился. Позволим себе ещё одну пространную цитату, на этот раз из книги мемуариста Я. Китовича, в которой он описывал нравы времён короля Августа III – предпоследнего польского монарха, предшественника Станислава Понятовского: “Наиболее жутко разыграл Радзивилл Паца, великого литовского писаря, своего фаворита и неизменного участника всех оргий. Однажды ему так надоели грубые издевательства, что Пац не мог больше терпеть и пригрозил дуэлью. Но Радзивилл, не желая терять с ним дружбу и одновременно напугать за ту угрозу, прикинулся, что страшно рассердился на Паца, приказал схватить его, заковать в кандалы и бросить в тюрьму. Назавтра он распорядился одеть его в предсмертную рубашку, вывести на площадь в сопровождении палача и ксендза и готовить к смерти. Все друзья Паца и Радзивилла помертвели, увидев такое, бросились Радзивиллу в ноги, Пац тоже в слезах просил о милости. Но Радзивилл, притворяясь злым и глухим ко всяким просьбам, подгонял Паца, чтобы тот склонился под меч, с которым палач стоял над его головой. Наконец, когда Пац попросил ещё минуту, чтобы исповедаться, Радзивилл, насытившись розыгрышем, подскочил к Пацу с милой улыбкой: “Вот видишь! Я тебя напугал больше, чем ты меня своей дуэлью!” Повёл он тогда Паца в покои в предсмертной рубашке, так, как тот стоял на площади, а там сразу преподнёс ему за эту шутку большие подарки, началась большая утеха и пьянка в честь такой задумки. Пац, безусловно, напуганный смертью, а затем утешённый неожиданной радостью, вынужден был пить после такого возбуждения крови, заболел и на третий день умер”.

Профессор Адам Мальдис, комментируя Я. Китовича, добавляет: “Если Радзивилл вытворял такое с друзьями, со шляхтой, нападал на дворец виленского епископа и не раз угрожал самому королю, если он разгонял суды, что тогда говорить о мещанах или крестьянах! Они часто “расставались с жизнью от руки ласкового пана”. Этому несвижскому владельцу ничего не стоило прямо во время бала или другой забавы выстрелить в лоб кому-нибудь из присутствовавших – такие случаи в доме Радзивиллов становились чем-то привычным, сообщал тот же Я. Китович. Или вбить в рот рюмку тому, кто в этот момент пьёт. Или стукнуть лбами двух беседующих так, чтобы шишки вскочили. Да и французский генерал Шарль Дюмурье, повивавший того Кароля в 1770 году, писал, что “князь Радзивилл – совершенное животное, но это самый знатный господин в Польше”. Это определение ничем не отличается от суждения того же Я. Китовича, который сообщал, что “князь Кароль Радзивилл... по натуре мало отличается от идиота”. В принципе, такое поведение магната вряд ли кого удивляло, потому что в истории Речи Посполитой бывали случаи и похлеще, даже со смертельным исходом. В 1574 году в разгар церемонии, посвящённой восхождению на польский престол Генриха Валуа, один из придворных нового короля Самуэль Зборовский ударом чекана – это разновидность боевого топора – убил коменданта крепости в Перемышле

Анджея Ваповского. Осуждённый на вечное изгнание, он через некоторое время вернулся в Польшу вместе со Стефаном Баторием, принимал участие в походах на Русь, побыл гетманом запорожского казачьего войска, притом в современных украинских источниках отмечается, что “низовские казаки, которые назывались Запорожскими молодцами, уважая рыцарский дух” Зборовского, сами попросили его стать их гетманом, а тот согласился, рассчитывая привлечь казаков к войне с Москвой, затем претендовал на молдавский престол и поплотился головой лишь после того, как стал грозить, что покончит с самим королём Стефаном Баторием.

Попутно можно вспомнить и о владельце имения Чернавчицы около Бреста – Мартине Радзивилле, – помешательство которого, как свидетельствуют современники, выражалось в трёх ипостасях: сексуальной распущенности, для чего он содержал целый гарем “кадеток”, расправах над людьми, грабежах, поджогах, религиозном шарлатанстве. Он верил в такое переселение душ, после которого в будущей жизни он станет слоном, затем жрецом. Ещё об одной особенности бытия магнатов того времени напомнил опять же Януш Тазбир – один из лучших в современной Польше знатоков шляхетского быта в давние времена: “Мы читаем в шляхетских мемуарах, ...что у крупнейших польских магнатов имелись собственные бастиили (*то есть тюрьмы.* – Авт.). Такой магнат, если шляхтич ему не нравился, а служил при его дворе, мог его туда посадить. И никто по его поводу ничего не требовал, разве что у узника была влиятельная родня”.

Рассказывая о нравах того времени, польский писатель XIX века Генрик Ржевусский в своих “Записках Соплицы”, которые он создал по совету Адама Мицкевича, пишет, что весьма распространённым “несвижским развлечением” у магнатов и их фаворитов была стрельба... по женским каблучкам – чего только не придумаешь от безделья! Притом женщины не должны были показывать, что им страшно. Особенно увлекался этим сын несвижского органиста Кароль Рысь – крестник Радзивилла, состоявший в его свите. После одного случая он пользовался особым расположением у своего господина. Крестники любили поиграть в карты на деньги, однако Рысь, у которого денег не было, вынужден был отсиживаться в сторонке. Но однажды ему предложили выход: за него друзья кладут на кон пять или десять тынфов – серебряных монет, и если Рысь выигрывает, то монеты принадлежат ему, а если нет, то он обязан будет пять или десять раз шлёпнуть колодой карт по носу... спящего в пьяном виде самого князя Радзивилла. Рысь согласился. И несколько раз всё получилось. Но однажды князь от шлепков проснулся, взъярился и приказал всыпать нахалу пятьсот розог. Во время экзекуции Рысь не проронил ни звука, что поразило несвижского владетеля. Тогда он поинтересовался, что же заставило крестника пойти на такой риск. Тот признался: хотелось поиграть в карты, а денег не было. Князь сразу же распорядился выдать подростку пятьсот серебряных монет – по количеству полученных розог. Так вот, от стрельбы по каблучкам уже вполне взрослого Рыся отучила только жена, которая сначала попросила прекратить такую стрельбу хотя бы на время её беременности, а когда тот не послушал, сама схватила пистолет и сделала встречный выстрел. Пуля по касательной прошла поясной ремень мужа. Рысь похвалил жену за меткость, но её каблучки всё-таки оставил в покое.

Магнаты держали при своих дворах многочисленные армии. При этом они имели право нанимать военнослужащих в других государствах. Слуцкий Иероним Радзивилл имел шесть тысяч регулярного войска да ещё столько же казаков и стрельцов. У его близкого родственника из Несвижа – уже упомянутого Кароля Пана Коханку – был обычай выезжать из замка в сопровождении 600–800 вооружённых всадников. Как пишет историк и писатель Игнатий Крашевский, “одной пехоты у князя было пять отрядов по сто пятьдесят человек, несвижская и слуцкая милиция под командованием майора Длужиловского, золотой уланский конный отряд, которым командовал ротмистр Янковский, а также казаки Каминского, драгуны и артиллерия”. Кадры для этой армии готовила специальная кадетская школа, открытая в замке, в которой преподавали иностранные офицеры. К сказанному стоит добавить, что иностранным “спецам” тоже доставалось. Когда от Иеронима Радзивилла из Слуцка бежало два курляндских офицера, им после поимки инсценировали повешение, потом избили и бросили в подземелье, в котором они и закончили свои дни. Однако некоторые Радзивиллы не ограничивались наймом за границей от-

дельных офицеров. В том же Слуцке у Богуслава Радзивилла, жившего ста годами ранее, размещался полк немецкой пехоты, а у его современника Казимира Льва Сапеги в имении Иказнь на Браславщине гарнизон состоял из венгерской пехоты.

Споры между магнатами нередко превращались в настоящие внутренние войны. Одна из них случилась в 1700 году в результате конфликта между Сапегами с одной стороны и Огинскими, Вишневецкими и Радзивиллами – с другой. Как свидетельствует историк М. В. Довнар-Запольский, Огинские в войне, которая впоследствии получила название домашней, выставили более 20000 войска, столько же собрали Сапеги. В той эпохее были и перестрелки между магнатами на улицах столичного Вильно, и голодная блокада Бреста, и грабежи, и расправы. Примирить враждующих не могли ни король, ни Сенат. Да что там стычки на улицах в Вильно, если они были обычным явлением даже на сеймах, посвящённых избранию нового короля. Вот ещё одна картинка: “В дни элекции (избрания. – **Авт.**) шляхта вооружалась, и всё государство превращалось в вооружённый лагерь. Уже первая элекция (после Люблинской унии. – **Авт.**), происходившая под Варшавой, собрала до 40000 вооружённой шляхты, кроме отрядов, принадлежащих отдельным магнатам, прибывших со своими господами. Многие паны прибыли на избирательное поле с артиллерией. При таких условиях главнейшую роль играл тот, кто был сильнее. В результате редкая элекция проходила без кровавых стычек. При избрании Сигизмунда I избирательное поле было обильно полито кровью, и даже оказалась сожжённой изба, в которой заседали сенаторы. При избрании короля Михаила произошло настоящее сражение, так что сенаторы и послы начали разбегаться, иногда дело доходило до убийств в самой польской избе”.

А у короля Речи Посполитой армии не было. На случай войны он объявлял сбор “посполитого рушения”, то есть ополчения, но его численность зависела от того, сколько людей приведут с собой магнаты. Зато сам магнат мог объявить войну даже своему монарху. Особенно несколько магнатов, объединившись в конфедерацию. Могли они бросить вызов даже другому государству, что тоже случалось в истории Речи Посполитой. Да и на королевской войне вели себя по собственному усмотрению. Вот что писал Шарль Дюмурье о войске Барской конфедерации: “Войско конфедератов простиралось от 16 до 17 тысяч человек; но войско это было под началом осьми или десяти независимых вождей, несогласных между собою, подозревающих друг друга, иногда дерущихся друг с другом и переманивающих друг у друга солдат. Всё это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей, равных между собою, без дисциплины, дурно вооружённых, на худых лошадях. Шляхта эта не могла сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и казакам. Ни одной крепости, ни одной пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили своих поляков, тиранили знатных земледельцев, били крестьян, завербованных в войско”. И добавлял, что у этих благородных “нет народа для управления, потому что нельзя назвать народом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, покупают, меняют, как домашних животных. Польское социальное тело – это чудовище, составленное из голов и желудков, без рук и без ног. Польское управление похоже на управление сахарными плантациями, которые не могут быть независимыми”.

Своё мнение о польской аристократии высказал и русский князь Андрей Курбский, который после разрыва с Иваном Грозным ушёл из Московии, получил в ВКЛ “в кормление” сначала город Крево – теперь деревня в Гродненской области, потом Ковель, и в Ковеле – ныне украинском – он и был похоронен: “Вельможи знают только пить да есть сладко; пьяные они очень храбры: берут и Москву, и Константинополь, и если бы даже на небо забилась турак, то и оттуда готовы его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к полудню проспят, встанут чуть живы, с головной болью. Вельможи и княжата так робки и истомлены своими женами, что, услышав вражеское нахождение, забьются в претвёрдые города и, вооружившись, надев доспехи, сядут за стол, за кубки и болтают со своими пьяными бабами, из ворот же городских ни на шаг. А если выступят в поход, то идут издалека за врагами и, похोдивши дня два или три, возвращаются домой и, что бедные жители успели спасти от татар в лесах, какое-нибудь имение или скот, – всё поедят и последнее разграбят”. Тяжело, надо полагать, было смо-

треть на такое князю Курбскому, который не был ни бездельником, ни трусом, поскольку участвовал во многих сражениях с татарами, включая взятие Казани, схватках с рыцарями и поляками во время Ливонской войны, бывал ранен, а потом не побоялся конфликта с самим царём. Да что Курбский, если сам польский король Ян Собесский на одном из сеймов в сердцах заметил, что идеал у шляхты один – “сидеть дома, налогов не платить, солдат не кормить, а Господь Бог чтоб за нас воевал”.

А вот ещё свидетельство, которое приводил дореволюционный автор В. И. Яковенко: “Никто не хочет жить трудом, всяк норовит захватить чужое; легко достаётся оно, легко и спускается; всяк только о том и думает, чтобы поразмашистее покутить; заработки убогих людей, собранные с их слезами, иногда со шкурой, истребляют они, как гарпии или саранча: одна особа съедает в день столько, сколько множество бедняков заработает в долгое время, всё идёт в дырявый мешок – в брюхо”. Богатство и военная сила позволяли магнатам не придерживаться никаких правил, руководствуясь только одним: “Пану – ниц, а хлопа – на паль”. Это значит, пану – ничего, а холопа – на кол. Радзивилл Иероним, услышав от гайдука, что тот хочет быть на виду у своего господина, приказал повесить парня на воротах, чтобы видно было всем. Узнав, что женатый шляхтич заглядывает к замужней шляхтянке, повелел повесить обоих в одной петле, лицом к лицу. Налогов в казну он не платил ни гроша – не считал нужным.

Совершенно конкретен и историк М. В. Довнар-Запольский: “Помещик был государь на своей территории: всякий на ней живущий являлся подданным владельца (так владельческие крестьяне и горожане и назывались в Западной России и Польше подданными своего пана). Поэтому широта власти такого помещика над лицом, живущим в его имении, определяется правами самовластного государя; помещик сам издавал законы для своих подданных, судил и наказывал (их, до смертной казни включительно”. Уточним, что ещё в 1518 году Сигизмунд Старый – король и великий князь – отменил государственную юрисдикцию над крестьянами из частных имений, поскольку “он устал” разбирать жалобы. Потому во владениях магнатов Вишневецких, например, судьба 230 тысяч крепостных зависела только от воли и настроения Вишневецких. Дело дошло было до того, что ситуацией в Речи Посполитой в годы борьбы за независимость США от Великобритании американские политики пугали своих граждан. Марцелина Грабовска в книге о Костюшко “Приговорённый к вечности”, изданной в Варшаве в 1984 году, процитировала владельца филладельфийского адвоката Джона Диккинсона: если не добьёмся свободы, то “останемся подлыми невольниками, как те, которых можно увидеть в Польше с лаптями на ногах и колтунами нечёсанных волос на голове”, ибо весь польский народ – это только господа и невольники, а невольник – это каждый человек труда, так низко его труд ценится. “Для одних – всё, для других – позорное ярмо”, – писал Джон Диккинсон.

Со ссылкой на современного историка А. Широкограда стоит напомнить, что после присоединения наших земель к России новые власти, прежде всего, распорядились спилить в имениях все те виселицы и колья, на которых казнили крестьян. Князь Григорий Потёмкин, получив имения на Могилёвщине, поручил своим управляющим огласить во время богослужений в храмах, что виселицы убраны и никогда восстановлены не будут. Но важно добавить, что повесить, посадить на кол мужика, бывшего господской собственностью, с живого содрать кожу не было пределом “вольности” господ тогдашней жизни. Проявлением особой удали для пана, замечает тот же А. Широкоград, считалось зарубить саблей или утопить ремесленника или еврея-шинкаря, которые не были у него в крепостной зависимости. Что касается шляхтича, то формально магнат не имел “права на его горло”, однако мемуаристы тех времен – Матушевич, Завиша – пишут, как сандомирская Марина Мнишек распорядилась посадить на кол шляхтича, который непочтительно выразился в её присутствии, как калишский воевода Анджей Грудзиньский убил другого шляхтича только потому, что захотел его жены, как сам Завиша развалил саблей лоб своему шуруну. . .

А что же закон, знаменитый Статут (Устав) Литовский, который некоторые историки до сих пор называют первой во всей Европе конституцией, обеспечивший мир, спокойствие и полную толерантность в отношениях между народами, проживавшими в ВКЛ, и представителями разных конфессий? Откроем

сам Статут, чтобы уточнить, кому и что он обеспечивал на самом деле. Одна из последних его глав называется “О цыганах”. В ней говорится: “Поскольку цыганы являются людьми ненужными и бесполезными, которые не только никакой пользы, прибыли нам и никому в речи посполитой (так в тексте. — Авт.) не приносят, но вообще наносят вред обманом простых людей и воровством, а также немало тайных краж ими делается, а временами, выходя в другие земли, особенно неприятельские, они могли бы стать лазутчиками и проводниками для дурного дела, потому устанавливаем, чтобы их с этого времени нигде не прятали в государстве нашем Великом княжестве Литовском и в землях, ему принадлежащих, за чем должны зорко смотреть пограничники и другие державцы наши, чтобы они не входили в наши земли. И если кто их выгонит со своего старства и владений, чтобы никто из других категорий подданных наших их не принимал и не прятал в своих имениях под угрозой выплаты штрафа — двенадцати коп денег в нашу казну”. Добавим к сказанному, что в соответствии с тем же Статутом вол, рабочий конь тогда стоили две копы денег. Значит, штраф равнялся шести волам или лошадям.

Есть особая статья о евреях, татарах “и других басурманах”. Она гласит: “Устанавливаем и с этого времени иметь желаем, чтобы жид, татарин и каждый басурман достоинство и в никакую власть от нас, хозяина, и от панов-рад наших назначен не был...”. Своеобразная толерантность, не правда ли? Для евреев были даже предписания, что им дозволялось носить: “Жида не должны ходить с цепями золотыми и драгоценностями, а также на поясах, на мечах, на саблях серебро носить не должны...” Только один сигнет — перстень-печатка — и один просто перстень. Правда, еврейкам разрешалось “носить перстни, пояс и наряды в соответствии со своей зажиточностью”. Статут регулировал многое, даже пытки. Одних подданных ВКЛ разрешалось пытать только раз в день и не более часа, по отношению к другим пытки можно было применять трижды в день. Кстати, тот, кто убил незаконнорожденного, от смертного наказания освобождался. Если кто-то обокрал пана, то платил штраф в размере двенадцати коп денег, если мужика — три копы.

Да, закон в ВКЛ был. Однако, во-первых, жизнью и имуществом холопов распоряжался единолично пан. Во-вторых, сам пан знал, что закон и по отношению к нему действует избирательно, в зависимости от мощны, то есть от господских богатств. Всем в княжестве было известно, что с теми же Сапегами судиться бесполезно. И с Пацами. И с Чарторыйскими. А тем более с Радзивиллами. В те времена в Речи Посполитой даже поговорка ходила: “У трибунала — декрет, а у Радзивилла — мушкет”. Ему ничего не стоило приказать своим драгунам войти в зал, где заседал суд, и открыть огонь, как это случилось в Минске в 1755 году. Впрочем, между собой магнаты могли судиться, но выигрывал всё равно тот, у кого на данный момент было больше силы. Денежной, военной. Тогда говорили, что закон подобен паутине: мушка застрянет, а овод прорвётся. Кстати, действие Статута на землях, возвращённых Российской империей в результате разделов Речи Посполитой, было окончательно прекращено не сразу после разделов, а почти через столетия — после того, как стало ясно, что попытки заигрывать со шляхтой, которые демонстрировал сначала Павел I, затем — его сын Александр I, желаемых результатов не приносят.

Был в Речи Посполитой сейм — высший законодательный орган. Он выбирал даже короля. Однако и он оказывался бессильным против “золотой вольности”. На *вальный*, то есть всеобщий сейм мог приехать любой шляхтич. На обычных сеймах заседали специальные депутаты, избранные от уездов. Но поскольку сейм принимал решения только единогласно, то его работу легко можно было остановить и даже сорвать. Любой депутат — посол на сейм — мог без всякого объяснения крикнуть: “Не позволяю!” Этого было достаточно. А подтолкнуть к такому выкрику магнаты старались людей недалёких, предварительно напоив их или соблазнив деньгами. Подкупить посла могли и представители других стран. И вот результат: из тринадцати сеймов Речи Посполитой при короле Августе II состоялось только четыре, а при Августе III были сорваны все тринадцать. На протяжении десятилетий в государстве могли не приниматься никакие законы, не проводиться никакие реформы, констатируют историки. Особенно скандално проходили сеймы в Гродно, пишет А. Мальдис, — в соответствии с существующим тогда положением каждое третье заседание парламента Речи Посполитой должно было проводиться в этом

городе. В Гродно во время заседаний рекой лилось вино, в выступающих из зала летели гнилые груши. Случались и драки.

О том, что творилось на воеводских и уездных сеймиках, тоже лучше говорить цитатами, поскольку сказанное иначе может быть принято за выдумку. Первую цитату посвятим сеймику в Бресте в 1755 году. Тогда две противоборствующие партии поссорились так, что в ход пошли сабли. Мемуарист Матушевич зафиксировал: “Четырнадцать человек с той стороны порубили, с нашей стороны только одного Куявского, музыканта брата моего полковника”. Вторую цитату возьмём из “Диариуша жизни” скарбового писаря Великого Княжества Литовского Игната Лопатинского, который родился в Мстиславском воеводстве – было такое в ВКЛ. Четырнадцатилетним парнишкой, сидя на хорах костёла, он наблюдал за тем, как “решались вопросы” на мстиславском сейме: “Пан Левон Ильичин, городской писарь из партии Воловичей, имея в руках старосветский инкрустированный топорик тонкой работы, хотел дать им по лбу старосте Шпилевскому, но тот убежал, а Станислав Волович вскочил на стол и выхватил саблю; тогда две партии не стали лениться, особенно когда два брата Завистовские перевернули стол на партию Воловичей. Сеча продолжалась около часа, пока с дароносицей не вышли ксёндзы... В той сече в обеих партиях было множество порубленных, наиболее тяжело: Толпыга, Дубяга и Козел; двое же от тяжёлых ран сразу же умерли”.

Но сабли вступали в дело тогда, когда бессильными оказывались вино, деньги. Пили на сеймиках тоже много – почему же не взять пример с “вышестоящих инстанций”? Тот же Китович сеймиковым пьянкам и угощениям посвятил специальную главу в своих воспоминаниях. Он пишет, что сразу после сессии делегатов вела за стол, а начатый обед плавно переходил в ужин, который длился до полуночи или до утра. Пьяные падали там, где пили, спали у стола, под столом, под забором, в канаве, посреди улицы – кого куда донесли непослушные ноги. Белорусский писатель-классик Владимир Короткевич, который прекрасно знал историю нашего края, утверждал, что в первой Речи Посполитой кабаки (корчмы) стояли вдоль дорог через каждые пять вёрст.

В нынешнее время пьянство чаще всего ассоциируется с русской традицией. В Европе просто уверены, что в России с первых дней её истории пили и пьют, начиная с младенчества. В доказательство чаще всего приводится фраза, якобы сказанная князем Владимиром – Красно Солнышко в те годы, когда он раздумывал, какую религию принять: мол, ислам он отверг именно из-за запрета на вино, добавив при этом: “Веселие Руси – питье есть!” Но если всмотреться в исторические факты, то нетрудно убедиться, что у магнатории и шляхты Речи Посполитой в деле “пития” не меньше заслуг. Она может даже претендовать на пальму первенства.

К XIX столетию, в котором жил А. С. Пушкин, от крещения Руси прошло девять веков, в течение которых, увлекшись “веселием”, немудрено было спиться любому народу. Но откроем роман “Евгений Онегин”, который Виссарионом Белинским назван “энциклопедией русской жизни”, с чем согласно большинство знатоков литературы и истории того времени. Там тоже есть строки о пирах, есть слова о том, что Евгений мог “beaf-steaks и страсбургский пирог шампанской обливать бутылкой”. В то же время у Грибоедова в его бессмертной комедии есть и осуждающее: “он фармазон, он пьёт одно // стаканом красное вино”. В дворянской среде в те времена считалось дурным тоном употреблять вино, не разбавленное водой, поскольку это ассоциировалось с неприличными выходками. “Им квас, как воздух, был потребен”, – свидетельствует Пушкин и рисует довольно подробную картину того, как вело себя русское дворянство в своей повседневной жизни, как принимало гостей. Красноречивый ответ на этот вопрос сформулирован в начале третьей главы:

*Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят воцаной
Кувшин с брусничною водой...*

Таким гостеприимством шляхтич Речи Посполитой, можно не сомневаться, был бы просто оскорблён, и не исключено, что вскорости организовал бы “наезд” на скупердяя. А уж разговор, который вели русские дворяне в про-

винции — “про дождь, про лён, про скотный двор”, — счёл бы попросту издевательством. Для этого есть эконо́м, арендатор, шляхтич же — соль земли, с которого, как он сам был уверен, не сводят очей сам Господь и всё человечество. А русские дворяне своё хозяйство чаще всего вели сами. Они, конечно, тоже нередко пользовались услугами разного рода эконо́мов, однако главные нити управления держали в собственных руках, особенно те, которые не могли себя причислить к владельцам больших поместий. Вспомните, чем занималась мать Татьяны Лариной:

*Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била, осердясь...*

Можно себе представить за таким занятием, скажем, за солением грибов, хотя бы одну из княгинь Радзивилл? Да Пана Коханку застрелил бы её собственноручно, если бы заметил нечто подобное! А ещё интереснее представить самого Пана Коханку не с бокалом игристого вина, а... с кружкой кваса!..

Сказанное не означает, что на Руси спиртным брезговали. Отнюдь! Как заметил историк Н. Н. Молчанов, в кабаках людей нередко задерживала не только горькая жизнь, но и воля государя, заинтересованного в максимальном сборе податей. В качестве подтверждения он приводит грамоту царя Алексея Михайловича от 1659 года: “Питухов бы с кружечных дворов не отгонять... искать перед прежним прибыли”. И уточняет, что если тот “питух” уже “взялся за дело”, то пока он не пропьяется до нательного креста, “никому, даже жене законной, под страхом порки не дозволялось увести пьяницу домой”. Государству нужны были доходы с питейных заведений. В то же время Н. Н. Молчанов приводит и другие примеры, из которых следует, что вполне можно поспорить, кто кому показывал пример в питии: Россия не сомневающимся в своей цивилизованности Западу или Запад — России. “Германия зачумлена пьянством”, — говорил о своих соотечественниках Мартин Лютер. “Мои прихожане каждое воскресенье смертельно все пьяны”, — писал английский пастор Уильям Кет. Ещё один англичанин так описывал нравы своей страны в XVIII веке: “Пьянствовали и стар, и млад, притом чем выше был сан, тем больше пил человек. Без меры пили почти все члены королевской семьи... Считалось дурным тоном не напиться во время пиршества... Привычка к вину считалась своего рода символом мужественности во времена, когда крепко зашибал молодой Веллингтон, когда “протестант” герцог Норфолкский, упившись, валялся на улице, так что его принимали за мертвеца, и когда спикер (британского парламента. — **Авт.**) Корнуэлл сидел в палате общин за баррикадой из кружек с портером — председатель достойных своих багроволицых подопечных... В Лондоне насчитывалось 17 тысяч пивных, и над дверью чуть ли не каждого седьмого дома красовалась вывеска, зазывавшая бедняков и гуляк выпить на пенни, напиться на два пенса и проспаться на соломе задаром...”. В Москве, которая сама умела выпить и погулять, пишет Н. Н. Молчанов, Немецкую слободу, где жили выходцы из европейских стран, тем не менее, сразу же прозвали “Пьяной слободой”. Значит, удивилась первопрестольная, хотя тоже, как говорится, знала толк в напитках...

Кто-то может напомнить, что в России был не только Пушкин, а и другие писатели, к примеру, Максим Горький, у которого значительная часть творчества посвящена иным, не дворянским нравам. Но уточним: и иным социальным слоям. Одна из его известных пьес озаглавлена более чем красноречиво — “На дне”. Большой цикл ранних рассказов, посвящённых жизни и нравам российского дна, так и называется: босяцким. А мемуаристы времён первой Речи Посполитой писали как раз о “государствообразующем” классе. Такое ощущение, что дно в Речи Посполитой было наверху. И что касается того же питья, то пить много в Речи Посполитой было просто положено. Если гость ушёл не в стельку хмельным, если не поспал под лавкой или под забором, не упал в лужу, идя к карете, значит, плохо угощали, не угодили.

Поднятая, подпаивая нужных людей, в ВКЛ приобретали учины, должности, имения, даже шляхетство. Геральдической службы в государстве не бы-

ло, а потому примазаться к какому-либо роду не составляло особого труда. Купить же можно было всё, если не за деньги, так за прелести жены или дочери. То, что один из шляхтичей Лопатинских за сто дукатов приобрёл “капитанство в полку князя-воеводы новоградского”, — просто мелочь. Способов приобрести шляхетство было много. Ещё в первой половине XVII века Валериан Неканда Трепка составил “Книгу хамов”, в которой назвал примерно 2400 фамилий, жульническим путём ставших шляхетскими. При этом перечислил наиболее распространённые способы получения статуса “носителей чести”. Шляхтич мог “осчастливить” дочь купца, ремесленника или даже крестьянина, взять в услужение крестьянского сына, а затем его холопскую кличку превратить в нечто более благозвучное, отдать дочь замуж за селянина или мещанина, и те начинали именовать себя дворянами. С другой стороны, сам смыслённый холоп мог устроиться в канцелярию и вписать себя в нужные книги, поступить на службу к магнату, переименовать себя на -ский или -цкий и с помощью покровителя подтвердить своё “дворянское достоинство”. Мог попросить какого-нибудь пана обвинить его в плебействе, а самому нанять “свидетелей”, которые подтвердят шляхетство, что и фиксирует суд. А ещё был “еврейский” способ перехода в дворянство, подтверждающий, что во все времена “голь на выдумки хитра”. Поскольку в одно время в ВКЛ евреям, принимавшим христианство, сразу присваивался статус шляхтича, многие неевреи сделали очень удобные для себя выводы. Они стали принимать иудаизм, а затем переходить в христианство, попадая, таким образом, в шляхетское сословие — “из грязи в князи”.

Волна аноблирования была настолько большой, что право пожалования дворянства в 1578 году сейм отнял даже у короля, оставив его только за собой. Однако, замечают аналитики, обратным результатом такого решения стало учащение случаев незаконного приобретения шляхетства, потому в 1601 году сейм принял постановление о “новой шляхте”, в котором записал, что нельзя принимать “в шляхетство никого, кроме тех, кто был рекомендован нам сенатом и земскими послами за значительные заслуги перед Речью Посполитой”. Но не помогло и это, потому в 1659 и 1662 годах был введен институт так называемых скартабелят — неполного шляхетства, представители которого до третьего поколения не имели полных шляхетских привилегий. Высота той “волны”, похоже, и объясняет многочисленность шляхетского поголовья, как позволил себе выразиться Рафал Земкевич. Большая рыба, которая называлась Великим княжеством Литовским, гнила с головы. Постепенно порча распространялась и на всё её тело. Со временем сгнивший “потолок” государственного здания обвалился, порушив и изрядно подточенные колонны, на которых он держался.

С аристократии и сеймовых послов брала пример остальная шляхта. Те же балы организовывались по любому поводу. Приехавшего гостя зачастую не получалось выпроводить и за неделю. Тогда и появилась поговорка, гласящая, что рыба и гость на третий день начинают вонять. Небогатая шляхта перед Великим постом затевала и такие “мероприятия”: несколько соседей сговаривались между собой и, взяв жен, детей, слуг, отправлялись ещё к одному соседу с “наездом” или, по-польски, “заездом”. Там они всё выпивали, съедали, притом вели себя, как настоящие разбойники, затем, забрав “объединенных” хозяев, ехали ещё к одному, потом к другому. А в финале подсчитывали: сколько человек умерло от пьянства, сколько — от обжорства, сколько погибло во время драк... Об этом хорошо написано в повести Владимира Короткевича “Цыганский король” — историю ВКЛ этот писатель знал великолепно, в чём не сомневается никто из исследователей его творчества. Известный в современной Польше политик и эссеист XX века Александр Бохеньский в своей книге с вызывающим названием “Картины польской глупости” тоже подчеркнул, что пьянство шляхты “рисовали все мемуаристы того времени, а противоположный тезис о том, что шляхта должна была быть трезвой, защищать просто нечем”. Известный польский историк Павел Ясеница в своей книге “Речь Посполитая обоих Народов. *Kalamatis Regnum*” писал, что коронный гетман Речи Посполитой Николай Потоцкий, то есть главнокомандующий её вооруженными силами, даже в “наиболее критические минуты был в стельку пьяным”. Словарь Брокгауза и Эфрона считает коронного гетмана “вторым по старшинству после короля”. Павел Ясеница добавляет при этом, что подчинённые гетмана “от своего предводителя несильно отличались” и что “поль-

ская шляхта как в мирные дни, так и на войне была известна своим умилением к бокалу”. И напоминает, что было с кого брать пример и цивилизным, ибо, к примеру, киевский воевода Януш Тышкевич – современник Потоцкого – “всегда пил стоя, поскольку считал, что так больше в него войдёт”. Во время питья “придворные должны были помогать своему господину поддерживать вертикальное положение”. А крестьян просто вынуждали пить землевладельцы, арендаторы, шинкари. Им даже квота устанавливалась на количество выпитого. И если селянин ту квоту “не выбирал”, всё равно заплатить должен был по полному счёту.

Шляхта помельче разорялась и опускалась до уровня крестьян. Впрочем, как было не разориться, если почётным делом для шляхтича считалось только занятие государственных должностей и... производство водки. Нельзя было предаваться ремеслам и торговле. Тот, кто нарушал это правило, рисковал стать мещанином. А мещанство не имело права владеть крепостными, на него не распространялась неприкосновенность жилища, оно не освобождалось от налогов на землю, от таможенных платежей. Фаддей Булгарин, который родился и вырос на Минщине, со знанием ситуации констатировал: “мелкая шляхта, буйная и непросвещённая, находилась всегда в полной зависимости у каждого, кто кормил и поил её, и даже поступала в самые низшие должности у панов и богатой шляхты и терпеливо переносила побои – с тем условием, чтобы быть битыми не на голой земле, а на ковре, презирая, однако же, из глупой гордости занятие торговлей и ремеслами, как неприличное шляхетскому званию”. Кстати, порка на голой земле, а не на ковре была для шляхтича страшным оскорблением, поскольку опускала его, так он считал, до уровня холопа. Посвящённый этому эпизод в пьесе “Пинская шляхта” у нынешней публики, которая всё-таки принадлежит уже к “непоротому поколению”, вызывает искренний хохот, сопряжённый с недоумением.

На многих территориях ВКЛ шляхтич вынужден был вести такой же образ жизни, как и крестьянин. По адресу ошмянской шляхты была распространена шутка, которая гласила, что одна нога у неё обута в сапог, другая – в лапоть. От крестьянина, вывозящего в поле навоз, шляхтич нередко отличался лишь тем, что из навоза, нагруженного им же на телегу, торчали не только вилы, но и сабля. И пусть попробует кто-нибудь оскорбить благородное достоинство того, кто топает рядом телегой и воняет навозом так же, как и крестьянин: сабля пойдёт в ход! Шляхтенка же отличалась от крестьянки тем, что рожь жала обязательно в перчатках. Ну, не могла же она поколоть свои благородные ручки!

Шляхтич, который был побогаче, ненавидел того, кто беднее его, хотя тот формально был равен ему по статусу. Вся же шляхта вместе ненавидела народ, среди которого жила и трудом которого кормилась, а народ, отвечая взаимностью, ненавидел шляхту. И жили они порознь, хотя и рядом. Связь между ними была только экономической. Холопы пахали во всех смыслах этого слова и платили многочисленные налоги. Некоторые перечень тех налогов приводит В. И. Яковенко в биографическом очерке “Богдан Хмельницкий”, опубликованном в 1894 году в книжной серии Ф. Павленкова “Жизнь замечательных людей”. Вот он: со всего имущества отдавать десятую часть, кроме того, платить очковое – с каждого улья, рогатое – с каждого вола, ставщину – за право ловить рыбу, спасное – за право пасти скот, желудное – за право собирать жёлуди, сухомельщину – за помол зерна, дудок – за рождение ребенка, поземщину – при женитьбе сына или выдаче замуж дочери. Каждый шаг крестьянина был обложен податями. За вход в церковь он тоже должен был платить. Даже известный иезуит Петр Скарга, имевший прямое отношение к подписанию Брестской церковной унии, вынужден был констатировать: “Нет государства, где бы подданные и земледельцы были угнетены так, как у нас, под беспредельной властью шляхты. Разгневанный землянин (земледелец. – Авт.) или королевский староста не только отнимет у бедного холопа всё, что у него есть, но и самого убьёт, когда захочет и как захочет, и за то ни от кого дурного слова не услышит”. Ещё один свидетель тех времен писал, что “крестьяне в Польше мучаются, как в чистилище, в то время как господа их блаженствуют, как в раю”.

Государство, делает вывод Рафал Земкевич, “вдруг разлетелось, как карточный домик, не потому что на него наехала какая-то сила, которой нечего было противопоставить, не в результате каких-либо катаклизмов, эпиде-

мии, землетрясения и наводнения, а потому, что попросту насквозь прогнило". Оно пришло к такому состоянию, при котором уже не было "ни власти, ни подтверждения прав, ни успешного хозяйства, ни государственного аппарата, ни армии, ни граждан, которые были бы готовы во имя общего добра отказаться хотя бы от малой части своих основных привилегий".

По сути Земкевич солидарен с Павлом Ясеницей, который тоже причину разделов Речи Посполитой видел "в факте фатального пренебрежения государственными трудами", в том, что "со времени угасания Пястов (первой польской королевской династии. — **Авт.**) по дни Станислава Августа (последнего короля Речи Посполитой. — **Авт.**) исключительные интересы власти и народа очень часто выглядели как две расходящиеся линии, временами находящиеся и в остром конфликте". Этот историк заключил, что Великое княжество Литовское, входившее в Речь Посполитую, было вовсе не республикой, а настоящей диктатурой, а диктатором был тот магнат, который в данный исторический момент располагал наибольшим влиянием. Вот его слова: "Никогда обычные землевладельцы и прочая гербовая мелочь не играли в ней ведущей роли... Великое княжество было магнатской монархией, фактически абсолютной... Литву всегда сотрясал отдельный род. Время и ход событий передавали власть из рук радзивилловских в руки Пацов, Сапег, но это не меняло сути..." Главное "несчастье государства состояло в том, что центральная власть не могла вырвать страну из-под влияния магнатов... Король был королём только в Варшаве, но не в магнатских владениях".

В этом смысле с ним солидарен и Рафал Земкевич. А оба они фактически солидарны с Фридрихом Энгельсом, которого тоже цитирует А. Мальдис и по словам которого дворянская демократия в Речи Посполитой была "одной из самых примитивных общественных форм", а потому разрушение страны стало "неумолимой, железной необходимостью". Вывод Земкевича полон горечи. Ту Речь Посполитую, пишет он, убила "только глупость её собственных жителей, их умиление всеобщим балаганом, который они привыкли отождествлять со свободой, а также безответственность, интеллектуальный и моральный упадок и, наконец, полное отсутствие политических элит, способных определить народные интересы и ими руководствоваться". Настоящей катастрофой стало для Речи Посполитой XVIII столетие, включает и Ясеница. Русским чиновникам, приезжавшим впоследствии на службу на белорусские земли, присоединённые к Российской империи в конце XVIII века, шляхетская анархия бросалась в глаза. Одному из них даже показалось, что тут "властвует сто тысяч королей", и каждый из этих "королей" не хотел расставаться ни с одной из своих вольностей. Ведь шляхтич в "своей загроде", то есть усадьбе, равен воеводе. Им никак не могли понравиться новые власти, которые ограничивали "наезды" и прочие своеволия, а тем более заставляли участвовать в прокладке дорог и иных делах государственного значения. Однако это было уже в России. А в Речи Посполитой последней попыткой спасти государство стало принятие Конституции 3 мая 1791 года.

Настальгирующие по первой Речи Посполитой потомки шляхты и иже с ними ныне оказываются в довольно сложной ситуации. Хвастаться, скажем прямо, им нечем, ведь потеряно два государства: Великое княжество Литовское и Польское королевство — федерация, которую теперь называют Речью Посполитой Обоих Народов. Невозможно отрицать и то, что ни Беларусь, ни Украина, ни Литва из той Речи не выросли бы. Потому, признавая, что "белорусский этнос... начал своё формирование и вызрел до уровня нации уже только на просторах и в контексте Российской империи", они начинают стелать, что "в формировании уже собственно белорусского этноса шляхта, считай, не участвовала", наоборот, её роль была весьма значительной в "социальной деколлективизации", а белорусский народ вырос из деревни, "плебейской части местечек и городов". Может, это и к лучшему. Упрямые факты истории побуждают нас сказать: и слава Богу, что не участвовала шляхта в белорусском строительстве! С её-то опытом!.. Тем более что настоящая элита Речи Посполитой, получавшая образование в европейских университетах, чувствующая ответственность за своё государство, утверждает Януш Тазбир, вымерла ещё в XVII веке, а те, что пришли ей на смену, были способны только на... Впрочем, об этом и шла речь на предыдущих страницах.

АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬЯНОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. ТАЙНА ЖИЗНИ, ТАЙНА КАРТИНЫ

В своих коллекционерских разысканиях мне однажды повезло найти удивительное письмо знаменитого русского художника Александра Андреевича Иванова (1806–1858). Оно с довоенных времен хранилось в семье одного из весьма славных в прошлом и донине чтимых московских антикваров, букинистов и коллекционеров, Алексея Григорьевича Миронова, скончавшегося в 1964 году. Среди прочего, у Миронова было и собрание автографов, некогда украшенное собственноручными документами Тургенева, Гоголя и других известных миру персон.

Письмо никогда не было опубликовано полностью в его настоящем виде и никогда не служило предметом анализа ученых исследователей¹.

Обретение и введение в подлинно научный оборот настоящего оригинального письма Иванова – редкое и отрадное событие, позволяющее восполнить существенную лауну, возникшую в связи с невозможностью обнаружить его черновик, некогда опубликованный Новицким. Теперь мы можем не только впервые прочесть это важное письмо от первой до последней буквы, но и сослаться, наконец, на оригинал.

В этой связи первойшей моей задачей как публикатора стало определение времени отправки письма (оно не датировано ни автором, ни публикаторами черновика) и его адресата.

Но этим ограничиться я не мог, поскольку в письме содержатся сюжеты, отбрасывающие долгую тень на историю всей жизни и творчества художника. А значит, дающие дополнительные поводы для раздумий над гигантским и прославленным результатом его труда, над неразрывной целокупностью его творения и бытия. Размышляя над этими сюжетами, мы способны, как мне кажется, заново оценить перипетии непростого подвижнического пути Иванова. Прижизненная и посмертная репутация его самого и его главной картины обретают новые важные и красочные штрихи.

Итак, прежде всего – сам документ.

ДОКУМЕНТ²

Друг мой Петр!

Князь Трубецкой³ едет курьером в Петербург с известием о выборе папы⁴. Радуюсь случаю послать к тебе письмо безденежно. Расскажу тебе теперь кое-что секретное на пр[имер] внутреннее состояние художников русских здесь, что для тебя должно быть интересно и ежели не теперь то в последствии.

Между тем как вместе с сим узнаешь и мое настоящее положение, чего в почтовых письмах отсюда усумнился бы сказать⁵. Деньги и самолюбие неограниченное есть как бы общие их идолы однакож не всех. Карл Брюлло⁶ сыскал величайшие милости посланника⁷ подлостью, дарованиями и пронизательным расчетливым умом, готов убить родителей своих еслиб они ему воспрепятствовали в честолюбивых его намерениях. Это масонское правило⁸ меня устрашает. Князь заступает за его во всех случаях, не разбирая, не входя в справедливость дела. Его мнение есть закон (в художеств. смысле) и если я что либо сделаю, то он же будет судить. Можешь себе представить, какого я приговора жду от раздраженного моим приездом соперника. Между тем рекомендация князя в Петербурге много значит, хотя это вовсе не справедливо в строгом смысле; разсуди сам: должен ли или может ли министр быть судьей художника? Карл Брюлло является нам всем русским пенсионерам как бы каким-то властелином, и судит и рядит обо всем решительно самым резким образом. Ефимов⁹, обруганный в глаза им по приезде своем, держит усердно его сторону, оправдывает его злодейские поступки. (Знаешь ли, он недавно при мне сделался причиной смерти одной молодой вдовы. Она бросилась в отчаянии, огорченная его поступками, в Тибр¹⁰). Но довольно. Еслиб ты послушал разговор Брюлло, ты подумал бы, что он не основателен. Напротив, у него все относится к его цели, т. е. быть над всеми властелином. И отбить охоту у всех работать. Это мне кажется горче его жизни беспорядочной, ибо портит участь многих. Мне рассказывал г-н Гофман¹¹, пенсионер Императора нашего, вот что: в мастерской Брюлло назначена была выставка всех русских пенсионеров, к сему времени он (Гофман) кончил свою картину, сюжет любовный из Данта, которую ты, я думаю, видел, ибо она в Петербурге. Что ж ты думаешь Карл делает? Он говорит посланнику, что она делает срам русским, тот верит, и Гофману отказано; срезанный этим случаем отчаянный Гофман в сей день хотел убить Брюлло. Уже все было готово, но Карла всю ночь не было дома. Гофман не может вспомнить без глубочайшего прискорбия сего случая: он мне рассказывал его со слезами. Разсмотрим дело Маркова¹². Брюлло как товарищ знал его слабую сторону. И вот что говорит ему раз за столом спустя несколько времени по приезде. Послушай, Марков, я тебе скажу откровенно, ведь ты совсем способностей не имеешь, а без способностей что можно сделать в нашем искусстве, брось живопись и займись другим чем. Речь его имела успех. Оскорбленный в крайней степени Марков, лишь только вышел на улицу, как, разбежавшись, что было в нем силы ударился головою об угол дома и расшибся в кровь. Вскоре Гофман и Брюни не дали ему лишиться себя жизни. Дали знать посланнику, и Маркова посадили в дом сумасшедших, все сие вместе в самом деле расстроило умственную систему Маркова, и все сие прикрыто доселе, что он из любовных дел помешался¹³.

Брюни¹⁴ сверх моего чаяния я нахожу человеком добрым, но он так откровенен, что с ним почти нельзя говорить о чем либо по важнее, ибо он по доброте своей и часто в горячах в спорах тотчас перескажет другому.

Засен¹⁵ и живет с Брюлло и всегда одной с ним партии. Считает себя за политика и ученого. Добродетель его та только, что он ни во что не вязнет по своей воле. К подвигам Брюлло еще прибавляют и то, что он шпион у князя.

Соболевский и Карчевский¹⁶ суть своекошные пенсионеры и, следовательно, между нами нейтральные. Они добрые люди, первой собирается ехать в Петербург весьма не надолго. Когда он там будет, постарайся с ним познакомиться, может быть еще узнаешь какую либо ужасную новость.

И так вот тебе описание круга, в котором и друг твой теперь находится. Признаюсь тебе, я в Риме, и мне тошна здешняя жизнь, ибо не прошло дня без какой либо неприятности с кем нибудь из нас. Мысль возвратиться в Отечество прежде времени часто меня навещает, и ежели получу известие от любезнейшего моего дому, что нужен на лицо, то право безропотно возвращусь. Друг твой Александр.

1 сторона обрезанной половины страницы:

Пошли скорее мне по почте письмо, если нужно секретно от моих родителей, как то мы когда-то говорили. Опиши мне их состояние, особенно если есть какие перемены после меня, опиши все, что было после моего отъезда. Нечувствует тот настоящей любви к родителям, кто не был никогда в разлуке.

Как ты думаешь, если показать это письмо секретно Григоровичу (=) вместо всех тех откровенностей, какие требует от меня общество, то каково оно будет¹⁷? Если ты утвердишь мою мысль своим советом, о чем подумай построже, то я отпишу ему об сем письмо, а он от тебя его получит.

Бога ради не жалею моих денег на письма, ибо они мне составляют утешение в настоящем моем положении. Скажи, получил ли ты деньги от батюшки моего¹⁸ на оные, я просил из Вены, чтоб тебе дали 90 рубл[ей]. Как ты нынче живешь с Васильченкой, скажи откровенно, и если он с тобой поссорился после усердной моей просьбы никогда не делать сего, то естли тебе угодно, я перестану быть к нему расположенным. Если же у вас мир, то прочитай ему сие письмо, оторвав эту записочку, да и то если найдешь нужным. Остаюсь с совершенной к тебе доверенностью и утешительною преданностию. Друг твой Александр. Прочитай это письмо батюшке, если сам рассудишь, но так чтобы никто не знал об нем более, ибо оно может разстроить покой.

(=) Не буду ли я казаться шпионом? Подумай, я чувствую надобность сблизиться потеснее с сим человеком и в тоже время боюсь уронить честь собственную.

2 сторона обрезанной половины страницы:

Возьми на себя труд раздать письма (II), ибо некому более заступить мое место в нашем доме. Прошу оторвать скоро эту бумажку от письма, чтобы никто ее не заметил.

Скажи мне что-нибудь о сестре моей. Как я робею, чтобы Сухих¹⁹ не переехал в наш дом. Это будет пагуба для ее чести, я тебе никогда еще об этом не говорил, но теперь прошу наблюдать за этим. Скажи мне, как ты ныне в нашем доме. Бога ради прошу тебя не обижаться если выйдет какая нибудь тебе неприятность. Ибо я знаю, что ты в то время готов будешь оставить дом наш. Но скажи, что будет тогда с невинным братом моим²⁰? Что будет со мною, когда не буду получить верных известий о доме своем?

Радуюсь, что написал тебе сие письмо. По крайней мере по нем ты будешь лучше понимать темные места будущих моих писем.

Желаю тебе здоровья и счастья, а паче всего благоразумия. Друг твой Александр

(II) Когда относить будешь к Орловскому²¹, то постарайся с ним познакомиться. Он может быть тебе иногда полезен. Я много ему обязан знакомством в Риме.

* * *

Прежде, чем приступить к анализу текста, должен ознакомить читателя с источниками и системой аббревиатур и сокращений.

Список сокращений и литература:

АХ – Академия художеств.

Алпатов – Алпатов М. В. Александр Андреевич Иванов. М., Искусство, 1966. Тт. 1–2.

Анисов – Анисов Лев. Иванов. – М., Молодая гвардия, 2004.

Аскарянц А. В., Машковцев Н. Г. Архив А. А. и С. А. Ивановых. Записки Отдела рукописей. М., Гос. б-ка им. В. И. Ленина, 1958. Вып. 20.

Ацаркина – Ацаркина Э. Карл Павлович Брюллов. Жизнь и творчество. М., Искусство, 1963.

Боткин – Боткин М. Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. СПб., 1880.

Виноградов – Виноградов И. А., сост. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001.

ГБЛ – Государственная библиотека имени В. И. Ленина, ныне РГБ.

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея.

Зотов — Зотов А. И. А. А. Иванов. В кн.: Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Первая половина девятнадцатого века. М., Искусство, 1954.

Машковцев — Машковцев Н. Г., сост. Карл Павлович Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. М., 1962.

НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.

Новицкий — Новицкий А. П. Опыт полной биографии А. А. Иванова. М., 1895.

ОПХ — Общество поощрения художников.

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.

ОР ГТГ — отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи.

Письма — Письма А. И. Иванова к сыну // Русский художественный архив. М., 1892/1893.

Отчеты Румянцевского музея 1879–1882 гг.

РГБ — Российская Государственная библиотека.

РМ — Румянцевский музей.

Когда и кому написано письмо?

«...Некому более заступить мое место в нашем доме».

Александр Иванов

И. А. Виноградов, не объясняя, датирует черновик письма приблизительно: «Начало 1830-х гг.»²². Попробую уточнить это расплывчатое представление.

Судить о весьма раннем происхождении письма, действительно, можно уже в первом приближении, благодаря известным переменам в настроении самого художника. В самом начале пребывания в Риме Иванова томила ностальгия: «Я иногда клянусь тот день, в который выехал за границу», — отписывал он своим петербургским конфидентам²³. (Ср. строки из письма: «Признаюсь тебе, я в Риме, и мне тошна здешняя жизнь...» и т. д. вплоть до обещания «и ежели получу известие от любезнейшего моего дому, что нужен на лицо, то право безропотно возвращусь».) Но это настроение весьма быстро прошло, и когда родители, поверив в его тоску по дому, предложили-таки сыну вернуться, Александр рассердился на них, да так, что в ответ батюшка отозвался в недоумении: «Не твое сердце, не твои чувства излились в сих словах». Тут он явно ошибся, ибо Иванов задержался за границей на долгие 27 лет, и никто из родных не дождался и не увидел его в России (вернувшись, художник даже родительских могил уже не смог отыскать). По прошествии всего трех лет Иванов окончательно укрепился в решимости не возвращаться: «Мысль о возврате на родину вышибает у меня и палитру, и кисти, и всю охоту что-либо сделать порядочное по искусству»²⁴. А к 1837 году созрел и до того, что в разгар холерной эпидемии написал отцу на полном серьезе: «О, Рим, в недрах твоих прелестей и умереть приятно!»²⁵.

Сказанное позволяет предположительно датировать письмо, где он пишет о готовности вернуться по первому зову отца, первым годом его пребывания в Риме.

Отталкиваясь от скупого замечания по поводу человека с фамилией Сухих, можно дополнительно мотивировать предположение о раннем происхождении письма. Дело в том, что старшая сестра художника Екатерина Андреевна вышла замуж за художника Андрея Акимовича Сухих, которому родила четверых детей. Сухих учился в АХ с 1808 по 1821 гг., в 1820 г. был награжден золотыми часами за картину, поднесенную императрице Елизавете Алексеевне и переданную затем училищу женского патриотического общества, а в 1830 г. получил звание академика и в дальнейшем успешно работал, в том числе вместе с Ивановым-отцом, своим тестем. Со временем Ивановы перестали общаться с Сухих. Екатерина Андреевна в 1835 году вначале отказала мужу в супружеской близости, потом разошлась с ним и впоследствии уехала жить в Севастополь с И. Ф. Моисеенко. Но до этого явно было еще очень далеко²⁶.

Какого же бесчестья мог ждать для сестры Александр Иванов от переезда в отчий дом столь близких родственников, сестры и зятя?

Черновик письма Иванова начала 1831 года тому же Измайлову, оставшийся в большой записной тетради, раскрывает причину беспокойства автора, который писал о Сухих: «Истлвши счастливую блаженную свою женидбу непомерными чувственными наслаждениями, обнаружил свое намерение обесчестить вторую мою сестру [Марию] за три года перед моим отъездом, дело истинно-ужасное, стоит мести нескончаемой. Но разсудок велит скрывать <нрзб.> преступление, вечно быть бдительным в будущем и даже согласно с родственными узами быть ему по возможности полезным. Вот почему (Боже упаси от хвастовства) я был ему весьма полезен, как тебе известно к приобретению звания члена Академии... Он говорит, что я дурак, <нрзб.> горд и занят собою до крайности. – Вот благодарность. – В отмщение за сие я решился высказать тебе все это дабы ты друг мой узнав истинну мог бы заранее принять меры в обращении против сево опасного потому что он умен и хитр, от того что ты упавши в пропасть мог бы только разглядеть ужасные его замыслы»²⁷.

Данный черновой текст явно был написан в развитие публикуемого письма, а скорее всего – в ответ на вопросы адресата. Настоятельная необходимость объясниться с другом по поводу семейной тайны мучила Иванова. Но это объяснение ушло в адрес Измайлова в беловой, менее эмоциональной редакции. Оно содержится в уже упоминавшемся выше письме от июля 1831 года:

«И теперь хочу тебе сообщить нечто тайное, в знак моей всегдашней откровенности. За три года перед моим отъездом, зять мой Андрей Екимович упившись неумеренным употреблением брачного ложа, простер намерения свои до крайности – он покусился было обесчестить мою вторую сестру!! Такой ужас заставил нас немедленно сжить подлеца скорее из дому нашего. Вот почему он переехал от нас в Малую Морскую. Тогда я видя предстоящий неизбежный вечный раздор нашего и их дома, вошел в посредничество чтоб по крайней мере прикрыть все это мирным покрывалом от людей посторонних и вместе с тем доставить свободный вход в родительский дом невиной старшей сестре моей. – В чем и успел – Этим я рассказ не кончаю. Я должен тебе припомнить об моих услугах зятю к споспешествованию звания Академического, для того, чтоб сказать чем в это время платил он мне за оные: он разглашал что я и горд и глуп и дурак и слишком много думаю о себе. – Все сие Петр я тебе на тот конец сообщаю чтоб ты посещая наш дом понимал умного бездельника, и избегал бы невозможно с ним откровенных разговоров; ибо он завладевши слабою стороною твою, неприметно может ввести тебя в горькие нещастия»²⁸.

Итак, если данное письмо датировано июлем, то, следовательно, черновая запись в тетради создана еще раньше в ответ на письмо Измайлова, написанное, в свою очередь, в ответ на темное по смыслу замечание в письме друга. Пока письмо Иванова дошло до Измайлова, пока тот собрался ответить, пока его ответ оказался у художника, пока Иванов сочинил одно за другим цитированные выше варианты объяснения... Все эти соображения позволяют сдвигать предполагаемую дату написания публикуемого текста на весну 1831 года или на еще более ранний срок.

Кстати, в свете авторских разъяснений становится понятно, что Иванова заботила честь не старшей сестры, замужней Екатерины, а средней, самой любимой, незамужней пока еще Марии. Это важно отметить для последующих нюансов моего расследования.

Уточнить момент отправки письма позволяют сохранившиеся письма Иванова-старшего к сыну. Принято считать, что Иванова по повторном и окончательном приезде в Рим²⁹ в начале 1831 года уже ждало письмо с дурным известием об отставке его отца, состоявшейся в декабре 1830 года. Однако теперь ясно, что это вовсе не так. Обращение к другу по поводу родителей («Опиши мне... если есть какие перемены после меня, опиши все, что было после моего отъезда») заставляет усомниться в том. Если художник действительно уже все знал, то почему прямо не спросил о последствиях отставки, а интересовался, нет ли «перемен»? Приходится предполагать, что настоящее письмо могло быть написано через некоторое время по приезде, достаточное, чтобы проникнуться первыми впечатлениями и обстоятельствами жизни и быта русской колонии, однако до извещения Иванова о карьерном крахе батюшки.

Само это извещение сохранилось: это первое из писем отца сыну в Рим, оно датировано 18 января 1831 года. Когда оно могло быть получено?

В те времена письмо из Рима в Петербург (или наоборот) шло примерно от двух до трех недель. Так, в письме, датированном 26 августа 1831 года, отец уведомляет о получении письма сына от 3 августа. Другой пример: известие о землетрясении, отправленное из Неаполя 20 января 1831 г., было опубликовано в «С.-Петербургских ведомостях» 11 февраля.

Можно предположить, следовательно, что январское письмо отца Иванов-младший получил около 10 февраля. А значит, исследуемый текст написан, скорее всего, до этой даты.

Однако все приведенные соображения носят приблизительный характер. Возможно, ими же руководствовался и Виноградов, датируя черновик началом 1830-х гг. Между тем, в письме, в отличие от черновика, есть прямое указание, позволяющее, наконец, ближе всего подойти к его верной датировке. Для этого надо лишь ответить на два вопроса: когда именно состоялось избрание папы римского и когда князь Трубецкой поехал с этим известием в Россию.

Тут места сомнениям меньше. Новый папа Григорий XVI был избран 2 февраля и интронизирован 6 февраля 1831 года; ранее первой даты письмо не могло быть ни написано, ни отправлено. Но как поставить вторую временную границу? Когда отбыл на родину из Рима князь-курьер? Ждал ли он торжественной интронизации, или поехал сразу? Конечно, в задачу курьера по определению входит скорее отбытие с известием, мешкать в таких случаях не принято. Счет мог идти на дни, не более того.

Официальное известие об избрании папы было опубликовано «Санкт-Петербургскими ведомостями» в № 37 от 13 февраля. Оно, следовательно, дошло из Рима до Петербурга всего лишь за 10–11 дней. С такой скоростью, вдвое быстрее обычной почты, его мог доставить только курьер. Был ли им упомянутый князь Трубецкой? Если да, то, конечно, у Иванова не могло быть много времени на сочинение письма.

Итак, резонно предположить, что письмо Иванова другу было написано 2–3 февраля 1831 года. Никакие обстоятельства, упомянутые в письме, не противоречат такому предположению. Позволительно думать поэтому, что перед нами одно из самых первых писем Иванова из Рима, если первым считать упомянутое Андреем Ивановичем в письме от 18 января известие от сына о прибытии на место в конце 1830 года.

Кому же было адресовано письмо?

* * *

У Иванова к концу жизни был уже очень широкий круг знакомств, однако, как неоднократно отмечалось всеми, даже к этому времени искренних, настоящих друзей в этом кругу не наблюдалось, не исключая и собственного младшего брата, которого он сумел оттолкнуть своей подозрительностью, мнительностью и другими чертами более чем сложного, тяжелого характера.

Но и в молодые годы Иванов не был легким для дружбы человеком. Изучивший его биографию М. В. Алпатов описывает будущую знаменитость так: «Характера он был вялого, отличался неповоротливостью и медлительностью, которая и позднее раздражала тех, кто имел с ним дело. В классах бросалась в глаза его неспособность быстро соображать, плохая память при заучивании наизусть, явная малоодаренность к словесным наукам»³⁰. По собственному признанию, он «часто бегал и дичился людей».

Однако в годы ученичества некоторые соученики по Академии художеств все же сблизились с ним: Карл Рабус³¹, Петр Измайлов³², Матвей Васильченко³³, Павел Спарро³⁴, Константин Осокин³⁵, Николай Тверской³⁶, Федор Иордан³⁷, Николай Демерт³⁸. Других имен из ряда дружеских нам не известно. Искать адресат письма, по всей видимости, следует среди них. Тем более, что имя Васильченко прямо упомянуто в письме («как ты нынче живешь с Васильченко, скажи откровенно...»), притом в таком контексте, что становится ясно: адресат вынужденно делит с оным жилое помещение, т. е., скорее всего, связан с ним узами соученичества, но стоит к Иванову значительно ближе.

Взяв в соображение данное обстоятельство и сопоставив его с формулой Иванова-отца «друзья твои г. Измайлов, г. Васильченко и г. Спарро», можно предположить, что адресат, скорее всего, это действительно Измайлов, которого единственного из всех упомянутых звали Петром.

Что еще мы узнаем об этом человеке из письма? Видно, что это друг Иванова, входящий в семью. Притом друг ближайший и довереннейший: ему единственному он поручает и наблюдение за родителями, и судьбу «невинного» младшего брата, и даже заботу о чести сестры. А также передачу писем, в том числе конфиденциальных, петербургским адресатам, в том числе высокопоставленным, от расположения которых многое могло зависеть в судьбе как автора, так и его друга. И главное – сообщает ему такие сведения, которые нельзя было доверить почте, притом затрагивающие исключительно профессиональную сферу интересов русского художественного сообщества. Все сказанное убеждает нас: письмо писано сверстнику, однокашнику по Академии художеств, входящему в дом профессора Андрея Иванова и близкому со всей его семьей.

На эту роль я вижу лишь одного подходящего кандидата: это Петр Измайлов.

Этот юноша, двумя годами младше Иванова, по-видимому, был самым близким и задушевным товарищем художника. Вот с какими необыкновенными словами двадцатипятилетний Иванов обратился к нему, судя по сохранившемуся в самой первой итальянской записной книжке Иванова наброску письма:

«Петр! На правилах благоразумия наше дружество может быть прочно, без него все пропало! В настоящих моих обстоятельствах, я бы тебя уверил, что я променял бы всю Италию на тебя одного, что для меня ты – все; что без тебя – пропадаю. Что я тебе всего себя отдаю на полное распоряжение и что щаслив был бы и тогда если б завлечен был тобою в крайнюю нужду, в пороки. Так Петр; все сии чувства верные. Когда кроюткая чувствительность раздельно от разума застанет меня в досужем положении – и я плачу – плачу и требую твоего присутствия. Спрашиваю себя зачем отторгнулся от тебя, от родителей, от всего [нрзб.] и в слезах нахожу облегчение. . .

После сильных нежных чувствований и пустого отдыха воскресает суровой разум, он указывает на верную трудную тропу к пользе указывает мне и говорит ты на Пути. Первое твое ты должен просветиться, потом быть полезным отечеству и дому, другу твоему. . .»³⁹.

Как видим, степень близости Измайлова к Иванову такова, что заставляет вспомнить модные в восемнадцатом веке романы в письмах. В той же записной книжке – памятка самому себе: «Сказать родителям Измайлова, чтоб согласились отпустить его за границу» (как мы помним, это намерение было осуществлено). Неудивительно, что публикуемое письмо содержит столь откровенные, интимные признания.

Что в дальнейшем случилось с этим адресатом письма художника? Как развивались и чем закончились их отношения?

Иванову было не суждено сбросить свои юношеские привязанности. Как отмечал Алпатов: «Что касается академических товарищей, то Иванов поддерживал сношения с ними недолго. Первые письма его полны пламенных излияний нежности и привязанности. . . Однако письма его остаются без ответа, и он начинает жаловаться на скорое забвение дружеских клятв и обетов верности до гроба. Между тем окольными путями в Рим доходят слухи о том, что один из друзей Иванова успел жениться и обзавестись семейством, другой устроился учителем рисования в каком-то привилегированном учебном заведении. После этого упоминания об академических друзьях Иванова в его письмах вовсе исчезают»⁴⁰.

Исчезают, в том числе, и упоминания об Измайлове. Когда? Об этом мы отчасти можем судить по переписке отца и сына Ивановых.

Фигура Петра Измайлова возникает уже в первом письме отца к сыну (январь 1831): здесь имярек упомянут в связи с поиском одного из эскизов. Вскоре, 5 марта, отец интересуется: «Я знаю, что г. Измайлов намеревался писать к тебе и кажется уже и отправил к тебе письмо свое; мне бы любопытно было узнать, что он к тебе писал на счет настоящих наших обстоятельств, о которых я тебя уведомил в письме моем от 19 [18] января». По всей видимости, к этому дню Измайлов еще не познакомил старшего Иванова с исследуемым письмом, поскольку тот пишет еще достаточно нейтрально: «Не знаю, каким нашел ты г. Брюллова в отношении к тебе и других русских художников, с коими по необходимости ты должен иметь связь, как по части художеств, так и других отношений, взаимных между вами, но осторожность всегда нужна, излишняя же доверчивость вредить может»⁴¹.

Настороженность, подозрительность опального профессора АХ вполне оправдана в свете произошедших с ним «обстоятельств». Однако, как вскоре станет ясно, эта черта характера и вообще была ему глубоко свойственна. Передавшись в усиленном виде сыну, она в высшей степени отяготила его характер и очень осложнила в дальнейшем жизнь. Он и сам осознавал это как фамильный «порок».

Между тем, Измайлов, надо полагать, вскоре исполнил просьбу Иванова-сына и ознакомил-таки его батюшку с содержанием нашего письма, ибо 6 апреля тот отписывал: «Что ты сказал насчет г. Брюлло, то я вижу, что он в тех краях будет то же, что у нас некоторые под начальством тобою упомянутого [Григоровича?] в сравнении с ним. Я на тебя надеюсь, что ты не подашь ему причины к худому с тобою поступку; с его же стороны много найдется причин вредить тебе, если он потерял благородство в поступках, что почти неизбежно бывает с людьми в подобных случаях»⁴².

Очевидно, о том, что Измайлов находился в постоянной корреспонденции с Ивановым-сыном, отцу было известно хорошо. Вот и 26 августа 1831 года он извещал, что «письмо... на имя Измайлова мы получили, за неизвестностью, где находится г. Измайлов, ибо он нас не уведомил о том, из речей же его мы могли знать, что ему оставаться пансионером при академии не хочется по некоторым неприятным для него случаям»⁴³. Что это за случаи? Отчасти об этом можно судить из того же письма:

«Любезный Александр, друзья твои г. Измайлов, Васильченко и г. Спарно (так!), не знаю, что тебе сказать о них, а только думаю, что они не могут чувствовать в полной мере того неоцененного чувства, которое ты им к себе внушить хочешь; все они находятся в обстоятельствах, не от них зависящих, малы, под надзором, а потому и соображают поступки свои с выходами тех, кои могут иметь, или имеют больше на них влияния, почему и советую тебе не быть к ним столь откровенным, а особливо ежели ты и сам замечаешь из их писем к тебе неполную доверенность»⁴⁴.

Отец, полный родительского попечения, учит сына видеть в Брюллове потенциального врага, учит его не доверять друзьям, бросает тень на них как на возможных осведомителей, предателей... Обработка в данном направлении велась и в дальнейшем, к примеру, в 1839 году Иванов-старший пишет: «Считаю ненужным упоминать тебе о крайней осторожности, с какою ты вести себя должен насчет русских пансионеров в Риме; ты, кажется, и сам уже испытал то на опыте, а теперь берегись их и того более, зависть и злоба на что не могут покуситься! и тем опаснее, что это будет иметь вид дружбы»⁴⁵.

Увы, все эти уроки глубоко запали в сыновнюю душу, и без того излишне настороженную и пугливую. Семена болезненной мнительности и недоверия к людям упали на благодатную почву. По конкретному же поводу он отписал отцу так: «С Измайловым, Васильченко и Спарро я буду поступать согласно с Вашим наставлением»⁴⁶.

После 1831 года Петр Измайлов больше никогда не упоминался Ивановым-отцом в письмах к сыну. Сестра Мария в письмах брату перестала упоминать его друзей Васильченко и Измайлова после 1833 г. Связано ли это только с переездом Петра Ивановича в Царское село или имел место некий разрыв отношений? Характерно, что записная тетрадь самого Иванова, относящаяся к 1833–1839 гг., содержит черновики 49-ти писем (немало!), но Измайлова среди адресатов нет. Похоже, пламенная дружба успела остыть довольно быстро, года за два. Что было причиной тому? Это ясно из писем. Иванов не раз пенял петербургскому другу; например, так: «Я чувствую согласно с твоим характером и с шумным блеском Академии, что просьбы мои и советы, чтобы склонить тебя на посещение нашего дома останутся тщетны. Предчувствую еще горшее несчастье, что услуги твои о воспитании брата должны уничтожиться с выездом нашей фамилии из стен Академии... После сего письма твоя безответность заставит меня переменить о тебе мнение»⁴⁷.

В переписке Иванова, однако, имеются позднейшие письма, отнесенные Боткиным к разряду «писем к неизвестному», но содержащие обращение и другие атрибуты, указывающие на того же Измайлова. Так, весной 1834 г. Иванов пишет из Милана: «Милостивый Государь, Петр Иванович! Письмо ваше, с приложением батюшкинаго, я получил...»⁴⁸. Ясно, что какие-то отношения Измайлова с семейством Иванова к этому времени еще сохранялись. Другое письмо или, скорее, записка (черновик), писанная летом 1836 года,

начнается со слов «любезнейший Петр Иванович» и содержит дружескую просьбу сочинить поздравительную надпись в прозе для чествования Ореста Кипренского. Может быть, она адресована Измайлову.

По-видимому, более поздних корреспонденций между друзьями сегодня не известно и не опубликовано. Но возможно, письма Иванова к Измайлову, учитывая характер и длительность их отношений, были более многочисленны, чем это сегодня представляется⁴⁹. Они сосредоточены в государственных хранилищах; не все из них привлекали внимание исследователей.

Поэтому сохранение даже одного из подобных подлинников в частном владении сегодня кажется чудом.

* * *

Итак, перед нами оригинальное письмо, предположительно написанное Ивановым 2–3 февраля 1831 года и адресованное младшему товарищу по АХ и самому в то время близкому другу Петру Ивановичу Измайлову.

Установив окончательно эти формальные обстоятельства, можно перейти к более важным деталям, позволяющим заглянуть в душевный мир выдающегося русского художника.

Дело в том, что в данном, одном из самых первых, дружеском отчете Александра Иванова из Рима содержатся, как в зародыше, такие импульсы, которым будет суждено сформировать едва ли не главное содержание жизни Иванова. В письме просматриваются важнейшие сюжетные линии, протянувшиеся затем практически до самой его смерти. Это его взаимоотношения с петербургским куратором Василием Ивановичем Григоровичем (1792–1865) и с художником Карлом Павловичем Брюлловым (1799–1852). Но если отношения с Григоровичем важны лишь для внешней канвы биографии Иванова, не особенно влияя на развитие его творческого гения, то отношения с Брюлловым были поистине судьбоносными, определили во многом весь путь художника. Сосредоточимся на них.

К истории одного соперничества

*Имей он талант Брюллова или имей
Брюллов душу и сердце Иванова, ка-
ких чудес мы были бы свидетелями.*

И. С. Тургенев

Ах, Александр Андреич, дурно, брат!

А. С. Грибоедов. Горе от ума

Почему Иванов, даже опасаясь прослыть шпионом, хотел, все же, чтобы его письмо с нелицеприятной характеристикой Карла Брюллова попало в руки Григоровича? И просил в том содействия и совета Измайлова? Причем следует полагать, что письмо стало-таки известно Григоровичу благодаря доброхотству (вынужденному?) Петра Измайлова. Летописец Брюллова при его жизни М. И. Железнов недаром записал о начале 1830-х годов: «И вот в Академию долетели жалобы на то, что Брюллов здесь у нас [в Риме] как бы завладел всем и что русские художники решились прервать с Брюлловым все сношения, чтобы избежать вражды вечной»⁵⁰. Весьма вероятно: в этом признании звучит отголоском письмо Иванова. Зачем и почему он добивался этого?

В отечественном искусствоведении бытует мнение, будто Иванов сызмала питал к Брюллову лишь искреннее восхищение и всякие добрые чувства⁵¹, а сверх того еще и «покорно уступал дорогу»⁵². И будто с тем он и встретился с Карлом Павловичем в Италии. К примеру, Михаил Алпатов заверяет: «Иванов приехал в Рим с самым высоким мнением о Карле Брюллове и долгое время находился под его обаянием. В письмах в Общество он горячо защищает его от упреков в бездеятельности. В делах искусства пример “самого Брюллова” служит для него самым убедительным доводом... Долгое время Иванов домогается сближения с даровитым художником»⁵³.

Действительно, в юности (осень 1823) Александр писал Карлу Рабусу о Брюллове: «Никогда бы я не хотел состязаться с сим Геркулесом»⁵⁴. Но это

смирение, как видно, было напускным, скрывающим самые сильные порывы честолюбия, если не зависти. Ведь письмо содержит такие характеристики, которые позволяют взять под сомнение искренность Иванова. Его снесли совсем иные чувства, хотя он и остерегался выставлять их напоказ. Но только ли в профессиональном соперничестве было тут дело?

Думается, что Иванов и Брюллов выражали собой два вполне противоположных человеческих типа, которым не суждено ни сближение, ни взаимопонимание.

Родившись в один год с Пушкиным, Карл Павлович Брюллов (1799–1852) возмужал при относительно благополучном и славном правлении Александра Благословенного. Когда в декабре 1825 года разразилась катастрофа на Сенатской площади, он, в отличие от Иванова, уже был далеко от России. С 1822 года пребывая в Риме, Карл к этому моменту успел прославиться и в Италии, и в России как автор выдающихся полотен «Итальянское утро» (1823), «Сатир и вакханка» и «Эрминия у пастухов» (1824). Политические бури, житейские треволения не коснулись любимца Аполлона и Фортуны, ничто не омрачало его успех.

В Риме Брюллов располагался в мастерской прославленного скульптора Торвальдсена, пригласившего молодого талантливого русского художника работать у себя⁵⁵. Кстати, окно дома, где жил Иванов, выходило прямо на окошко датчанина, постоянно напоминая о счастливчике Карле.

Брюллов был сыном и одновременно отцом (творцом) «золотого века» русской культуры. Недаром имеется свидетельство о том, что Пушкин на коленях выпрашивал у него рисунок (их дарования были сродни, но художник «отказал мольбам Александра Сергеевича»)⁵⁶. Принадлежит к поколению Пушкина, Дельвига, Вяземского, Грибоедова, он любил чтение, музыку, театр и отлично сохранил вдали от России полнокровное, жизнерадостное, эпикурейское начало своего творчества.

Таким он был и в жизни. Женщины, соперничая, дарили Брюллова своим вниманием⁵⁷, репутация жуира и бонвивана сопутствовала ему до гроба. Это обстоятельство нередко вызывало недоброжелательное отношение к жизнелюбивому художнику, не знавшему преград своим желаниям. Характерно признание его племянника, художника П. П. Соколова: «Я считал его великим мастером, но все же в моей тогда молодой и честной душе не могли согласоваться эти два существа: гений и страшное исчадие разврата... Раз пришел я к Карлу Павловичу и нашел дверь его квартиры открытою; оказалось, у него в доме шла уборка и поломойка мыла пол. Вдруг до меня долетел возглас дяди: — Стой! Не шевелись! — Я уже приотворил дверь и окаменел от омерзения и ужаса от той картины, которую увидал... Меня не заметили, и я ушел скорее прочь. Как мне жалок и гадок был этот великий артист...»⁵⁸. Дядя бы от души посмеялся этой наивно-ханжеской филиппике племянника⁵⁹.

А вот Иванов, скорее всего, подписался бы под нею. Как отмечал исследовавший его религиозные взгляды В. М. Зуммер, опирающийся на архив художника: «Даже самым резким покаянным признаниям (“девка на пороге студии”) придается объективное значение истории борьбы избранного с искушениями»⁶⁰. Впрочем, переступала ли порог она «девка»? Избрав добровольное воздержание, по контрасту с Брюлловым, Иванов избегал даже легкомысленных поцелуев и тоскливо отписывал тому же Измайлову из Милана, уже объездив пол-Италии: «Я до сих пор не соединялся еще с прекрасными, которых много и много встречаю. Ах, как они везде хороши!»⁶¹. Судя по горькому автобиографическому признанию, черезчур напряженная борьба с искушениями несла с собою одни расстройства, заводя избранного в нравственный тупик и служа источником непрерывного самобичевания. В черновой записке художник характеризует себя так: «Добр и завистлив, тих и благороден, склонен к изыщному, труслив и холоден, равнодушен, склонен к недозволенным любовным удовольствиям и жаден видеть тиранския сцены, сомневается в уставах церкви и падок к блескам счастья... Частое упражнение в скверных чувственных привычек ввергало его наконец в болезни от истощения...»⁶². Комментарии излишни.

Понятно, какое раздражение и соблазн должна была на таком фоне вызывать у Иванова эротическая одиссея Брюллова. Недаром он сохранял до конца в своем архиве копии писем несчастной Аделаиды Демулен, покончившей с собой из-за ветреного Карла!

В этой связи высокочзнаменательным кажется один факт семейной биографии Ивановых, о котором почти не упоминают биографы.

Дело в том, что незадолго до своего отъезда в Рим (1822 год) влюбчивый Карл Брюллов посватался... к самой любимой сестре Александра Иванова, Марии. Однако получил отказ⁶³ и уехал на чужбину с глубокой царапиной в душе. О чем, конечно, ни он, ни Иванов никогда не могли забыть. Для Иванова, болезненно переживавшего покушение своего сластолюбивого зятя Сухих на честь все той же Марии, нестерпима должна была быть самая мысль о ее возможном браке с Брюлловым, в чьих нравственных свойствах он нимало не сомневался. Это окрашивало его отношение к «Геркулесу» в дополнительные темные тона (недаром он полусушня сравнил Брюллова с сатаной⁶⁴). И, помимо того, заставляло предполагать у Карла мотивы недоброжелательства к клану Ивановых. Так глубоко интимное, личное вторглось, незаметно для современников и исследователей, во взаимоотношения художников.

Крайне неприязненное и ревниво-пристрастное отношение к Брюллову сразу бросается в глаза при чтении письма. Иванов пронес его через всю жизнь. Сохранился черновик позднейшего (неотправленного) письма, где Иванов упрекал Брюллова: «... а нравственностью Вашу Вы служите примером, что не лъзя вырваться в первый раз из обыкновенных людей, как с ущербом некоторым моральных достоинств»⁶⁵. Вот чем, оказывается, а вовсе не необычайным даром, Брюллов достиг высот Олимпа... В 1851 году, встретив Брюллова в Риме незадолго до его смерти, Иванов отписывал Гоголю свои впечатления: «С Брюлловым я в начале его приезда часто виделся, но теперь с ним не бываю. Его разговор умен и занимателен, но сердце все то же, все так же испорчено»⁶⁶. И называл его стиль «распутным».

Однако нравственность — нравственностью, но ведь ожесточенное, отягощенное личными обстоятельствами соперничество с Брюлловым происходило у Иванова совсем в другой, чисто творческой сфере. И судить об этом следует по развитию Иванова именно как художника. Конечно, глубоко личные мотивы вплетаются тут в контекст его идейного и профессионального созревания; элементы соперничества и отторжения Иванова от образа жизни и творчества Брюллова просматриваются буквально во всем.

При этом баловень фортуны и света Брюллов вряд ли был настолько же озабочен сравнением своего пути в искусстве с путем Иванова. А уж в начале 1830-х и вовсе не должен был воспринимать свежееиспеченного пенсионера как опасного конкурента. Несмотря на то, что в литературе нередко упоминается о ревнивом отношении Карла Брюллова к чужим способностям в искусстве, прямых свидетельств того, что он был «раздражен» приездом Иванова и относился к нему как к «сопернику», мне найти не удалось.

Однако сам Иванов, судя по письму, был уверен в обратном. Возможно, и тут все было не так уж просто. Следует вспомнить, что еще в 1827 году Академия рассмотрела картину Иванова «Иосиф, толкующий сны» и его же картон «Лаокоон», от чего произошли важные последствия. По решению Совета АХ и с согласия присутствовавших членов Общества поощрения художников Иванов получил не только золотую медаль первой степени, но и предложение от Комитета Общества: «Для вящего усовершенствования в художестве, отправить его на счет Общества в Италию, к чему, с прекращением срока пребывания в чужих краях... Брюллова представляется совершенная возможность». Петербургские влиятельные ценители прекрасного не только поставили ивановского «Иосифа» выше брюлловских работ (такое мнение прозвучало во всеуслышание), но и затеяли рокировку: Брюллова из Рима в Петербург, а Иванова — наоборот, на его место.

Узнал ли об этом Брюллов? Несомненно: подобные важные новости не имеют недостатка в распространителях. Его отказ от пенсии и дальнейшая жизнь в Риме за свой счет могли быть отчасти спровоцированы таким обидным для его самолюбия известием. А этот его резкий поступок немедленно отразился на судьбе Иванова, о чем последний писал осенью 1829 году Карлу Рабусу: «Тут мне грозит строжайшей инструкторией, и за неисполнением одного хотя маловажного пункта я буду лишен срочного пребывания за границей. Ожесточенные поступками Карла Брюллова, они, грозя ему палкою, над первым мною хотят привести в действие свои несбыточные приказания». Иванов, похоже, из-за всего этого побаивался отправляться в Италию и всячески оттягивал отъезд под предлогом того, что хотел бы ехать вместе с Рабусом. Но был-таки отправлен летом 1830-го...

Страх перед Брюлловым, опасение его злопамятности и ревности, усиленный наставлениями Иванова-старшего, прибыл, это очевидно, в Рим вместе с ним. И не оставял даже после отъезда Брюллова на родину.

Иванову было чего бояться, ведь Брюллов, как мы знаем, не очень-то церемонился с коллегами. Вот и Иванову он дал реприманд, отразившийся в черновых записях: «Карл Брюлло... довел дело до заключения тем, что произвести картину надобно быть или гению или избрать страстные сюжеты, а так как в моей он видит только холод, то она безжизненна-негодна»⁶⁷. Трудно точно утверждать, к какой именно картине относилась реплика Брюллова, но можно представить себе, какое впечатление эти уничтожающие слова произвели в душе Иванова. И вот уже в 1836 году Иванов делился с отцом своими опасениями: «Что-то говорят о моей картине “Иисус с Магдалиною”? Я полагаю, что она сделалась жертвою мщения Брюлло»⁶⁸. Предположение пустое, но очень характерное.

Хотя... совсем ли пустое? Весной 1847 года племянница Иванова и полная тезка его старшей сестры Е. А. Сухих доводила до сведения дяди, что вернувшийся из Италии архитектор Константин Тон распускает по Петербургу слухи, будто Иванов сошел с ума и академическое начальство решило отказать ему в материальном пособии. Племянница добавляла, что подобные слухи расходятся также «от некоторых художников и даже от самого Карла Брюлло»⁶⁹. Как известно, защищать Иванова от слухов о сумасшествии пришлось лично Гоголю всем своим авторитетом.

Однако в начале 1830-х, когда Александр Иванов только еще осваивался в Риме, Брюллов как раз затевал свои шедевры: «Всадницу» и «Вирсавию» (1832). Позади был обаятельнейший «Итальянский полдень» (1827). Брюллов был на подъеме, едва ли не в зените мастерства, он уже пользовался заслуженным признанием, его ждала большая слава. Раздраженный нелепой критикой «Полудня» и задержкой выплаты ему пенсии Обществом поощрения художников, он стал брать заказы, быстро обрел материальную независимость и с издевательской учтивостью отказался от пенсии вообще⁷⁰. Он, конечно, вполне знал себе цену и никому не собирался отдавать пальму первенства, заслуженную по праву гениальности и мастерства. Но вред ли ревновал к Иванову⁷¹.

Правда, успех не настолько вскружил голову Карлу, чтобы он потерял способность судить себя со всей строгостью. Известно, что однажды он порвал холст своей великолепной «Вирсавии», всердцах запустив в нее сапогом от избытка чувства творческой неудовлетворенности, недовольства собой. Это произведение до конца так и не далось художнику, по его собственному мнению. Не поднялось к чаемому и должному совершенству. Но ведь даже неоконченная им, подклеенная и подреставрированная, картина производит на любителей живописи ошеломляющее впечатление игрой света и красок, поистине обольстительной красотой, живой прелестью!

Что же удивляться, если, судя самого себя столь придирчиво и пылко, Брюллов в грош не ставил прочих художников, объективно стоящих ниже его на лестнице дарования и мастерства⁷²? Большая часть которых лишь множила сонм завистников по обе стороны российской границы.

Исключительные способности Брюллова были очевидны всякому, но его попрекали камерностью творчества, твердя, что он «великий мастер на малые дела». И тогда он предпринял «Помпею», которая должна была раз и навсегда пресечь подобные разговоры, раздавить завистников. Иванов не преминул своеобразно откомментировать его устремления: «Брюллов, не имея приятных занятий в междоусобицах, занялся весьма прилежно картиной “Последний день Помпеи”»⁷³.

Брюллов окончил ее менее чем за три года, едва не надорвавшись от испанского труда, но зато отныне ни у Рима, ни у мира не осталось сомнений: он – первый, лучший, несравненный, вне конкуренции. В видавшей виды Италии, поистине знающей цену талантам, его известность достигла невероятной степени. Поклонение художнику вознеслось до фанатизма, его именем были исписаны стены Рима, ему рукоплескали в театре... При пересечении границ различных княжеств у него даже не требовали документы! Завистникам оставалось только заткнуть себе рты перед лицом такого очевидного и заслуженного превосходства, триумфа.

Вот в каком тоне и стиле считал теперь Иванов необходимым обращаться к Брюллову в те дни: «Любопытный видеть славную Вашу картину, я несколько

раз покушался придти к Вам в студию, но, наконец, несмотря на все убеждения людей к Вам близких войти к Вам без позволения, я решился написать к Вам письмо сие, в коем теперь спрашиваю самих Вас, позволите ли Вы мне видеть труды Ваши?»⁷⁴. Отец в том же году наставлял сына: «На счет поведения г. Брюллова с тобою не обращай большого внимания и не вмешивайся в его дела ни под каким видом»⁷⁵. Это означало, по пословице: с сильным не борись!

Впрочем, и в 1830-е смириться с превосходством Брюллова Иванов не мог. В наброске письма тех лет читаем: «Курлан<д>ец, переименованный в Кипренского, выбил нам первой европейскую репутацию, пришлец Карл Брюлло сказал Европе, что русской может быть и историческим живописцем. Но когда Богу было угодно собственно русского вывести на поприще славы художественной, то Он внушил Иванову прославить Единородного Сына Своего!»⁷⁶.

Но тут нам пора вникнуть в обстоятельства создания ивановского шедевра – «Явления Христа народу» – начиная от замысла и кончая перепетиями воплощения, поскольку соперничество с Брюлловым выразилось именно в этом, а не в чем ином.

* * *

Как и Брюллов, Иванов охотно использовал античные образцы в своих картинах, в том числе на христианскую тематику. Он не только позаимствовал Эндимиона с античного барельефа для изображения своего Кипариса, а статую Аполлона Бельведерского (Ватикан) для своего Аполлона в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис» (1834), но и того же Аполлона для изображения самого Иисуса Христа в картине «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835). Для фигуры же Магдалины прототипом послужила... Ниоба, коленопреклоненная статуя которой была широко известна даже в России по гравюрам и литографиям. Весьма смелое художественное решение! И уж точно не каноническое с точки зрения православия. Однако именно за эту картину Иванову присвоили чин академика, поместив ее в Эрмитаж, к величайшей радости и гордости отца художника, о чем Андрей Иванович не замедлил известить сына.

Реакция Александра Андреевича была неожиданной до дерзости. В своем известном ответном письме (декабрь 1836) он решительно сбрасывает с пьедестала «идеал отца» («отцов») и вдохновенно топчет представления современных ему соотечественников о должном и вожделенном: «Вы полагаете, что жалование в 6–8 тысяч по смерти, получить красивый угол в Академии есть уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях природы, вечно в недрах тихой умственной жизни⁷⁷, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного. Русский художник непременно должен быть в частом путешествии по России и почти никогда не быть в Петербурге как городе, не имеющем ничего характеристического⁷⁸... Академия художеств есть вещь прошедшего столетия... Купеческие расчеты никогда не подвинут художества, а в шитом, высоко стоящем воротнике тоже ничего нельзя сделать, кроме как стоять вытянувшись» (камушек в огород собственного батюшки, такой воротник имевшего, но – увы! – потерявшего).

Конечно, подобные мысли вряд ли возникли бы в душе художника, который, по собственному признанию, был «напуган с самых нежных лет», если бы у него перед глазами не блистал своею победительной независимостью великолепный пример: Карл Брюллов. Ясно, что именно его Иванов принимал за образец, по его образу и подобию хотел бы свободно жить и творить.

«Эва, куда метнул!» – как сказал бы Гоголь. Вот к чему привели русского верноподданного всего каких-то пять лет пребывания в вольном состоянии в Вечном городе...

Но главное: располагая той свободой, которая одна только представлялась ему достойным художника уделом, на что он употребил ее и свой редкостный дар? На двадцатилетний труд, подчиненный весьма странной идее, которую художник со временем перерос и доканчивал осуществление своего грандиозного полотна через силу, урывками, подолгу не находя в себе духа вновь подойти к холсту. Трагично признание Иванова в одном из писем по-

следних лет жизни: «Мой труд — большая картина — более и более понижается в моих глазах. Далеко ушли и мы, живущие в 1855 году, в мышлениях наших — тем, что перед последними решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти теряется, и, таким образом, у меня едва достаёт духу, чтоб более усовершенствовать ее исполнение»⁷⁹.

К указанному времени, по наблюдению современников, он перестал являться на церковные службы и приходил в церковь лишь тогда, когда не мог уклониться от этой обязанности русского художника за границей. По-видимому, он вовсе перестал верить в Бога⁸⁰. Александру Герцену он признавался в Лондоне в 1857 году: «Я утратил ту религиозную веру, которая облегчала мне работу, когда вы были в Риме. . . Писать без веры религиозные картины — это безнравственно, это грешно».

Впрочем, все это не помешало ему перед смертью причаститься святых тайн.

Совершенное по мастерству живописи, его «Явление Христа народу» производит удручающее впечатление как непомерная по размеру иллюстрация даже не к Евангелию, а к учебнику по истории еврейского народа, не более того.

Убить на это жизнь, как сделал Иванов, кажется странным. Зачем он положил себя и свой дар на такой алтарь? Что хотел сказать этим гигантским холстом, с его вызывающе ярким ближневосточным и семитским колоритом, русскому человеку или русскому царю? Неудивительно, что Александр II не спешил приобрести сие творение вплоть до самой смерти художника, которая наступила вскоре по возвращении в значительной мере от такой обидной «недооценки»⁸¹ и от разочарования в «подвиге жизни». А великий русский поэт и дипломат Федор Тютчев, тот и вовсе отзывался о картине недипломатически: «Да это не апостолы и верующие, а просто семейство Ротшильдов»⁸².

Ларчик, на мой взгляд, открывается легко. Начиная сей подвиг, Иванов, конечно же, имел в виду, прежде всего, одно: «заткнуть за пояс» Карла Брюллова с его «Последним днем Помпеи», выведшим этого художника на уровень первостатейного признания всей Европы. Недаром первые упоминания в письмах о замысле «Явления Христа» относятся именно к 1833 году, когда Брюллов открыл свой шедевр для всеобщего обозрения. А в 1837 г., когда Иванов решился натянуть непомерный холст на подрамник, слава «Помпеи» и ее творца была в зените, постоянно беря давшишнюю душевную рану нашего честолюбивого автора, хотя самого Брюллова уже не было в Риме, откуда он уехал еще в 1835 г. Ревнивое и неприязненное отношение Иванова к Брюллову, просматриваемое в публикуемом письме, с годами только нарастало⁸³. Не потому ли и размер холста был избран такой, чтобы затмить, превзойти брюлловскую «Помпею» невиданным размахом?

Ранее Иванова в соревнование вступил Федор Бруни, активно работая над большеформатным (больше «Помпеи») «Медным змием». Это еще больше подстегивало Иванова, который хорошо относился к Федору Антоновичу, пока того. . . не пожаловал император орденом св. Станислава. Алпатов отмечает: «Когда же Бруни собрался в Петербург для занятия должности профессора, Иванов мрачно пророчит ему, что он сумеет, “закутавшись в личину любезного человека и покорного подданного русского, нахватать пенсий, крестов, почестей и денег”. Он даже высказывает опасение, как бы Бруни со временем “искуснейшим образом не взял себе заграничный паспорт” и не пожелал “спокойной ночи воспитавшей его России”. Иванов резко осуждал поведение этого художника, которое он называл “шарлатанским”»⁸⁴. Немного надо было Иванову, чтобы так переменить свое отношение к коллеге. . .

Гигантомания сильно повредила художнику, разрушила всю его жизненную перспективу. Если Брюллов в одном мощном порыве закончил свою «Помпею» за год⁸⁵, то «Явление Христа народу» писалось Ивановым двадцать лет. Картина «выпила его кровь» и стояла ему, в конечном счете, жизни. Так непосильная ставка в казино может расстроить рассудок, а то и свести в могилу незадачливого игрока.

Несмотря на очевидность сказанного, грандиозность творения Иванова, не только количественная (размер, многофигурность и многоплановость), но и профессиональная, поразили воображение современников. Настолько, что Илья Репин запальчиво назвал «Явление Христа народу» даже «самой гениальной и самой народной картиной». Репин обосновал свою оценку так:

«По своей идее близка она сердцу каждого русского. Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружною толпой за горячим проповедником».

Но помилуйте! Ни слов свободы (Иоанн ничего не проповедовал, кроме покаяния и веры в мессию равно для всех⁸⁶), ни дружной, куда-либо идущей толпы, ни, тем более, угнетенного народа на картине нет и в помине! Если не считать за последний раба, чей весьма паскудный и глумливо-придурковатый вид не вызывает никакого сочувствия.

Так что вряд ли в этой оценке одного мастера другим можно увидеть что-то, кроме признания исключительного мастерства Иванова именно как живописца. Видно, Илья Ефимович просто подпал под влияние «передовых» критиков... С точки зрения русской народности, на мой взгляд, в картине трудно отыскать хоть что-нибудь, возвышавшее дух, ибо сюжет, имеющий высокое символическое значение, Иванов попытался решить в чисто историческом и светском ключе⁸⁷. И в результате утратил его высший смысл, растворив в бесчисленных занимательных деталях: правдоподобие вместо Правды.

Одни типажи, занимающее все огромное пространство переднего плана, чего стоят! Недаром Иванов искал их не только на итальянском юге, заселенном сирийскими семитами еще в раннем средневековье после запустения Римской империи, но и специально в местах скопления евреев, на рынках, в купальнях и молитвенных домах — около четырехсот этюдов с натуры! Особенным его вниманием пользовались еврейские гетто вблизи Капитолия и в Ливорно. Результат получился убедительным и жизненным донельзя. Сочетание еврейской общественной сакральной помывочной («миквы») с синагогой — что тут найдешь особо близкого для русской души? Впрочем, не угодил Иванов и евреям, изобразив отнюдь не отрадный для них момент исторической судьбы.

В записках Иванова, относящихся к 1830-м годам, можно прочесть о первоначальных намерениях художника, который хотел изобразить «страх и робость от римлян и проглядывающие чувства: желание свободы и независимости». Он писал также: «Нужно представить в моей картине лица всяких скорбящих и безутешных... вследствие разврата и угнетения от разной смеси светских правительственных лиц, вследствие подлостей, какие делали сами цари иудейские, подласкиваясь к римлянам, чтобы снискать подтверждения своего на трон из одного честолюбия». Но нам-то, русским, какое дело до всех этих проблем древних евреев? К тому же, картины разврата, угнетения, подлостей и ласкательства остались за рамкой полотна и никак не влияют на суть изображенного.

Право, можно только пожалеть, что в юности художник не прислушался к доброму совету молодого императора Николая и не обратился к русской истории, уступив лучшие лавры пришедшим ему на смену Василию Сурикову, Виктору Васнецову и другим истинно народным мастерам кисти. Как бы ни относиться к Николаю Павловичу — меценату и ценителю изящного, но политическое и национальное чутье у него было отменным. Его второй, за жизнь Иванова, дельный совет был дан в Риме в декабре 1845 года после посещения мастерской художника. Воскликнув при всех «Прекрасно начал!», император позднее передал пожелание: создать в параллель «крещению евреев» такого же формата полотно на тему крещения русских князем Владимиром в Днепре⁸⁸. С одного взгляда Николай разглядел ахиллесову пяту автора, притом отечески пощадив его самолюбие и ничем не выдав своего разочарования. Царь зрил в корень, но Иванов и на сей раз остался глух. Вместо того, чтобы исполнить царское пожелание, он еще тринадцать лет дописывал своего «Мессию»...

Не знаю и даже представить себе не могу примера, более наглядно подтверждающего простую мысль: умствования («тихая умственная жизнь») не есть дело художника. Ни философские, ни политические, ни, тем более, богословские. Он не за этим призван в мир! Не в этом его действительная сила!

В особенности данное соображение относится конкретно к Александру Иванову, с его образом мышления. Помимо художественного наследия и обширного архива, от него осталась тетрадь философских размышлений: «Мысли, приходящие при чтении Библии» (1847). Исследовавший их Зуммер резюмирует: «Веру Иванова составляют в это время: славянофильская версия шеллингианства; теория христоподобия избранных, своеобразно понятий

Фома Кемпинский; внедогматическое духовное христианство, взято как чисто нравственное учение; эсхатологический мессианиззм».

Михаил Алпатов критически оценивает эту причудливую смесь воззрений: «В них [«Мыслях»] быстро мелькают одни за другими образы и воспоминания, мечты и пророчества, предчувствия, признания и цитаты. Мысль то скачет с головокружительной быстротой с предмета на предмет, то беспокойно кружит вокруг одного предмета и назойливо возвращается к нему по несколько раз... В «Мыслях» Иванова нет самой простой последовательности; автор то уносится в заоблачную высь и теряет под ногами почву, то путается в фантастических домыслах, не в силах избавиться от множества предрассудков»⁸⁹.

Ну, а сам художник особенность своего образа мысли выразил так: «Всякая идея только тогда и сильна, когда еще не выдана на словах». Но ведь мы говорим, как мыслим, а мыслим, как говорим. Казалось бы, не владея словом, не нужно было так уж полагаться на свой ум, выбирая идею для дела всей жизни...

А вот Иванов, на подступах к своему главному полотну, рассудил иначе и, готовясь просить Общество поощрения художников о вспоможении, ставил в черновике задачу «...наконец доказать, что я выбрал первый сюжет в свете и следоват[ельно] обезсмертил их если не в глазах современников, то потомства за сим следовать будет убеждение дать мне всех пособий к производству онаго в большом виде в Риме»⁹⁰. К сожалению, этих доказательств мир так и не увидел, расчет художника получить «все пособия» под идею картины оказался наивен. Он не сумел всерьез убедить Общество, которое вначале продлило Иванову срок пенсионерства, потом выдало разок единовременное пособие, но с 1839 года вовсе предоставило собственной судьбе, невзирая на разработку им «первого сюжета в свете», обещающего покровителям бессмертия...

Но главная разгадка находится в письме Иванова-старшего от 15 июня 1833 года: «Замечу тебе, любезный Александр, что в последнем письме твоём есть такие выражения, которые мне не нравятся и непонятны, напр., "я сказал Григоровичу что начну картину единственно из того, чтоб русские привыкли к мысли, что Иванов хочет писать картину, составляющую смысл всего Евангелия"». Выражение, по моему мнению, надменное; я не знаю, впрочем, удачно ли выполнен тобою предмет сей, но уже ты гордишься одною идеею слов сего предмета»⁹¹. Судя по приведенному тексту, вовсе не свет евангельских истин, горящий в душе, и не чисто творческий, художнический импульс были главным двигателем Иванова-младшего. Честолюбие и соревнование выжигало его изнутри дотла⁹², заставляло обращаться к работе, должностующей потрясти воображение современников и принести небывалое признание. Обращаться, даже когда сама эта работа уже опостылела...

Вплотную взявшись в 1837 году за «всемирный», как он считал, сюжет и неотступно служа ему в дальнейшем, Иванов наложил на свою душу поистине «бремена неудобноносимые». Его личная жизнь была жизнью мизерабля, в отличие от того же Карла Брюллова. При ее рассмотрении не покидает ощущение, что Иванов сознательно выстраивал свое поведение, отталкиваясь от примера Брюллова, как бы возражая ему не только в творчестве, но и всем своим бытием.

Это давалось нелегко. Постоянное выпрашивание денег у благодетелей всех сортов было невыносимо; самоограничение до пределов болезненных (по Риму и Петербургу в связи с этим пошли слухи о его помешательстве). Зарабатывать кистью, как это делал в свое время Брюллов, он не желал из принципа. Семьи у него никогда не было, только случайные связи с женщинами, вряд ли близкими ему по духу⁹³; единственную дочь родила ему натурщица, семейной жизнью с которой он не жил, что, в общем-то, объяснимо. В недолгом времени он утратил и своего любимого друга Петра Измайлова, к которому обращено настоящее письмо. В черновике письма отцу говорится: «Вы знаете, что у меня нет знакомых в Петербурге, и теперь нет друзей ни там, ни здесь». Неудивительно, что в записках художника 1930-х годов порой проскальзывают мысли о самоубийстве⁹⁴...

К середине 1840-х Иванов стал нелюдим (К. Д. Кавелин – В. В. Стасову: «Иванов, сколько я заметил, был очень застенчив и скрытен»⁹⁵), не имел постоянного круга общения, почти прекратил доступ посторонних в свою мастерскую. Инстинктивно боясь и не желая возвращения в Россию, с одной стороны, а с другой – задерганный требованиями официальных инстанций хоть

чем-нибудь отчитаться за два с лишним десятилетия заграничного иждивения⁹⁶, художник отчаянно цеплялся за пребывание в Риме, отговариваясь грандиозностью своего замысла и недостаточным еще совершенством его воплощения.

Положение во многом спасали русские путешественники, непременно навещавшие художника и распространявшие славу о нем по возвращении в Россию. Особенно способствовали легендированию Иванова славянофилы (Чижов, Шевырев, Погодин и др.). Да, у этих идеократов, как впоследствии у Гоголя⁹⁷, Герцена с Огаревым и демократической критики в лице Чернышевского, Стасова и др., он находил понимание и поддержку. На всех неотразимо действовало обаяние его личности, несомненно аскетичной, возвышенной и бесконечно преданной служению искусству, поиску совершенства. Строки, посвященные Гоголем Иванову, достойны быть выбиты на веки вечные над входом в любое учебное заведение, где обучают хоть чему-нибудь, имеющему отношение к творчеству. Гоголь, подчеркнув, что Иванов не только не ищет «житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что давно умер для всего в мире, кроме работы», выносит свой вердикт на все времена:

«Если он так же, как Иванов, плюнул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и, отогнавши от себя мысль не только об удовольствиях и пирушках, но даже мысль завестись когда-либо женой и семейством... ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой... тогда нечего долго рассуждать, а нужно дать ему средства работать, незачем также торопить и подталкивать его — оставьте его в покое... Не давайте ему большого содержания; дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век оставаться нищими».

Гоголь мощно поддержал всем своим авторитетом Иванова, римского затворника, создал ему всероссийское реноме задолго до возвращения (статья «Исторический живописец Иванов» в сборнике «Выбранные места из переписки с друзьями», 1847), заставил русскую публику ожидать его возвращения как чуда...

Постепенно Иванов превратился в заметную фигуру русской колонии в Риме, он пользовался большим авторитетом и покровительствовал, по мере возможностей, молодым русским художникам, по-прежнему прибывающим в Вечный город. Мысли о самоубийстве покидают его записки, но одиночество так и осталось его уделом, усилилась мизантропия, болезненная мнительность. Одно время он верил и даже утверждал, что его хотят отравить! И даже приезд в Рим младшего брата, заботившегося о художнике, не смог предотвратить тревожное развитие его характера. Молодые пансионеры, исчерпав благотворительное попечение Общества поощрения художников, отправлялись один за другим домой, а Иванов оставался, трудясь, как каторжный, от рассвета до заката, в своей бедной мастерской, где в итоге практически затворился от мира.

Но и затворившись, Иванов не мог бежать от себя, от измучившего его состязания с гением, избранным себе в соперники. Он никогда не упускал случая высказать свое пренебрежительное отношение к Карлу Брюллову. Так, еще в начале 1830-х Иванов записал по поводу заказа на копию с Рафаэля: «Некто Вигент, давний и ничем не известный пенсионер, ищет уже несколько лет удержать за собою это важное дело... Сей действует по своему равному распоряжению г-на Брюллова, который здесь у нас как бы завладел всем. Искать через него — значит истребить в себе все составляющее сущность духа человеческого, служить ему игрушкой и от прочих терпеть справедливое презрение»⁹⁸.

Даже в том самом неотправленном письме к Карлу Павловичу, где он превозносит его картину, Иванов считает своим долгом засвидетельствовать — и странноватая приписка эта имеется в обоих черновиках! — свою горделивую холодность к адресату: «В заключение скажу: что я совсем не желаю индивидуальной любви Вашей, ибо благо мое есть благо общее, а без общего блага и моего не существует — ИВАНОВ я емь!»⁹⁹. В черновой записке без начала и конца Иванов записывает характерный силлогизм: «Карл вреден, ибо не любит истину. Не любящий истину вреден, Карл не любит ее, следовательно он вреден»¹⁰⁰.

Неудивительно в данной связи, что в 1836 году Иванов писал отцу: «Вы радуетесь, что Брюлло переменял со мною обращение. Перемена его только

на один день. Впрочем, это все равно. Он несчастен, ибо не может никогда быть ни добрым, ни спокойным»¹⁰¹. Позднее, оправдываясь перед Григоровичем в медлительности, Иванов упирал: «Наш славный Брюлло не есть неприменная мера всем нам, русским художникам. Нельзя брать скорость его экзекуции для нас примером. Правда, он написал в два года “Последний день Помпеи”, но эта сцена не имеет ничего возвышенного»¹⁰².

Казалось, он не кривил душой, отрицая значение Брюллова, поскольку готов был в 1845 году за бесценно уступить Ф. В. Чижову 6–7 подлинных рисунков Карла, доставшихся ему за долги от Засена, «пропавшего в чужих краях»¹⁰³. При этом, как отмечает в своих воспоминаниях Л. М. Жемчужников: «Неуважение Иванова К. П. Брюллову сильно отразилось на Чижове»¹⁰⁴.

Апофеозом этого «неуважения» является известный отзыв Иванова на смерть Брюллова в записке Ф. И. Иордану, граверу, подрабатывавшему за границей репродукциями и портретами известных персон: «У нас еще прибавился знаменитый покойник – Карл Павлович Брюлло [именно так, всю свою жизнь упорно отказывая сопернику в окончании «-ов», словно желая подчеркнуть его нерусскость, продолжал писать Иванов эту фамилию!], и это может быть делом вашего бенефиса»¹⁰⁵.

Такое вот «последнее прости»...

Однако смерть Брюллова, пожизненное соперничество с которым истерзало душу Иванова, положила, наконец, предел его несправедливому отношению. Соперничать стало не с кем, теперь можно было и проявить великодушие, отдать мертвому должное, признать – коль скоро тому уже все равно – его величие. Парадоксально, но именно теперь, по свидетельству П. М. Ковалевского: «Всех выше мастеров последнего времени он ставил Брюллова. “Брюллов произвел революцию в искусстве!” – говаривал он. За Брюлловым следовал Поль-Деларош...»¹⁰⁶.

Уход из жизни художника, с которым всю жизнь мысленно сравнивал себя Иванов, состязание с коим составляло главное содержание его собственной жизни, наполняло ее смыслом, тяжело сказался на отношении к собственному шедевру. «Брюлло» не стало, доказывать свое превосходство стало некому. Под конец работа уже не только не приносила Иванову удовлетворения, но он, давно духовно переросший вдохновлявшую его некогда идею¹⁰⁷, буквально силком заставлял себя завершить начатое. Это было необходимо, чтобы по крайней мере не обесмыслить нечеловеческий двадцатилетний труд. Он завершил его и принял решение вернуться в Россию¹⁰⁸, надеясь вознаградить себя за все – морально и материально.

Как отметил Михаил Алпатов, «Иванов искренно верил, что “Явление Мессии” произведет настоящий переворот не только в искусстве, но и в жизни русского общества, и он говорил об этом с трогательной убежденностью»¹⁰⁹. Ему мечталось на волне всеобщего признания и восхищения, по примеру, конечно же, давно покойного Брюллова, встать во главе обновленного русского искусства. Послужить, наконец, своим талантом отчизне, как завещал не дождавшийся его возвращения отец¹¹⁰. И вот, продемонстрировав свой шедевр римской публике, он покинул Вечный город и прибыл в Петербург.

Но повторить триумф Брюллова ему не довелось. Первое впечатление, вызванное картиной у публики по прибытии в Петербург, было сдержанное недоумение. Надежды общества, некогда мощно разогретые Гоголем и другими, сменились разочарованием¹¹¹. Оказалось, что почти тридцать лет пребывая вне России, художник основательно утратил с нею живую связь. Как метко заметил М. П. Боткин, в чьем жилище провел оставшиеся ему земные дни Иванов, «художник, проживший 28 лет в своей мастерской, трудолюбиво работавший, позабыл, что есть другой мир, который судит и произносит приговор»¹¹². Картина не вызвала чаемого восторга. Лишь спустя годы передвижники, ведомые И. Н. Крамским, некогда провожавшим Иванова в последний путь, подняли его на щит, чтобы в итоге художник удостоился той почетной оценки, что прозвучала из уст Репина.

Иванову понадобилось всего шесть недель, чтобы горькая мысль об итоговой непризнанности, о крахе мечты сложилась, настигла его сердце и свела в могилу. Он умер ровно в том же возрасте, что и Карл Брюллов, пережив его в протяжении времени, но так и не превзойдя судьбой. Смерть была настолько скоростной, что никто не поверил, будто ее причинила холера, приступ которой Иванов уже пережил сразу по приезду и остался жив. Иван

Тургенев, писатель остро наблюдательный, спросил: «Что значит эта смерть? Уж, полно, холера ли это? – Не отравился ли он? Бедный! – Вспоминаю я его ужас при мысли о Петербурге, его предчувствия: они сбылись»¹³.

Так закончилось это тридцатилетнее соперничество, сложившееся в Риме начала 1830-х, рубежным памятником которого стало настоящее письмо...

Впрочем, закончилось ли? Вскоре, в 1861 году известный критик демократического склада В. В. Стасов подверг весьма жесткому и нелицеприятному разбору творчество Брюллова, противопоставляя ему и превосходя Иванова, в статье с характерным названием «О значении Брюллова и Иванова в русском искусстве». Для критиков этого направления главным, коренным вопросом было выяснить, «что хотел сказать художник» – и, соответственно, то ли он сказал, что от него требовалось. Они не задавались вопросом, должен ли художник «что-то сказать» вообще. Начался новый виток нескончаемой дискуссии о назначении художника в нашей жизни. Она, как видим, дотянула до наших дней, но так и не привела к однозначным решениям.

Стоит ли пытаться ее продолжать?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Историю документа и анализ его морфологии я изложил в исследовании, опубликованном на сайте журнала «Наше наследие»: «...Расскажу тебе кое-что секретное» (http://www.nasledie-rus.ru/red_port/ivanov_ann.php).

² Текст приводится с соблюдением орфографии и пунктуации оригинала, но без использования букв, вышедших из употребления, и без твердого знака в окончаниях на согласную.

³ Имеется в виду, скорее всего, Василий Сергеевич Трубецкой (1776–1841) генерал-адъютант, сенатор и член государственного совета, бывший в 1830 году чрезвычайным послом в Лондоне, но возвращенный в Россию в 1831-м. Его путь на родину пролегал через Рим.

⁴ Речь о Григории XVI (Бартоломео Альберто-Мауро Капеллари, 1765–1846).

⁵ Переписка русских пенсионеров подвергалась перлюстрации.

⁶ Так писалась фамилия Брюлловых, пока Александр Первый не пожаловал братьям Брюлло, Карлу и Александру, перед отправкой их за границу, окончание фамилии «-ов» в ознаменование выдающихся успехов на художественном поприще. Европа должна была узнать их под «русским» именем.

⁷ Российским посланником в Риме до апреля 1832 г. был князь Г. И. Гагарин (театрал и друг многих художников). Брюллов играл в любительских комедиях у него, оформлял спектакли вместе с Н. Е. Ефимовым и Г. Г. Гагариным-сыном. Г. И. Гагарин писал в 1828 году А. Н. Оленину: «Брюллов гений необыкновенный, который на все поддается, его портреты, его сочинения, его отделка – все превосходно». – Ацаркина, с. 67.

⁸ Карл Брюллов состоял в масонской ложе Избранного Михаила, но в 1822 г. дал подписку о неучастии в тайных обществах в дальнейшем. – Сахаров В. И. Листки из «масонской архивы» к биографии М. Н. Загоскина и К. П. Брюллова // Литературная Россия, 6 февраля 1998, № 6.

⁹ Ефимов Николай Ефимович (1799–1851), архитектор, гравер и рисовальщик. С 1840 г. академик архитектуры, с 1844 г. профессор АХ. В Италии пребывал с 1827 до середины 1830-х гг.

¹⁰ Речь идет о французенке Аделаиде Демулен, «переданной» Брюллову потерявшим здоровье и уезжавшим в Сорренто Сильвестром Щедриным. Карл потом оставил Аделаиду и завел роман с графиней Юлией Самойловой. Не получив ответа на свое отчаянное письмо, молодая женщина покончила с собой, утопившись. Списки этого и еще одного любовного письма Аделаиды на французском языке, видимо, ходили по рукам русских пенсионеров; Иванов сберегал в своем архиве до самой смерти комплект, сделанный рукой неустановленного лица, если не самый оригинал (ОР РГБ, ф. 111, к. 9, ед. хр. 13).

¹¹ Гофман И. (в справочниках не значится) – художник родом из Риги, с которым у Иванова сложились особенно близкие отношения в Риме. Втроем с Григорием Игнатьевичем Лапченко они образовали дружеский триумvirат: «Гофман, Лапченко и я составляем одно тело. Первый добр, умен и несколько тоже рассеян, не любит карлистов, т. е. приверженцев к Карлу [Брюллову]», – такую запись оставил Иванов в своих бумагах (Новицкий, с. 55).

- ¹² Марков Алексей Тарасович (1802–1878) приехал в Италию в 1830 году.
- ¹³ Возможно, Иванов несколько сгустил тут краски, рисуя черным образ Карла Павловича. Между тем, сохранилось верное свидетельство, что данный эпизод не слишком омрачил отношения Брюллова с Марковым, которому он, отъезжая из Италии в Петербург в 1834 г., доверительно оставил все свои неоконченные картины, принадлежности живописца, бытовые вещи и т. п., правда, запечатав имущество своим перстнем-печаткой (Ацаркина, с. 140). Брюллов, по воспоминаниям художника Алексея Боголюбова, всегда посмеивался над Марковым, приятельски поддразнивал, именуя его «Колизеем Фортунычем» и «нищим профессором в долг» (обыгрывая названия его картин: «Фортуна и нищий» и так и не дописанные «Христианские мученики в Колизее»). Не этот ли трудный опыт был причиной того, что Марков, преподавая в Академии в 1840-е гг., отличался, как пишут энциклопедии, «особым вниманием к молодым художникам». Справедливость требует признать, что Карл Павлович кому-то из русских художников и покровительствовал, например, яро заступился перед А. Н. Демидовым за «невинно обвиненного» Казицына.
- ¹⁴ Федор Антонович Бруни (1799–1875) отправился в Рим еще весной 1819 г. и к началу 1830-х гг. уже был состоявшимся художником. В 1826 году он получил сто червонцев от Общества, но не стал пенсионером, т. к. имел имя и независимость, а потому проигнорировал призыв, «чтобы он объяснил Обществу откровенно свои нужды». Он был известен как автор «Смерти Камиллы, сестры Горация», «Пробуждения граций», «Вакханки и Амура» и пр. В 1827 г. АХ поручила ему сделать две гигантские копии с росписей Рафаэля «Торжество Галатеи» и «Изгнание Илиодора из храма». К приезду Иванова он прочно занял не последнее место в русской художественной иерархии за рубежом.
- ¹⁵ Архитектор А. И. Засен (Зассен, фон Зассен) занимает много места в долголетней переписке Иванова с отцом (с первого из сохранившихся писем отца к сыну и до самого последнего в 1846 г.) из-за денежных отношений. Пожалев растратившегося молодого человека, чуть не угодившего в тюрьму, Иванов-сын принял деятельное участие в сборе средств для него и сам выдал ему 1500 рублей на дорогу до Петербурга с больной невестой. Эти деньги он тщетно потом пытался получить обратно. Иванову-отцу довелось и судиться с братьями Засенами.
- ¹⁶ Соболевский Андрей Петрович (1789–1867) и Юлиан Юзефович Карчевский – художники. Карчевский, с которым сблизился Иванов, умер в Риме в 1833 году.
- ¹⁷ О В. И. Григоровиче и его отношениях с автором письма, а также об «Обществе» подробности впереди.
- ¹⁸ Отец и первый учитель автора письма – художник Андрей Иванович Иванов (1776–1848), сын «неизвестных родителей», в АХ был принят из Московского Воспитательного дома. Окончил ее с золотой медалью, но за рубеж командирован не был, поскольку к тому времени обзавелся семьей, женившись на Екатерине Ивановне, дочери художника Диммерта (Демерта). Дослужился до профессора АХ, выслужил дворянство.
- ¹⁹ Сухих Андрей Акимович (Якимович, Екимович, 1798–1843), учился в АХ с 1808 по 1821 гг. О нем речь впереди.
- ²⁰ Младший брат Сергей со временем, после смерти отца, переехал к старшему брату в Рим, где заботливо ухаживал за ним. В Россию, однако, за братом не следовал, продолжал жить и скончался в Риме в 1877 г.
- ²¹ Александр Осипович Орловский (1777–1832), российский художник польского происхождения, протеже великого князя Константина. Путешествовал по Франции, Италии, Германии. Чем обязан ему Иванов, выяснить не удалось.
- ²² ОР РГБ, опись 111, короб 4, № 27.
- ²³ Алпатов, т. 1, с. 59.
- ²⁴ Письмо отцу весной 1834 года (Боткин, с. 40).
- ²⁵ Боткин, с. 353.
- ²⁶ Иванов-отец, возможно, все же не был полностью в курсе поползновений зятя, ибо немало с ним профессионально сотрудничал; в 1831 г. он отписывал сыну: «Работой моего зятя... был доволен и назначил послать для усовершенствования в чужие края». Сухих с женой жил на Васильевском острове по соседству (через дом) от семьи Ивановых, перебравшихся из академической квартиры в дом купцов Жуковых не позже июля 1831 года (см. Письма, с. 25). Вплоть до ноября 1835 г. в письмах отца к сыну Сухих упоминается вполне уважительно и благожелательно, хотя отец и «замечал с давнего времени несходство нравов» между зятем и дочерью.
- ²⁷ ОР РГБ, ф. 111, к. 1, ед. хр. 3, 1 ч., л. 5.

- ²⁸ ОР РГБ, ф. 111, к. 4, ед. хр. 67, л. 3 об.
- ²⁹ Первый приезд состоялся в октябре–ноябре 1830 г., после чего Иванов отправился в поездку по городам, в частности, посетил Флоренцию, и только потом вернулся в Рим опять.
- ³⁰ Алпатов, т. 1, с. 12.
- ³¹ Карл Иванович Рабус (1800–1857) окончил АХ в 1821 г., рисовальщик и живописец.
- ³² Измайлов Петр Иванович (1808 или 1809–?) в 1819 был принят в АХ, в 1826 получил вторую серебряную, в 1827 первую серебряную, в 1830 г. вторую золотую медали, был выпущен с аттестатом художника XIV класса живописи исторической и со шпагой. С 1831 г. помощник архитектора при Царскосельском дворцовом управлении.
- ³³ Васильченко Матвей Емельянович (1811–?) учился в АХ, но не приобрел сколько-нибудь значительной известности как художник.
- ³⁴ Спарро Павел Иванович (1814–?) сын американского вице-консула, учился в АХ с 1824 г.
- ³⁵ Осокин Константин Семенович (1801–?) был выпущен из АХ в 1831 г. художником XIV класса.
- ³⁶ Тверской Николай Михайлович (1804–1848) за недостатком средств вышел из АХ в 1826 г., но в 1827 г. был назначен академиком за портрет Николая Первого и отправлен в Рим на средства Общества поощрения художников.
- ³⁷ Иордан Федор Иванович (1800–1883) гравер, ученик АХ с 1809 г., пенсионер АХ за границей с 1829 г.
- ³⁸ Демерт Николай Александрович (1833–1876) двоюродный брат Александра Иванова, писатель, публицист.
- ³⁹ ОР РГБ, ф. 111, к. 1, ед. хр. 2, л. 9–9 об. Записная книжка в обложке из синей бумаги, видимо, самая первая из «итальянских», со словариком (перевод слов: ситного хлеба, яблоки, груши, мясной суп, картофель, сделай нам макарон, это масло негодное, дай нам получше и проч.) и записками о впечатлениях от Флоренции, Вероны, Болоньи и пр.: путевые заметки написаны явно еще до окончательного водворения в Риме. Среди всего этого – данный черновик. Воспевание мужской дружбы мы видим и в самой первой картине Иванова, написанной в Риме, но не отосланной в Россию и пребывавшей в мастерской художника до конца: «Аполлон, Гиацинт и Кипарис». Она также передает чувства, владевшие душой Иванова на рубеже 1830-х гг.
- ⁴⁰ Там же, с. 75.
- ⁴¹ Письма, с. 23.
- ⁴² Письма, с. 25.
- ⁴³ Письма, с. 26.
- ⁴⁴ Могли ли российские корреспонденты Иванова-младшего писать ему с «полной доверенностью», будучи убеждены, что их письма читает не только он?
- ⁴⁵ Письма, с. 350.
- ⁴⁶ Письмо ок. 30 октября 1831 г. – ОР РГБ, ф. 111, к. 4, ед. 65, л. 1.
- ⁴⁷ Ссылка Нерадовского на фонд Иванова в РМ: № 2196, л. 76).
- ⁴⁸ Боткин, с. 40.
- ⁴⁹ А. В. Аскарянц насчитала в ОР ГБЛ до 15 черновых писем Иванова к Измайлову, относящихся к началу 1830-з гг. По меньшей мере одно есть в ОР ГТГ.
- ⁵⁰ Машковцев, с. 64.
- ⁵¹ Это мнение укрепилось и в научно-популярных текстах, например: Порудоминский В. И. Брюллов. – М., 1979 (серия ЖЗЛ).
- ⁵² Алпатов, т. 1, с. 21.
- ⁵³ Алпатов, т. 1, с. 65, 67. Правда, ниже Алпатов отмечает: «Но, видимо, сблизиться с Брюлловым Иванову было нелегко. Попытки через отца воздействовать на Брюллова как на бывшего ученика и уговорить его не отказывать в своих советах ни к чему не приводят. С досадой Иванов замечает в Брюллове непостоянство, вспыльчивость и своенравность. Ему претит его умение устраивать свои дела через посланника. Когда Иванову не удается получить разрешение на производство копий с росписи Рафаэля, ему чудятся в этом происки Брюллова... Поводов для разногласий, споров и ссор было достаточно. Однажды Иванов напал на архитектора Ефимова за то, что он пытался присвоить себе картины покойного Сильвестра Щедрина, но тот нашел поддержку у Брюллова. Другой раз Иванов вступился за Гофмана, картину которого Брюллов не допускал на выставку ввиду ее низкого качества, и снова между двумя художниками легла тень. Однажды Брюллов позволил себе обидное слово по поводу пенсионера Михаила Маркова, тот в отчаянии чуть не наложил на себя руки, его утешителем и защитником вы-

ступил Иванов. Наконец, когда архитектор Засен, которому Иванов одолжил деньги на обратный путь в Петербург, не вернул их назад, это стало поводом для новой обиды на Брюллова, поскольку Засен приходился ему родственником» (там же, с. 67–68). Все упомянутые имена мы встречаем в исследуемом письме Иванова, отголоски которого здесь явственны.

⁵⁴ Машковцев, с. 62.

⁵⁵ Торвальдсен, наряду с художником Камуччини, по официальному соглашению с русским правительством присматривал за нашими пенсионерами в качестве «общника» Петербургской Академии.

⁵⁶ Академик П. П. Соколов. Воспоминания. Под ред. Э. Голлербаха. — Л., 1930. — С. 70.

⁵⁷ Среди них были баснословно богатая и знатная графиня Юлия Самойлова, жена министра иностранных дел Мария Нессельроде (урожденная Гурьева) и др.

⁵⁸ Академик П. П. Соколов. Воспоминания. — С. 74, 77.

⁵⁹ Вместе с тем, характерное признание-самооценка встречается в воспоминаниях М. И. Железнова. В ответ на просьбу Анджело Титтони написать ему головку мадонны, Брюллов ответил: «Я просидел всю жизнь по горло в грязи, а ты говоришь мне: пиши идеал чистоты и непорочности. Я его не понимаю! Если тебе нужна кающаяся Магдалина, то я смогу написать ее» (Машковцев, с. 223).

⁶⁰ Зуммер В. М. Указ соч., л. 3.

⁶¹ Боткин, с. 41.

⁶² Расшифровка Нерадовского (ОР ГТГ, ф. 31, ед. 2491, л. 27) со ссылкой на шифр МП и РМ: № 2196, л. 82. Орфография источника сохранена.

⁶³ Об этом отказе Мария Иванова (в замужестве Ритмейстер, умерла в 1836 г.) вспоминала с гордостью, утверждая, что иначе Карл бы не смог уехать в Италию (как некогда не пустили ее отца из-за женитьбы на ее матери), а значит, не получил бы всеевропейскую известность (Машковцев, с. 28).

⁶⁴ Новицкий, с. 58. Вообще, особенно в начале 1830-х гг. Иванов в черновиках писем к Григоровичу и к неизвестным не упускает возможности «проехаться» по адресу Брюллова, приписывая ему в т. ч. «площадное слов(цо) Руских извощиков» (ОР ГТГ, ф. 51, ед. 2, л. 5).

⁶⁵ Это весьма резкое письмо с дословным повторением отдельных фраз и абзацев Иванов написал дважды: в июле и в декабре 1832 года, на обороте письма в ОПХ и отдельно, но, по-видимому, так и не посмел отправить (ОР РГБ, ф. 111, к. 4, ед. 4 и 19, л. 1 и 5).

⁶⁶ Боткин, с. 269. Отзыв Иванова, несомненно, пристрастен. Для сравнения — отзыв будущего героя Севастополя, капитана брига «Фемистокл» В. А. Корнилова в письме брату: «Весьма доволен Брюлловым, он оправдал мое доброе мнение о его добром, чистом характере» (Ацаркина, с. 148). На «Фемистокле» Брюллов плыл из Афин в Смирну (1834) и успел подружиться с капитаном.

⁶⁷ ОР ГТГ, ф. 31, ед. 2491, л. 41.

⁶⁸ Боткин, 96. Ср. прим. выше.

⁶⁹ Аскарянц А. В., Машковцев Н. Г. Цит. соч., с. 47.

⁷⁰ Независимый и решительный характер Брюллова ярко проявился сразу по окончании Академии, когда он так же отказался от пенсионера из-за того, что его требование о смене наставника не было удовлетворено. К тому же «на товарищеском обеде... по случаю окончания Академии Брюллов, провозгласив тост в честь своих профессоров, предал анафеме [президента АХ] Оленина» (Ацаркина, с. 38). Позднее он отослал обратно Обществу свой пенсионный вексель, отказался носить орден св. Владимира, пожалованный ему в 1829 году Николаем I, и т. д. Иванов никогда не позволил бы себе ничего подобного.

⁷¹ По моим представлениям, Брюллов счел бы ниже своего достоинства серьезно критиковать Иванова. Свидетельствует в своем дневнике Тарас Шевченко, близко знавший своего благодетеля: «Карл Павлович Брюллов никогда ни слова не говорил о картине Иванова, самого же Иванова в шутку называл немцем, то есть кропотуном. А кропанье, по словам великого Брюллова, верный признак бездарности». Ср. слова М. И. Железнова о Брюллове, который говорил: «Тот не художник, для кого исполнение составляет труд», «кропотность исполнения сообщает вялость даже самой мысли» (Виноградов, с. 209).

⁷² Как сказал хорошо знавший его Меликов: «Он был неумолим к бездарностям, которые считали себя великими художниками» (Машковцев, с. 167).

⁷³ Виноградов, с. 69. Ср. запись в тетради Иванова начала 1830-х гг.: «Брюлло гораздо охотнее, куражнее работает, когда всех унизит, уходит победителем в свою студию...» (Виноградов, с. 95).

- ⁷⁴ Записка без подписи и без даты, но показательно, что даже такой краткий текст Иванов считал нужным вначале набросать вчерне (ОР РГБ, ф. 111. к. 4, ед. 4, л. 4). В упоминавшемся выше неотправленном письме Брюллову он признавался: «Искусством Вашим или последней Вашей картиной Вы уверили свет что Русским назначено усовершенствовать все то, что изобрели Великие живописцы Италии».
- ⁷⁵ Письма, с. 153.
- ⁷⁶ Виноградов, с. 102. Поскольку Иванов (по матери Демерт) был, пожалуй, лишь немногим более «собственно русский», чем Брюллов, его кичение русскостью забавно.
- ⁷⁷ Весьма характерен подлинный дагерротип 1846 года, на котором художник предстает с лицом человека, много, но тщетно думающего о смысле жизни и смерти.
- ⁷⁸ Надо заметить при этом, что сам Иванов не спешил последовать своей максиме и вовсе не путешествовал по России, как должно бы русскому художнику, по его собственным уверениям. На родину он вернется лишь спустя 27 лет после отъезда и притом именно в Петербург. А его младший брат, воодушевленный примером старшего, так и остался в Риме навсегда.
- ⁷⁹ Боткин, с. 287.
- ⁸⁰ Главнейшей из книг, оказавших столь соблазнительное влияние на Иванова, был запрещенный Ватиканом труд Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», тщательно им изучавшийся. По этому поводу И. С. Тургенев запомнил курьезное: Иванов «сообщил нам любопытные подробности о своей поездке в Германию к одному известному ученому [Штраусу], воззрение которого совпало с тем, что он, Иванов, хотел выразить в своей картине. Он намеревался пригласить этого ученого в Рим для того, чтобы тот решил, точно ли соответствует картина вышеуказанному воззрению» (Виноградов, с. 410).
- ⁸¹ В 1833 году, задумывая свой гигантский холст, Иванов поначалу надеялся, что московское купечество выкупит его для затеваемого Храма Христа Спасителя, чтобы разместить напротив иконостаса. Привезя в 1858 году картину в Петербург, он мечтал получить за нее с государя 30 тыс. рублей, и одновременно за эту же цену надеялся продать ее миллионеру Кокореву, о чем писал брату в Рим: такая была его оценка. Но двор предлагал ему поначалу 10–12 тыс., а в итоге дал конечную цену в половину чаемой: 15 тыс. рублей. Справедливость требует заметить, что за 25 лет воплощения своего замысла Иванов успел получить под этим предлогом от разных благодетелей, включая ОПХ, наследника цесаревича, императрицу и самого императора, не менее 9000 руб. ассигнациями, 1000 червонцев, 1500 руб. серебром и 6000 франков.
- ⁸² Виноградов, с. 19.
- ⁸³ Непрестанно ревнуя к Брюллову, Иванов пытался в 1840-е годы дать и свою версию «Вирсавии», но не пошел дальше акварельного наброска.
- ⁸⁴ Алпатов, т. 1, с. 65. Бруни, которого художник рекомендует в письме как «человека доброго», «посмотрел на меня довольно странно», — пишет Иванов в мае 1858 г. по возвращении в Петербург (Боткин, с. 325). Возможно, Иванов не ошибся, и на самом деле «Бруни и др. члены Академии прикрылись именем весьма мало известного и плохого литератора» (Боткин, с. 349–350), инспирировав разгромно-ядовитую статью некоего К. Толбина в «Сыне Отечества» о труде всей жизни Иванова. После которой художник впал в ужасное моральное состояние, предшествовавшее смерти. Так жестоко отплатил Бруни за давнюю критику?
- ⁸⁵ Всего от первых набросков до финала работа заняла около пяти лет, но главный труд был завершен быстро, доводя художника порой до изнеможения и обморока, так что ученики выносили его из мастерской на руках.
- ⁸⁶ Ср. Алпатов: «Первоначально в картине Иванова лейтмотивом должен был звучать призыв Иоанна к покаянию, молитве и крещению» (т. 1, с. 377). В советском искусствоведении встречались попытки выискать в картине Иванова чуть ли не социалистическую или, на худой конец, демократическую идею, но вряд ли можно всерьез рассматривать такую гипотезу.
- ⁸⁷ Эта ошибка Иванова — наследие академической школы с ее акцентом на наивно-иллюстративный историзм — оказалась преодолена уже Крамским, а там и символистами. Стоит отметить, что родной отец отговаривал его, справедливо укаывая на главную сложность: «Избранный тобою сюжет неудобноисполнителен по ограниченности живописи: смысл всего Евангелия — предмет довольно важный, но как ты оный изобразишь?». Как в воду глядел! Иванов-сын не нашел ответа на этот вопрос. Однако, когда в 1842 году архитектор Константин Тон, главный планировщик Храма Христа Спасителя, запросил у Иванова точные размеры полотна, Иванов уже и сам осознал, что создал не религиозную картину, т. к. ее предмет «трактван совершенно исторически, а не церковно», о чем честно написал

Тону в 1843 г., отказавшись от размещения «Мессии» в храме (Виноградов, с. 6).

⁸⁸ Об этом рассказано в письме Иванова-отца от 6 марта 1846 г.

⁸⁹ Алпатов, т. 2, с. 116.

⁹⁰ ОР РГБ, ф. 111, к. 1, ед. 6, л. 81.

⁹¹ Письма, с. 101.

⁹² Характерно самонаблюдение Иванова в связи с посещением его мастерской государем императором: «Эта минута моя была самая высокая в моей земной жизни, я внутренне укрепился молитвой, и вот — царь. Он раскрыл во мне чувство моей собственной значимости, которое меня так сильно занимает. Не считите это за гордость и тщеславие...» — писал он Шевыреву.

⁹³ Крайне характерна отповедь Иванова Гоголю: «Одно мне позвольте возразить против следующих слов вашей статьи: “Иванов ведет жизнь истинно монашескую”. И очень бы не отказался иметь женой монахиню — женщину, занятую преследованием собственных своих пороков» (Боткин, с. 247). Весьма своеобразное отношение к идее брака... Недаром когда-то он писал ближайшему другу Измайлову: «Отдаляю от себя узы супружества... я предчувствую, что мне не добратся до берега» (Виноградов, с. 144).

⁹⁴ Алпатов, т. 1, с. 60.

⁹⁵ Боткин, с. 414. Ср. воспоминания П. М. Ковалевского: «Тут я увидел Иванова... все тем же сосредоточенным, съезжившимся ипохондриком, боязливо встречавшим прохожих на пороге и провожавшим их без всякой надобности до самой лестницы» (Боткин, с. 403).

⁹⁶ Кроме «Явления Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835) Иванов не отправил на родину ни одной картины за весь непомерный срок своего пребывания в Италии. Если не считать милых, но неоконченных акварелей, неофициально переданных особам царствующего дома.

⁹⁷ Иванов поместил его изображение в недрах толпы, на заднем плане, в виде отчаявшегося грешника.

⁹⁸ Виноградов, с. 67.

⁹⁹ Вариант от 29 декабря 1832 г. — ОР РГБ, ф. 111, к. 4, ед. 19, л. 5.

¹⁰⁰ Расшифровка Нерадовского, папка «Письма к разным лицам 1832–1858» (ОР ГТГ, ф. 31, ед. 2487, л. 34), со ссылкой на шифр РМ № 2196, л. 31.

¹⁰¹ Боткин, с. 86.

¹⁰² Виноградов, с. 195.

¹⁰³ Боткин, с. 196.

¹⁰⁴ Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. — Л., 1971. — С. 168.

¹⁰⁵ Боткин, с. 276.

¹⁰⁶ Боткин, с. 405.

¹⁰⁷ Свидетельствует Н. Г. Чернышевский: «Иванов был несколько лет в настроении духа, подобном тому, жертвою которого сделался Гоголь, оставивший памятник своего заблуждения в “Переписке с друзьями”. Но, к счастью, Иванов прожил несколько долее Гоголя, и у него достало времени, чтобы увидеть свою ошибку, отказаться от нее и сделаться новым человеком».

¹⁰⁸ «Картина далеко не окончена. Однакож, я ее укладываю и посылаю в Петербург», — писал он по данному поводу (Боткин, с. 298).

¹⁰⁹ Алпатов, т. 2, с. 221.

¹¹⁰ Отец однажды написал сыну так: «Уверь меня, что ты непременно имеешь намерение возвратиться на родину, в отечество. Должно любить его, должно служить в рядах его, несмотря на неприятности».

¹¹¹ Ср. И. С. Тургенев: «Картина его уже была в Петербурге и начинала возбуждать невыгодные толки» (Боткин, с. 413).

¹¹² Боткин, с. XXIX–XXX.

¹¹³ Цит. по: Анисов, с. 338. Автор указывает, что в среде художников долго считалось, что Иванов покончил с собой, а версию холеры пустил-де в публику Боткин, присвоивший себе его лучшие этюды.

АНАТОЛИЙ ПАРПАРА

ДЕРЖАВНЫЕ СТРОИТЕЛИ РОССИИ

БЕСЕДЫ О РУССКОЙ ИСТОРИИ

Каждый человек рано или поздно задумывается о своей жизни: кто он, зачем пришёл в этот мир, к какому роду-племени принадлежит? И чем раньше он спросит себя об этом, тем больше у него возможностей найти своё призвание, свой путь или тропинку среди других проторённых по жизни дорог. Тогда же неизбежно перед ним встаёт вопрос и о его Отечестве. И ему хочется узнать о судьбах своего народа, о его предназначении.

Глубинного ума русский философ Иван Ильин, оторванный от родины физически, духовно всегда оставался вместе с ней. Он писал в своём далёком далеке, мыслью обращаясь к нам, будущим его читателям: “Вместе с Пушкиным скажем, что другой истории, кроме той, которая у нас была, – не хотим. История, родина, отец и мать не выбираются, не ищутся, а даются судьбой. За это таинственное веление судьбы, за титаническую борьбу с драконом, за устремление к свету чтим мы старую Россию – родину всех великих ценностей, созданных нашим народом...”

День, посвящаемый отечественной истории, подобен дню поминовения родителей. В старину верили в заступничество предков. Надо верить и нам. Верить в непостижимые законы России, в её иррациональное начало, во всё, что подметил Блок и что вылилось у него в стихе:

И невозможное возможно...

Если правда то, что умершие поколения управляют судьбами народов, то есть у нас заступники. Поверим же в чудо русской истории! Поверим в возможность невозможного!”

Каждое поколение нашего народа должно внимательно изучить историю своих предков, для того чтобы понять, зачем они приходили в этот мир, с какой целью и почему так яростно отстаивали родную землю. И разве не дело сыновей и дочерей – следовать вековым заветам своих родителей?!

“Державные строители России” – мой многолетний поиск и утверждение моей России.

ПРЕДТЕЧА. НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РОССИИ

Разве не заставили таинственным гипнозом несчастное наше Отечество забыть и Ярослава Мудрого, и Александра Невского, и многих других?..

Василий Розанов

Мы верим чуду русской истории, ибо есть у нас предстатели на небесах, есть у нас великие заступники! И один из них — князь Александр Ярославич Невский. Так его звали в миру. 15 июля 1547 года его канонизировала Православная Церковь по предложению первого русского царя — юного Ивана Васильевича, получившего впоследствии прозвище Грозного.

Проследим родословную Александра Невского. Нам необходимо её знать, чтобы понять в полной мере значение его ратных и мирных трудов для строительства будущего могущества России. Новые политики, которые, подобно Егору Гайдару, отказались от великой державы, собранной по крупинкам нашими предками в неустанных заботах, ради того, чтобы жить в своё удовольствие “в маленьком уютном государстве”, никогда не смогут понять провидческих устремлений Александра Ярославича, его рачительных и мужественных потомков. Сегодняшнее, тягостное для родинолюбивых положение нашей страны ни в какое сравнение не идёт с тем трагическим состоянием, в котором находились русские земли семь с половиной столетий назад. О времени, в котором жил и действовал великий князь, и пойдёт наш разговор.

Родословная Невского была полна именитыми предками, ибо Александр, сын великого князя Владимирского Ярослава II Всеволодовича, был внуком знаменитого Всеволода III Большое Гнездо. Отцом Всеволода был Юрий Долгорукий, основатель Москвы, а дедом — великий князь Киевский Владимир Мономах. Дедом же самого Владимира Мономаха был великий князь Киевский Ярослав Мудрый, давший Руси первый свод законов — “Русскую правду”, а отцом Ярослава Мудрого был Креститель Руси Святой Владимир, прозванный народом Красное Солнышко. Дедом героя народных былин — великого Киевского князя Владимира — был бесшабашный воитель, мечтавший создать единую столицу всех славянских земель Святослав Игоревич. А матерью Святослава была былинная княгиня Ольга, супруга князя Игоря, который в 860-м году от Рождества Христова прибил свой меч к вратам Царьграда в знак того, что появился на земле великий народ, с которым, с этого момента, необходимо считаться. А первый киевский князь Игорь по преданию был сыном легендарного Рюрика. Оттого и прозываются все они, прямые потомки его вплоть до царя Фёдора Ивановича, сына Ивана Грозного, Рюриковичами.

Теперь отсчитаем родословие в обратную сторону и посмотрим на потомков самого Александра Ярославича. И здесь мы увидим блистательные имена политиков и полководцев, ревнителей Отечества, которые неустанно приращивали к нашему государству новые земли по тем же самым законам, по которым создавались европейские государства: Франция и Англия, Испания и Германия...

Они действовали осмотрительно и настойчиво, следуя обстоятельствам. И хотя до Ивана Великого, по мнению многих историков, не было среди них личностей выдающихся, это не совсем так. Изучая деяния первых московских князей, невольно приходишь к мысли о том, что каждый из детей и внуков Александра Невского с поразительной последовательностью и вполне осознанно выполнял некий генетически заложенный в его сознание, разработанный и выверенный план создания державы, которой восхитятся и которой станут остерегаться многие рискованные страны. Эти удивление и боязнь лучше всего сформулировал Карл Маркс в своей работе “Тайная дипломатия России”: “Измученная Европа, в начале царствования Ивана III едва ли подозревавшая о существовании Московии, стиснутой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на её восточных границах, и сам султан Баязет, перед которым она трепетала, услышал впервые надменные речи москвиты”, то есть посла великого князя Московского.

Перечислим же имена авторов этого грандиозного замысла. Четвёртый сын Александра Невского, князь Московский Даниил (1276–1303) — в скобках даны годы княжения — будущий святой и благоверный князь, заложил крае-

угольный камень в фундамент здания будущей империи, он же выстроил на берегу Москва-реки монастырь, ныне известный под именем Данилова, а также построил церковь Спаса-на-Бору и Богоявленский монастырь (1296), в котором был игуменом Стефан, брат Сергия Радонежского, и где, крестник его сына Ивана, будущий митрополит Алексей, принял постриг и начал своё духовное служение Богу и Московскому государству. Его четвёртый сын Иван Калита (1325–1340) был осторожнее и мудрее своего воинственного старшего брата Юрия (1303–1325) и, подобно своему деду Александру Невскому, заключил союз с Золотой Ордой, усилил экономическое положение Москвы и упрочил её влияние как духовного центра будущей России. С него начинается истинное возвышение молодого Московского княжества среди других русских земель.

При старшем сыне его – Симеоне Гордом (1340–1353) – и его брате Иване Красном (1353–1359) неуклонно рос авторитет Московского княжества, но непререкаемым он стал в результате жизнедеятельности Дмитрия, сына Ивана Красного, прозванного Донским (1359–1389), Святого великого князя-воителя. Он положил начало освобождению Руси от золотоордынского ига.

А завершил борьбу за полную независимость Московского государства ровно столетие спустя правнук Дмитрия Ивановича, великий князь Московский, по сути, царь Московии – Иван III. А уже его внук – Иван Грозный – короновался на царствие легально и первым делом предложил Православной Церкви канонизировать далёкого предка своего, предтечу знаменитых побед русского оружия – князя Александра Ярославича Невского. Таков трёхсотлетний путь нашей державы от маленького удельного княжества до знаменитого царства. И положил основание этому замыслу и его реализации Александр Невский.

О дате рождения знаменитого полководца историки спорят до сих пор. Православный историк Вадим Дудоров считает днём его рождения 30 мая 1219 года. Большая советская энциклопедия полагает, что он родился около 1220 года. Историк Александр Дегтярёв тоже называет именно 1220 год. Исторический календарь, выпущенный в 1993 году, уточняет, что князь появился на свет Божий 5 июня. Эту дату возьмём и мы за отправную точку.

Дети князей в те далёкие времена рано прощались с детством. Уже в четыре года их ожидал постриг – средневековый рыцарский обычай, когда мальчику подстригали кудри, препоясывали его мечом и сажали на коня. В этом же возрасте Александра забрали из терема матери – княгини Феодосии – и отдали на попечение дядьки, боярина Фёдора Даниловича, который учил княжича всему: грамоте и письму, правилам поведения по “Русской правде”: “Еде и питью быть без шума великого. При старших молчать, мудрых слушать, старшим повиноваться, с равными себе и младшими в любви пребывать”, – и воинским правилам. Особенно любил мальчик чтение Библии, Псалтири, летописей (благо его отец имел прекрасную для тех времён библиотеку рукописных книг, русских и греческих, святоотеческой литературы), с большим интересом слушал рассказы о подвигах своих великих предков Всеволода Юрьевича, Юрия Долгорукого, Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Владимира Святого. Зачитывался он и повестью о своём тезке – Александре Македонском, покорившем чуть ли не весь мир. Уроки православия ему давал епископ Симон, игумен Рождественского монастыря во Владимире.

Острый ум Александра схватывал многое: грамоту, счёт, правила, писанные и неписанные законы. На всю жизнь ему запомнились строки из “Завета”, созданного родным его дядей Константином Всеволодовичем: “Все мнят, будто князь велик в человецех, и так то является несведущему. А яз испытал и уразумел, что у князя тяжчайшая жизнь, ему не только о себе едином, но обо всех всякую годину надо помышлять и пещься. Да более всего о тех, что сами о себе не помышляют, тех поправлять, не дать никого обидеть и право судить, недужным помогать, войска устраивать.

И кто в вас более страждет и о всех печалует, яко князь, что не имеет ни день, ни ночь покоя в душе своей, все боится, как бы все добре устроить и, став в День Судный, даст Богу ответ за себя и за всех своих подручных (подданных)”. Такая тревожная и подвижническая жизнь ожидала молодого князя.

Ему было девять лет, когда его отца Великий Новгород пригласил на княжение. Не первый раз республиканская вольница приглашала Ярослава Всеволодовича к себе. В 1222 году он уже княжил в Новгороде, но строптивные

новгородцы поссорились с князем и попросили его уйти прочь. Правда, вскоре вновь позвали его для победы над финским племенем емь, что и сделал удачливый князь, но капризное боярство новгородское снова выпроводило его. Теперь Ярослав Всеволодович в третий раз принял от них приглашение на княжение. Он приехал с двумя сыновьями, старшим Фёдором и Александром, и дружиной в 300 воинов. Совершив несколько удачных походов против литовцев, шведов и еми для защиты северо-западных границ Руси, он задумал предпринять большой поход против Ордена меченосцев, который активно продолжал колонизаторскую политику: огнём и мечом захватывал земли ижоры и эстов – племён, дружественных Новгороду, – и русские земли. Он решил привлечь значительные силы для такого удара. По его зову пришли дружины из Переяславля, Владимира и Новгорода к Пскову, но бояре псковские не открыли ворота, усмотрев в этой акции усиление княжеской власти. Более того, они заключили договор с Ригой.

Новгородцы же без псковичей отказались воевать, сколько их ни уговаривал князь, и опять попросили его удалиться. Ярослав Всеволодович рассердился, но своих сыновей оставил в Новгороде на княжении. К сожалению, с августа по декабрь 1228 года шли непрерывные дожди, и урожай новгородский погиб, начался голод и, естественно, вызрело недовольство народа. Этим воспользовались противники Ярослава, и пришлось боярину Фёдору Даниловичу увозить княжичей на родину.

Для Новгорода наступили чёрные дни голода, да и с порубежья стали поступать тревожные вести о грабежах соседей. Пришлось снова кланяться Ярославу Всеволодовичу, который и навёл должный порядок. Вскоре ему удалось и Псков привести под свою руку.

Зимой 1233 года накануне своей свадьбы умер четырнадцатилетний Фёдор. Эта смерть была тяжёлым ударом для Александра, который любил своего брата, и ещё большим – для новгородского князя. Он понимал, что надо готовить нового наследника, и теперь уже не отпускал от себя юного сына, который мужал буквально на глазах. И когда в 1236 году Ярослав Всеволодович сел на киевское княжение, в Новгороде остался его шестнадцатилетний сын Александр, которому великий князь Киевский прилюдно передал свой меч как символ верховной власти.

Александр Ярославович понимал, что главная забота князя – защитить новгородскую землю от нападения врагов. Потому он, не только знающий азы военного искусства, преподанные ему отцом, но участвовавший с ним в сражениях, тщательно готовит свою дружину к грядущим испытаниям. Особенный урок для действий против немецких рыцарей он извлёк из сражения новгородского войска под руководством Ярослава Всеволодовича в начале 1234 года. Тогда новгородцы решили дать отпор меченосцам, захватившим крепость Изборск. Войско подошло под стены Дерпта, который ещё недавно был русским городом Юрьевом, и осадило его. Немецкие рыцари надеялись укрыться в стенах крепости и дожидаться скорой помощи из Риги. Но новгородскому князю удалось выманить врага в чистое поле для решительного сражения. В ожесточённой битве с рыцарями русские воины сломили напор немецких рыцарей и погнали их на лёд реки Эмбах. Лёд не выдержал тяжести закованных в стальные латы рыцарей на тяжёлых конях и проломился. Многие из них погибли. Оставшиеся в живых убежали в крепость. Юному князю эта битва запомнилась, и когда через восемь лет он встретился с рыцарями Ливонского ордена на берегах Чудского озера, он знал, что делать и как делать.

А пока Александр Ярославич был занят делами новгородской земли и рассмотрением собственных хозяйственных дел. Новгородцы полюбили приветливого молодого князя за острый ум, за доброе знание книжной премудрости, за ратное умение.

Наступил погромный для Руси 1237 год. Более трёхсот тысяч воинов во главе с ханом Батыем обрушились на русские земли, которые не смогли бы и сообща выставить хотя бы одну треть. К сожалению, и перед этой бедой русские князья оказались разобщёнными.

Безжалостные тумены захватили и сожгли героическую Рязань, в кровопролитной битве разгромили войско великого князя Владимирского под Коломной, сожгли Пронск, Стародуб, Ярославль, Переяславль-Залесский, Суздаль, Ростов, Волок-Ламский, Кострому, Москву...

Не избежал этой участи и стольный град Владимир, который был ограблен и сожжён. Не были пощажены даже церкви. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович стоял на реке Сити, ожидая подхода полков своих братьев — Ярослава и Святослава Всеволодовичей. Но вместо них на него обрушилась татарская конница монгольского полководца Бурундая, которая легко прошла по замёрзшему руслу реки: “И бысть сеча зла и велика”. Великий князь погиб, а с ним была уничтожена и его храбрая мать. До Новгорода завоеватели не дошли всего сто километров. То ли героическая оборона Торжка навела Батю на грустные мысли, то ли потери были велики, но Батый повернул назад — зализывать раны.

Но и над западными границами Руси уже тяжелели военные тучи.

1

15 июля 1240 года дружина Александра Невского “в малом числе” в одиннадцатом часу утра высыпала из леса на берег речки Ижоры и стремительно обрушилась на беспечное войско шведских рыцарей, не ожидавших такой дерзости от русских воинов. . .

За несколько дней до этого “морской дозор”, который организовал Александр Ярославич из местных жителей под руководством старейшины земли Ижорской Пелгусия (Пелгуй), “в святом крещении Филиппа”, как сообщает об этом “Житие Александра Невского” (XV век), заметил на заливе множество иноземных кораблей, которые, подойдя к устью Невы, стали подниматься вверх по реке в сторону крепости Ладоги. К ночи этого же дня известие о готовящемся нападении на форпост Великого Новгорода было получено Александром Ярославичем.

Молодой князь понимал, что времени у него в обрез, чтобы основательно подготовиться к встрече неожиданных гостей. По предварительным подсчётам, шведское войско, жаждавшее обратить в “истинную веру” православных русичей, насчитывало более пяти тысяч человек. И это были не рядовые полки, а элитные воины, многоопытные рыцари, потомки знаменитых викингов, под руководством зятя шведского короля отважного ярла Карла Биргера, будущего правителя государства.

Перед князем встал вопрос: что делать? Собрать новгородское ополчение не было времени, и он принял решение выступить со своей бывалой дружиной в несколько сотен человек навстречу врагу. Часть воинов поплыла на судах по Волхову в сторону Ладоги, а другая на конях отправилась берегом. В каменной крепости, чьи укрепления помнили ещё Олега Вещего, он получил новые известия о противнике, который на своих шнеках добрался до невских порогов и на высоком мысу основательно разбил свой лагерь со златоверхим шатром предводителя. Следовательно, шведы ничего не знали о передвижениях новгородской дружины. Конечно, можно было за мощными стенами Ладоги выдержать не одну неделю осады. Но рыцари, предвидя такой исход событий, захватили с собой осадные орудия. Не говоря уже о том, что их войска вполне хватило бы и на осаду крепости, и на разбой в Новгороде и волостях его. А как рыцари могут свирепствовать в чужих землях, молодой князь уже знал на собственном опыте. Да и древние саги оставили нам не одно свидетельство: “Ярл Эйрик подошёл к Альдейгьюборгу (так называли Ладогу скандинавы) и осаждал его, пока не взял город тот, убил там много народа и крепость ту всю разрушил и сжёг”.

Острый полководческий ум Александра Ярославича подсказывал, что необходимо нестандартное решение. Шведы, традиционно нападая на новгородские земли, осаждали Ладогу, за стенами которой отсиживались русские воины. И на этот раз обидчики захватили с собой громоздкие орудия для разрушения стен. Значит, решили серьёзно подготовиться к штурму. А возможно и то, что они ожидали помощи со стороны Тевтонского ордена и готовились к совместным действиям, чтобы объединёнными усилиями разгромить несильное новгородское войско, которое после недавних монгольских нашествий являлось единственной реальной силой, способной защитить северные русские земли от вторжения европейцев.

Надо было думать об упреждении удара, о необходимости сорвать замысел врага. Тем более что лучший способ разрушить планы противника — напасть на него первым и неожиданно. Дружина новгородского князя преодолела

более ста километров от Ладоги до устья Тосны за один день — 14 июля 1240 года. Оставшиеся пятнадцать километров русские воины прошли утром пятнадцатого.

План сражения, разработанный двадцатилетним Александром Ярославичем совместно с княжескими советчиками, был реализован блестяще. Ставка делалась не только на неожиданность удара, но и на согласованность действий разных частей и на бойцовские качества опытных дружинников. Мощный кулак русского войска — конница — ударил в центр рыцарского лагеря, разрезав его надвое и нацелившись на златоверхий шатёр. Это была самая трудная задача, потому что коннице противостояли опытные рыцари, не поддающиеся панике. Так и получилось, что после лёгкого шока они ощерились копьями, не давая пробиться к их предводителю. Но Александр Ярославич со своими дружинниками действовал так стремительно, что выдержать этот напор было нелегко даже знаменитым профессионалам. И вот уже он пробился к Биргеру и нанёс удар копьём через головы рыцарей в шлем знатного шведа. Нужно было в совершенстве владеть мастерством ближнего боя, чтобы в таких сложнейших условиях сражения попасть в узкую прорезь металлического шлема, предохранявшего рыцаря от удара любым оружием. Летописец со слов одного из участников битвы так оценивает личный подвиг новгородского князя: "... и перебил их бесчисленное множество, и самому королю возложил печать на лицо острым своим копьём". Раненого ярла с лицом, залитым кровью, тут же унесли на королевскую шнеку.

В это же время один из новгородских военачальников, по имени Миша, ударил со своими пешими бойцами вдоль берега, отсекая шведов, находящихся на кораблях, от сражающихся на суше. Три корабля были уничтожены у берега. Бежавшие с кораблей на другую сторону Ижоры погибли от рук отряда Пелгусия, засевшего в засаде в прибрежном лесу. Такой удар, задуманный заранее, сильно повлиял на исход сражения. Битва стала неподконтрольной шведским предводителям, тем более что один из дружинников, по имени Савва, "напал на большой златоверхий шатёр и подрубил столб шатёрный. Воины же Александровы, увидев падение шатра, обрадовались". В глазах же шведов падение шатра означало бесславный конец сражения. Центром сопротивления рыцарей был их воевода Спиридон, но вскоре погиб и этот храбрец. Летописец приписывает честь одоления его "мужу храброму" Гаврило Олексичу, который один напал на корабль шведский, куда уносили раненого Биргера. И хотя бесстрашный воин был вместе с конём сброшен в воду, но "с Божьей помощью оттуда выбрался невредимым и снова напал на них, и бился крепко с самим воеводою, окружённым воинами".

Кроме перечисленных, летописец, слышавший рассказ о знаменитой битве из уст самого Александра Ярославича и участников сражения, упоминает Сбыслава Якуновича, не имевшего страха в сердце своём и бывшего одним топором с врагами: "И многие пали от рук его и подивились силе его и храбрости". Ловчего своего по имени Иаков за мужество в бою и умелое владение мечом похвалил сам князь. Шестого из названных в "Житии Александра Невского" именовали Ратмиром: "Этот бился пешим, и окружило его много врагов. Он же от многих ран упал и скончался". Таковы имена героев Невской битвы.

Исход сражения был ясен: шведы потерпели сокрушительное поражение. Далеко не все смогли вернуться к себе на корабли. А те, кто вернулся, отошли от берега, но по здравом размышлении поняли, что операция, так хорошо задуманная в Швеции, безнадежно проиграна, и нет уже сил на продолжение её. Крестовый поход на Русь не удался. "Оставшиеся бежали, а трупы погибших своих побросали в корабли и потопили в море".

К вечеру и русские воины отошли с поля боя. Наши потери были небольшими: погибло двадцать дружинников, но раненых было значительно больше. Всех погибших дружинники привезли в Новгород и похоронили под звон колоколов, отдавая воинские почести доблестным защитникам Отечества.

Невская битва имела огромное значение для современников, ибо была первым выигранным сражением после сокрушительного поражения русских княжеств от полчищ Батыя. Победа эта имела непреходящее значение и для потомков русичей: благодаря разгрому врага удалось отвести шведских рыцарей от походов на новгородские земли. Был заключен договор между шведским королевством и вольным Новгородом о мире, который продержался дол-

го: “Даст... король свейский на себя письмо и клятву отнюдь не приходити на Русь войною”.

Но поражение шведов для Тевтонского ордена не стало знаком тревоги. Оно только разожгло их аппетиты. То, что не удалось одним, решили сделать другие. Немецкие рыцари стали спешно готовиться к походу на Новгородскую Русь.

Александр Ярославич, прозванный народом за победу над шведами Невским, давно уже следил за своим западным соседом, понимая, что грядущих столкновений не избежать. Последующие события только подтвердили тревожные ожидания новгородского князя.

Не прошло и двух недель со дня Невской битвы, как в Риге собрались вожди ливонского рыцарства и прибалтийские епископы, которые, кроме духовной власти, обладали и значительной военной силой. Новый магистр Ливонского ордена Дитрих фон Грюнинген, сменивший умершего Германа фон Балка, так сформулировал предстоящую задачу: “Вам предстоит биться безжалостно с язычниками, будь то ливы или славяне, особенно с русскими еретиками – самым опасным и сильным нашим противником. Ибо русы имеют склонность помогать и эстам, и литовцам, и ливам. Мы должны сокрушить оплот их сопротивления – русские крепости на границах с Ливонией – Изборск, Псков. Шаг за шагом, продвигаясь вглубь русских земель, построим там крепкие замки. И добъёмся этого своим мечом. Действовать надо без пощады, чтобы никто не посмел поднять оружие против рыцарского воинства”. Такова была программа безжалостного уничтожения коренного населения русских земель, как это было с пруссами. И противопоставить этой беспощадной силе можно было только организованную волю.

Уже в конце августа войско рыцарей-крестоносцев захватило псковский город Изборск. А вскоре предательством псковского посадника Твердило Иванковича были открыты ворота и самого Пскова. Вместе с изменником городом стали править два немецких наместника. Зимой 1240 года крестоносцы подчинили себе земли финского племени воть, союзников новгородцев. Рыцари действовали так смело и решительно потому, что знали: в Новгороде голод, а князю своему боярство города, испугавшееся возросшего авторитета его, отказало в доверии. И Александр Ярославич уехал из города в Переяславль-Залесский.

Вскоре после его отъезда зимой 1240 года рыцари захватили русское поселение Копорье, очень важное в стратегическом отношении для обороны Новгорода, и стали спешно строить там каменный замок. Затем они захватили Тёсово. Таким образом, их отряды оказались всего в тридцати километрах от Новгорода. Грабежи, убийства, разгром имений стали рядовым явлением для республики. Пришлось гордым жителям вольного города смириться и просить изгнанника вернуться на княжение. Летом 1241 года Александр Невский въехал со своей дружиной в город. Новгородцы встретили его с почётом и надеждой на защиту их от завоевателей.

Князь, оправдывая надежды жителей, стал срочно собирать и обучать ополчение. Закончив сборы, он стремительным броском оказался под стенами крепости Копорье, которую вскоре взял, разрушив дотла немецкий замок. Пленных немцев он отпустил восвояси, зная, что в руках рыцарей немало русских пленников, а предателей велел повесить на крепостных воротах.

Освождение Пскова требовало времени и основательной подготовки, на что ушла вся зима 1241–1242 годов, зато удар был таким же стремительным. Ливонцев не спасли крепостные стены – ворота открыли восставшие псковичи. Победа была несомненной. На этот раз князь казнил шестерых рыцарей за совершённые ими преступления. Псковские изменники тоже были казнены. Такой княжеский суд был по сердцу и воинам, и простому люду.

Освободив от захватчиков новгородские земли, Александр Невский совершил удачный поход на территорию Ливонского ордена: враг должен знать, что и его ожидает кара за преступления против русских.

Но Орден не собирался отказываться от своих захватнических планов: его вице-магистр Андреас фон Вельвен сумел собрать крупные силы немецких и датских рыцарей и, не дожидаясь весны, начал мощное наступление на Новгород. Боязнь наступающей распутицы заставила его идти через Чудское озеро. Разведка Александра Невского доложила князю о планах рыцарей,

и русский полководец “поставил полки на Чудском озере, на Узмени у Вороньего камня...”

Летописцы не сообщили потомкам о численном составе противоборствующих сил. По некоторым предположениям, русских было от 15 до 17 тысяч человек, а ливонцев – от 10 до 12 тысяч. По тем временам цифры эти поражали воображение современников. Надо учитывать и то, что рыцари были вооружены по последнему слову тогдашней военной техники: длинными и тяжёлыми мечами, копьями, окованными железом, булавами с острыми шипами, длинными кинжалами, а сами были закованы в сталь с головы до ног, от железного шлема до кольчужных чулок. Даже кони их, тяжеловозы, были покрыты кольчужной попоной, а конская голова закрывалась сталью. Русские же дружинники были одеты в металлическую кольчугу с рукавами, стянутыми у кистей обручами из металла. Богатые воины носили её и кольчужные чулки. Но таковых было немного. Ополченцы же и того не имели. Защитой им служили деревянные щиты с железными полосами, а вооружение составляли мечи, луки со стрелами, рогатины и боевые топоры, а то и дубины.

Александр Невский сам лично выбирал удобную позицию для расположения русских войск у кромки береговой черты озера, а с Вороньего камня ему удобно было наблюдать за передвижением войск. Он уже не понаслышке знал об основном ратном приёме крестоносцев – железном клине, которым распарывалось войско противника на две части. Князь расположил свои боевые порядки “полчным рядом”. Это давало возможность оптимального использования их в бою. Русская конница, не менее опасная в бою, чем ливонская, была надёжно скрыта от любопытных глаз на флангах построения русского войска, и потому удар “кабаньей головы” пришёлся не по ней, а по передовому полку и стоящему за ним также пешему большому полку – “чело”.

Летописец со слов очевидца пишет: “Наехаша на полк немцы и чюдь и прошибоша свиньёю сквозе полк...”. Но у самого берега рыцарей встретила конная дружина (возможно, засадный полк), и ливонцы замедлили свой страшный бег, а потом и совсем остановились. По знаку князя призывно запели трубы, забили бубны, взметнулся ввысь княжеский стяг Ярославичей с изображением разъярённого льва. И действительно, русское войско напоминало собой могучего царя зверей, перед которым ливонский кабан присел на задние лапы и яростно отбивался. “Была тут сеча великая, сеча зла, и был страшный грохот – трусск (треск) от копий ломления и звук от сечения мечного... и не бе видити леду, покрыто бо ся кровию”.

Чудь, загнанная насильно в пешие полки нападавших, быстро бежала с поля боя, ливонцы же, как пишет немецкий автор “Рифмованной хроники”: “...Те, кто находился в войске братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари достаточно упорно оборонялись, но их там одолели...”

Решающая битва с крестоносцами была блестяще выиграна мужеством русских воинов и полководческим талантом двадцатидвухлетнего князя. Погибло более 400 и попало в плен 50 немецких рыцарей, в том числе и тот, который надменно обещал взять в плен русского князя. Такого поражения крестоносцы не знали никогда доселе. Победитель со своим войском вступил во Псков.

Н. М. Карамзин в знаменитой “Истории государства Российского” так описывает эту встречу: “Духовенство встретило героя со крестами и с песнями священными, слава Бога и Александра: народ стремился к нему толпами, именуя его отцем и спасителем. Счастливым делом своим и радостью общею, сей добрый князь пролил слёзы, и с чувствительностью сказал гражданам: “О псковитяне! если забудете Александра; если самые отдаленные потомки мои не найдут у вас верного пристанища в злополучии: то вы будете примером неблагодарности!” Новгородцы радовались не менее псковитян, и скоро послы Ордена заключили с ним мир, разменялись пленными и возвратили псковских аманатов (заложников), отказавшись не только от Луги и Водской области, но уступив Александру и значную часть Летгаллии”. Русский летописец, думая о великой радости освобождения, записал: “О псковичи, если вы забудете великого князя Александра или отступите от него или детей его, то уподобитесь жидам...” Летописец наших врагов деликатно отметил, что “храбрый Александр принудил рыцарей к миру”.

Александр Невский показал себя истинным защитником Русской Земли для современников, а для нас, потомков его, он стал небесным покровителем

русской нации, Святым и Благоверным князем. Да святится имя его в памяти нашей!

2

Слава, которую за два года обрёл молодой князь, была заслуженной и справедливой. Но и она не остановила литовцев, которые “умножились” и, по слову летописца, “начаша пакостити в области великого князя Александра”. Новгородский полководец несколько раз их отваживал, но в 1245 году литовцы большой силой напали на Торжок и Бежецк и разграбили близлежащие земли. Отряды тверичей, дмитровцев и новгородцев настигли грабителей под стенами Торопца, за которыми те успели укрыться. Вскоре к ним присоединился со своей дружиной Невский. Торопец был взят. Части литовцев во главе с князьями удалось ускользнуть живыми. Русские воины преследовали их и догнали близ озера Жизца: в ожесточённом сражении все князья литовские были уничтожены. Не довольствуясь этим, Александр Ярославич выступил со своей дружиной в поход на Литву и близ озера Усвята разгромил литовский отряд наголову. Таким образом, не стремясь захватить чужие земли, он сумел упредить новые разбойные выступления своих неразумных соседей.

На фоне только что опустошённых и разграбленных Батыем южнорусских княжеств и Владимиро-Суздальской Руси подвиги его воинов оставляли надежду на то, что не всё ещё потеряно для восстановления русской самобытности. Но несмотря на молодость, Александр обострённым умом своим понимал, что положение северных русских земель было необыкновенно сложным: в случае неповиновения сильный восточный враг мог разорить их основательно, и тогда гибель всей Руси была бы неизбежна. Надо было искать разумный выход из этой ситуации.

Отец его, мужественный воин, великий князь владимирский, вынужден был поехать в ставку Батыя и признать и себя, и своё княжество данниками монголов, то есть потерять свою независимость полностью, а взамен этого он был признан главою всех князей русских с правом великого княжения в Киеве. После этого Ярослав Всеволодович выехал по настоянию хана в Каракорум, столицу империи монголов. 30 сентября 1246 года, на седьмой день после того, как он принял из рук вдовы великого хана Туракины в знак великого благоволения пищу, возможно, отравленную, Ярослав Всеволодович скончался на пути в Россию.

Участь отца грозила и сыновьям его, ибо Александру и Андрею Ярославичам ханские послы вскоре вручили приказ из Каракорума прибыть в ставку великого хана, но перед этим они должны были предстать пред очами повелителя Золотой Орды. Батый, наслышанный об уме и подвигах молодого князя, извещал его резко и нелицеприятно: “Князь Новгородский! Известно ли тебе, что Бог покорил мне множество народов? Ты ли один будешь независимым? Но если хочешь властвовать спокойно, то явись немедленно в шатре моём, да познаешь славу и величие Моголов”.

И Александр Невский оказался перед трудным выбором: западный враг отнимал у русичей не только веру, но и жизнь; восточный враг не покушался на веру предков, но требовал беспрекословного подчинения, а с признавшими его власть был милостив. Северной Руси предстояло выбрать свою, особую дорогу. Чтобы защитить западные границы, необходимо было обезопасить от нападения восточные. Слишком многое зависело от воли Батыя, чтобы пренебречь его повелением. Думается, что перевесившим чашу сомнений доводом была веротерпимость монголов. Чингисхан, не понаслышке знавший о христианской вере, которую исповедовали родственные монголам племена найманов и керейтов, уважал чужих богов и запрещал обижать их. А несторианских миссионеров (последователей константинопольского патриарха Нестория, усомнившегося в божественной природе Христа) было много тогда, в XII–XIII веках и в Китае, и в Монголии, и в Индии.

Н. И. Костомаров, беспокойный русский историк, справедливо заметил: “Александр совершил своё путешествие с таким успехом, что оно послужило образцом и примером для поведения князей”.

Мудрый и наблюдательный Батый сразу понял, что двадцатисемилетний новгородский полководец своим умом, мужественной красотой и смелым поведением резко выделяется среди других русских князей. Летописец так пе-

редал удивление повелителя Золотой Орды: “Воистину поведаша ми, яко несть подобна мужу сему князю”. За время долгого пребывания в Сарае Александр (монголы его звали Искандер Грозны Очи) основательно узнал нравы и обычаи степного народа, оценил его веротерпимость и дружелюбие друг к другу, отсутствие воровства среди них, но отметил природную жадность и любовь к подаркам. Он подружился с наследником Батыя, старшим сыном его Сартаком, который склонялся тогда к принятию Православия. И принял, видимо, не без влияния бесед с Александром. Батыя устраивала такая дружба, ибо он, наблюдая много лет за событиями, происходящими в Киевской и Галицкой Руси, в Литве, Венгрии, Польше, в немецких землях, понимал, что и среди русских князей и ему, и сыну его нужен надёжный союзник для проведения необходимой Орде политики.

Русские летописи ничего не рассказывают о поездке братьев в столицу монгольской империи. Три месяца ехали они по следам своего несчастного отца в полном неведении о том, что с ними будет, и готовились к самому худшему. К счастью для них, Каракорум жил тревожной борьбой за трон великого хана и ему было не до молодых русских князей. Видимо, Гуюка они уже не застали. Назначение хана Батыя некому было утвердить, ибо *замятня монгольская* продлилась до 1251 года, а братья уехали из столицы поздней осенью 1249-го и в самом начале следующего года прибыли домой.

Александр стал старшим среди русских князей. Раньше это назначение было формальным, но, утверждённое сильной властью Батыя, приобрело решающий вес. В разрушенный и опустошённый Киев Александр не поехал, а вернулся, отягчённый новой властью, в ставший родным ему Новгород. Летописец делает краткую, но многозначную запись: “Того же лета прииха князь Александр Ярославич из Орды в Новгород, и рады быша новгородцы”.

За три с лишним года, что он провёл в Монголии, изменилось немного. Князей ждала трагическая весть: погиб в сражении с литовцами брат Михаил, но Ярославичи сполна отомстили врагам за его смерть. На следующий год покинул Киев и приехал в Суздаль, а оттуда через Владимир в Новгород митрополит Киевский и Всея Руси Кирилл. Его приезд был не случаен: он поставил епископа Далмата управлять новгородской епархией. Это укрепляло позицию Новгорода по сравнению с другими русскими городами.

Долгожданный мир в последующие годы нарушался неурожаем вследствие непогоды, пожарами и болезнью Александра. Но голода удалось избежать рачительными действиями, пожары потушить, а болезнь, благодаря заботам новгородцев, молившихся за своего заступника, вылечить. В 1252 году 24 июля произошло событие из ряда вон выходящее: как сообщает нам летописец, великий князь владимирский Андрей Ярославич покинул свой престол и вместе с женой и боярами тайно бежал. Н. И. Костомаров объясняет случившееся так: “Этот князь не мог так скоро изменить понятий и чувствований, свойственных прежнему русскому строю и шедших вразрез с потребностями новой политической жизни”. Судя по всему, не желая быть данником Золотой Орды, он не выплачивал ясака, не возил дорогих подарков в Сарае, чем и вызвал раздражение Батыя и его сына Сартака, управлявшего делами вместо стареющего отца. А скорее всего, в Сарае узнали о его планах восстания против ордынской власти, которые он обсуждал со своим тестем Даниилом Галицким.

Разгневанный Батый послал карательную экспедицию на Владимир. Карамзин пишет: “Неврюй, Олабуга, прозванием Храбрый, и Котья, воеводы татарские, уже шли в сие время наказать его за какое-то ослушание: настигнув Андрея у Переславля, разбили княжескую дружину, и едва не схватили самого князя. Обрадованные мстить россиянам как мятежникам, толпы Неврюевы рассыпались по всем областям Владимирским: брали скот, людей; убили в Переславле воеводу, супругу юного Ярослава Ярославича, пленили его детей и с добычею удалились...” Так уж велось тогда: за вину князя расплачивалось всё его княжество. Сам же Андрей бежал в Новгород, который его не принял, и через Псков, Колывань (Ревель, нынешний Таллинн) ушёл с женой в Швецию.

Александр, ещё не зная о Неврюевой рати, но предвидя эти события, отправился в конце мая 1252 года в Золотую Орду. опередить нашествие ему не удалось, а побратима своего Сартака он сумел успокоить и хоть частично уменьшить репрессивные меры: “Но полагаю, — убеждал он хана, — если не

будем прощать людям согрешения их, то и Всевышний не простит нам согрешений наших”. Урок неудавшегося восстания был жесток: единства среди русских князей ещё не было, русские земли были обессилены и опустошены нашествиями, и не было сил, чтобы отстоять свою независимость. Необходимо было смириться и медленно, но неуклонно готовиться к восстановлению своей свободы. Предстояла более чем двухсотлетняя работа по собиранию Руси в единое целое и по искоренению рабства, которое начинало уже проникать в кровь и плоть народа.

Из ставки Невский уезжал, получив ярлык на великое княжение Владимирское. Батый поставил во главе богатой русской земли авторитетного деятеля, полководца, который знал силу монгольского государства и сумел бы собрать необходимую Золотой Орде дань вовремя и полностью.

Въехав в стольный град Владимир при всеобщем одобрении, Александр Ярославич первым делом “люди распужены собора в дома своя”, а потом стал в своём княжестве восстанавливать разрушенные и испоганенные церкви, строить новые дома и селения, то есть налаживать жизнь. Владимирцам нравились в новом князе спокойная рассудительность, уверенность в собственных силах, уважение к ним и неброская самоотверженность. Слово с делом у него не расходилось никогда.

С получением ярлыка на великое княжение изменились и задачи правления великого князя. К обязанностям талантливого полководца, охранителя своей земли, прибавлялись обязанности правителя. Для руководства княжеством требовались иные способности, иной, государственный кругозор. Наблюдательный историк конца девятнадцатого столетия М. Хитров так охарактеризовал великого князя в этот период его жизни: “Александр имел достаточно силы и самоотречения, чтобы воплощать в своей деятельности идеалы будущего и сообразно с ними устраивать судьбы своего народа тем способом, какой только был возможен по обстоятельствам того времени, благодаря чему новые, намеченные им порядки, несмотря на ошибки его преемников, пустили корни в народной жизни и получили возможность дальнейшего развития и применения. И в этот момент своей жизни, который должен был повлиять на судьбу целых столетий, он является перед нами великим правителем и героем, который жертвует своим спокойствием, всеми выгодами и почестями своего положения, всеми личными интересами для того, чтобы заложить прочные основы великого здания будущего, отличаясь в этом отношении от всех современных ему князей”.

Замыслы Александра Невского, размах его деяний явно превышали размеры небольшого русского княжества и были рассчитаны на иной масштаб государства. Он был явно человеком будущего, выпадающим из эпохи раздробленности, разобщенности русских князей, а потому понимал пределы своей деятельности и соизмерял свои планы со своими возможностями. Но шаги его были великаны. Об этом говорит его столкновение с Великим Новгородом в 1255 году. Строптивные новгородцы изгнали из города юного князя Василия, сына Александра Невского, и сместили посадника, дружелюбного князю. Полководец не мог стерпеть такого позора и явился со своей дружиной к Новгороду. Долго шли переговоры, но всё-таки Александр настоял на своём: Ананий, новый посадник, был смещён и назначен Михаил, доблестный воин, участвовавший в Невской битве, а Василий был восстановлен на княжении. Впервые за долгие годы Господин Великий Новгород вынужден был уступить. Великий князь владимирский, старший среди русских князей, показал, что и над народной республикой есть его воля, которую необходимо учитывать и уважать.

Правда состоит и в том, что он, войдя в город, обласкал новгородцев, но в его настойчивости звучала твёрдая решимость будущей государственной дисциплины. Пройдёт ещё 220 лет, прежде чем его потомок Иван Великий упразднит независимость вольного города. О масштабности государственной деятельности Александра Невского говорит и задуманный им с перспективой поход (для всех он был вначале вооружённым ответом на попытку шведов построить крепость на русской территории) в глубину Финляндии, захваченной тогда шведами. Эта экспедиция готовилась в тайне, а когда цель была объявлена, то не все воины согласились в зимних условиях идти к Полярному кругу, далеко не всем была понятна идея такого трудного похода, но результаты его были удивительны. Шведы были ошеломлены дерзким походом рус-

ских и не оказали никакого сопротивления. Кстати, по свидетельству шведских историков, немало финнов поддержало русских, ибо они были недоброжелательны шведским насилиям. Более того, военная экспедиция Александра Невского так подействовала на воображение правителя страны Биргера, что он приказал своим нападать на Россию, и прошло 37 лет, прежде чем шведы отошли от шока и попытались вторгнуться в русские пределы.

Один из биографов Александра Невского так оценил действия великого князя: “Мы положительно ничего не знаем, что имел в виду Александр Ярославич, предпринимая поход против шведов. Быть может, кроме желания наказать их за нарушение прав народа, он имел ещё что-нибудь и другое в виду: может быть, в его светлой голове зародилась та же мысль, которая через четыре с половиной столетия была осуществлена Петром Великим...”

Вне всякого сомнения, Невский был не только выдающимся полководцем, но и политиком твёрдых убеждений. Об этом красноречиво говорит такой факт. Когда католическая церковь поняла, что силой оружия невозможно подчинить своей воле русский народ, Римский Папа Иннокентий IV послал в 1251 году к Александру Невскому во Владимир двух доверенных послов своих, кардиналов Гальда и Гемонта. В своей булле (послании), которая датирована февралём 1248 года, Папа именует князя герцогом Суздальским, хотя, как мы знаем, братья Ярославичи только через два года вернулись из Каракорума. Он, играя на сыновьих чувствах, уверяет Невского, что его отец Ярослав Всеволодович, будучи в Монголии (Татарии, как писали тогда. — А. П.), по собственному желанию или по совету какого-то боярина дал слово странствующему монаху Плано-Карпини принять веру латинскую. И, конечно же, исполнил бы своё обещание, если бы не скончался внезапно. Сын же должен следовать заветам отца, если хочет душевного спасения и мирского счастья. Ещё не зная о его поездке в Каракорум, Папа призывает Александра, который якобы будет благодетельствован Католической Церковью, известить о новом нашествии монголов и хвалит его за то, что не принял власть хана. Заканчивается же это послание к Александру многообещающе: “Да будет тебе ведомо, что коль скоро пристанешь ты к людям, угодным нам, более того — Богу, тебя среди других католиков первым почитать, а о возвеличении славы твоей неусыпно радеть будем”.

Ответ великого князя был ёмок и красноречив: “Мы знаем истинное учение Церкви, а вашего не приемлем и знать не хотим”. Александр Невский хорошо изучил католического волка по его зубам. Он прекрасно понимал, как православный человек, что католическая вера не будет принята русским народом. А вступить даже во временный союз с Римом означало для него отказаться от Православия.

Вскоре пример отважного воина, благородного князя, но не очень далекого политика, Даниила Галицкого, принявшего унию, доказал, что убеждённость в вопросах веры идёт на пользу русскому народу и русскому государству.

Очень необычна своим жизненным опытом судьба этого южнорусского князя, который был удачливее своих северных соплеменников, пытаясь заложить основы русского государства: он получил от Римского Папы королевскую корону, заслужил своей отчаянной смелостью уважение Золотой Орды, но всё же стал данником её. Всю оставшуюся жизнь Даниил Галицкий тяготился рабством, пытался стать независимым, почему и пошёл на союз с Европой. Южная часть русского народа всё далее отдалялась от других частей некогда единой Руси. Если северные и восточные земли тянулись друг к другу, скреплённые единой верой, то юго-западная Русь всё более теряла свою самобытность и несмотря на то, что на полтора века раньше освободилась от золотоордынского ига, так и не смогла освободиться от унии, уничтожившей Православие на древних русских землях. В этом смысле судьба Александра Невского в его потомках была более счастливой, нежели судьба отважного и благородного Даниила Романовича, русского витязя.

А самому Александру Ярославичу пришлось испытать горькое унижение ради будущего, более тяжкое, чем поражение в бою. Кстати, Александр Невский, как и Александр Суворов, не проиграл ни одного сражения за всю свою жизнь! В 1257 году великий князь владимирский узнал о том, что Каракорум решил переписать всё население своей обширной империи, чтобы привести

в порядок сбор дани. И он поторопился в Золотую Орду с богатыми дарами. Понимая, что невозможно отменить ясак полностью, Александр Ярославич предлагает передать его сбор в руки русских князей. Жестокий опыт взаимодействия с бесерменами, перекупавшими сбор у монголов, а потом сдиравшими три шкуры с населения, продававшими неимущих в неволю за недоимки, заставил его пойти на такое предложение. И оно было принято в ставке хана Берке, но на князя было наложено обязательство помогать монгольским “численникам” в переписи населения русских земель.

В Суздальской, Рязанской, Муромской и других областях перепись прошла спокойно, были назначены чиновники: десятские, сотники, тысячники, темники для сбора дани. Но в Новгороде и Пскове такое известие было встречено в штыки. В Новгороде, несмотря на уговоры духовенства подчиниться решению властей, грозило вспыхнуть восстание. Особенно негодовали “младшие люди”, гордившиеся своей независимостью от монголов. Был убит посадник Михаил Степанович, который пытался утишить недовольных. Более того, родной сын Александра Невского князь Василий, разделяя чувства вольного народа, выступил против отца, когда тот явился со своей дружиной наводить порядок в городе.

Пришлось во избежание новой “неврюевой рати” применить силу. Непослушного сына он сослал в Низовскую землю, а зачинщиков мятежа жестоко наказал. Обращаясь к новгородцам, он, по слову Сергея Глинки, сказал: “В чём упорствуете? Жизнь братий ваших гибнет, а вы жалеете золота и серебра... Смиримся на время: недолго будет торжествовать власть иноплеменная, если укрепимся Богом, верой и единоплеменным”.

Но отчаянные новгородцы не смирились и только в 1259 году, узнав о том, что во Владимире стоит монгольское войско, готовое идти на Новгород, свободолюбивое вече после бурных споров сообщило великому князю, что согласно на ордынскую перепись. Летописец отметил это событие одной строкой: “Бысть тишина великая христианам”. Следующий, 1260 год отмечен ещё более краткой, но отрадной записью: “Мирно бысть”.

Миротворческая деятельность Александра Невского стала приносить свои плоды. Тишина пришла на русскую землю. А это означало, что можно строить дома, рожать детей, заниматься торговлей, тем более что монголы всячески поощряли её развитие.

А в 1261 году великая радость пришла и в дом владимирского князя – у него родился сын Даниил. Именно от этого мальчика и пойдёт могучий род московских князей – создателей Российского государства, снова собравшего все разрозненные русские земли в единое целое. К сожалению, не навсегда.

Но мир оказался недолгим. Хан Берке, заподозрив своих сборщиков дани в утаивании большей её части, отдал прожжённым ростовщикам – хивинским торговцам – на откуп её выход, а те, будучи мусульманами, своими издевательскими над христианами и непомерными поборами восстановили против себя всё население великого владимирского княжества.

Восстание 1262 года вспыхнуло, как по команде, под звон церковных колоколов сразу во многих городах: Ярославле, Ростове Великом, Владимире, Суздале, Переяславле, Муроме, Устюге...

Самых наглых бесерменов восставшие избивали, а остальных выгоняли из своих городов. Монаха-расстригу Зосиму, бесчинствовавшего при сборах дани, убили. И наоборот: баскака Бугу, который не обижал горожан и принял Православие, пощадили.

Александр Ярославич понимал, что народ был доведён до отчаяния произволом баскаков. Известна его грамота устюжанам с призывом “бить татар”. Ясно, что необходимо было разрушить несправедливую систему бесконтрольного грабежа населения.

Приехав в Сарай, Невский смог убедить хана Золотой Орды в необходимости отдать сбор дани в руки русских князей. И ещё одно великое дело ему удалось сделать: освободить русские земли от воинской повинности. С этого момента наши воины не шли защищать чужие интересы, не гибли в карательных походах. Кстати, Берке, как и Батый, с уважением относился к Православию. Его племянник, ордынский царевич, как и Сартак, сын Батыея, принял крещение и получил христианское имя Пётр. После смерти своей супруги он принял постриг. Жизнь его была истинным служением Богу и людям, посему

его прозвали Ростовским чудотворцем. По кончине своей он был причислен к лику святых.

Целый год не отпускал хан Александра Невского из Сарая. Берке любил беседы с умными людьми, ценил учёных и художников. Под влиянием русского князя он разрешил учредить в 1261 году Сарскую епархию в своей столице, и митрополит Кирилл освятил её. Но видя, что Александр Ярославич тяжело заболел, Берке отпустил его домой. Видит Бог, как торопился домой владимирский князь, чтобы сообщить народу добрую весть: не будет новой “неврюевской рати”, не будет поборов, учиняемых бесерменами, не будут набирать на службу хану русских воинов. Такие новости были бесценны для русского сознания, тем более из уст народного заступника.

В ноябре 1263 года добрался Александр Невский до родных пределов и “доиде до Новгорода Нижнего и пребыв ту мало и иде на Городец”. Здесь же, в келье Фёдоровского монастыря совершенно больной сорокатрёхлетний великий князь Владимирский принял постриг, и с именем инока Алексия 14 ноября умер при свете лампады, горевшей пред иконой Божией Матери.

23 ноября прах его был предан земле в соборе Владимиро-Рождественского монастыря. За похоронными санями шли его соратники и любивший князя простой народ. Митрополит Фазумен выразил общую боль, сказав о нём: “Чадо мои! Яко уже зашло солнце земли Суздальской”.

Завершилось его земное служение Богу и Отечеству. И вот уже более семи веков продолжается служение его в чине Предстателя русского народа на небесах.

Счастлив народ, имеющий таких защитников!

(Продолжение следует)

АНДЖЕЛО ДЕ ДЖЕНТИ

МОЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ РУБЦОВ

А. де Дженти родился в 1928 году, он итальянский кинорежиссёр и продюсер, учившийся в Московском Литературном институте и Институте кинематографии с 1949 по 1961 год. Ему пришлось учиться вместе с Н. Рубцовым, В. Беловым, О. Фокиной. В настоящее время де Дженти активно работает в кино и на телевидении Италии.

В течение многих лет он путешествовал по Северу России, дружил с В. Шукшиным и другими известными русскими кинодеятелями.

В своё время он увлекался византийским искусством, так как принадлежит к верующим итальянцам, причисляющим себя к Восточной греко-романской церкви.

Этот материал впервые был опубликован в журнале “Вече” (Мюнхен) № 53 в 1994 году.

Мой милый, далёкий, близкий друг.

Помнишь наш спор: из чего рождается безумство творения? Я был склонен <думать> – ты тоже, – что оно приживается в нас от страха, от того неведомого и удивительного страха, когда мы впервые одинокими вступаем на порог храма, не чувствуя тяжести бытия, ибо одиноки мы всегда перед Богом, ибо только Он напоминает нам об отце, о нашем роде, о нашей изначальности.

Мы спорили тогда с нашими друзьями, что означали для нас с тобой понятия или просто выражения “византийское небо”, “византийская даль”; спорили мы, как безумцы, придавая этим словам мучительное назначение бытия нашего. Так мы спорили до зари, пока друзья наши предавались глубокому сну. Лишь мы с тобой, как брошенные судьбою дети, с недоумением смотрели в одну и ту же точку, на третьего друга нашего: на кипящий у подоконника любимый чайник. А пар, как лёгкий туман древности, струился из носика, словно жалобно хотел напомнить нам, что для нас с тобой наступил момент точки с запятой, чтобы затем спокойно продолжать толкование истинной сути византийского небосклона.

Ты вынул вилку плитки из розетки; насыпал в стеклянный стакан заварку чая, и через струйки пара мне чудилось, что ты наполнил комнату какой-то странной грустной улыбкой... Я всматривался в тебя; и за этим паром перед моими глазами вставала неизгладимая кромешная печаль фресок византийских мастеров.

Милый друг! Тогдашним моим постулатом по византийскому небосклону было то, что Константин Великий, после выдающейся победы над Лицинием, который повсюду преследовал христиан, решил задолго до Петра на берегах Невы увековечить византийский дух: перенёс столицу Римской империи на

берега Мраморного моря, создав Константинополь, наш Царьград. Внедрилась в людей империи страсть созидания: со всех концов греческого мира свозились сюда нерукотворные произведения искусства. Византийское небо стало покровителем умов и началом нашей веры.

... И возникают в памяти твои строки — я их возлагаю здесь, как лепестки, без грамматических кавычек:

— В твоих глазах — любовь кромешная, немая, дикая, безгрешная, и что-то в них религиозное...

Считали мы себя византийскими детьми, значит — по времени — взрослыми; и толковали, может быть по-детски, о византийском или греко-римском праве Юстиниана, по которому наивысшим злодеянием считалось гонение против веры и Церкви.

Нас Тютчев тогда “преследовал”:

— Москва, и град Петров, и Константинов град — вот царства русского заветные столицы... Но где предел ему? и где его границы — на север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат... Семь внутренних морей и семь великих рек... От Нила до Невы, от Эльбы до Китая — от Волги до Ефрат, от Ганга до Дуная... — вот царство русское... и не преждёт вовек, как то провидел Дух и Даниил предрёк.

Я как-то подал тебе мою тетрадь, и ты читал:

— Первое знакомство русских с византийским правом относится ко времени, предшествовавшему принятию Россией христианства: византийскими элементами проникнуты были все договоры русских с греками ещё с X века, со времён пребывания самих русских в Константинополе.

Мы обсуждали: в греческом оригинале Евангелия “Слову” соответствует “Логос”, имеющий одновременно и значение “смысла”, то есть “В начале был Смысл” — смысл мироздания. Также и русское слово “истина” отличается от слова “правда”. В чём же сила языков? Мы часто задавали себе такой вопрос, заметив, что некоторые языки эти два понятия выражают одним лишь словом.

Христианство со своим божественным языком, словно лихой рыцарь, благовещенским духом проникло в Россию; и это казалось настолько естественным, как сама истина или “естина” — первосущность всего того, что является русским. Глазами наших предков мы замечали, как сами греки, имевшие за спиной весь арсенал античности и красоты, недоумевали от страстности тогдашних русских к великой вере. Как мучительно теперь увидеть эту гармонию духа, эту красоту, как нечто уходящее тайком в дебри веков, как мираж... В этом мираже для нас — и смысл мироздания, и любовь, и лад.

Своими строками ты хотел спасти от глумления времени времени эту гармонию, эту любовь, этот лад. Мы без слов понимали друг друга, и нам было хорошо на душе. И душа становилась чистой, как первый снег. Тогда, ты помнишь, мы видели сон: наши глаза прощались со снежной далью. И просто из такой дали я отправился в Константинополь, чтобы увидеть, наконец, святую Софию, Премудрость Божью, сооруженную Юстинианом в 532–537 годах.

Для возведения этого храма трудилось ежедневно 10 000 рабочих и мастеров, руководимые чудотворцами собора: Анфимием из Траллеса и Исидором из Милета. Юстиниан, горячо принимая к сердцу предприятие, желал, чтобы воздвигаемая церковь превзошла величиною и роскошью все когда-либо существовавшие храмы: золото, серебро, слоновая кость и дорогие породы камней были употреблены для её украшения в огромном количестве. Со всех концов империи свозились колонны и глыбы редчайших мраморов, шедшие на её убранство. Невиданное и неслышанное великолепие храма до такой степени поражало народную фантазию, что сложились легенды о непосредственном участии в его сооружении небесных сил.

После завоевания Константинополя (1453) турки обратили храм святой Софии в свою главную мечеть, закрыв мозаичные изображения на её стенах штукатуркой, уничтожив в ней престол, алтарную преграду и прочие принадлежности христианского культа и обезобразив её наружность разными пристройками. Что-то подобное случилось во многих великолепных храмах в недавнем прошлом в самой России...

Но и в провинциях Византийской империи воздвигались подобные соборы: Кафоликон в Афинах, сооруженный в VIII или в IX веке, имеющий форму креста, св. Никодим, также в Афинах, увенчанный 13-ю куполами, и многие другие.

Влияние святой Софии отразилось сильно в искусстве многих народов, пришедших в какое-либо соприкосновение с византийским искусством. Таким образом, в Италии, кроме равенских церквей, носят на себе отпечаток византийского стиля некоторые храмы Сицилии (Монреальский собор, Паладинская капелла и Марториана в Палермо, Мессинский собор), собор св. Марка в Венеции (освящённый в 1085 году), церкви на острове Торчелло и в других местах Адриатического побережья. В Германии в том же стиле сооружены соборы, возникшие во времена Карла Великого на берегах Рейна. Во Франции, в Лиможе и по соседству, мы находим несколько храмов, в которых видно несомненное влияние византизма, как, например, церковь св. Фронта в Перигё. Но нигде зодчество Византии не дало столь сильных и долговечных отпрысков, как в России, Армении, Грузии — странах, заимствовавших его отсюда вместе с догматами и обрядами религии...

Великолепный образец византийского эмалирного дела представляет знаменитая золотая “доска” иконостаса, украшающая главный алтарь в венецианском соборе св. Марка. Искусство византийских мастеров в эмалирных изделиях со временем укреплялось и развивалось у русских мастеров.

Византийская живопись и мозаика сохранила во времени многие элементы античного искусства, которые, будучи потом перенесены византийскими мастерами в Италию, помогли развиваться дивным образом искусству Возрождения. Мало кто знает, но нельзя не упомянуть, что “Христос между св. Виталием и Экклезием” на своде храма св. Виталия в Равенне и “Юстиниан и императрица Феодора, входящие в храм вместе с их свитой”, “Крещение Господне, окружённое фигурами апостолов” в куполе церкви Санта-Мария-ин-Космедин в Риме, — что все эти изображения проникнуты византийским духом.

Мозаика, относящаяся к VII–VIII векам, на Востоке почти совсем не уцелела, но о том, какова она была там в ту пору, можно судить по произведениям, исполненным в Италии, очевидно, греческими мастерами, как, например, мозаика в главной апсиде церкви св. Агнессы “вне стен” в Риме, а также в Равенне и некоторых других местах Италии. По этим мозаикам можно определить изображение на большой западной арке в святой Софии в Константинополе.

Важную отрасль византийского искусства составляют также переносные, писанные на дереве иконы, которые ставились в храмах или хранились, как святыни, у благочестивых людей. Оригиналы этих образов сохранены в Ватиканском музее и в ряде католических церквей Италии, а также по церквям и монастырям России и Востока.

Милый друг! В те же жуткие и нежные дни паломничества, когда я снова вернулся из Константинополя, принеся тебе на память открытку с изображением святой Софии, ты мне не в шутку сказал:

— А я дарю тебе взамен северную избушку, в которой вмещается вся Россия.

И ещё сказал:

— Если мы с тобой захотим — она станет храмом... Вот так!

Через некоторое время мой старый друг Рачков (друг нашего друга — Белова) повёл меня к избушке, которая почему-то была снесена, открывшись лишь звёздам. И снова вспомнил я твои слова:

— Случайный гость, я здесь ищу жилище и вот пою про уголок Руси, где жёлтый куст и лодка кверху днищем, и колесо, забытое в грязи...

Мы много времени тогда теряли на пустыки, лелея надежду... Единственное утешением был вологодский небосклон. И я там был, и ты там был. Ты говорил:

— Живу вблизи пустого храма, на крутизне береговой, где женщины с мостка своё бельё полощут.

Неподалеку от этого вологодского храма как-то я очутился в доме-музее Батюшкова. Девушка-красавица из поэтической семьи Каратаевых попросила меня привезти из Неаполя, где долго жил Батюшков, какие-нибудь реликвенные “следы” для музея. Так и потерялись эти экспонаты в тёмных погребах посольства тех времён...

Читали мы тогда Батюшкова, который был весь пронизан итальянским духом. Я помню слова Пушкина, написанные на полях стихов Батюшкова: “Звучи итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков...” Скажите же мне: кто из настоящих русских не приземлил европейскую Культуру с большой буквы, высокую европейскую мысль? Если Гоголь писал самую что ни на есть русскую

книгу “Мёртвые души” среди римских пиний, если целая плеяда русских художников и литераторов вдохновлялась итальянским миром, если наш милый, любимый Пушкин мечтал об этом... Помнишь, как он в своём Онегине сказал:

– Адриатические волны, о Брента, я увижу ль вас?..

Как могли русскую душу отмежевать от всего того, что сам Бог дал земле? Но наш Пушкин – он был здесь, на итальянской земле, ибо он жаждал быть здесь, быть здешним, будучи русским. Не бывает желания вообще, ибо у желания нет прерванной дороги... И если я мчусь нынче к тебе, к вологодским измам, следы мои к тебе будут покрыты твоими следами ко мне, ибо у души нет пути без возвращения. По этим следам обратно в Рим явился и постучал ко мне в дверь, что напротив Сикстинской капеллы, наш милый Вася-Василий-Василий Иванович. Был он тогда вместе с другими литераторами из советской России, из разных республик, как тогда говорили. Застал меня Василий врасплох: не был я готов к его приезду, но мои следы, ведущие меня в Вологду, сами привели его ко мне. И я восторгался его присутствием, которое стало для меня и щитом от тех, кто утверждал, будто русским и без других – просторов своих достаточно.

Василий меня всегда поражал какой-то безгрешностью в своих писаниях. Уже тогда он был самым достойным русским писателем. Его слог – от той плоти, на чём держится всё русское. Я прибавил бы: всё, что можно назвать универсальным, ибо то, что велико, – это удел не только одного народа, а всех. Он для меня к тому же персонаж отдельного моего рассказа – были. Давно он об этом знает, а будет, наверное, самым последним читателем этого рассказа, ибо рассказ этот написан не на русском, а на итальянском языке.

Я здесь позволю себе привести только один момент нашей римской встречи. В тот день, когда он постучался ко мне в дверь, привелось ему вместе с группой литераторов посетить Сикстинскую капеллу. Выйдя оттуда, он обрушился на литераторов, которые упустили такой случай. Каждому своё, мой друг, утешил я его. Взглянул Василий на меня и сказал:

– Я завтра снова посмотрю на Микеланджело.

Пропустил Вася обед; снова зашёл в капеллу и замечтался перед “Страшным судом” Микеланджело до самого закрытия музея. Вышел, зашёл ко мне и, не выдержав восторга, решительно сказал:

– У Микеланджело задумал новый роман – “Кануны”.

Почти как Гоголь...

Но вернёмся к тебе, мой милый друг. Помнишь, поздно ночью ты возвращался в наш терем, наше строгое общежитие. Задорно играл ты на гармошке, на той, которая была для тебя и для меня вездесущим праздником и печалью. О Боже, тебя почему-то не все любили в том тереме: мало кто тебя понимал, ибо многие тогда жили по писанным правилам. А у поэта правила неписанные. Верно, было время позднее. Весь длинный коридор ожил от звука гармошки. Возмущённые и недоумевающие вышли из своих келий несколько студентов: Эльгас с ножом, Агьев с фонариком в руках, Мумтаев со своей деревянной ручкой, Фикрет, русские ребята и некоторые прибалтийцы. Все хотели избавиться от надоедливой гармошки. “О, Боже, – думал я, – озари Своим светом умы толпы...” Гармошка помогала твоему слабому голосу, но они – никто из них! – не был готов к такому восприятию мира. Как в таких случаях восстановить человеческое доверие? Я помню, как ты, в тот раз отвергнув стадное чувство других, избежав худшего, вместе со мной ступил на порог моей комнаты. Дверь почему-то осталась полуоткрытой... Да, дружок, толпа есть толпа: она ворвалась в комнату, она просто торжествовала, ей этого, казалось, было достаточно. Но кто-то схватил гармошку и со всей силой с четвёртого этажа выбросил её за окно. А ты, драчун, рыцарь истины, на этот раз молчал; может быть, чтобы услышать последнюю ноту улетающей за окно гармошки, откуда донёсся какой-то звук, как последняя молитва. Я впервые увидел, как ты, словно богомолец-пилигрим, трижды перекрестился и что-то необыкновенное бормотал... Толпа застыла: она была вне времени и пространства.

– Коля, что случилось? – спросил я тебя.

– Бумагу, – сказал ты. – Дайте бумагу. Бумагу.

Я заметил, как грешная толпа смылась, оставь тебя в безумстве творчества. Слово флорентийский тпец, ты стал жестиковать руками, всем существом, ища исчезающие слова и строки. И ты мне в то мгновение показался вечным. Твоё лицо я где-то видел в рисунках пушкинского альбома. Я не

боялся больше за тебя: я вышел стремглав на улицу – за гармошкой. О, Боже, что увидели мои глаза! Кругом всё было покрыто первым снегом. И белизна его была, как чистая бумага.

Подняв гармошку, я вспомнил твои строки: “Ах, кто не любит первый снег, как на гармонь летят снеж(ин?)ки. . .” Весь в снегу, я, как ветер, ворвался в комнату. . . С чайником в руках, ты грустно смотрел на снег.

Ты писал, что, никем не гонимый, сам явился в своей необъяснимой любви к Северу. Меня тоже, никем не гонимого, конь византийский понёс к тем краям. Ты говорил: “Люблю я Русь за её страдания, за погосты и молитвы, за старину, за вечный покой. . .” И снова: “Как много жёлтых снимков на Руси, в такой простой и бережной оправе. . .”

Милый мой человек! Я сохраняю твой снимок в углу этой бережной оправы, где стоит берёза, старая, как Русь.

– Когда не будет памяти о нас, – ты говорил, – тогда что будет? Этот снимок, как сон столетий, “по буграм отразится, где избы, берёзы и Божий храм”. Безграничность времени. . .

Джакомо Леопарди в своём стихотворении “Безграничность”, будучи итальянцем, становится как бы совершенно русским по духу:

– Всегда был мил мне этот холм пустынный и изгородь, отнявшая у взгляда большую часть по краю горизонта. . . и молчанье неведомое, и покой глубокий я представляю в мыслях; оттого почти в испуге сердце. . . и вечность, и умершие годы времени, и нынешнее, звучное, живое, приходит мне на ум. И среди этой безмерности все мысли исчезают, и сладостно тонуть мне в этом море. . .

Я помню мои слова, обращенные к тебе, может быть, по поводу стихов Леопарди. Я сказал тебе:

– Почему итальянские пинии не должны быть и твоими, а твои берёзы – моими? Леопарди ведь не ставит никакой грани для людей в своём стихотворении. Разве не универсальна земля? Вера, искусство, звёзды – разве не универсальны?

Ты долго думал, ты сразу не ответил мне тогда. Ты взялся за гармошку, смотрел куда-то вдаль, снова положил гармошку на подоконник.

– Слушай, старик, – неохотно обратился ты ко мне, – значит, ты хочешь объединить римскую империю с русской – так, что ли? Нет-нет, не то я хотел сказать. . . Ты хочешь господство – царство на земле. . . видимо, тебе Царства Небесного не хватает. Ишь ты, какой демон. . .

Я с умыслом прерываю здесь мой рассказ о друге, чтобы ещё собраться с мыслями и ждть крещенских морозов, ибо во время этих морозов стиралась грань между его жизнью и его смертью. Одну лишь деталь этой грани не могу здесь не зафиксировать.

Странная штука поэзия! Как верно она предвещает нам пути Господни. В крещенские морозы ты – то ли в шутку, то ли всерьёз – собрался в невозвратный путь. А руки твоей возлюбленной, твоей подруги жизни как бы не хотели тебя отпустить: схватили они тебя мёртвой хваткой. Её руки – не руки? – глупо застыли на тебе, заснувшем. Мне Ольга наша, Фокина, много времени спустя что-то неохотно объясняла, а глаза её были полны состраданием.

Не знаю, какой был вид у твоей возлюбленной тогда, в тот жуткий час, но я знаю, как выглядели мы при вести о том ужасе: мы все застыли с глупым видом. Милый Коля, не сердись, что никого из нас не было тогда с тобой рядом. И дружба здесь бессильна. Никто тебя в тот миг не защитил, Россия сама не могла тебя защитить: она была занята, занята премиями. А тебе от лавров было жутко и больно. . .

Мы, твои друзья, состарились с тех пор. Лишь ты остался молодым, как Пушкин, как Лермонтов, – Рубцов. И каждый раз, когда наступают крещенские морозы, кто-то тихо в храме молится о тебе. Это Русь, та самая старая женщина – Русь, которая никак не может быть делима даже в бедствии и несчастье.

ЛЕОНИД ВЕРЕСОВ

Н. М. РУБЦОВ НА ВОЛОГОДСКОМ ОБЛАСТНОМ РАДИО

Отношения Рубцова со средствами массовой информации начались достаточно рано.

Ещё студентом поэт, опоздав на занятия в Литинститут, пишет в объяснительной записке: “Редактору Литературного института им. Горького тов<арищу> Серёгину И. Н. от студента первого курса осн<овного> отд<еления> Рубцова Н. М. Заявление. Я не допущен к сдаче экзаменов, так как не сдавал зачёты. Зачёты я не сдавал потому, что в это время выполнял заказ центральной студии телевидения... Писал сценарий для передачи, которая состоится 9 января с<его> г<ода>. Прошу Вас допустить меня к экзаменам и сдаче зачётов в период экзаменационной сессии. 7/1-<19>63 г<ода>. Н. Рубцов”.

Автор статьи никакой подходящей передачи, которую мог бы подготовить Рубцов, в программе передач за январь 1963 года не нашёл. Возможно, её не допустили до эфира по какой-то причине художественного или цензурного характера.

Взаимоотношения поэта и Череповецкого (областного) телевидения были раскрыты в статье “Телевидение. Рубцов. Череповец”, которую можно прочитать на сайте “Душа хранит” в интернете. Она опубликована и в газете “Голос Череповца” 10 февраля 2009 года. Наиболее важным документом публикации является выступление Рубцова с небольшой речью на телевидении 27 февраля 1969 года.

Ещё одной забытой страницей биографии поэта является тема “Рубцов на областном радио”. Найдено 5 позабытых эпизодов.

Наиболее интересной является радиопередача с первым упоминанием Н. М. Рубцова от 26 октября 1967 года. (ГАВО, фонд 1796, оп. 3, дело 281. С. 127. Передача “Писатели – Октябрь”.) Передача длилась 25 минут. Разговор шёл о Яшине, Белове, Викулове, Коротаеве. Гостями в студии были председатель Вологодского отделения Союза писателей А. А. Романов и поэт Н. М. Рубцов.

Необычность передачи заключалась в том, что А. А. Романов пригласил участвовать в подобной политической программе именно Н. М. Рубцова, у которого стихи про революцию, Октябрь, социализм можно по пальцам одной руки пересчитать.

Вот что Романов говорил тогда в микрофон: “Из зелёных тотемских просторов пришёл в Вологду другой интересный поэт – Николай Рубцов, автор книг “Лирика” и “Звезда полей”. Последняя издана нынче в Москве и уже об-

ратила на себя внимание газет “Правда”, “Литературная Россия” и других. Этот радостный факт доказательно говорит о том, что наш Вологодский край бесконечно богат литературными дарованиями, они вырастают постоянно и всё громче и громче заявляют о себе. И в этом добрая особенность нашего советского времени!

Николай Рубцов – поэт, как и должно быть, со своим видением мира, со своими интонациями, но и в его стихах – опять же, как мы видели в стихах других поэтов, – ощущается смолистый ветерок вологодской стороны, слышится шум присухонского разнотравья, видятся наши берёзовые и сосновые дали, наша жизнь.

Послушаем поэта Николая Рубцова”. (Плётка. Рубцов читает свои стихи.)

То есть согласно тексту передачи и пометке “Плётка”, это выступление Рубцова вполне могло сохраниться в архивах областного радио.

Автор – сам Рубцов (ГАВО, ф. 1796, оп. 3, ед. хр. 281. с. 134). Текст радиовыступления:

“У меня опубликованы две книжки стихов. Главная тема той и другой книжки – это тема моей деревенской родины, тема северной деревни с её скромными пейзажами, с её особыми заботами, самобытной древней культурой, в общем, с её жизнью, в которой много прекрасного и поэтичного. Хотя мне много пришлось постраивать и о разном написать, но всегда я вновь и вновь возвращался в своих стихах к той жизненной среде, из которой вышел. А сейчас я почитаю стихи, посвящённые нашему празднику”.

Рубцов получил за это выступление и за два прочитанных стихотворения 9 (девять) рублей гонорара (с. 136).

Далее приводим тексты двух стихотворений поэта, которые прозвучали в эфире.

Октябрьские ветры

*Полвека —
Великая дата!
Взошла ты звездюю заветной!
И ложь, и вражду супостата
Сметали октябрьские ветры.
О, ветры! Октябрьские ветры!
Не зря вы тревожно свистели!
Вы праздник Отечества светлый
Взрастили в своей колыбели.
Вы мчались от края до края —
И день разгорался цветущий!
И прожитый день прославляя,
С надеждой мы смотрим в грядущий.
Мы смотрим вперёд, как матросы
Сквозь бури идущего флота:
Ещё ожидают нас грозы,
Работа, работа, работа!
Ещё беспокойны и долги
Дороги под флагом бессмертным,
Ещё на Земле не замолкли
Октябрьские сильные ветры.*

Он поднял флаг

*Он поднял флаг
Над сельсоветом!
Над тихой родиной своей,
Над всем старинным
Белым светом
Он поднял флаг...*

*В краю полей
 Он дорожил большим доверьем,
 Вражду развенчивал и зло,
 Не изменил родной деревне,
 Когда ей было тяжело.
 Он не стремился
 К личной славе,
 Не верил скучным голосам,
 Он знал: кто едет, тот и правит!
 И в трудном деле правил сам.
 За изобилье
 В каждом доме,
 За добрый говор — напрямик
 Он твёрдо шёл,
 Собою скромн
 И одновременно велик!*

Давайте проанализируем сначала последнее стихотворение. Первая его публикация состоялась в газете “Ленинское знамя” (г. Тотьма) 15 августа 1964 года, и называлось оно “Рассказ о коммунисте”. Кроме одной строчки, тексты 1964 и 1967 годов совершенно идентичны. Строка 1964 года: “И даже брошенная женой” — личная строчка, в какой-то мере очеловечила рассказ о коммунисте. Строка 1967 года: “Вражду развенчивал и зло”, — конечно, более обобщённая и удачная. Надо так же обратить внимание на то, что слова “коммунист” нет ни в тексте 1964-го, ни в тексте 1967 года.

Это стихотворение — рассказ о передовом труженике деревни, хорошем человеке, не предавшем село. И вот так и нужно рассматривать это произведение сейчас. Строки Рубцова как бы выше определённого исторического контекста. Назови их “Рассказ о фермере”, и, наверное, современная власть будет очень довольна. Это стихотворение о патриоте деревни, человеке, стремящемся что-то изменить в её устоях, улучшить жизнь в ней, своим примером ведущем за собой и дающем надежду на будущее села.

Да, селу снова нужны такие люди, которые, подняв флаг, дают ориентиры в трудном деле реализации лозунга “За изобилье в каждом доме!” И сейчас актуальны вопросы “развенчивания вражды и зла”, измены родной деревне, “когда ей было тяжело”. Вот и получается, как у Рубцова: “Собою скромн // и одновременно велик” человек, который выращивает хлеб, даёт стране овощи, фрукты, молочные продукты, мясо и сырьё для промышленности.

Более известно стихотворение Рубцова “Октябрьские ветры”. Оно также впервые было опубликовано в газете “Ленинское знамя” 7 ноября 1964 года. Для выступления с этим стихотворением на радио Рубцов досочинил первую строфу, так как в 1967 году Советская власть праздновала своё 50-летие, и надо было соответствовать моменту.

Отмечаем, что даже не самые программные и интересные для поэта стихи Рубцов постоянно улучшал, находя более образные и ёмкие слова и рифмы. Это к вопросу об отношении поэта к поэтическому труду и понимании меры ответственности за стихотворное слово.

1964 год:

*Вы праздник наш гордый и светлый
 В своей сберегли колыбели...*

1967 год:

*Вы праздник Отечества светлый
 Взрастили в своей колыбели...*

1964 год:

*Но прожитый день прославляя,
 Мы смотрим, волнуясь, в грядущий.*

1967 год:

*И прожитый день прославляя,
 С надеждой мы смотрим в грядущий.*

Уточнить, заострить, исправить неудачные, расплывчатые строки и мысли – в этом поиске гармонии стиха (даже такого проходного для поэта, как “Октябрьские ветры”) весь Рубцов. Автор статьи не встречал исправлений напечатанных уже стихотворений у других вологодских поэтов. Им было легче написать новое произведение, чем улучшить и облагородить старое. Поэтому, наверное, у Рубцова всего несколько прижизненных книжечек безусловных стихотворных шедевров, а у иных его собратьев по перу – десятки книг стихов, интересных теперь только историкам литературы.

Вернёмся к стихотворению “Октябрьские ветры” и к тому, как тема Октябрьской революции раскрыта проникновенным лириком Николаем Рубцовым. Настолько аккуратно и тонко, что и сейчас можно восхищаться корректностью и умеренностью поэта. Он не прославляет Октябрь, не использует даже слово “революция”. Рубцов говорит о событии, которое совершилось 50 лет назад. Первая строфа с момента прочтения стихотворения на радио была забыта и в данной статье печатается впервые. Рубцов называет революцию “праздником Отечества славным”. Видимо, он искренен. Но вчитайтесь в последнее четверостишие – перед нами опять какое-то гениальное прозрение. Он считает дороги под бессмертным флагом России беспокойными и долгими, ибо ветры октябрьские на Земле не замолкли. И не предрекает ли этим поэт будущее России 90-х?

Вторым эпизодом упоминания Рубцова на радио является радиоальманах “Искусство” от 4 мая 1968 года (ГАВО, фонд 1796, оп. 3, ед. хр. 377. С. 95.) Диктор читает текст, подготовленный А. А. Романовым, открывая новую страничку альманаха: “Уж так повелось, что весна приходит к нам всегда с радостью. И на этот раз она не обманула наших надежд. Например, в Вологодскую писательскую организацию она принесла добрую телеграмму из Москвы, из правления Союза писателей РСФСР. В этой телеграмме говорилось, что в Союз Советских писателей приняты два новых вологодских литератора: Владимир Степанович Железняк и Николай Михайлович Рубцов. Вологжане знают того и другого по их публикациям в газетах и различных сборниках нашего края. . .

Поэт Николай Рубцов подготовил новый сборник стихов “Зелёные цветы”, он выйдет в следующем году в Москве в издательстве “Советская Россия”. Как и в прежних книгах, и в этой Николай Рубцов верен родному Северу, его замечательным людям. Он пишет о своей милой северной стороне задушевно и ярко”.

Выступление интересно тем, что Романов говорит о линии Боратынский–Рубцов в русской лирике. Это несколько необычно.

Эпизод третий. Передача “Итоги литературного года” 16 января 1969 года. У микрофона – литературный критик Виктор Гура. Разговор он ведёт о литературе Вологодчины (ГАВО, фонд 1796, оп. 3, ед. хр. 475. С. 6).

“Пожалуй, наибольший успех в минувшем литературном году (1968 год. – **Прим. автора**) выпал на долю поэта, о котором сейчас много и справедливо пишут, говорят, спорят, отмечают что-то интересное в его поэзии, – на долю Николая Рубцова. Николай Рубцов до этого был известен небольшой книжечкой “Лирика”, которая не давала представления о диапазоне и характере его поэзии. Вот появилась его книга “Звезда полей”, которая в минувшем году, мне думается, была в центре внимания литературной общественности, в центре разговоров о тех путях и средствах изображения человека, которые ищет Рубцов. Минувший год был интересен для Рубцова и в личном плане: он заканчивал Литературный институт, был принят в члены Союза советских писателей. Он очень много выступал на страницах разных журналов: и в “Юности”, и в “Знамени”, и в “Октябре”, и в “Молодой гвардии”, и в “Правде” были опубликованы его стихи. И, наконец, в только что вышедшем “Дне поэзии” Рубцов предстал новыми сторонами своего поэтического облика”.

В. В. Гура – известный вологодский литератор, критик, профессор Вологодского педагогического института – почти ничего не написал о Н. М. Рубцове. Тем интереснее вспомнить выступление этого известного вологодского критика в 1969 году на радио. В нём Виктор Васильевич отдаёт должное таланту поэта Рубцова.

Эпизод четвёртый. Литературная передача от 5 октября 1970 года. Редактор отдела литературы журнала “Аврора” Лидия Гладкая и делегация журнала побывали на Вологодчине (ГАВО, фонд 1796, оп. 3, дело 571. С. 9-10).

“Перед отъездом позвонил мне первый секретарь правления Союза писателей Ленинграда поэт Олег Николаевич Шестинский. Он сказал: “Поклонись замечательным певцам Вологодчины – Николаю Рубцову, Александру Романову, Ольге Фокиной, Виктору Коротаеву. Всем-всем вологодским писателям передай наш сердечный поклон и привет”.

Эпизод пятый. Литературная передача от 19 октября 1970 года. Репортаж из дома политпросвещения с выездного секретариата правления Союза писателей России и встречи писателей с читателями. Именно на этой встрече Рубцов читает стихотворение “Поезд”, а телережиссёр Череповецкого телевидения А. А. Тихомиров снимает материал на плёнку (29 секунд документальных съёмки Рубцова 1970 года уже стали известным кинороликом).

Репортаж на радио ведут корреспонденты Тамара Иванова и Юрий Богатурия (с. 7). Слово корреспондента: “О творчестве нашего земляка поэта Николая Рубцова критик сказал так: “Мир поэзии Рубцова неяркий, светел и чуть прозрачен той зыбкостью, какой отличаются вёдренные осенние дни. За строчками стихов Рубцова открывается мир, не срисованный с природы, а пропущенный сквозь сердце, преображённый мыслью и эмоциональным складом самого поэта”.

Аудиозапись стихотворения “Поезд” в исполнении автора сохранилась. Неизвестно только – это запись с радио или кто-то частным образом запечатлел голос поэта на плёнку?

Вот такие крупинки творческого наследия поэта Николая Рубцова сохранились благодаря архивам Комитета по телевидению и радиовещанию Вологодского облисполкома.

СТАНИСЛАВ ВТОРУШИН

В ЕГО СТИХАХ ЗВУЧАЛА МУЗЫКА

Алтайское лето Николая Рубцова

1966 год для всей литературной Сибири был особенным. В середине мая в Кемерово прошло Всесоюзное совещание молодых писателей. Его руководителем был председатель Союза писателей России Леонид Сергеевич Соболев – элегантный человек с аристократической внешностью, безукоризненными манерами и высочайшим авторитетом в писательской среде. Вместе с ним на совещание прилетели Ярослав Смеляков, Василий Федоров, Сергей Антонов, Михаил Львов и многие другие не менее известные писатели. Одно перечисление этих имен в то время вызывало трепет в душе. А когда на заключительном заседании в областном театре драмы Ярослав Смеляков вышел на сцену и глуховатым голосом начал читать своё знаменитое стихотворение “Если я заболел, к врачам обращаться не стану...”, у многих в зале по телу побежали мурашки. Это стихотворение уже давно жило отдельно от самого Смелякова, его переложили на музыку, оно было своеобразным гимном поколения, и никто никогда не спрашивал об имени его автора.

Мне посчастливилось быть участником того совещания, в Барнаул я вернулся с него, перегруженный впечатлениями. Рукопись стихов, которую я привез в Кемерово для обсуждения, изрядно поругали, но рекомендовали к изданию.

Не помню точную дату, но вскоре после совещания я случайно встретил на центральной улице Барнаула своего приятеля, стихами которого в то время зачитывался весь Алтай, – Леонида Мерзликина. Он шёл с каким-то худым парнем, на котором, словно на вешалке, болтался длинный коричневый пиджак и серый шарф, несколько раз обмотанный вокруг тонкой шеи. С Мерзликиным мы не виделись несколько недель, он кинулся ко мне, чтобы обняться, потом, кивнув на своего приятеля, сказал:

– Знакомься: Коля Рубцов.

Широкой публике стихи Рубцова были тогда мало известны, но в поэтических кругах о нём ходили легенды. Его строчки: “Стукну по карману – не звенит. / Стукну по другому – не слышать. / В коммунизм, в безоблачный зенит / Полетели мысли отдыхать” – передавались из уст в уста. Впервые мы услышали их от Мерзликина. Читал он и его знаменитое заявление ректору, когда Рубцова пытались исключить из Литинститута: “Быть может, я для вас в гробу мерцаю, / Но должен заявить, в конце концов: / Я, Николай Михайлович Рубцов, / Возможность трезвой жизни отрицаю”. Рубцов казался нам легендой, бросившей дерзкий вызов всему, что мешало жить и развиваться русской поэзии. Представившись и пожав руку, я внимательно смотрел на него.

Он был среднего роста, болезненно худым, с узким лицом и глубоко спрятанными карими глазами. Высокий лоб и редкие каштановые, почти под цвет пиджака, волосы, зачёсанные набок. Оказалось, что он уже несколько дней жил в Барнауле, куда ему посоветовал приехать другой барнаульский поэт – Василий Нечунаев, с которым они вместе учились в Литературном институте, правда, на разных курсах. Рубцов обрадовался возможности побывать на Алтае, потому что он мог повидаться здесь с Мерзликиным, которого считал своим другом. Они вместе поступали в Литинститут, но Мерзликин уже закончил его, а Николай всё мыкался в студентах, переходя с очного обучения на заочное. Ночевал Рубцов у старшей сестры Нечунаева Матрёны Марковны, жившей с двумя детьми, но имевшей крохотную свободную комнатку.

Мы оказались недалеко от мастерской художника Николая Иванова, писавшего великолепные сюжетные полотна о жизни Горного Алтая. К нему в любое время мог прийти кто угодно, а уж поэты – тем более. Над городом висели лохматые серые тучи, обещавшие вот-вот разразиться дождём, и мы, недолго думая, отправились к живописцу. По дороге, конечно же, купили водки.

Николай Иванов был крупным человеком с большими руками тракториста или лесоруба и громогласным басом. Увидев водку, он воскликнул шалапинским голосом:

– О! А у меня есть редиска и непревзойдённые соленые огурчики.

Тут же организовал стол, разлил водку и после того, как мы выпили по первой стопке, пробасил, уставившись на Рубцова:

– Ну, читай! Своих-то я слышал уже не раз.

Рубцов сидел с краю стола, тихий, ушедший в себя, и, казалось, не замечал того, что было вокруг. Он вообще походил на человека *не от мира сего*. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами, и могу сказать, что за всю свою жизнь я не встречал ни одного человека, на лице которого была бы запечатлена такая отрешённость. По всей видимости, его одолевали тяжкие думы, но он никогда не рассказывал о них другим. Как я узнал намного позже, ему не с кем было поделиться ни радостью, ни горем, он всё носил в себе, а это гораздо тяжелее. Рубцов долго молчал, опустил голову, затем поднял руку, неторопливо размотал шарф, оставив его на плечах, чуть качнулся и начал негромко читать, словно продолжая свои потаённые раздумья:

*Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В светлые годы свои.*

.....
*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

Мне показалось, что Иванов перестал дышать. Некоторое время он, застыв, смотрел на Рубцова, словно пытался запечатлеть его портрет, чтобы потом перенести на полотно, потом, моргнув, спросил:

– А ещё что-нибудь можешь прочитать?

Стихотворение потрясло его. Я много раз потом встречал это стихотворение в различных сборниках, и всегда последняя строка первого четверостишья выглядела по-другому. Вместо: “В светлые годы свои” там стояло “В детские годы мои”. Но могу спорить на что угодно, что в тот день я услышал это стихотворение так, как привёл его здесь. А Иванов всё смотрел на Рубцова, словно не веря, что сидящий перед ним худой парень в большом не по размеру пиджаке и сером, уже довольно поношенном шарфе смог написать такие стихи. Но Рубцов, снова качнувшись и уронив на колени сцепленные в ладонях руки, продолжал:

*Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в поляню.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою.*

*Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром.
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней.
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей.*

Иванов молча налил водки в рюмки и, чокнувшись с Рубцовым, сказал:
– За тебя!

Коля растаял. Он словно сбросил давившую его тяжесть и заговорил о том, что в журнале “Юность” скоро должна появиться большая подборка его стихов, и он, уезжая на Алтай, просил, чтобы гонорар за неё ему перевели сюда. Он сообщил об этом таким тоном, словно должен был получить целое состояние. Я только потом понял, что даже гонорар за подборку стихов для него действительно был целым состоянием.

– А ещё, – просветлев лицом, сказал Коля, – в следующем году в “Советском писателе” обещают издать мою книжку. Я её так и назвал: “Звезда полей”. Хотите, прочитаю из неё? – неуверенно спросил Рубцов и обвёл нас детским, беззащитным взглядом.

– А для чего мы здесь сидим? – пробасил Иванов. – Читай, конечно.

Сейчас уже не помню всех стихов, которые читал в тот вечер Николай Рубцов. Но одно из них врезалось в память до конца жизни. Когда он начал читать “Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны, / неведомый сын удивительных вольных племён”, мы словно оцепенели. В Кемерово мне довелось слышать много великолепных стихотворений, но то, что читал Рубцов, было особенным. Каждое слово выстрадано, выверено по мысли, ложилось в строку, словно венец к венцу при строительстве крепкого крестьянского дома. В его стихах звучала музыка, которую, смеясь и плача, играла вся Россия.

Мы засиделись у Иванова до позднего вечера, выпили всю водку, которую Рубцов почему-то называл вином, а когда уходили, художник обнял нас своими огромными ручищами всех троих сразу.

– Завтра уезжаю в Горный Алтай, – сказал, прощаясь с ним, Коля, и мне показалось, что если бы не уже назначенный отъезд, он с удовольствием остался бы и в этой мастерской, и в нашей компании ещё на долгое время. Ему, как никому другому, остро не хватало человеческого тепла, и любое дружеское общение, любое внимание к себе он воспринимал с особым, обострённым чувством. Он был бесконечно одинок, и это сразу бросалось в глаза.

Дождь так и не начался, тучи сползли за город, центральная улица Барнаула была залита огнями фонарей. Навстречу нам попала стайка девчат, которые, непрерывно щёбеча, то и дело над чем-то смеялись. Мы окликнули их, но они, стрельнув озорными глазами, прошли мимо.

– Хорошо у вас, – удовлетворённо вздохнул Коля. Помолчал немного и добавил:

– Может, и в Горном будет не хуже.

Вместе с Мерзликным они проводили меня до моего дома, а на следующий день Рубцов уехал в село Красногорское, расположенное в предгорьях Алтая. В красногорской районной газете ответственным секретарём работал друг Мерзликина Геннадий Володин, тоже, кстати сказать, поэт. У него и остановился Рубцов.

Само село было не очень привлекательным, но окрестности его удивительно красивы, недалеко от райцентра протекает река Бия, берущая начало из Телецкого озера. Её берега обрамляет темнохвойная тайга, а вода в реке настолько прозрачная, что даже на двухметровой глубине видны лежащие на дне камни. Короче говоря, настоящая сибирская глубинка. Там и провёл почти всё лето Николай Рубцов. В Барнаул он вернулся в начале августа. Был он в том же пиджаке, в котором я видел его в мае, но без шарфа. Лицо его по-

темнело от загара, и весь он выглядел окрепшим и посвежевшим. На этот раз Рубцова сопровождал его сокурсник по Литинституту Василий Нечунаев. Рубцов обрадовался мне, как старому знакомому.

Мы сели на скамейку в сквере на центральной улице Барнаула. Я спросил Рубцова, понравилось ли ему на Алтае, удалось ли поработать в эти летние месяцы?

— Кое-что написал, — как-то вяло, без особого энтузиазма ответил Рубцов.

И я понял, что он или не очень доволен тем, что ему удалось сделать за это время, или у него просто нет настроения. А когда я попросил его что-нибудь почитать, он отмахнулся:

— Ну, что, мы будем сидеть на скамейке и читать друг другу стихи?

Рубцов не хотел уезжать в Москву, на Алтае он провёл ещё месяц, общался со многими нашими писателями, художниками, актёрами. Тепло относились к нему и в Горно-Алтайске, куда он за время своего пребывания у нас ездил дважды. Уже после смерти Рубцова я услышал о том, что, напившись, он часто бывал просто нестерпим. Может быть, его доводили до этого? В Барнауле мне не раз приходилось видеть его крепко выпившим, наши поэты, общавшиеся с ним, пили ничуть не меньше, но единственное, что он делал, подвыпив, — брал в руки гитару и начинал не читать, а напевать речитативом свои стихи. И очень жалел, что ни у кого из нас не было гармошки.

В середине сентября, вернувшись с Горного Алтая, он сразу пришёл ко мне и спросил:

— Скажи, Слава, я не могу получить гонорар за стихи, которые ты отдавал в “Алтайскую правду”? Собираюсь ехать в Москву, а денег на дорогу нет.

Рубцов был очень стеснительным человеком. Находясь несколько месяцев на Алтае и остро нуждаясь в деньгах, он так и не смог осмелиться прийти в краевую газету и предложить для печати свои стихи. Во время нашей встречи в августе я попросил его дать мне несколько стихотворений и сказал, что сам предложу их нашему литературному отделу. А те, что не возьмут, передам в газету “Молодёжь Алтая”, которая находится на одном этаже с “Алтайской правдой” и в которой у меня много друзей. Стихи напечатали в обеих газетах. Но время выдачи гонорара ещё не пришло, а деньги Рубцову нужны были немедленно. Я пообещал завтра же выяснить всё и сообщить об этом. Просить за Рубцова пришлось у редактора, всегда сочувственно относившегося к молодым писателям и журналистам, поэтому он сразу же распорядился выдать причитающийся поэту гонорар. На него и купил Николай билет до Москвы.

Провожать Рубцова на вокзал пришли мы с Мерзликиным. На прощание, конечно, выпили. Коля помахал нам с подножки тронувшегося вагона рукой, и мы простились. А на следующий день жена, возвращаясь с работы и открыв дверь, смущённо сказала:

— Впереди меня по лестнице поднимался какой-то парень. Он прошёл на верхний этаж. Мне показалось, что это Рубцов.

Я засмеялся:

— Откуда ему взяться? Мы вчера проводили его с Мерзликиным на поезд. Он сейчас уже в Омске или ещё дальше.

В это время в дверь робко постучали. Жена растерянно посмотрела на меня, я открыл дверь и обомлел. На пороге стоял Рубцов. Он смотрел таким виноватым взглядом, что я, не задав ему ни одного вопроса, сказал:

— Проходи.

Оказалось, что Рубцов смог доехать только до Новоалтайска — первой станции, находящейся в двадцати минутах езды от Барнаула. Устроившись на своём месте в вагоне, он захотел выпить пива. Когда поезд остановился, он вышел из вагона, прошёл в станционный буфет и взял кружку. Пока он пил пиво, поезд ушёл. Как он добирался до Барнаула, где был почти сутки, я не спрашивал. Виноватый, по-детски беззащитный взгляд Коли выдавал его непередаваемую растерянность.

— Иди, умойся, — сказал я ему, кивнув на дверь ванной.

Пока он умывался, жена накрыла на стол.

— Ты понимаешь, прослушал объявление о том, что поезд отправляется из Новоалтайска, — попытался оправдаться Коля, садясь за стол. — Если бы знал, что так будет, никогда бы не стал пить это пиво. Кстати, оно было совсем невкусное.

Мы с женой не стали спрашивать о том, что с ним было дальше, — всё и так было ясно. Я стал лихорадочно соображать, где взять денег на новый билет Рубцову. Ведь пришёл он ко мне именно за этим. Но ничего путного в голову не приходило. Поэтому я перестал мучиться сомнениями, а после того, как мы поужинали, попросил его почитать стихи. Настроение Рубцова улучшилось, он почувствовал себя снова среди друзей, и долго уговаривать его не пришлось. Поэзия была его жизнью, она единственная ни разу не изменила ему, отвечая и верностью, и бесконечной любовью. Он знал ей цену лучше многих других.

Он читал много, как будто знал, что больше уже никогда не вернётся на Алтай. На следующий день я вывернул все свои карманы и кое-как наскрёб двадцать пять рублей. На пятнадцать мы с Колей купили ему билет в общий вагон, десять осталось на дорогу. Как он прожил на них, я не знаю, ведь до Москвы было три дня пути.

— Как только приеду домой, сразу же вышлю тебе долг, — крикнул с подножки вагона Рубцов.

Поезд уже набирал ход, я помахал ему рукой, он ответил мне тем же. Больше мы с ним не встречались.

... Четыре года назад на Шукшинские чтения, ежегодно проходящие на Алтае, приехала большая делегация кемеровских поэтов во главе с моим давним знакомым и другом Борисом Бурмистровым. После выступления в библиотеке родного села Василия Макаровича Шукшина у нас осталось полдня свободного времени, и я предложил поэтам съездить в те места, где провёл всё лето 1966 года Николай Рубцов. Они, конечно же, с радостью согласились...

Мы побывали в селе Красногорском, постояли около двухэтажного дома из красного кирпича, на первом этаже которого жил Рубцов. Нам даже показали окно его бывшей комнаты. Потом съездили к реке Бии, посидели на берегу, где он когда-то таскал на удочку пескарей, повспоминали его стихи. Я смотрел на бегущую у наших ног прозрачную воду, слушал её недовольное бурчание, когда она натыкалась на камни, и вспоминал прощальный взгляд Рубцова, стоящего на подножке уходящего поезда. Он, наверное, знал, что уезжает от нас навсегда. В тот последний вечер он прочитал нам с женой своё стихотворение “Журавли”. Столько лет прошло, а когда по радио или с телеэкрана зазвучит его первая строчка: “Меж болотных стволов красовался восток огнеликий. . .”, у жены сразу влажнеют глаза, а мне начинает казаться, что Рубцов до сих пор машет мне рукой с подножки вагона.

АНДРЕЙ ПОЗДНЯЕВ

УЛЫБКА РАСПУТИНА

Валентин Григорьевич позвонил рано утром в канун Рождества, 6 января 1998 года. Не было ещё и восьми...

Прежде он никогда мне не звонил. В ту пору мы не были близко знакомы. Виделись в Союзе писателей на Комсомольском проспекте — на съездах и заседаниях секретариата. Как-то бок о бок протряслись несколько часов в автобусе, когда ездили на выездной пленум в Орёл. Но, по сути, не общались тогда: Распутин, погружённый в какие-то думы, всё время смотрел в окно, и я старался попусту его не теревить.

Пару раз мы встречались у Владимира Крупина, с которым я учился вместе в институте, а Валентин Григорьевич был связан многолетней дружбой. Володя и дал ему мой телефон.

Извинившись за ранний звонок, Валентин Григорьевич огорошил меня горьким известием: сегодня ночью скончался Георгий Васильевич Свиридов. Он помолчал немного и продолжал:

— Вы не могли бы, Андрей, сообщить об этом владыке Кириллу? Нужно проводить Георгия Васильевича по всем церковным канонам. А завтра ведь большой праздник...

Митрополит Кирилл возглавлял тогда Отдел внешних церковных связей. Я был одним из штатных консультантов, занимаясь “наведением мостов” между Церковью, творческими союзами и культурными организациями. Распутин об этом знал.

Связаться с владыкой Кириллом, к тому же в преддверии Рождества, было непросто. Как правящий архиерей, во время церковных праздников он уезжал в свою епархию. У меня были, конечно, все необходимые телефоны. Но в тот момент, когда позвонил Валентин Григорьевич, в Смоленском кафедральном соборе как раз начиналось предпраздничное богослужение — Литургия Св. Василия Великого.

Тем не менее, я позвонил одному из его помощников, и тот прямо в алтаре сообщил владыке о кончине Свиридова. Как позже мне рассказывали, в конце службы митрополит Кирилл обратился к пастве со словами скорби и возгласил почившему “Вечную память”...

Отпевали Георгия Васильевича 9 января в только что воссозданном храме Христа Спасителя. Панихиду служил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Сослужил ему митрополит Кирилл.

Не припомню столь торжественной и одухотворённой церемонии прощания. Свиридов был не только великим композитором, но и глубоко верующим

человеком. Иначе не родилась бы его дивная музыка, его “Песнопения и молитвы”, в которых даже глухое сердце не может не слышать божественных звуков...

Когда гроб выносили из храма, одним из первых шёл за ним Распутин. Завидев меня в толпе, он на мгновение отделился от траурной процессии, подошёл ко мне, и мы молча обнялись. Излишни были какие-то слова. Мы просто троекратно с ним поцеловались. Будто не рождественские дни стояли на дворе, не проводы в последний путь близкого и дорогого ему человека, а Светлое Христово Воскресенье.

Никогда не забуду лица Распутина. По обыкновению грустное, если не сказать с печатью неизбывной боли, оно в тот миг было переполнено светом. Озарено улыбкой, которую ни до, ни после той встречи видеть мне не доводилось...

МЕШОК С РУБЛЯМИ

В начале девяностых Пётр Лукич Проскурин, возглавлявший тогда Всероссийский фонд культуры, предложил мне стать его заместителем. По сравнению с другими общественными организациями того времени, Фонд культуры в финансовом отношении имел ряд ощутимых преимуществ. Средств на культурные программы государство, конечно, не выделяло. Нужно было изыскивать их самим, занимаясь коммерческой деятельностью. Но зато мы были освобождены от двух существенных налогов: на прибыль и на так называемую добавленную стоимость. Эти льготы позволяли выкраивать какие-то суммы на издание книг, организацию выставок, проведение фольклорных праздников и фестивалей духовной музыки, поддержку народных промыслов и ремёсел.

Но денег всё равно не хватало. Ведь нужно было платить зарплату сотрудникам, тратиться на командировки, оплачивать коммунальные расходы...

Фонд культуры размещался в самом центре Москвы, на улице Мархлевского. Место престижное для любой из фирм, которые росли в ту пору, как на дрожжах. Поэтому когда мы решили сдавать в аренду часть помещений, расположенных во флигеле, организация тут же объявилась. Это было некое польско-французско-российско-израильское предприятие, носившее название “Марк Поль Банк”.

Проскурин, помнится, некоторое время колебался, но деньги Фонду были обещаны неплохие, и он, в конце концов, дал новоявленным соседям согласие.

В литературной иерархии тех лет Пётр Лукич был фигурой значимой и влиятельной: Герой Социалистического Труда, секретарь Союза писателей СССР по прозе, автор романов, которые издавались многомиллионными тиражами и успешно экранизировались, он производил впечатление человека незабываемого. Однако перестроечная вакханалия была способна выбить почву из-под ног и у такого гиганта.

Когда вечерами мы засиживались у Проскурина в кабинете и говорили, что называется, по душам, называя вещи своими именами, в его рассуждениях о будущем отечественной культуры нередко слышалась озабоченность, если не обречённость. Он всё более замыкался в себе, уходил куда-то в сторону, постепенно переключая на меня все дела по работе Фонда, за исключением финансовых вопросов, которые ему, как руководителю, надлежало решать самому.

Отношения с “Марк Поль Банком”, между тем, менялись на глазах. Если поначалу они исправно перечисляли Фонду все необходимые платежи, то к осени 93-го года стали возникать постоянные перебои и задержки.

Когда в очередной раз были нарушены все договоренности, и сотрудники нашего Фонда около месяца сидели без зарплаты, Пётр Лукич отправил меня на переговоры.

Хозяева упомянутого банка встретили меня более чем прохладно, если не сказать агрессивно. Ушёл я от них ни с чем, унося лишь угрозу, что в следующий раз они меня порежут на мелкие кусочки, сложат то, что останется, в багажник стоящего во дворе “Мерседеса” и вывезут в неизвестном направлении...

Узнав об итогах моего визита к “банкирам”, Проскурин буквально расви-
репел. Всегда сдержанный и немногословный, он тут же позвонил главному
арендатору и, вспомнив, должно быть, молодые годы, когда шоферил на
Дальнем Востоке, выложил ему все напрямик, открытым текстом. Перемежая
речь крепкими словечками, он заявил, что если завтра же Фонд не получит
причитающихся ему денег, то жизнь им сладкой не покажется...

На следующий день в кабинет Проскурина принесли огромный мешок,
доверху набитый мятыми рублёвыми бумажками. Мы несколько часов вместе
с Петром Лукичом и главбухом пересчитывали эту денежную кипу.

Уже позже, когда с “Марк Поль Банком” были расторгнуты все отношения,
мы узнали, что в мешке была дань, которую совместное предприятие регу-
лярно собирало с нищих в метро и подземных переходах.

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ...

На одной из книг, подаренных мне Валентином Курбатовым, дарственная
надпись:

“Старинному моему другу – с нежностью – псковской, московской, дне-
провской, волжской...”

Господи, как много раз мы были счастливы! И как бы хотелось снова ока-
заться в Киеве, Запорожье, Смоленске... Хотя, кажется, это только горькое
желание опять стать молодым...”

Познакомились мы в середине шестидесятых. Будучи в ту пору студен-
том, я приехал на зимние каникулы в Псков и, заглянув в местную молодёж-
ную газету, встретил там Валентина, работавшего литсотрудником отдела
культуры. Узнав, что прежде я в Пскове не бывал, он вызвался показать мне
город, и мы тут же отправились бродить по древним крепостным валам, за-
снеженным площадям и улочкам – от храма к храму, от церквушки к церквуш-
ке, которые Курбатов знал наперечёт.

Уже поздним вечером оказались на Хлебной горке в Запсковье, где в од-
ном из неказистых домишек Валентин снимал тогда “шестиметровку”. Ото-
грев меня чаем с сухариками, он включил проигрыватель, и с затёртой пластинки
звучали голоса Марио дель Монако и Клаудио Вилла. И, конечно же,
Вивальди, которого мы слушали, поди, до рассвета...

Так началась долгая наша дружба, которой уже без малого полвека.

Наезжая в Москву, Валентин нередко останавливался у меня. Баловал
и письмами, имея к эпистолярному жанру стойкое пристрастие и особый дар.
Едва ли не каждая его весточка, даже крохотная открытка, украшенная затей-
ливой буквенной вязью, сродни произведению искусства. Не говоря уже о че-
канной словесной отделке, напоминающей скань...

Памятны и совместные наши поездки. Две из них – довольно продолжи-
тельные и насыщенные впечатлениями – выпали на середину девяностых го-
дов. Именно о них вспоминает Валентин Курбатов в дарственной надписи на
своей книге “Перед вечером или Жизнь на полях”.

В составе участников Международного кинофорума славянских и право-
славных народов “Золотой Витязь” мы путешествовали тогда по Волге и по
Днепру. Жили в одной каюте. Вместе карабкались по днепровским кручам
и волжским откосам. В каждом из городов, где останавливались, старались
побывать на службе в храме и, ежели Господь сподобит, – причаститься...

Не могу не процитировать отрывок из небольшого эссе В. Курбатова:

“Как всё-таки опытно-справедлива молитва перед Причастием: “Пред
дверьми храма Твоего предстою и лютых помышлений не отступаю...” Если
уж не “лютых”, то рассеянности и пустоты своей мы точно не отступаем.
И подлинно – всё “пред дверьми”. Всё никак в храм не войдём. И при этом
Церковь в этой молитве не корит нас, а приглашает к Причастию её тайн. Зо-
вёт в путь. Звала в дни нашей общей беготни за государственным атеизмом,
зовёт сейчас, когда мы притворяемся “твердыней Православия” и высокомер-
ничаем перед другими религиями. Церковь знает, что мы в земной привязан-
ности к дню всегда только “пред дверьми”, и матерински ждёт, когда выраст-

тем, осмыслим её и свой путь и станем настоящими причастниками её силы и славы”.

Перечитывая сейчас мудрые строки стародавнего друга, я вспоминаю, как мы стояли с ним пред алтарем в Киевской Софии. Валентин, казалось, сливался воедино, растворялся в тех молитвах, которые звучали под сводами храма...

И ещё вспоминается мне тот зимний день, когда мы познакомились с ним и отправились гулять по Пскову. Это было самым началом пути, и ещё не пришло время думать в предвечерний час про “тьнь молодости и печали, давней беспечности и нынешней рассудительности”. Всё было впереди. А пока лишь ярко светило солнце...

На одной из улочек Валентин заприметил гирлянду свисающих с крыши сосуллек. Подняв с земли небольшую тоненькую ветку, он, подпрыгивая на ходу, стал легонько ударять по этим сосулькам, “играя” на них, как на клавишах ксилофона.

Ни одна из сосуллек не упала, не разбилась. Они тихонько, на разные лады перезванивались, и звуки эти сплетались в неведомую по красоте, неземную мелодию.

Быть может, именно тогда он впервые услышал, как звучит небесная музыка...

ВЛАДИМИР КОРОЛЁВ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К выходу книги “А. Твардовский в жизни и литературе (Письма 1950–1959)” и 50-летию поэмы “Тёркин на том свете”

1. Нравственная программа журнала

Смоленское издательство “Маджента” выпустило в свет сборник писем великого русского советского поэта Александра Твардовского “А. Твардовский в жизни и литературе (Письма 1950–1959)”. Представление почти 500-страничной книги прошло в мае в Центральном Доме литераторов в Москве и в сентябре в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского. Вёл презентации известный критик, лауреат литературной премии им. А. Т. Твардовского и премии Правительства России Андрей Турков.

Как подчёркивают в предисловии составители книги Валентина и Ольга Твардовские, дочери Александра Трифоновича, в ней впервые собраны воедино письма этого периода, причём значительная часть их публикуется впервые по его личному архиву. До сих пор лишь малая часть эпистолярного наследия Александра Трифоновича (около 600 писем из двух тысяч за 1930–1970 годы) была опубликована в собрании сочинений А. Твардовского (шестой том) и в “Письмах о литературе” (А. Твардовский, 1985). Письма собраны женой поэта, Марией Илларионовной (1908–1991), которая вела многолетнюю интенсивную переписку с архивами и корреспондентами поэта, делала копии из труднодоступных газет и журналов, просила частных адресатов прислать ей не только копии, но и подлинники автографов Александра Трифоновича.

Так что исследователи творчества и поклонники таланта писателя получили ещё один пласт *откровений* (кроме как откровенно говорить о литературе, о журнале А. Т. Твардовский не мог!), который усилил своими искренними составляющими образы корреспондентов Александра Трифоновича в дополнение к ранее изданным дневникам поэта и редактора (1950-е годы), что не столь подробно и обстоятельно, как те, что он вёл в 1960-х годах.

А ведь пятидесятые, пожалуй, самые продуктивные годы в гражданском творчестве А. Твардовского: шло создание поэмы “За далью – даль”, удостоенной потом Ленинской премии, работа над “Тёркиным-2” (“Тёркин на том свете”) плюс шесть лет редакторства (с перерывом с августа 1954-го по июнь 1958 года) в “Новом мире”, куда он был назначен в 1950 году. Так что пятидесятые – это, прежде всего, годы, когда, уже будучи маститым поэтом, А. Твардовский начал восхождение по вертикали редакторской маститости, чтобы потом, в шестидесятые, законно перейти в ещё более высокое (самое

высокое!) профессиональное качество и остаться в представлении читателей многомиллионного Советского Союза великим редактором “Нового мира”.

Откуда взялся главный редактор Александр Твардовский? Во-первых, перед ним был пример Михаила Исаковского (Михваса!), кстати, чуткого на талант, который, работая редактором смоленской областной газеты “Рабочий путь”, уже с 1925 года начал опекавать и поддерживать (и делал это всю жизнь!) Сашу Твардовского; во-вторых, личный опыт работы Александра Трифоновича в качестве ответственного секретаря в 1930–1932 годы в журнале “Западная область” (Смоленск); в-третьих, во время учебы в ИФЛИ в Москве у него зародилась мечта иметь свой журнал, о чём было заявлено в 1938–1939 годах в беседах с Самуилом Маршаком и Анатолием Тарасенковым (известным критиком, с “младых ногтей” другом и соратником А. Твардовского, а потом – его боевым замом в “Новом мире”); в-четвёртых, положительный (и отрицательный – как не должен себя вести главный!) опыт предметного общения фронтового корреспондента А. Твардовского с редакторами газет “На страже Родины”, “Красная Армия”, “Красноармейская правда”, “Известия”, “Правда”, “Красная звезда”, журналов “Красноармеец”, “Знамя” с личными выводами по поводу того, как руководитель творческого коллектива должен относиться к творчеству коллег; в-пятых, трёхгодичный труд А. Твардовского (1947–1950), когда он был членом редколлегии – заведующим отделом поэзии в “Литературной газете”...

Поэтому приход в феврале 1950 года в “Новый мир”, где он стал первым лицом, человеком, принимающим ответственные решения, был закономерным результатом, мало того, результатом плодов, прежде всего, его личного творческого лидерства, демонстрацией искусного владения словом и стремления влиять на литературный процесс державы, исходя из позиций объективности, удерживая рубежи “правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька”. Кстати, как и возвращение Александра Трифоновича на пост главного редактора “Нового мира” в июне 1958-го: теперь секретариат Союза писателей СССР, особенно после речи А. Твардовского в феврале на XXI съезде КПСС, просто-напросто обязан был это сделать, поскольку более квалифицированного редактора, умеющего трогать “в упор то, что выходит за пределы литературы” (запись в личном дневнике А. Твардовского 4.VI.1960. – В. К.), для главного тогда писательского журнала страны не было!

Так что “Новый мир” получил главного редактора, знающего, как утверждает исследователь его творчества Марина Аскольдова-Лунд, “за что <он> собирается бороться” (“Сюжет прорыва. Как начинался “Новый мир” А. Твардовского”. “Свободная мысль – XXI”. Швеция, 2002. № 1, 2). В его военной поэзии и очерках уже была сконцентрирована нравственная программа будущего журнала.

Притом, что Александр Трифонович выбрал себе в замы надёжнейших соратников – литературоведов Анатолия Тарасенкова и Сергея Смирнова, того самого, который вскоре поднимет на щит подвиг защитников Брестской крепости, все основные материалы с первых дней своей работы в “Новом мире” главред забирал себе. Вот что пишет Алексей Кондратович, ещё одна опора А. Твардовского:

“Я заметил: Твардовский уезжает вечером с толстой папкой, в ней рукописи, вёрстки, письма. И предупреждает: “Я буду завтра”, – или “Приеду послезавтра”, – и значит, к этому времени папка будет просмотрена, прочитана, ответы написаны, вёрстки исчерканы карандашом.

...Если ему что-то нравилось, он не откладывал похвалы автору на завтра: тут же звонил или писал письмо”.

Показателен в этом смысле пример с “Районными буднями” Валентина Овечкина (1905–1968): А. Твардовский, прочитав рукопись очерка на даче, утром, не доехав из Москвы в редакцию, по пути с сельской почты отправил В. В. Овечкину телеграмму: “15.VII.1952. Работа, безусловно, интересная. Будем печатать”.

Очерк напечатали уже в сентябрьской книжке журнала!

В. В. Овечкин был потрясён: “Самое радостное у меня за прошлый год – это встреча с Вами, – писал он А. Твардовскому 11 января 1953 года. – Знал я до сих пор Твардовского как поэта, узнал и как человека. Богаче стал”.

Валентина Владимировича очень даже можно понять: только что вышла сталинская статья “Экономические проблемы социализма в СССР”, а Овечкин (а с ним и Твардовский!) выступает с обнажением порочных методов партий-

ного руководства сельским хозяйством. Добавим сюда, что “Районные будни” были отклонены в ряде редакций других журналов, и В. В. Овечкин принёс рукопись в “Новый мир”, готовясь получить очередной отказ. И не получил, хотя А. Твардовский мог бы припомнить писателю, как тот резко отрицательно в 1947 году отозвался о его пронзительной “Родине и чужбине”. Не припомнил, потому что “Районные будни” — правдивы, насыщены той самой правдой, которая “погуще”. И правда была сказана прямо в глаза членам ЦК, что собрались в октябре на аграрный пленум. А ещё “Новый мир” публикацией “Районных будней” пробил в печати брешь, в которую устремились проблемные публикации Г. Троепольского, В. Тендрякова, Л. Иванова, Г. Радова, дал старт развитию деревенской прозы.

А как дальше развивались отношения Александра Твардовского и Валентина Овечкина? Давайте проследим их динамику по письмам Александра Трифоновича за 1950–1959 годы.

30 января 1953 г<ода>

... Ваше письмо относительно плана нового очерка — превосходное, оно просто взволновало меня. Вы — человек такой редкий среди литераторов — стоите у самой жизни с Вашим чутким ухом и зорким взглядом, взыскательным умом и добрым сердцем. И это уже даёт результаты. Успех Ваших напечатанных очерков несомненен и всё более подтверждается тут у нас. А то, что Вы собираетесь ещё развернуть, обещает быть ещё более значительным. Не остывайте к этому замыслу, не тороплю Вас, но не откладывайте на потом то, что надо делать, сколько позволяют силы, сейчас. Это письмо посылаю Вам в копии обратно — оно пригодится Вам, это черновой набросок плана, да просто план работы — план всегда есть черновик.

25 февраля 1954 г<ода>

... Желаю твоему перу нестись по бумаге легко и весело, пусть даже трудно, но не нудно.

2 мая 1954 г<ода>

... И просто скажу: сейчас заниматься чем-либо другим, помимо деревенского дела, — всё равно, что, оправдываясь важностью своей роли в тылу, отсиживаться от фронта. И ещё скажу: поездки на целинные земли, которые сейчас становятся “модными”, меня менее влекут, чем поездки в трудный, не парадный и даже как бы ничем особенным не примечательный край массивного колхозного бедствия, осложнённого последствиями войны, географией и т. п. Это для меня сейчас неотложнейшая потребность. Не могу сидеть в “Ташкенте”, когда фронт под “Вязьмой” и когда знаю, что не хуже, а лучше многих “оперативников” смогу и разобраться в делах и посоветить делу истолкованием положения.

... “Тёркина на том свете” я черне перебелил уже. Теперь остаётся перебелил набело и — попытаемся его двинуть.

19 февраля 1956 г<ода>

Дорогой Валентин!

За разными суетами не прочёл тотчас по получении твою статью (речь о статье, посланной в “Правду”, “О плановности, рывках, работе на сводку и гражданском мужестве”; статья не была опубликована. — **В. К.**) и тем лишил себя на несколько дней радости, какую испытал только сегодня.

Это так великолепно — нет, не то слово! — это благородно, умно, смело, честно. Я просто взволнован. Ради опубликования этой статьи я готов был вновь стать редактором, вновь быть снятым и хотя бы даже высеченным на площади.

Хожу на XX съезд в качестве гостя, как и другие, что не избраны делегатами. В общем — обо всём можешь иметь полное представление по газетам. Кроме того, чего ещё там не было, но будет...

5 апреля 1956 г<ода>

... Как я себя чувствую в связи со всем, происходящим на белом свете? Опять же — это я, может быть, и мог бы изъяснить на бумаге, но не сейчас, когда в душе “всё перевернулось, и только укладывается”, как говорил

Л. Толстой. О многом можно было бы поговорить. Одно скажу, повторю, что нашему с тобой поколению не приходится жаловаться на недостаток материала для обдумывания...

5 сентября 1957 г<ода>

Дорогой Валентин!

...Написал новую главу “Далей” – весьма серьёзную (глава “На Ангаре”. – **В. К.**). Когда отбелю – пришлю экземпляр! Несколько небольших стихотворений. Рвусь к прозе – и всё откладывается, всё недостаёт покоя души, а годочки текут, как денежки.

...Твоему замыслу (“без беллетристики”) очень рад и верю, что получится здорово, – давай волю натуре. Не хочу наперёд говорить, но уверен, что если отдаться этому дельному и деловому изложению, без обязательств пейзажа, диалогов и т. п. хреновины, то сама собой явится, проступит и “беллетристика”, то есть художество, ибо оно вовсе не обязательно является через посредство восходов и закатов и всяческих “он криво усмехнулся”...

1 декабря 1958 г<ода>

Дорогой Валентин Владимирович!

Напиши-ка ты “Дневник писателя” для, например, февральской или март-товской книжки (к этому времени А. Твардовский вернулся в “Новый мир”. – **В. К.**). Это как раз то, что нужно делать в период “неписанья” в широком смысле, – ты можешь отлично сделать “Дневник” из разнородных записей, зарисовок, намёток и предложений, не обязательно пронизанных насквозь единым стержнем. Очень часто, поверь, такие как бы “необязательные” записи, “кроки”, как говорят художники, позволяют сказать больше, ёмче и выразительней, чем иные “обязательные”, подчинённые строгим жанровым законам вещи.

24 ноября 1959 г<ода>

Дорогой Валентин Владимирович!

Страх как не хотелось бы мне огорчать тебя, но приходится: пьеса мне очень не понравилась (пьеса “Летние дожди”. – **В. К.**).

...Не Овечкина это дело – ставить и “разрешать” проблемы “любви пожилых” в духе какого-нибудь “Сонета Петрарки” (пьеса Н. Ф. Погодина. – **В. К.**). Должен заметить, между прочим, не силой, а слабостью художника является приравнение возраста своего героя к своему возрасту – это панфёровский путь.

(Далее А. Твардовский разбирает и разбивает по-редакторски и по-житейски “Летние дожди”).

...Мне будет очень жаль, если ты не захочешь ничего понять из этих моих (может быть, немного резких) слов, явившихся сразу по прочтении пьесы. Но я скажу честно: я не вижу, что её можно как-нибудь улучшить, “дотянуть”.

Если сможешь не сильно обижаться на меня, буду очень рад.

Твой А. Твардовский.

2. Перебелить набело!

Хронику этой переписки читаешь, как учебник, написанный главным редактором для вдумчивого общения его коллег-редакторов с авторами, поэтами и прозаиками (начинающими и именитыми), друзьями: методика работы, конкретные советы, тепло пожеланий, искренняя критика, точная оценка явления, радость за творческую удачу товарища... И всё по-твардовски: “не остывайте”, “план всегда есть черновик”, “массовидное колхозное бедствие”, “истолкование положения”, “перебелить набело”...

Обратите внимание: лучше синонима слову “редактировать”, чем “перебелить”, не найдёшь!

Письма в книге “А. Твардовский в жизни и литературе” расположены в хронологическом порядке, что позволяет прочувствовать трудовой пульс и ритм жизни Александра Трифоновича, восхититься его высокой работоспособностью (иногда поэт писал по несколько посланий и ответов в день), а ещё – увидеть отношения с друзьями, критиками, переводчиками, читате-

лями, родными и, конечно же, с властью имущими, умение быть внимательным к автору, требовательным к слову и агрессивно принципиальным – в защите интересов литературы.

В книге нет ни одного письма (а их в сборнике полтысячи), в строчках которого сквозило бы вполне понятное по отношению к графоманистому автору раздражение или отталкивающие от творчества фразы, наоборот, каждый, кто получал от него даже отрицательный ответ, вместе с тем получал и... порции вдохновения. В качестве примера – цитата из одного из, казалось бы, отказных писем сочинительнице стихов, написанного в 1958 году:

“... Не нужно ссылаться на то, что печатаются порой и худшие стихи, – всё бывает, но велика ли честь оказаться не хуже посредственности? Всё это я говорю в объяснение того, что не смог сейчас отобрать для “Нового мира” ни одного из Ваших стихотворений. Вы вправе посетовать и на мою “чёрствость”, но это уже такая наша редакторская доля. Однако Вы можете, по крайней мере, верить мне, когда я скажу, что, по-моему, Вы вот-вот напишете что-нибудь такое, что выйдет из Вашего ряда, явится “новым качеством”, и тогда я буду рад напечатать Ваши стихи”.

В сборнике, при всей хронологичности подачи писем, конечно же, выделяется тема переписки с друзьями-писателями, причём искренность этих посланий, где присутствуют размышления о судьбе литературы, векторах творчества, сильных и слабых местах произведений, настолько очевидна, насколько и независима от возраста, положения и должностей самых близких товарищей его и соратников. Михаил Исаковский, Анатолий Тарасенков, Эммануил Казакевич, Иван Соколов-Микитов, Виктор Некрасов, Андрей Турков, Владимир Александров и другие писатели, а также молодые члены редколлегии, приглашённые Александром Трифоновичем в “Новый мир”, – все они получали от великодушного и внимательного главного редактора автографы (речь не о парадном и символическом, а об эпистолярном и рабочем значении этого понятия), наполненные художественными и житейскими рекомендациями, исполненные благородства, щедрости и принципиальности.

Валентина и Ольга Твардовские подчёркивают в предисловии, что едва ли не самой горькой утратой в середине пятидесятых для Александра Трифоновича стал разрыв с Александром Фадеевым, которого он любил и как писателя, и как человека. В дни массированных нападков на “Новый мир”, когда Твардовского сняли с поста главного редактора, Фадеев (один из руководителей ССП) не только не протянул ему руку помощи, но и участвовал в разносторонней критике журнала. История их дружбы, начавшейся ещё в тридцатые годы, и её драматический финал весьма выпукло отражена в письмах, публикуемых в книге.

В посланиях к Гавриилу Троепольскому, Константину Паустовскому, Аркадию Кулешову, Константину Федину, Александру Прокофьеву, Сергею Залыгину, Вениамину Каверину, Владимиру Тендрякову и другим писателям А. Т. Твардовский раскрывает себя как руководителя издания, намеренно стремящийся привлечь в журнал талантливых прозаиков, способных помочь ему сделать журнал самым нужным другу-читателю, самым интересным и самым уважаемым в читающей стране, работающим на воспитание её высокого литературного вкуса. В то же время А. Твардовский, имея свои принципиальные представления о том, каким должен быть “Новый мир”, как он должен развиваться, мог аргументировано отклонить произведения иных авторов, которые бы с ходу напечатали редакторы других журналов. Именно поэтому в “Новом мире” не появились новые главы “Поднятой целины” Шолохова, пьеса “Потомки запорожцев” Довженко, сценарий Герасимова “Дочь народа”, воспоминания Паустовского, пьеса Симонова “История одной любви” и начальные главы его романа “Живые и мёртвые”... Однако в этих отказах у Твардовского сквозит такая заинтересованность в развитии художественного дела, такая любовь к литературе и уважение к будущему читателю, что и эти, и другие авторитетные литераторы, как правило, не прерывали связи с набирающим заслуженную популярность журналом.

Обострённое чувство ответственности А. Твардовского помогало членам редколлегии быть уверенными в справедливости линии журнала, избранной его главным редактором, и потому помогать ему делать журнал “по-твардовски”. За всё, что печаталось в “Новом мире”, главред подчёркнуто брал ответственность на себя. Эту характерную особенность замечаем в письме, на-

писанном в январе 1954 года критику Владимиру Померанцеву, которому после публикации в журнале (№ 12, 1953) статьи “Об искренности в литературе” стало системно попадать в СМИ якобы за отход от принципа партийности. А. Твардовский, как пишут в начале книги Валентина и Ольга Твардовские, считал необходимым в этой и других подобных ситуациях добиваться возможности ответить на несправедливые обвинения в печати. Однако именно этого новопомирцам сделать и не дали: приговор, вынесенный редактору и авторам журнала, не подлежал тогда обсуждению, и, стремясь вывести из-под удара редколлегию, Александр Трифонович заявил, что ряд её членов был против напечатания статей, признанных “идейно-ошибочными”. Весь огонь А. Твардовский по-фронтовому принял на себя, в то же время (сегодня мы понимаем это) демонстрируя одну из обязательных функций главного редактора при спасении коллектива соратников – гибкость и даже хитрость.

В начале тридцатых, работая в Смоленске, А. Твардовский давал многочисленные уроки начинающим авторам как литконсультант. И желание растить достойную писательскую поросль у Твардовского, ставшего в пятидесятые годы главным редактором главного журнала Советского Союза, уже зиждется на двадцатилетнем профессиональном опыте и тончайшем литературном вкусе, который он не переставал развивать в себе постоянно. Поэтому в его эпистолярном наследии письма начинающих, хотя и не всегда молодых по возрасту авторов, интересовавшихся у мэтра оценкой своих возможностей в литературе, обращавшихся к нему за поддержкой и благословением, и ответы на них составляют наиболее существенную часть сборника.

Давая советы своим многочисленным корреспондентам ещё и как председатель комиссии по работе с молодыми поэтами, А. Твардовский предстаёт в этом непрерывно длящегося разговоре о месте поэзии в жизни то доброжелательным, готовым помочь и поддержать автора, то требовательным и даже жестоким. Однако в главном Александр Трифонович оставался неизменным – он не уставал повторять: “Литература – дело суровое и трудное. Оно требует больших знаний и способностей”.

Как говорится в предисловии к книге, А. Твардовский никого не отговаривал писать стихи для себя, родных и близких, для домашнего употребления и застолья, но всегда обращал внимание на их адресность. Претендовать же на сколько-нибудь широкого читателя, по его мнению, могли только те произведения, в основе которых – собственный опыт автора, свои, а не использованные уже кем-то средства выражения чувств и мыслей. Бессодержательные, безыдейные рифмованные строки А. Твардовский за поэзию не признавал. А идейность для великого Твардовского – в искренних убеждениях автора, заинтересованного передать их читателю, что невозможно без мастерства.

При всей своей более чем масштабной загруженности работой, главный редактор “Нового мира” жаждал всё новых и новых писем, что подтверждает появившийся ещё в первый приход его в редакцию раздел журнала “Трибуна читателя”.

Обратная связь с читателем для главреда Твардовского была обязательной, он её даже по-хорошему провоцировал. Вспомним:

*Читатель!
Друг из самых лучших,
Из всех попутчиков попутчик,
Из всех своих особо свой...*
(“За далью – даль”)

А. Твардовскому хотелось откровенного, без приукрашивания бытия разговора о жизни: и о хлебе насущном (развитие сельского хозяйства), и о хлебе литературном. Если на эту откровенность читателя вызывали, продолжая “овечкинскую” линию, очерки Гавриила Троепольского “Из записок агронома”, повести Владимира Тендрякова и публицистическая аналитика Фёдора Абрамова, то, как пишет Андрей Турков в своей книге “Александр Твардовский” (серия ЖЗЛ, “Молодая гвардия”, М., 2010), почин такому же откровенному и бескомпромиссному разговору о литературе, характерному и для ряда других “новомирских” статей, в сущности, положил не кто иной, как сам А. Твардовский, опубликовав в июньской книжке журнала за 1953 год несколько глав своего нового поэтического произведения “За далью – даль”.

Некоторые главы по отдельности уже печатались в “Литературной газете”, “Известиях” и “Правде”. В новых же шла речь именно о литературе — и о собственных “муках слова”, по известному выражению писателя, и об отношениях с читателем (всегда занимавшая его тема), и об отражении современной жизни в книгах.

В главе, вскоре получившей название “Литературный разговор”, от имени дорожных попутчиков автора высказаны различные претензии к писателям, и среди них весьма меткие и язвительные, что позволило им быстро войти в обиход, запомниться и, что называется, быть на слуху, цитироваться:

*Глядишь, роман, и всё в порядке:
Описан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред,
И в коммунизм идущий дед,
Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал...
И всё похоже. Всё подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в целом — вот как несъедобно,
Что в голос хочется завывать.*

Завершается глава фантастической сценой — разговором с редактором, что, как оказалось, живет... в душе самого писателя (в критике его тут же стали звать “внутренним”), который, опасливо предвидя всякие возражения и замечания, собственноручно себя... оскопляет.

“Литературный разговор” А. Твардовского продолжили статьи с конструктивной критикой “сокращённого метода изучения жизни” Владимира Померанцева, а также Михаила Лифшица и Марка Щеглова. И свинцовые административно-идеологические тучи, сгустившиеся над журналом и его главным редактором, стали посылать в “Новый мир” молнии, одна другой жгучее. “... У меня большие тревоги в журнале, — сообщал Александр Трифонович Валентину Овечкину, — (всякая “тьма” во главе с Сурковым ведут атаки против меня, дело может дойти до моего ухода или снятия), и это нехорошо, это дурной знак с точки зрения судеб литературы. Вообще — Бог знает, что творится”.

23 июля было принято решение ЦК КПСС “Об ошибках редакции журнала “Новый мир”, а 11 августа президиум правления СП СССР постановил: осудить неправильную линию журнала “Новый мир” в вопросах литературы; освободить товарища Твардовского А. Т. от обязанностей главного редактора журнала.

4 сентября 1954 года Александр Трифонович писал переводчику Борису Бурштыну (1893–1964), с которым вместе работал в Смоленске в начале тридцатых годов: “Меня всё это, что произошло в литературной жизни в последний год, печалит, конечно, последствиями в общем нашем деле. Многие мои товарищи и даже друзья желают поддержать во мне “бодрость духа”, говорят обо мне, имея в виду моё положение, не понимая, что всё происшедшее и происходящее касается их не в меньшей мере и в тем большей для каждого степени, чем серьёзнее и сознательнее он относится к своему призванию, профессии, долгу и т. п.”

3. Преисподнее бюро

Заметим, что ни в постановлении ЦК, ни в СМИ ничего не было тогда сказано о главном “проступке” главреда — поэме “Тёркин на том свете”, поскольку ей была посвящена закрытая часть постановления.

Да, “Тёркин на том свете” напечатан 17 августа 1963 года в вечернем выпуске “Известий”, а 18-го поэма вышла в основном тираже; и по традиции отсчёт официальной жизни произведения начинается с момента публикации (значит, нынче у “Тёркина-2” — золотой юбилей), однако фактически в первой редакции эта поэма уже имела к весне 1954 года! В дневнике К. Чуковского 23 марта 1954 года отмечено, что К. Федин рассказывал ему о новой,

“прелестной, едкой” поэме А. Твардовского, прочитанной на его даче автором. Да и в “Избранном” (Т. 2, М., “ЖУК”, 2010) под поэмой стоят две даты “1954–1963”.

Разгар проработки “Нового мира”, но Твардовский, прошедший две войны, смел и отчаян в деле, в котором в советской поэзии ему нет равных, – он читает “Тёркина на том свете” уже в редакции (а это отнюдь не тихая писательская дача). Как пишет в своей книге А. М. Турков, Николай Асеев, слушая эту читку А. Твардовского, бормотал: “Интересно: оторвут ему за это голову? Ну, а что до того света, то всё совершенно верно – я давно на нём живу”.

Секретарь ЦК по идеологии Пospelов, координировавший пропесочку и продрайку журнала, назвал поэму “клеветнической вещью”, “пасквилем на советскую действительность”. Твардовский же стоял на своём, настойчиво утверждая, что пафос поэмы – это “суд народа над бюрократией и аппаратчиной” и что он потратил на поэму “все силы своей души”.

Молодые соратники А. Твардовского восхищались стойкостью и мужеством главреда, а вот, казалось бы, проверенные временем товарищи вдруг обратили свои перья против того, кого недавно восхваляли. О позиции Фадеева мы уже упоминали, теперь речь пойдёт о Катаеве, успевшем публично восхититься “Тёркиным-2”, а затем на заседании ЦК 23 июня показать *фискальный оскал*:

“...Я должен сказать, что такого поведения, таких ошибок можно было ожидать от Твардовского. Я расскажу такой случай. Я написал путевой очерк о путешествии из Москвы в Крым через Украину. Принёс его Твардовскому. Твардовский прочитал и сказал мне:

– Ну, Валентин Петрович, это несерьёзно. Вы что, не знаете, что происходит в стране, положение в сельском хозяйстве? Неужели вы ехали через всю Россию и ничего не видели? Нам нужны очерки типа “Путешествия из Петербурга в Москву” Радищева.

Вы понимаете, товарищи, куда он меня призывал?” (см. журнал “Дружба народов”, 1993, № 11. С. 221).

“Тот свет” ответил Александру Твардовскому, работавшему над поэмой десять лет (ещё в январе 1944 года он занёс в рабочую тетрадь набросок главы “Тёркин на том свете”), нашедшему сатирический ход отображения махровой бюрократической действительности, сделавшему её комментатором не кого-нибудь, а любимца народа – бойца Василия Тёркина, – лишением редакторской трибуны и цензурным вето, которое снимут только в августе 1963 года Н. С. Хрущёв и “Известия” в разгар “оттепели”, когда А. Твардовский стал лауреатом Ленинской премии (награда за поэму “За далью – даль”) и снова работал главредом идущего нарасхват “Нового мира”.

Не будь столь внушительного авторитета у Александра Трифоновича, появился ли бы в печати “Тёркин-2”? Ведь “тот свет” был не просто силён – он ещё более оброс командно-административными мышцами! Просто произведение оказалось настолько актуальным, реалии текущей действительности были настолько узнаваемы, а их суть оставалась той же, что и при Сталине десять лет назад!..

Генерал (звание в подземной иерархии, видимо, такое же высокое, как и в надземной), “генерал-покойник”, который встретил Тёркина, информирует прибывшего, что “на том свете аппарат, как на этом свете”: стол проверки – стол крошечный, Преисподнее бюро, разбирающее персональное дело, на заседании которого “признаёт мертвец ошибки, извернуться норовит”, есть “штрафбат, органы в порядке”, привилегии для загробактива, “пламенный оратор, толкающий речь в пустоту”... Ирония, перерастающая в сатиру, условность, которую герой воспринимает как реальность: “Обозначено в мению, а в натуре – нету”; “Вроде, значит, трудодня в горевом колхозе”. Тёркин, повидавший за годы войны (включая и финскую) реки крови и пота, глядевший десятки раз в глаза смерти и выдержавший её психическую атаку (вспомним главу “Смерть и Воин”), шокирован, как модно сейчас говорить, и ошеломлён увиденным на “том свете”. Шок да спасительная затяжка сигаркой, свёрнутой из прихваченной с этого света махорки, и помогли ему в тот момент сконцентрировать силёнки, уцепиться за поручни и шагнуть на тормозную площадку состава порожняка, идущего на-гора: “И прощальный генералу Тёркин ручкой сделал знак”. Но вспомним, как перед этим рвало поручни

*...Из живых солдатских рук,
Как хватало мёртвой хваткой
Изо всех загробных сил!*

Тёркин в очередной раз победил, избежал “мёртвой хватки” “того света”. Это в сказке, а победил ли Твардовский в жизни, в реальностях 1954 года? Конечно! Александр Трифонович ведь не просто остался самим собой и не отказался от поэмы, а целых десять лет, до публикации в 1963 году, продолжал работать над шлифовкой образов и слога “Тёркина-2”.

Безусловно, особые претензии к поэме и, видимо, прежде всего, личные у Пospelова были и как у многолетнего редактора “Правды” — на пост секретаря ЦК по идеологии он пришел ведь из главной тогда газеты страны. А в “Тёркине на том свете” редактор стенной “Гробгазеты” выписан с колоритнейшей издёвкой:

*Вот притих, уставясь тупо,
Рот разинут, взгляд потух.
Вдруг навёл на строчки лупу,
Избоченясь, как петух.
И последнюю проверку
Применяя, тот же лист
Он читает
Снизу кверху,
А не только
Сверху вниз.*

В 1957–1959 годах Александр Трифонович напишет знаковое для многих литераторов и журналистов стихотворение “Московское утро”, где будет изображена не только знакомая каждому из нас картинка общения автора и функционера-главреда, но и будет до сарказма изящно доработан образ руководителя “Гробгазеты”:

*Печатаем, как же!
За мелочью дело... —
И трубка в руке
у меня запотела.
Я слышу, как главный
закашлял неловко:
— Вы знаете, всё-таки...
эта концовка...
Прочтите-ка сами —
не слева направо,
а справа налево:
двусмысленно, право...*

*Мой голос дрожит
от обиды и гнева:
— Простите, зачем же
мне справа налево
читать эти строчки,
размысливши здраво,
когда полагается —
слева направо?
— Конечно, конечно, —
и главный согласен,
что смысл, если так,
безупречен и ясен.
— Но мы о читателе думать должны.
(Как будто читатель —
он прибыл с Луны!)
Мол, этот вопрос —*

*он возник мимоходом,
поскольку мы тут
совещались с народом...*

*Я диву даюсь:
ну, зачем он мне врёт?
Какой там сейчас
в кабинете народ!
И мне ли не знать,
что на самом-то деле
народ по ночам
пребывает в постели...*

А что касается “Тёркина на том свете”, в “Автобиографии” (1947–1965) Александр Трифонович написал: “...Поэма “Тёркин на том свете”... конечно, не является “продолжением” “Василия Тёркина” в смысле многочисленных читательских предположений на этот счёт, по поводу которых я давал свои объяснения в “Ответе читателям”, хотя и связана с “Книгой про бойца” непосредственно взятым из неё образом героя. Она возникла из иного, главным образом, сатирического задания (сказано по-фронтовому! – **В. К.**) и обращена к некоторым сторонам послевоенной действительности в том духе, как их оценивали XX и XXII съезды нашей партии”.

Наибольший интенсив работы над “Тёркиным-2”, над его новым вариантом у А. Твардовского приходится на 1961–1963 годы. Муки творчества, накал сомнений, разочарование, вдохновение, апатия и радость победы – обо всём этом и многом другом дают некоторое представление его записи в дневнике (цитируем по “Новомирскому дневнику” (Т. I. М., ПРОЗАИК, 2009. – **В. К.**):

6 марта 1961 г<ода>

... Не обременять вещь большими претензиями, пусть будет такая, как сложилась в своей наиболее естественной и свободной манере шутки, с некоторой, конечно, начинкой, но не навязывать ей непосильных задач. И пусть лежит до поры, но уже очищенная от шелухи первого варианта...

11 марта

... Всё же рад, что возобновил возню с вещью... высвободил из неё всё, что годится... и уже имею дело, в сущности, с новой конструкцией.

21 июня

... И переделка “Тёркина на том свете”, после которой вдруг появилось ощущение чего-то несостоявшегося, какой-то необратимости того, что было утрачено в 59 г<оду> (хотя тогда вещь тоже была не готова, сыра, теперь она стройнее и компактнее).

29 июня

Третьего дня передал Воронкову (К. С. Воронков – секретарь Союза писателей СССР по оргвопросам. – **В. К.**) “Тёркина” с “наложенными швами”. Работа эта, откладывавшаяся мною изо дня в день, из месяца в месяц свыше года, наконец, когда принялся за неё, принесла, как всякая работа, непринятая в представлении, но всё же одолённая практически, даже некоторое удовлетворение.

Как, в сущности, хорошо делать что-то своё, когда задача выясняется в ходе дела, и вдруг обретаешь хоть малую радость из тех радостей, вместе с трудностями, ради которых только и стоит...

12 декабря, 5 часов утра

... Оказывается, я уже давно лежал и спал-не-спал, но в лёгком полубреду обдумывал, как я буду доделывать “Тёркина на том свете”... втоптать сюда всё – и “культ”, и послекультовские времена, и литературные, и международные дела. И так мне было ясно, что это будет органично и что всё это, собственно, начиная с “Муравии”, у меня подготовлено, пододвинуто для решения этой увенчивающей все мои стихотворные вещи задачи, что я утром на-

чал это рассказывать Маше (жене. — **В. К.**), хвастаясь, что всё донине написанное мною — только “крыльцо” (по Гоголю) к тому, что должен именно теперь возвести “на базе “Тёркина на том свете”, и что мне ничего не страшно и не стыдно, и я знаю, что мне делать...

3 марта 1962 года

Вообще говоря, этот мой цыплёнок, проклюнувший скорлупу не вовремя, может быть, уже не будет выведен, хотя уже столько я с ним повозился. Пусть даже так. Всё равно: у этой вещи уже есть своя история — часть моей, как говорят, творческой биографии. Пусть даже не суждено ей выйти в свет нормальным образом или выйти и вдруг оказаться чем-то меньшим, чем уже сложившиеся представления о ней. Но я должен привести её в порядок для себя, для внутренних надобностей. Никаких усилий принорования, приспособления к понятиям Сатюковых (П. А. Сатюков — главный редактор “Правды” (1961–1964), член идеологической комиссии ЦК КПСС. — **В. К.**) и т. п.

20 апреля

С утра вдруг стало казаться, что “серёдка” не годится, выпадает из тёркинского стиля и т. п. и что вообще всё это дело обречённое. Заставил себя всё же прописать ещё раз эту “серёдку”.

13 мая

Вчера сдал на машинку тетрадочку с “Тёркиным на том свете” со вставкой (серединкой) и добавкой... С машинки будет новая полоса работы — сквозная отчистка и “введение воды” (кажется, если бы не записал в этой тетради, забыл было, что мотив воды нужен ещё и для того, что на том свете нет воды живой — только мёртвая).

20 июня

“Тёркиным на том свете” — уже заглавие позволяло отнести это к “пасквильанству” и т. п... И в первой моей беседе с Н. С. Хрущёвым — он: “Мне Каганович пишет записку: зачем он нашего боевого солдата отправил на тот свет?”

...И всё равно я буду “доводить до ума “Тёркина”.

20 сентября

С “Тёркиным” так: необходимо разложиться со всей рукописью в целом, — хватит заготовок, которые ненароком, в отрыве от целого, могут увести в сторону, вбок от конечной задачи. Вряд ли что было у меня так трудно округляющееся и с каждым новым приступом усложняющееся, уходящее от “берега”, хотя, если вспомнить “Дом у дороги” и те же “Дали” (в особенности), с которыми вообще Бог весть как удалось разделаться. Нет, здесь особый случай (а если бы не был особым, то стоило ли бы огород городить?..).

28 февраля 1963 г<ода>

Сдал на машинку черновую, но уже полную перебелку “Тёркина на том свете”. Записями не отвлекался.

22 марта

Итак:

1. В 1954 г<оду> я был снят с “НМ” за “линию” и “Тёркина на том свете”. Выбыл из ЦРК и депутатов РСФСР.

2. За эти годы, до нынешнего, 63 г<ода> я закончил “Дали”, был возвращён на должность главного редактора “НМ”, был делегатом двух последних съездов партии, избран кандидатом в члены ЦК, вторично — в Верховный Совет РСФСР, отмечен различными знаками, выпустил Собр. сочинений и т. д. и т. п.

3. Ныне, в 1963 г<оду>, в марте я закончил, вновь написал на 3/4, по крайней мере, “Тёркина на том свете”, опубликовал в конце прошлого года “Ивана Денисовича” (с чего всё и пошло), и опять “линия” и немыслимость опубликования “Тёркина”.

4. Ещё никогда, пожалуй, не было так трудно, однако и ясно на душе: дело плохо, но что же делать.

8 июля

... Вряд ли когда стоял так вопрос в смысле всей дальнейшей литературной судьбы. — Стоял! И не один раз: “Муравия”, “Тёркин”, “Дом у дороги”, “Дали” — всякий раз было так: или-или.

Счастье читателей, что А. Твардовский был не только великим поэтом и мудрым редактором, но и имел бойцовский характер (совсем не случайно, думаю, своей самой популярной вещи он предпослал подзаголовок “Книга про бойца”, чем подчеркнул не только особую жанровую природу произведения, но ещё и суть души русского солдата: боец!). Александр Трифонович добился-таки, чтобы “Тёркин на том свете” был прочитан Н. С. Хрущёву, прочитан самим А. Твардовским, да ещё и в присутствии группы европейских писателей на его даче в Пицунде! Вот как описывает это сам поэт, сделал дневниковую запись 18 июля 1963 года:

“... Вскоре Н. С. объявил меня: “Поэксплуатируем”.

Чтение было хорошее, Н. С. почти всё время улыбался, иногда даже смеялся тихо, по-стариковски (этот смех у него я знаю — очень приятный, простодушный и даже чем-то трогательный). В середине чтения примерно я попросил разрешения сделать две затяжки. “Конечно, конечно”, — хотя никто, кажется, кроме Шолохова и меня, сидевшего с ним (до чтения) на самом конце стола, не курил. Дочитывал в поту от волнения и от взятого темпа, несколько напряжённого... Кончил, раздались аплодисменты. Н. С. встал, протянул мне руку: “Поздравляю. Спасибо”... И, собственно, дело совершилось: Ад-жубей (редактор “Известий”, в которых будет напечатан “Тёркин-2”. — В. К.) бросился с конкретными предложениями, посулами соблюдения всех необходимых условий и т. п.”

Да, дело совершилось, но радость автора и глубокая удовлетворённость, что поэма обрела широкого читателя (у газеты-то был пятимиллионный тираж!), оказалась непродолжительной. Уже 6 ноября Александр Трифонович записал в дневнике: “С момента опубликования поэмы в “Известиях” начинается новый период, длящийся и поныне, — период неполного торжества, как будто она опубликована только по недоразумению или недосмотру, или же так, в виде опыта, и ей ещё нужно “легализоваться”. Похоже, что если и не позволено обрушиваться критике на поэму, то только из соображений (неписанных!) приглушения её. Это “сверху”, и это очевидно и недвусмысленно. Молчание газет, торможение с изданием (с 21 октября книжка лежит в той самой Цензуре, которой посвящены в ней известные строки)”.

Период, длящийся и поныне... Да, провидение А. Твардовского оказалось почти пророческим: выходу в свет “Тёркина-2” отдельной книгой и включению его в собрание сочинений мешали, и мешали очень долго, хотя, по А. Твардовскому: “Совершенно ясно, что эта вещь — прямое продолжение и того “Тёркина”, и “Далей”, работа над которыми отодвинула этого “Тёркина”, хотя, в сущности, смыкалась где-то с ней (“фронт и тыл”)

 (запись в дневнике 19 июля 1963 года). Поэтому понятню, как хотелось Александру Трифоновичу, помимо отдельного издания “Тёркина на том свете”, иметь издание, говоря словами автора, “Тёркиных” “под одной крышкой”. На переплёте “Василий Тёркин”, на титуле — оба”.

Издать такую книгу А. Твардовскому так и не дали, утверждают в “Комментариях” к первому тому “Новомирского дневника” Валентина и Ольга Твардовские. После 1963 года поэма перепечатывалась только в пятитомном собрании сочинений (М., 1967) и — посмертно — в шеститомном (М., 1978). А. Твардовскому не удалось включить её ни в одно из изданий своих избранных произведений. Редколлегия “Библиотеки поэта” (Н. Грибачёв, Н. Тихонов, А. Сурков, Р. Гамзатов и др.) отказывалась печатать “Тёркина на том свете” в том же, подготовленном к 70-летию поэта М. И. Твардовской, хотя она и представляла доказательства того, что Александр Трифонович видел эту поэму среди наиболее значительных своих работ. Не возымело действия и отдельное письмо главного редактора “Библиотеки поэта” Н. Тихонова, доказывавшего целесообразность издания “Тёркина на том свете” по тактическим соображениям (Тихонов Н. Из могилы стола. М. 2005. С. 440–442). Замысел Александра Трифоновича впервые был осуществлён только в 2000 году издательством “Раритет”, подготовившим благотворительное издание для ветеранов к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

* * *

А редакторский опыт, стиль и методика, редакторское наследие Александра Твардовского требуют особого серьёзного изучения. Да, Александр Трифонович не успел написать книгу “16 лет в “Новом мире”, которую задумывал, однако его заметки, статьи и – главное – адресные письма-ответы, где содержится конкретный разбор механизма работы со словом, должны быть собраны в единый регистр, которым мог бы воспользоваться каждый творчески пишущий, каждый, кто собирается осваивать не только литературное, но и медийное пространство. Таким хранилищем мастеровитости А. Т. Твардовского должно стать *полное собрание сочинений*, которого до сих пор нет, а ведь грядёт 105-летие великого поэта и редактора (июнь 2015 года!), и лучшего подарка любителям русской словесности, чем издание ПСС – поэтических, теоретических и эпистолярных (дневников, рабочих тетрадей, писем) – Александра Трифоновича просто не может быть! Ту подвижническую работу по сбору и публикации материалов литературно-редакторского наследия А. Твардовского, которую вела Мария Илларионовна, вдова А. Твардовского, и теперь продолжают его дочери, Валентина и Ольга Александровны, необходимо завершить сейчас, в эти годы начала столетия, чтобы читатели, писатели, журналисты, филологи, учителя и школьники компьютерного XXI века получили в своё распоряжение полный кладёзь высокого искусства владения живым русским словом Александра Твардовского.

ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА

УРАЛЬСКИЙ САМОЦВЕТ

(К 135-летию со дня рождения П. П. Бажова)

Немного у нас писателей, которых можно назвать сказочниками, что открыли и для себя, и для читателей волшебный мир целого царства, с лесами, реками и горами, где люди находят удивительной красоты камни, каждый из которых – со своей историей и чудесным секретом.

Речь идёт о Павле Петровиче Бажове. Это он открыл для нас удивительный край, зовущийся Уралом, с его древними преданиями и песнями, что передавали из поколения в поколение живущие там работные люди. Мудрый Урал наотрез отказывался открывать людям свои богатства, если они не заслужили это своим трудом. И потому уважали люди Урал, любили его за те счастливые минуты, когда из простого, кажется, камня, обросшего мхом, в котором накрепко засели комья жёсткой земли, – через месяцы на столе у мастера начинали светиться – то колечко, то с красивыми змейками-прожилками брошь, а то и волшебная по красоте чаша, на которую могло уйти и полгода замечательного по искусности труда. Кстати, в сказе “Шелковая горка” повествуется о “тех людях, кои самих Демидовых столь высоко подняли, что их стало видно на сотни годов”.

В сказах Бажова вы встретите и уральского самородка Данилу-мастера, и невесту его Катюшу, и Хозяйку всех горных сокровищ, очень красивую, умную, но холодную, потому что в её царстве из драгоценных камней – больших и малых – всё-таки чаще всего холодно и неудобно простому человеку. Там же давно живёт и Голубая змейка, которая может и казнить, и помиловать – смотря какой человек ей встретится: добрый или злой. Тут и змей Великий Полос, временами страшный, как Змей-Горыныч, и Серебряное копытце. “Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем – там и появится дорогой камень”, – повествует сказочник. А чары Хозяйки Медной горы пленили-таки доброго молодца Степана, и не скоро он сумел освободиться от них, вернуться к своей Настасье. Что делать, любовь – дело нешуточное.

Чем же нас так привлекают сказы Бажова? А тем, что и герои этих историй, и картины уральской природы, и сам язык произведений складывались, росли и ширились, подправлялись – в самом народе, а уже Павлом Петровичем доводились до совершенства, как драгоценные камни.

Бажов вырос здесь, в семье горнозаводского рабочего Сысертского завода близ Екатеринбурга. И ещё в детстве встретился с уральскими сказами, которыми делился с детворой заводской сторож. Тогда-то и услышал Павел о сказочном змее Полозе и его дочерях Змейёвках, о Хозяйке Медной горы, что охраняют богатства уральских гор.

Но сказки сказками, а надо было учиться, и вот как вспоминал о тех годах Павел Петрович: “Как единственный ребенок в семье при двух работоспособных взрослых, я имел возможность получить образование. Отдали меня в духовную школу, где плата за право обучения была значительно ниже против гимназий, не требовалось форменной одежды и была система “общежитий”, в которых содержание было гораздо дешевле, чем на частных квартирах”. Но, несмотря на это, средств не хватало, и Павлу вскоре пришлось самому зарабатывать и на учёбу, и на пропитание: умер отец-кормилец.

Учась в Пермской духовной семинарии, летом он много ездил по Уралу, собирал и тщательно записывал народные поверья и сказания, причём особенное внимание уделял языку, на котором те повествовались. Большим подспорьем в этом была и родная бабушка писателя Авдотья Петровна – с её певучей речью и фактами собственной жизни, когда женщины порой вынуждены были становиться старательницами или даже камнерезами.

Спустя годы будет ясно, что Бажов трудился в этих поездках не только как будущий писатель, но и учёный. Ведь годы летят очень быстро, меняется характер людей, меняется и сама страна, и залежи народного языка, образного и первородного, постепенно размываются волнами времени. Павел Петрович сумел в своих сказках во многом уберечь язык, сохранить его первозданность, в то же время максимально приблизив его к современному. Творчески относясь к возможностям народного языка, Бажов избегал, по собственному выражению, “обыгрывания фонетической неграмотности” и псевдонародности, которые порой грубо вторгаются в естественность интонации, её музыкальность. И, хоть целых шесть драгоценных тетрадей с записями стариковских рассказов оказались утерянными, Бажов и спустя годы вспоминал некоторые крылатые фразы. К примеру: “У людей канительно, а у нас просто”; “Языком – не руками, всяк бы работал”; “Чужое охаять мудрости не много надо”; “Целый вечер лясы да балясы”; “Всё у него с рывка да с тычка”.

Прошли годы. За это время он стал писателем, выпустил в 1924 году “Уральские были”, позднее – автобиографическую повесть “Зеленая кобылка”, работал корреспондентом, преподавал русский язык, на стороне красных принимал участие в Гражданской войне на Урале, – и в 1939 году вышла в свет знаменитая по сегодняшний день “Малахитовая шкатулка”. Это книга вообрала главные сказы Павла Петровича, но постепенно появлялись очередные, и книга выходила уже обновлённым изданием. Произведения Бажова вызвали огромный интерес читателей и критиков, которые признавали, что до сих пор никому из писателей не удавалось так ярко рассказать о жизни и труде горных и заводских рабочих, показать всю глубину и красоту истинного творческого труда. И абсолютно не случайно автор был награждён Сталинской премией. И, конечно, всех покорила самобытная разговорная речь героев сказов. К тому же в ней было так много тепла и любви – и к человеку, и к любому живому существу.

“Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше четверти, и до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком, головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что не догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная-пречёрная”, – повествует в рассказе “Голубая змейка” Павел Петрович.

“Колдун уральский бородатый” – так выразился о Бажове в стихах Демьян Бедный. Да и фамилия Бажов происходит от местного слова “бажить” – то есть ворожить, предсказывать. И Павел Петрович действительно творчески “ворожил”, уводил читателя в свои удивительные истории.

“Сказка – ложь, да в ней намёк”. Прекрасно зная русскую литературу, Бажов хорошо помнил, что даже в самой фантастической сказке не обойтись без “намёка”. Вот и в “Голубой змейке” так.

“Тут Лейко с Ланком взмолились:

– Тетенька, мы тебя не звали.

– А я, – отвечает, – сама пришла поглядеть на охотников добыть золото без работы.

Ребята просят:

– Отпусти, тетенька, мы больше не будем. И без того два раза подрались из-за тебя!

– Не всякая, – говорит, – драка человеку в покор, за иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку охраняли... Коли который хорошее другому задумает, у того плиточка золотой станет, коли пустяк – выйдет бросовый камешок”.

Тут бы и мне своё словечко вставить: “А ларчик просто открывался”. Почему столько добра и света излучали эти, порой совсем немудрёные сказы? Обратимся же за помощью к воспоминаниям современников о Бажове.

Писательница Анна Караваева: “...Многословия не любил, голос негромкий, всегда незаметен он как-то оставался, а дело двигалось, и душевное тепло от него людям шло... Огонь в доме – вот с чем сравнить его хочется”.

Писатель Фёдор Гладков: “...Все чувствовали себя около него бодро, словно его доброта и обаяние, скромность и спокойная уравновешенность исцеляли всякие душевные ранения и заставляли забывать неизбежные в эти тяжёлые дни (шла война) неприятности...”

В своих произведениях Бажов поднял и очень важную тему – что такое настоящий художник, творящий искусство. Особенно ярко эта тема выписана в сказе “Каменный цветок”. Его герой, Данила-мастер, нашёл-таки, казалось бы, тот самый камень, что позволит ему сотворить волшебный каменный цветок, не отличающийся от живого. “Всё, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, всё как есть”. А чаша не получилась. И мастер опять обращается за помощью к Малахитнице. “Не могу больше, – жалуется Данила Хозяйке горы. – Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок”. Та вняла его просьбе, показала. Но и после этого удача не далась мастеру, потому что ещё не было у него в сердце своего образа, который бы помог оживить твёрдый, холодный, хотя и красивый камень.

О поисках художника, его постоянном влечении к совершенству, говорят и такие сказы, как “Горный мастер”, “Хрупкая веточка”, “Железковы покрывки”. Причём если в преданиях горнорабочих Хозяйка Медной горы – владелица горных богатств, то у Бажова она – помощница настоящему художнику, если он это заслужил, идя трудной и желанной дорогой к искусству.

Своя дорога была и у Бажова-творца. Среди русских писателей особенно близок ему оказался Чехов. “...отчетливо помню, что и когда впервые прочитал. Помню даже место, где это происходило... Семинарское начальство свирепо относилось ко всей литературе без “допустительной отметки”... и надо было читать эту книжку, когда “недреманное око отупеет”. Лучше всего это удавалось между ужином и сном, от девяти до одиннадцати. Эти часы представлялись усмотрению бурсаков...” Но и позднее писатель не раз обращался к Антону Павловичу. “Чехов последних лет никогда не заслонит в моем сознании молодого Чехова, когда он легко и свободно, блестя молодыми глазами, плыл по безграничному простору великой реки. И всем было ясно, что и река русская, и пловец русский”, – писал он в дневниках.

Так, фактически самостоятельно, овладевал Павел Бажов нужными знаниями для своей литературной работы и, естественно, находил авторов, близких себе по духу. К примеру, очень ценил Лескова за ранние произведения, такие, как “Соборяне” и “Очарованный странник”, в которых наряду с жизненной правдой буквально сияло мастерство художника слова.

Надо сказать, что параллельно с творческой работой Павел Петрович всегда принимал активное участие в общественной жизни своего уральского региона. В годы Отечественной войны Бажов берёт на себя заботы не только о свердловских писателях, но и тех литераторах, что вынуждены были эвакуироваться из родных мест. Причём не оставляя работы редактора во фронтовой и местной печати. И после войны он не раз избирался депутатом, в том числе Верховного Совета, проводил большую работу по наказам земляков. И даже когда зрение писателя стало резко ухудшаться, он всё-таки ещё долгое время продолжал и писательскую, и редакторскую деятельность (в издании “Уральского современника”), и научную работу по фольклору, руководил Союзом свердловских писателей.

Писатель Евгений Пермьяк, давний друг Бажова, утверждал: “Надо родиться на Урале и прожить столько лет, чтобы так его знать и так его любить. Разве можно не любя создать такую “Малахитовую шкатулку”? Павел Петрович – сверкающий самоцвет литературного Урала!” И он же добавлял: “У Бажова и прозвище мальчишечье уличное было – Колдунков, и один из литературных псевдонимов – Колдунков Егорша. А без бороды – что за колдун?”

И впрямь, большинство известных портретов Бажова – где он в возрасте и с бородой. И, если сравнивать Павла Петровича с колдуном, то только с мудрым и очень добрым.

Жизненный путь уральского сказителя закончился в 1950 году. Похоронен он в Свердловске, ныне Екатеринбурге.

Надо ли говорить, что вклад Павла Бажова в русскую литературу весомо отмечен благодарными потомками. Так, в 1999 году в ознаменование 120-летия со дня рождения писателя была учреждена Литературная премия имени П. П. Бажова. Его имя носят библиотеки, улицы, музеи. Установлены памятники и мемориальные доски в местах, где он жил и трудился. Естественно, большинство из них “прописалось” на Урале. Остаётся добавить, что по мотивам сказов Бажова создан кинофильм “Каменный цветок”, опера Кирилла Молчанова “Сказ о каменном цветке”, одноимённый балет Сергея Прокофьева и многие другие произведения музыки, скульптуры и живописи. Доброе сердце сказочника и сегодня с нами.

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

*Кем был Пушкин: революционером, консерватором
или контрреволюционером?*

Среди тем и проблем, коими озабочены пушкинисты, есть одна, как сказал бы один известный исторический персонаж, “закавыка”, мимо которой почему-то проходят все. Суть её можно сформулировать следующим образом: как, собственно, получилось, что среди огромного числа людей, чьи взгляды в то время можно было счесть антиправительственными, антимонархическими, антиаракчеевскими, атеистическими, то есть, по логике вещей, заслуживающими той или иной формы репрессии, первым, на кого гнев пал непременно, всегда оказывался именно Пушкин?

В конце концов, что, кроме “Вольности”, не ходило в списках других стихов иных авторов? Не существовало, помимо пушкинских, эпиграмм, направленных против царского любимца Аракчеева? Не имелось, кроме Пушкина, других людей, разделяющих атеистические взгляды? Ходили, существовали, имелись, но каждый раз список инакомыслящих и за то наказанных начинался обязательно с Пушкина. Даже первые “декабристы” – Раевский и Орлов – пострадали по времени много позже высылки поэта из столицы. А ведь в той или иной форме вопросы эти вставали ещё перед современниками Пушкина. Долго знавший поэта Ф. Ф. Вигель недоумевал:

“Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал. Он был в отношении к свободе то же, что иные христиане к религии своей, которые не оспаривают её истин, но до того к ней равнодушны, что зевают при одном её имени. И внезапно, ни за что ни про что, в самой первой молодости оторвать чело века от всех приятностей образованного общества, от столичных увеселений юношества, чтобы погрузить его в скуку Новороссийских степей”.

И что, за каждым ратующим за свободу, равенство, братство была установлена полицейская слежка? Смею думать, тогда не случилось бы декабрьского восстания. А сколько атеистов в те же дни было отправлено так же по своим родовым имениям “под домашний арест”? Вы можете назвать их имена? А Пушкин, однако, по этой причине отправлен.

У меня нет безальтернативного объяснения этой “закавыки”. Не хочется думать, что причиной всему случившемуся была обыкновенная человеческая зависть. Или, как следует из знаменитых слов из письма Пушкина Вяземскому, написанного в ноябре 1825 года, дело всё же в том, что человек “... в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего”?

Тут напрашивается необходимость соединить, как звенья одной цепи, события, когда завсегдатаи салонов и театров смаковали сплетню, будто кумира Санкт-Петербургской золотой молодёжи, шестисотлетнего дворянина Пушкина выпороли в полиции, точно крепостного хама. И события, когда тот же круг лиц бурлил в “VIP-зоне”, которой являлся царский двор, наблюдая за публичным флиртом самого модного в столице донжуана и самой красивой женщины Северной Пальмиры. Когда все замерли в сладком ожидании: обернётся ли кокетство явной связью?

Неужели божественная гениальность Пушкина на протяжении всей его жизни столь раздражала окружающих, что против него непрерывно выставлялся грубый заслон?

Судьба уготовала ему участь одиночки. И вроде бы личность незаурядная, многие даже находили Пушкина приятным, но вечно был он неудобен в общении. Про таких говорят: “Не гибкий, делает то, что хочет”. Любое исключение странно. А тут чуть не у каждого есть законная возможность раздражённо думать: “Не такой, как все, и самое ужасное — не такой, как я”. И та же судьба заставила его испить горькую чашу: быть публичным человеком. Вот и получилось: беспомощность публичного одиночества. Можно представить, какое бешенство бурлило в нём, принуждённом терпеть неотвязное проклятие одиночества публичного человека.

Ведь если приглядеться, невозможно увидеть в нём сфокусированного неприятия Александра I. Конечно, поэт-вольнодумец “читал свои Ноэли”, произносил, бравируя: “Тираны мира! трепещите!” — но был всё же “рукописным бунтарём” — не он “обнажал цареубийственный кинжал”. Думаю, вряд ли его слово виделось правительству “страшнее пистолета”. И потом, никак нельзя отнять у вольнодумца Пушкина его строк о государе, наверняка известных Александру I:

*Там — громкой славою
Сильной державою
Мир он покрыл.
Здесь безмятежною
Сенью надежною
Нас осенил.*

Так почему столь последовательное отторжение: сначала — на Юг, потом — в Михайловское?

Почему он подвергался непрекращающейся слезке? И какой разнообразной! Чего стоит один только факт, обнаруженный в архиве в деле Бошняка, агента III Отделения. Из документа следует, что по Высочайшему повелению в Псковскую губернию направлен коллежский советник Блинков, имеющий на руках подписанную бумагу “о взятии и доставлении по назначению одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем объявят при самом его арестовании”. По сути, это был ордер на арест поэта. Он выдан 19 июля 1826 года, то есть во время нахождения Пушкина в Михайловском, за два месяца до освобождения. Поэта арестовали бы, случись подходящий повод.

Почему его преследовали неизменный и унижительный “короткий поводок” и горькая слава неблагонадёжного? Почему власть и “общественное” мнение отчётливо наблюдают невидимое и не различают очевидного?

Почему по сей день на уроках литературы, как почти два столетия назад, Пушкин нашими учителями рисуется “певцом свободы”, таким неистовым обличителем государственных устоев России, ожесточённым ниспровергателем царизма, что куда там до него революционно настроенному Герцену со своим лондонским “Колоколом”? Нет ответа.

Кстати, многим ли учителям известно, откуда, собственно, возникло это ставшее устойчивым словосочетание — “певец свободы”? Кто, когда и за что так нарёк поэта? Так нарёк себя сам Пушкин весной 1821 года в строках нео-

конченного послания к членам кружка “Зелёная лампа”, посвящённых братьям Всеволожским:

*Вы оба в прежни времена
В ночных беседах пировали
И сладкой лестью баловали
Певца свободы и вина.*

Как видим, звучный титул, широко используемый нами, вырван из контекста тонкой самоиронии автора стихов, который вряд ли мог предположить, что по истечении времени потомки из числа политических фанатов эти два слова захотят отлить из бронзы и в таком виде накрепко прилепить к его имени.

Более “продвинутым” почитателям Пушкина свойственны нескончаемые споры совсем иного рода. Когда именно “на смену бешенству пришло мудрое смирение, давшее силы возвыситься над исковерканной судьбой и ласково ей улыбнуться”? Когда и почему он “закалялся” писать “либеральный бред”? Когда на смену сочинителю “Вольности”, “Кинжала”, “Гречанка верная! не плачь...” явился совсем другой поэт, автор “Евгения Онегина”, “Бориса Годунова” и “Графа Нулина”? Когда его блистательные стихи наполнились очаровательным лукавством, мягкой иронией, тёплым юмором, и в них запульсировал сокровенный нерв русского характера?

Обычно исследователи задаются вопросами: “Что стряслось? Что сделало его осторожным, опасливым и лояльным, что обусловило резкую, глубокую перемену в творчестве и мировоззрении?”.

Ответы предлагают разные. Например: “Юношеский либерализм Пушкина носил заёмный характер и был данью модным умонастроениям, о чём писали в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель, П. А. Катенин, П. А. Вяземский. Над своими свободолюбивыми стихами сам поэт впоследствии смеялся, что прямо засвидетельствовали Кс. А. Полевой и В. Г. Белинский”.

Или: “Пушкин преобразился между двух вёсен, 1822-го и 1823-го года”. Отрезвление произошло в связи с арестом В. Ф. Раевского.

Немного истории. По большому счёту, было отчего и преобразиться, и отрезветь. При отсутствии прямых улик, по одному лишь подозрению в антиправительственной агитации среди солдат, которых он учил грамоте, Владимир Раевский провёл в одиночном заключении шесть лет. Однако вины за собой не признал и никого не выдал. В конце концов, Следственная комиссия вынесла Раевскому смертный приговор, после которого последовало разбирательство ещё в пяти правительственных комиссиях. В 1827 году майор В. Ф. Раевский был лишён дворянства, офицерского чина, всех наград (после Бородинского сражения он был награждён золотой шпагой за храбрость, а за отличие у деревни Гремячево – орденом Анны 4 степени) и сослан на поселение в Сибирь. Там он провёл 29 лет, жил крестьянским трудом, устроил школу для крестьянских детей.

Радикальная версия гласит, что основной причиной пушкинского кризиса стал “ряд крупнейших политических событий, резко видоизменивших картину революционной борьбы на Западе”. Мол, последовавший разгром испанских инсургентов и укрепление диктатуры душителя свободы Аракчеева заставили трезвого и зоркого поэта разочароваться в перспективах революционных движений. Поэт, конечно, оказался прав: к осени 1823 года все революционные движения в Западной Европе оказались разгромлены – откуда было взяться оптимизму!

Более мягкий, житейский, вариант предлагает видеть объяснение в пережитом Пушкиным к осени 1822 года полном крушении своих надежд на освобождение. Из опасения ещё худшего разворота событий он и сделал соответствующие выводы.

Самая желчная точка зрения ведёт отсчёт уже с весны 1821 года. Оказывается, именно тогда поэт подверг кардинальному пересмотру свои либеральные воззрения и решил оборвать политические струны на своей лире. Причиной душевного и творческого перелома становится разочарование Пушкина в масонстве. Братья-масоны, генералы М. Орлов и П. Пущин, на глазах поэта явили свою немощь. Один собрат был лишён должности, другого – са-

мого мастера логи! — отстранили от службы, и он ищет денег на отъезд, третий — майор В. Раевский, поэт и близкий друг Пушкина — и вовсе брошен в тюрьму. А Пушкин, только-только принятый в ложу, оказался совсем один, и ему не на кого было опереться. Как бы самому не загреметь в каталажку! А ведь он уже мыслил себя, “ни много, ни мало, избранником небес и главным врагом царствующего монарха, будущим российским Наполеоном”. По крайней мере, именно таким хочется представить поэта тем, кто озабочен не уходом Пушкина от настроений “политического радикализма”, “атеизма” и от увлечения антихристианской мистикой масонства, а желанием унижить духовно созревающего Пушкина.

Не хочется говорить “красиво” и повторять заурядно демагогическое, что “вечно работающий гениальный ум Пушкина раньше многих его современников понял лживость масонства и вольтерьянства и решительно отошёл от идей, связанных с вольтерьянством и масонством”.

Но нельзя не сказать, что Пушкин, довольно рано соприкоснувшийся с радикальными политическими идеями, достаточно быстро в них разочаровывается. Тому есть немало свидетельств. Вот запись Липранди, которого вряд ли можно заподозрить в желании приукрасить “поведение” поэта:

“Когда Пушкин в первый раз увидел Пестеля, то, рассказывая о нём, говорил, что он ему не нравится и, несмотря на его ум, который он искал высказывать философскими тенденциями, никогда бы с ним не смог сблизиться. Пушкин отнёсся отрицательно к Пестелю, находя, что властность Пестеля граничит с жестокостью”.

В записях самого Пушкина можно найти чёткое обоснование его отношения к Пестелю:

“Могучий ум Пестеля удивлял, хотя не со всем я был согласен”.

“Он готовил заповедную грамоту великого народа российского, служащую заветом для усовершенствования России и содержащую верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления, полагая, как и свод древнерусского права, назвать её Русской Правдой. Вот некоторые его смелые мысли:

“1. Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д.

2. Конституции уже являются крупным шагом в человеческом сознании, и этот шаг не будет единственным — ибо принцип вооружённой силы прямо противоположен всякой конституционной идее.

3. Всегда будет гильотина: то, что полезно обществу, вводится в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противоречат; так как этого можно достигнуть только средствами жестокими и ужасными для человечества”.

Очевидно, что эти ужасные средства — революции. Вот они и настали”.

Не произошло сближение Пушкина и с поэтом Кондратием Рылеевым. Призывы Рылеева и Волконского отдать своё вдохновение на службу подготавливаемой революции вместо ожидаемого положительного отклика Пушкин подвергает насмешкам. В его письмах мы читаем:

“Цель поэзии — поэзия, — как говорит Дельвиг (если не украл). Думы Рылеева целят, и все невпопад”.

“Что сказать тебе о “Думах”? (поэтический цикл Рылеева, который создавался в 1821–1823 годы, а в 1825 году был издан отдельной книгой. — А. Р.). Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы “Петра в Острогжске” чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой, составлены из общих мест: описание места, речь героя и нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имён”.

В одном из писем Пушкин даже шутит, что, по его мнению, название “Думы” происходит от немецкого слова *Dummkopf* — ‘дурак, глупец’. Не принял Пушкин и политического радикализма Рылеева, на что указывал Плетнёв.

Поэтому совершенно неудивительным, наоборот, чрезвычайно характерным представляется поэтическое признание Пушкина, написанное в том же 1821 году:

*Всегда так будет и бывало,
Такой издревле белый свет:*

*Учёных много, умных мало,
Знакомых тьма, а друга нет.*

Кто-то, глядяваясь в один из узловых моментов биографии Пушкина, ищет и находит “кишинёвский перелом”, кто-то диагностирует “одесский кризис”, кто-то определяет “радикальную перемену взглядов”, но для Пушкина это не было изящным кульбитом с переворотом на 360 градусов. Поэзия как была, так и оставалась для него таинственной областью вдохновения. Поэтому чем дальше, тем больше поэт опасался культурного диктата будущих декабристов. Он видел их нескрываемое желание обратить искусство на службу политике, превратить литературу, как он иронично выразился в одном из писем к Рылееву, в *республику словесности*.

Кто-то предпочитает, всматриваясь в самого Пушкина, обнаруживать в нём “дьявольски самолюбивого, тщеславного, весьма расчётливого, хотя и безалаберного” человека, считая, что поэт “всегда зависел от денег, царя, читателей, критиков, сплетен, предрассудков, то есть от собственных потаённых страхов”. Говорят, что он “в стихах яростно обманывал себя, провозглашая свою абсолютную независимость”.

Читая подобное про Пушкина, я, признаюсь, с улыбкой вспоминаю строки из пушкинского письма 1821 года брату Льву. Вроде бы не на тему, но по сути — в самое что ни на есть “яблочко”:

“Пиши ко мне, покамест я ещё в Кишинёве. Я тебе буду отвечать со всевозможной болтливостью, и пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку”.

Примечательно, что уже в 1822 году в Кишинёве Пушкин пишет “Исторические заметки”, и мысли, заключённые в них, надо признать, служат опровержением политических взглядов декабристов. Потому представляется само собой разумеющимся, что, когда Пущин приезжал к Пушкину в Михайловское, поэт не поддержал начатый другом разговор о тайном обществе. Нашёл самую что ни на есть убедительную мотивировку отказа и обратил всё на себя: *“Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь! Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям”.*

Мне кажется, что в январе 1825 года в Михайловское Пущин приезжал не как близкий друг поэта, а как декабрист, пытавшийся поставить точки над “i”: окончательно прояснить, могут ли заговорщики надеяться на участие Пушкина в заговоре? После долгих споров и разговоров вокруг да около Пущин сделал резонный вывод, что Пушкин не разделяет идею революционного переворота, а потому рассчитывать на него как на члена тайного общества не приходится.

А как тогда, спросите вы, расценивать пушкинские слова на прямой вопрос царя, что бы он сделал, будь он 14 декабря в Петербурге? Ведь он смело или даже, можно сказать, довольно нахально ответил, что **вышел бы** на Сенатскую площадь? Ничего удивительного, а тем более вызывающего в том, что он и впрямь вышел бы на площадь, я не нахожу. Не сомневаюсь: вышел бы, однако совсем не потому, что его убеждения совпадали с убеждениями восставших, а идеалы были близки к декабристским. Как известно, Иван Андреевич Крылов, который тоже не разделял взгляды восставших и даже осуждал их, отвергая попытку изменить жизнь насильственным путём, тем не менее, посчитал своим долгом быть на Сенатской площади — его там видели!

Из воспоминаний можно заключить, что Крылов порицал восстание, рассматривал события 14 декабря как трагедию, или, говоря языком того времени, признавал, что рука Всевышнего покарала их за многие дурные намерения, но это не мешало ему глубоко сочувствовать осуждённому, горевать об их ужасной участи. Был на Сенатской площади 14 декабря и очень далёкий от идей декабристов Карамзин. Так что смешивать без разбора политические и человеческие симпатии, убеждения и поступки, видеть в личности обтёсанный телеграфный столб, — по меньшей мере, глупо.

Замечу, однако, что встреча друзей чуть позже будет иметь ещё одно, сугубо литературное продолжение, о котором именно в этой связи не всегда вспоминают. Своеобразным ответом на висевший во время разговора друзей в воздухе вопрос станет пушкинская элегия “Андрей Шенье”, которую он напишет через несколько месяцев после приезда Пущина — в мае-июне 1825 года. В ней найдут выражение раздумья Пушкина о Французской революции и

гражданской позиции, отношениях поэзии и политики, чётко прозвучит мотив сближения судьбы поэта с гонимым тираном Андреем Шенье. Тем самым Пушкин обоснует своё неприятие революционного пути.

И хотя стихотворение было написано за полгода до “стояния на Сенатской площади”, после восстания декабристов оно стало распространяться в рукописных копиях с провокационной надписью “На 14 декабря”. Началось расследование, и Пушкину пришлось четыре раза в продолжение 1827 года давать официальные объяснения о происхождении и смысле стихов из “Андрея Шенье”. Пушкин на допросе был вынужден давать письменные “показания”:

“Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последующих мятежей и помещены в элегии “Анри Шенье”, напечатанной с пропусками в собрании моих сочинений. Они явно относятся к французской революции, коей А. Шенье пал жертвой. Все стихи никак, без ясной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное название. Не помню, кому мог передать мою элегию “А. Шенье”.

Александр Пушкин. 27 января 1827 года”.

Монархическая направленность “Андрея Шенье” была очевидной, тем не менее граф Кочубей – он вёл следствие по делу, – бывший Председателем Государственного Совета, настоял на том, чтобы Пушкина взяли под секретный надзор, и предложил взять с него расписку, чтобы он (вопреки обещанию Николая I “быть его цензором”) сдавал свои произведения в обычную цензуру.

Спустя годы П. А. Катенин заметил по поводу пушкинских “замашек либерализма”: *“Правду сказать, они всегда казались мне угождением более моде, нежели собственным увлечением”.*

Сегодня можно прочитать, что в молодости умеренные либеральные идеи поэта носили “целиком заёмный характер”, что в оде “Вольность” отразились воззрения Н. И. Тургенева и политические концепции Союза Благоденствия. Одно непонятно, когда читаешь такое: что именно ставится в упрек поэту? То, что он принял идеи Н. И. Тургенева, или то, что в юные годы не сумел самостоятельно выработать систему политических воззрений и не сформировал своей собственной политической концепции? Но когда он её сформировал, почему-то вновь не обошлось без претензий. На этот раз потому, что его концепция не совпадала с той, какой от него ожидали масоны и декабристы. Вот и недовольство многих нынешних “исследователей”, если откровенно, обусловлено ничем иным, как неприятием политических воззрений Пушкина, возникших у него на Юге и сложившихся в систему в Михайловском.

Среди зацитированных строк чаще всего по этому поводу фигурирует отрывок из пушкинского письма А. И. Тургеневу, имеющий отношение к оде на смерть Наполеона: *“Эта строфа ныне не имеет смысла, но она написана в начале 1821 года, – впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях...”*

Детально, что называется, с лупой рассмотрены и выражение “последний либеральный бред”, и слово “закаялся”. Какой вывод делается из всей этой истории? Слова говорят разные, но всё сводится к тому, что *“употреблённое Пушкиным слово прямо подразумевает, что человек сожалеет о происшедшем и даёт себе зарок воздерживаться от поступков непозволительных, опасных, имеющих плачевные последствия. В данном случае – зарок не писать “либерального бреда”.*

“Чем же вызвана столь постыдная и страшная утрата всех моральных ориентиров? Что ввергло молодого Пушкина в такую горькую бездну?”

“... поэт в расцвете творческих сил сам заткнул себе рот кляпом”.

“Молодой “певец свободы” успешно перевоспитался и с тех пор старался ладить с правительством на протяжении всей оставшейся жизни”.

Похоже, у современных авторов к Пушкину одна-единственная претензия. Не важно, **когда** он “зарёкся” писать гражданственные, политические стихи. Ужасно, что вчерашний бесшабашный храбрец-оппозиционер, готовый “на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России” таки “приучил себя держать язык за зубами”. Приобрёл “похвальную привычку полностью скрывать свои политические убеждения и не перечить властям”.

Выходит, когда он следовал за будущими бунтарями-декабристами, он был хорош. Но стоило ему высказать собственное мнение, сказать, что “бунт и ре-

волюция мне никогда не нравились”, а “Кинжал” не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно”, как тут же мы выбираем другую оценку – со знаком минус – и обвиняем поэта в “столь постыдной и страшной утрате всех моральных ориентиров”.

Вот если бы декабризм стал политической программой Пушкина, слился бы со всей жизнью поэта, и он хранил бы ему верность до гроба, всё было бы прекрасно, и сколько патетики-патоки можно было бы вылить в его адрес!

Если продолжал бы сочувствовать слабым и сирым вместо того, чтобы выказать ледяное презрение поверженному и обездоленному народу, которого мало волнует собственная свобода, слыть бы ему истинным патриотом, а так...

Да, ещё в середине 1822 года Пушкин вполне резонно считал “скотами” не угнетённых, а их угнетателей. Можно предположить, что до определённого времени он был уверен в конечной победе народных восстаний. Но результаты революционных движений в Западной Европе, понимание бесперспективности политических пертурбаций отечественных революционеров-заговорщиков приводят Пушкина к мысли, что революционный путь – не единственный, не лучший, далеко не лучший, больше того – совсем не годящийся для России, страны с тем неуклюжим устройством, какое в ней есть, с “набором” неорганизованных революционеров-реформаторов, какие имеются на политическом небосклоне, с тем жизненным укладом, при котором порядочному человеку ничего сделать нельзя, и теми традиционными взглядами людей, которые определяют характер и поведение народа.

*Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.*

Пушкинское вольномыслие оказалось “разменной монетой” в системе отношения к поэту. Одними пушкинистами масштабы и значимость его гражданской лирики преподносились непомерно раздутыми. Для других она “была лишь частью тех весёлых мистерий, которые, кроме фронды, включали в себя вино и женщин”. Третьи останавливались на умеренных взглядах, привитых своему питомцу ещё лицейским профессором А. П. Куницыным – противником крепостничества, который проповедовал принцип равенства всех граждан перед законом как гарантию против деспотии.

Этим спорам уже много лет. Исповедовал ли Пушкин “ненависть к самодержавию”, являлся ли он сторонником конституционализма или изо всех сил старался ладить с правительством и был противником своих друзей-декабристов, поднявших руку на монархию?

Начиная с Б. В. Томашевского, идёт разговор о том, что Пушкин не скрывал “антипатии к тактике вождей Французской революции эпохи террора”. При этом цитируется письмо к Петру Вяземскому от 10 июля 1826 года, в котором поэт сознаётся: *“Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков”*.

Но куда примечательней те оценки-комментарии, которые сопровождают сегодня те или иные строки его писем. Только что процитированное послание сопровождается утверждением: мол, по-видимому, это написано не в расчёте на перлюстрацию, а вполне искренне.

Но вот несколько ранее – 7 марта – в письме к Жуковскому Пушкин писал: *“Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости”*.

К этим строкам письма прикреплена уже другая “бирочка”: и это написано совершенно искренне, но вместе с тем, разумеется, в расчёте на перлюстрацию.

Странные, однако, мы читатели. Всегда хотим привести к некоему общему знаменателю. А потому легко домысливаем за того, кого вроде бы причисляем к гениям. Словно сами вылеплены из того же теста и воспринимаем всё точь-в-точь так же, как он. Запросто мерим своим аршином: здесь поэт сказал так, зная, что письмо будет вскрыто “кем следует” и прочитано, а здесь, конечно же, написал не в расчёте на перлюстрацию. Уж мы-то ведаем наверняка! А потому без зазрения совести совершаем открытия: “певец свободы”

Пушкин, оказывается, вовсе не был революционером и противником монархии, которой, в его понимании, надлежало лишь в рамках законности обеспечивать “свободу, правовой порядок и просвещение”.

Конечно, после того, как годы и годы советское литературоведение объявляло поэта безусловным революционером и противником монархии, подобное в корне противоположное высказывание выглядит очень смелым. Но позволю себе думать, что задай я сегодня какому-нибудь французу вопрос о роли государства, услышу в ответ, что власти надлежит в рамках законности обеспечивать свободу, правовой порядок и просвещение, причём даже в таком именно порядке. Получается, что Пушкин, если разобраться, не был ни революционером, ни консерватором, ни контрреволюционером, он всего лишь глядел в завтрашний день.

Но каково после этого читать, будто не столь уж существенно, что ум Пушкина был лишён теоретической складки, у него, мол, хватает других достоинств и заслуг? Каково слышать предложение учесть, что почерпнутые поэтом извне, наносные политические убеждения впоследствии не выдержали проверки на прочность?

Но такой Пушкин вроде бы никому и не интересен, ибо обязан быть либо революционером, либо контрреволюционером. И тогда в первом случае понятно, почему весной 1822 года разъярённый Пушкин на все корки костерил правительство и грозился собственноручно вешать дворян. А во втором случае опять же понятно, почему ему тогда вконец опротивело “барахтаться в грязи молдавской”, как он однажды выразился.

Непонятно, как одно соединить с другим. Трактовали и так, и сяк. О “карающем кинжале” и “кровавой чаше” писал? Писал. А потом перестал? Перестал. Значит, нет “неизменно искреннего” Пушкина, а есть грубый лжец. Есть и такая модная концепция. Исходя из неё, утверждают, что в 1821 году поэт “закаялся” писать стихи в оппозиционном духе, и после 1822 года он всю последующую жизнь уже не позволял себе никаких резких высказываний, которые могли бы вызвать неудовольствие властей, заронить малейшие подозрения в его нелояльности. Странное дело, факт чрезвычайно раннего и быстрого поэтического развития Пушкина удивления ни у кого не вызывает. А вот кишинёвский перелом, совершившийся на протяжении полугода, представляется слишком быстрым.

Как же так: пылкий юноша, искавший “цель благородную”, попробовавший себя “в роли” неистового бунтаря-тираноборца, превращается (далее только цитаты, которые говорят сами за себя):

... в “циничного эгоиста и мизантропа”;

... в “смирного и здравомыслящего монархиста”;

... в “апологета чистого искусства, впрочем, не гнушающегося рифмованными славословиями царю или острыми политическими стихами, написанными по личной просьбе самодержца (например, “Клеветникам России”)”.

И объясняет это превращение испуг — “глубочайший страх перед властями, угнездившийся в душе поэта на всю оставшуюся жизнь”.

В своё время, пытаюсь проникнуть в непростой мир творчества другого величайшего поэта — Ивана Андреевича Крылова, — тот мир, который и сегодня продолжает таить ещё немало тайн, я в повествовании “Звери мои за меня говорят”, или Загадки статского советника и кавалера Ивана Андреева сына Крылова” должен был признать, что фактор страха сопровождал баснописца всю его творческую жизнь. Но в случае с Пушкиным согласиться с этим нет никакой возможности. Хотя бы потому, что, вспоминая через десять лет свою жизнь в Михайловском, сам поэт писал:

*Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой...*

Здесь, в псковской глуши, его дар стал мудрее и сильнее “идеологии”, навязываемой ему масонами и декабристами. Брошенный в тюрьму Владимир Раевский адресует Пушкину стихи, в которых призывает его посвятить лиру гражданскому служению. Однако Пушкин отвечает на призыв друга отказом. При этом он указывает на совершенно неубедительную, как представ-

ляется иным исследователям, причину, а именно: равнодушие читателей к его творчеству.

И это несмотря на то, что стихотворение “Кинжал” пришлось по вкусу революционерам-заговорщикам и стало крайне популярным в их среде!

И это в ту пору, когда, по свидетельству декабриста И. Д. Якушкина, “все его ненапечатанные сочинения: “Деревня”, “Кинжал”, “Четырёхстишие к Аракчееву”, “Послание к Петру Чаадаеву” и много других – были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал бы их наизусть”.

И это, как нам известно, в той ситуации, когда многие Пушкиным восхищались.

Но Пушкину, надо признать, мало восхищения почитателей и революционеров, он ощущает потребность, чтобы его всем сердцем на века полюбила вся Россия. В Михайловском он приходит к убеждению, что каждый образованный человек должен вдуматься в государственное и гражданское устройство общества и, по мере возможностей, неустанно способствовать его улучшению.

Отшумели бури юношеского отрицания, сброшено иноземное вольтерьянство, и поэт обращается к подлинной, старинной русской жизни, начинает изучать русскую историю, читает летописи, записывает народные сказки и песни.

Из письма к брату в октябре 1824 года: “Вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки **проклятого** своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма”.

И несколько позже он пишет Н. Раевскому: “Моя душа расширилась, я чувствую, что могу творить”.

Забегая немного вперёд, тут будет уместно сказать о том, что летом 1827 года в неприбранном холостяцком номере трактира Демута, где поэт тогда обитал, Пушкин напишет восьмистишие “Три ключа”, настроение которого явит нам обрётённое им мировоззрение:

*В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробилась три ключа:
Ключ юности — ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит,
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.*

Величие и тихое сердечное просветление этих мудрых строк – лучшее объяснение того, почему после Михайловского Пушкин не написал ни одного стиха, разящего власть, ни одной богохульственной строчки, которые раньше, на потеху минутных друзей, легко выходили из-под его пера.

И в завершение этой темы хотелось бы сослаться на суждение Петра Вяземского, возможно, лучше других знавшего политическое мировоззрение Пушкина и декабристов. В критической статье о поэме Пушкина “Цыганы” он писал:

“Натура Пушкина была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нём было более любви, нежели негодования; более благоразумной терпимости и здоровой оценки действительности и необходимости, нежели своевольного враждебного увлечения. На политическом поприще, если оно открылось бы пред ним, он без сомнения был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Так называемая либеральная молодая пора поэзии его не может служить опровержением слов моих. Во-первых, эта пора сливается с порою либерализма, который, как поветрие, охватил многих из тогдашней молодёжи. Нервное впечатлительное создание, каким обыкновенно родится поэт, ещё более, ещё скорее, чем другие, бывает подвержено действию поветрия. Многие из тогдашних так называемых либеральных стихов его были более отголоском того времени, нежели отголоском, исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был Эолова арфа либерализма на пиршествах молодёжи, и отзывался теми веяниями, теми голосами,

которые налетали на него. Не менее того он был искренен, но не был сектатором* в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был сектатором чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить её должно, как не может не любить её каждое молодое сердце, каждая благороденная душа. Но из этого не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером”.

“Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали и применили такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нём готового соумышленника и, к счастью его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому соображению и расчёту их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушения 25-го года, нежели желанию, как многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкина, но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политическую: быть или не быть”.

7 ноября Пушкин ставит последнюю точку в трагедии “Борис Годунов”. И в тот же день именно Вяземскому пишет ставшие знаменитыми весёлые и одновременно печальные строки: “Трагедия моя кончена; я перечёл её вслух, один, и бил в ладоши и кричал: “Ай да Пушкин, ай да сукин сын!” <...> Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию, — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!”.

Происходит окончательное прощание с романтизмом. Последние точки над “i” он ставит в стихотворениях “К морю”, “Разговор книгопродавца с поэтом” и поэме “Цыганы”, которая завершила его спор с Байроном, наметившийся в первой южной поэме “Кавказский пленник”.

Мотив разъединения с людьми в “Цыганах” предвещает, как видим, события декабря на Сенатской площади. Убийство, как мы видим у Пушкина, — злодеяние, которое ведёт человека к забвению своего истинного предназначения и высшей правды. Человек сотворён не для тёмных деяний, какими бы намерениями он ни руководствовался.

Тема крови найдёт своё решение в “Борисе Годунове”. Почему Борис Годунов столько времени не решается принять царский венец? Потому что “кровь невинного младенца ему ступить мешает на престол”. Почему народ не принимает Бориса? Из-за того, что на нём кровь царевича Димитрия. Заставляя своего героя испытывать нравственные мучения, Пушкин говорит нам: “... Жалок тот, в ком совесть нечиста”. Никакое общественное благо недостижимо путём преступления, никакая “высшая власть” не может, не должна основываться на крови невинных.

Есть ли в мире право, разрешающее преступить грань, отвергнуть “все нормы зла и добра ради единственного блага — торжества своего я”? Можно или нельзя? Можно совершить преступление, не погубив себя, не убив свою душу? Если нельзя, то что может помешать? Только одно — совесть.

Позже Пушкин ещё не раз вернётся к этой теме: и в “Пиковой даме”, и в “Медном всаднике”, и в “Капитанской дочке”, и в “Моцарте и Сальери”, где Сальери, вроде бы абсолютно уверенный в своей правоте, в своей правде, никак не может забыть реплику Моцарта о “гении и злодействе”.

Поэт уже не ищет в истории тиранов и жертв, его не устраивает и “фаталистический взгляд” на события и судьбы, которому ещё вчера он следовал. Приходит время, когда приоритетным принципом для поэта оказывается “хладнокровие”. Отказ от политизации поэзии приводит его к трезвому скептицизму в оценке современности и отрицанию своеволия в политике, к осознанию нелепости рассуждений о благородстве или неблагородстве тех или иных исторических деятелей без уяснения характера общих законов. Говоря современным языком, можно сказать, что в своём творческом подходе к решению проблемы Пушкин проявил искусство системного мышления.

“В тиши черновиков” Пушкин размышляет и пишет свои, как объявило бы нынешнее телевидение, “песни о главном”. Они не о любви, они об истории и историзме, морали и политике, гении и злодействе. Его не устраивают обе “модные” крайности: ни восторженный панегирик, ни тираноборческое обли-

* Последователь секты.

чение. Именно с точки зрения объективности он из своего Михайловского прославляет (даже преувеличенно) Карамзина, противопоставляя его “историкам-декламаторам”. Отсюда и грустные слова про “колпак юродивого” в письме Вяземскому. Пушкин убеждает других, хотя, конечно, больше всё же самого себя, что надевает его взамен красного, революционного, “фригийского”. Хотя и вынужден признать, что, увы, “никак не упрятать ушей...”.

Имеющий уши услышит здесь звуковой фон разговоров и споров о судьбах России и политических путях её преобразования сторонников идеи тираноубийства, всё с большей настойчивостью обсуждавшейся в конспиративных кругах. Этот фон века в исторической драме Пушкина современниками был замечен. Впрочем, сам Пушкин его и не скрывал. “Мы живём во дни переворотов – или переоборотов (как лучше?)”, – с тревогой писал он издателю и журналисту М. Погодину в январе 1831 года опять же в связи с “Борисом Годуновым”. Тем самым он прямо указывал на современность, а вовсе не на пати́ну времени, какая сопровождает его “изображение прошлого”. Прошлое, предвещающее гибель Александра II от брошенной бомбы для достижения благородных целей, – это событие случилось спустя полвека после декабрьского восстания, оно подтвердило, что история, не вняв Пушкину, последовала за житейской философией “молодых якобинцев” и осталась прагматической-бесчеловечной.

Когда Пушкин выводил пером строки трагедии, он писал не историю Бориса Годунова, он писал Гражданский кодекс, по которому, если отторгнуть святость от престола, не будет и самого права на власть. Из чего следует: убить законного царя – значит, отделить власть от святости и править людьми как угодно, но не именем Бога. Но тогда движущей силой событий становится умение “народ искусно волновать”. Словом, любой, у кого хватит ума сесть на трон, будет царём. Любой самозванец может получить власть, лишённую таинственного ореола. Всё выльется в дурную бесконечность, в чехарду, имеющую на Руси своё точное определение: “смутное время”, когда каждый, захвативший трон, занят одним: требует от народа клятвы в верности, будь то присяга или молитва. А народу ничего другого не остаётся, как послушно кричать: “Да здравствует царь...”

Доведись Пушкин стать участником нашего разговора, он взглянул бы на актуальную по сию пору для русского народа проблему не самым ожидаемым нами образом. Ещё тогда, в своё время, задолго до отмены крепостного права, он думал и писал то, что многим из нас кажется невозможным:

“... Конечно: должны ещё произойти великие перемены; но не должно топтать времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...”

Это сказано в 1834 году в “Путешествии из Москвы в Петербург”, где Пушкин полемизирует с Радищевым. Но сам вопрос о русском народе поставлен им в “Борисе Годунове”. Если попытаться реконструировать логику пушкинского размышления, можно увидеть, что ход мысли ведёт его к совсем не сказочной развилке трёх дорог.

Налево пойдёшь – якобинский деспотизм найдёшь, который по мере проникновения в Россию грозил России временами “ужаса”. Почему так, а не иначе? Потому что по своему устройству и воздействию на людей и историю страны механизм событий оказывался безжалостным и оборачивался всё более страшными последствиями. Так оно и вышло: декабристы разбудили Герцена, следом пришли террористы “Народной воли”, а там уже и большевики пожаловали. Обещанная свобода превратится в свою противоположность, братство – в гражданскую войну. На смену же равенству быстро придёт бюрократический режим, в котором сила сметёт традиции, мораль, религию, а партийные разногласия по поводу власти станут разрешаться кровавой резнёй.

Направо пойдёшь – наткнёшься на стихию крестьянского бунта, “бессмысленного и беспощадного”, с его кровавыми инстинктами толпы. Эта стихия привлечёт внимание Пушкина. Он будет пристально всматриваться в Болотникова, Разина, самозванца Пугачёва. Действительно, в чём-то страшный народ. С одной стороны, такой бескорыстный, но с другой – не дорожит своей собственностью, да и к чужой относится не лучше. “Борисом Годуновым” Пушкин станет нащупывать связь между страстью к воле и сопротивлением насилию власти. Художественное исследование этой дороги поведёт его

к “Дубровскому”, “Истории Пугачёвского бунта”, “Капитанской дочке” и далее – к “Медному всаднику”.

Прямо пойдёшь – встретишь презрение общества, цинично презирающего саму мысль о необходимости человеческого достоинства, равнодушного ко всему, что является справедливостью, долгом и правом.

В контексте российского бытия Пушкин, не закрывая глаза на деспотизм в монархической форме, из всех зол выбирает, как ему кажется, меньшее: “спасительную пользу самодержавия”. По разным причинам: и потому, что отсутствовало действенное общественное мнение, и потому, что “правительство – всё ещё единственный европеец в России”, и потому, что только здесь можно было искать в национальном опыте и народной среде силы, способные противостоять деспотизму в любых формах. Или, как он повторит в “Путешествии из Москвы в Петербург” вслед за Радищевым (кажется, это было единственное, в чём они сошлись): *“Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу”*.

ОТЗЫВЫ О РОМАНЕ В. И. ЩЕПОТКИНА

Роман “Крик совы перед концом сезона” я читала долго, что мне несвойственно, даже забыв про освоенную методику быстрого чтения. Две-три страницы... и глаза теряют строчки. А я бегаю по квартире и... продолжаю не книжные, а свои диалоги с Карабановым, Волковым, Фетисовым... Да кого тогда, в конце 80-х и начале 90-х, не мучила, не терзала двойственная действительность развитого социализма, распирающая радость горбачёвской перестройки и глубокое разочарование и в лидере, и в его политике? “Да, товарищ-господин автор, зацепили меня”, – проносится в голове, а мобильник уже соединяет с друзьями. И мы через веси и расстояния, города и страны ведём свои разговоры. Я пересказываю, порой зачитываю страницы из “Крика совы...” Не стану лукавить, но ключевым словом во всем этом было слово “Щепоткин”. Как только я произносила фамилию автора, то ответная реакция не давала сбоев. И тут надо напомнить, что Вячеслав Щепоткин – в те годы ведущий журналист “Известий” – просто взорвал общественность своими статьями. Он первым заговорил о том, на что было наложено негласное табу: в многонациональной стране – о махровом национализме в братских республиках, на родине развитого социализма – о протекционизме и коррупции в верхних эшелонах власти. Это была смелость. Гражданина, профессионала-газетчика. Поэтому такой интерес и доверие теперь уже к слову писателя Вячеслава Щепоткина. Его герои, в какой-то степени, – мы, чья юность, зрелость совпали с переломами в стране. Нам понятны и созвучны их тревоги, метания, сомнения, переживания за страну и за собственную судьбу. Но я хочу, чтобы и в современный мир, где ныне приоритет детективов, фэнтези, лавстори, популяризации здорового образа жизни, пришла настоящая литература. Как же мы, читатели, соскучились по герою нашего времени – современнику! Уверяю, в книге Щепоткина он, вернее они, есть.

Наталья Бондаренко, журналист
Смоленск

* * *

Коротко о прочитанном в “Нашем современнике”. Залпом прочитала замечательный роман В. Щепоткина “Крик совы перед концом сезона” и ещё буду перечитывать!

В. Останина
пос. Таврическое Омской области

* * *

Наверное, я не буду первооткрывателем нового жанра в нашей литературе – публицистическая беллетристика или беллетризованная публицистика. В этом жанре написан последний роман Александра Проханова, к этому же

жанру можно отнести и роман журналиста, публициста, прозаика **Вячеслава Щепоткина** “Крик совы перед концом сезона”.

Роман Щепоткина посвящён событиям 20-летней давности, то есть периоду распада СССР. Тема, конечно, не новая и, казалось бы, уже обсужденная миллион раз, но всё же событие такого немаленького масштаба возможно объективно осмыслить только тогда, когда оно из разряда политики перейдёт в разряд истории, то есть примерно тогда, когда сменится поколение. А пока ещё живы и очень даже здоровы не просто современники, но и участники тех событий, объективизма достигнуть нелегко.

Щепоткину устами и глазами своих героев удалось сообщить и показать нам (по крайней мере, мне) немало нового и с непривычного ракурса. Мы жили в те годы и хорошо помним наше недоумение и негодование по поводу внезапного исчезновения с прилавков всего. А Щепоткин буквально на пальцах показывает нам, что это было не случайностью и не катастрофой, а заранее продуманным и просчитанным планом, направленным именно на развал СССР.

Очень интересно было заново вспомнить и переосмыслить историю отделения от СССР прибалтийских республик, событий в Тбилиси 1989 года, историю разрушения советской ПРО (кратко рассказаны события 1983 года на полигоне Сары-Шаган и показана роль Горбачёва в свёртывании противоракетных программ). А сам развал СССР? Как бы мы ни относились к этому событию – кто “за”, кто “против”, – но ведь сам распад государства был актом, противоречащим действовавшему тогда закону, в котором был прописан регламент выхода республик из состава СССР. Нет, не стали ещё историей события 20-летней давности, слишком сильно они ещё задевают и тревожат нас.

Недавно мы обсуждали воспоминания Тимура Пулатова о том, как после провала ГКЧП нувориши во власти пытались захватить здание Союза писателей. Щепоткин показывает нам те же события, но уже глазами не писателей, а самих нуворишей.

Что касается внешнего сюжета романа, то он довольно прост. Пятеро приятелей-охотников выезжают на природу поохотиться, а долгими зимними вечерами ведут беседы о том, что же происходит в стране. Взгляды у всех разные, поэтому каждый из них выражает определённую позицию. Более того, в острые моменты нашей истории друзья оказываются по разные стороны баррикад.

Роман читать было очень интересно, и даже не столько как роман, а как переосмысление нашей недавней истории.

Оксана Лебеда
Москва

* * *

Проблема в том, что всегда есть внешний и внутренний враг у людей и отдельных стран. Причём неудивительно, что такие страны оказываются не в мировых лидерах.

Простому народу втирают и втирают, и ввливают правду развала, И некоторые хотят верить, вот что удивительно!

Мы уже говорили о том, что Москва не Россия и тем более не Украина, и как мы закупали в Москве продукты, произведенные во всех республиках... и хлопкоробских и хлеборобских... а ведь граница переезда от Украины к России была заметна невооруженным глазом: аккуратненькие украинские домики и садики и неухоженные русские деревни – *пардон, пардон...*

Украина, как мы уже говорили, честно проголосовала за отделение... Мы голосовали, а нас не свозили на автобусах и не грозились прижать на работе, о чём мне сейчас рассказывают некоторые москвичи и прочие российские граждане.

Короче, Союз развалился, а власть осталась, и вместо тихого воровства теперь загибают открыто, а для простого народа как было бесправие, так и осталось... Сейчас вот мигранты... Да в Америке – миллионы нелегалов, а в Нью-Йорке – 60% иммигрантов или их детей в 1-м поколении дают 20% налогов бюджету Нью-Йорка от малого бизнеса... Кому мешают, а кому помогают!

Вот Северная Корея – там тоже своя правда, и целая страна в неё верит. . .
Пора уже самим разбираться. . . Иначе придёт политик, навесит желанную лапшу на уши, и воз с радостью пойдёт за таким его руководителем.

Валерий Ковбас
Москва

* * *

Запоем читаю роман Вячеслава Щепоткина “Крик совы перед концом сезона”. Причём не просто читаю, а вдумчиво, часто отрываясь от текста, вспоминая и переосмысливая события более чем 20-летней давности. Несмотря на то, что я и сам был в гуще политических событий, был делегатом последнего, XXVIII съезда КПСС, я много узнал из романа нового, доселе неизвестного. Роман читается легко. Автор написал его честно. Это основательный и серьёзный трактат о трагическом для советского народа и его Великой страны времени. Роман вполне может стать настольной книгой как для молодых, так и для искушённых политиков. Я тоже не приемлю заклинания всяких бурбулисов, шахраев, собчаков, шушкевичей, кравчуков. . . о том, что СССР объективно распался, отжив своё. Его целеустремлённо, организованно, тайно, умышленно и предательски развалила клика западников во главе с Горбачёвым и помогавшим им в этом, трудившимся в поте лица Ельциным. Варианты второго дыхания и обновления у Советского Союза были. К сожалению, не вышел тогда на историческую сцену какой-нибудь русский генерал Ярузельский, не нашлось ни Минина, ни Пожарского. . . Народ был вовлечён в якобы демократические преобразования и был жестоко обманут.

Написав роман о развале СССР, Вячеслав Щепоткин предупреждает современное российское общество, политиков России, что подобное может произойти и с Российской Федерацией. Не дай Бог, конечно! . .

Евгений Бердников
г. Рыбницы, Приднестровье

А МОЖЕТ, КУХАРКА УПРАВИЛАСЬ БЫ ЛУЧШЕ?..

Дорогой Станислав Юрьевич!

С огромным интересом, как и прежнюю Вашу публицистику, я прочитал вторую подачу записок “Из литературного дневника третьего тысячелетия” в № 11 “Нашего современник” за 2013 год. И добавлю: с не меньшим удовлетворением. Ибо, несмотря на “малокалиберный” жанр, Вам удалось почти в каждой записи-главке отразить не просто “впечатления дня”, но коснуться важной проблемы, развенчать тот или иной миф, а то и указать на целое явление, порождённое нашей доблестной действительностью.

Именно таким явлением мне представляется, говоря Вашими словами, “социальный расизм”, о котором Вы размышляете, отталкиваясь от слов небызвестного юриста Барщевского, обронившего в передаче Владимира Соловьёва фразу в защиту высоколобых думцев, что ежи на них “наезжать” за всякий грешок, то “в Думе не останется интеллигентов... а на их место придут кухаркины дети”. Очень характерная фраза для нынешнего бомонда, для “интеллектуалов”, чиновников и толстосумов, вдруг возомнивших себя “элитой”, белой костью, этаким новым дворянством и высокомерно вззирающих на трудовой люд, на тягловое “быдло”, копошащееся где-то внизу. Что ж, вместе с социальным дарвинизмом крепчает и социальный расизм. Однако удивляет другое.

Когда слова о “кухаркиных детях” выдают через губу “жертвы антропологической катастрофы” Барщевские, Пивоваровы или процитированный Вами комиссарский отпрыск Окуджава, пожалевший, что “кухарку приставили как-то к рулю”, это понятно и объяснимо. Но ведь они, слова эти, нет-нет да и слетают и с уст наших патриотов, вроде бы – державников и народолюбив. Недавно, во время трагических событий на киевском Майдане один “прокурский” украинец примерно так объяснил корни всех наших бед: “Что ж вы хотели, если страной 70 лет управляли кухарки...” Вот как глубоко проникла в народ эта людоедская либеральная пропаганда! И мне, крестьянскому сыну, которому отнюдь не чуждо здоровое классовое чувство, невольно захотелось вслед за Вами, Станислав Юрьевич, поразмышлять над этим досадным и опасным явлением.

Слова о кухарке, которая “должна управлять государством”, приписываемые Ульянову-Ленину, вот уже более двадцати лет в СМИ, да и с трибун не произносятся иначе, как с этакой ядовитой иронией. Либеральные перестройщики-реформаторы, оседлавшие Россию и ведущие её незнамо куда, вдолбили обывателю мысль, что все наши нынешние беды и провалы есть прямое следствие многолетнего “кухаркиного правления”. И хотя, мол, наконец-то пришли к рулю “интеллектуалы” с капиталами в офшорах, но им осчастливить народ мешает проклятое “совковое”, “кухаркинское” прошлое.

Но, дорогие “друзья народа”, во-первых, откуда вы взяли, что каждая кухарка непременно глупа, как курица, и не знает – не ведаёт что почём, как говорится? Я понимаю, речь в подобных репликах идёт не только о кухарке,

“работнице питания, приставленной к борщам”, а вообще о рабоче-крестьянском люде, о том рядовом человеке труда, которого мы привычно называем “простым”. Но раз уж нажимают цитатчики именно на “кухарку”, то могу привести в пример многие десятки домохозяек либо работниц “общепита” — от судомоек до шеф-поваров, — с которыми мне, журналисту, довелось встречаться, беседовать и восхищаться их умом и талантом.

Писал я, к примеру, когда-то о заведующей производством сельской столовой Зинаиде Ивановне Паниной из Курагино нашего Красноярского края, награждённой орденом Ленина за неизменно богатое меню, в котором значились не только обычные щи да котлеты, но и, скажем, таёжная дичь, и малосольные хариусы. Рассказывал о мастерицах из рабочих столовых Танзыбейского, Унгутского леспромхозов, которые кроме ординарных блюд сами готовили печенье, зефир и прочие лакомства, редкие в глубинных селеньях. Был знаком со знаменитым шеф-поваром ресторана “Север” при гостинице Норилькомбината в Красноярске, Михаилом Андреевичем Можаровым, фронтовой ещё закалки мастером-кудесником, на которого местные гурманы шли, как ходят театралы на своих кумиров. . .

Все эти “кухарки” не только изрядно владели своим мастерством, но и отличались ясным умом, народной смекалкой и были настоящими экономистами. Ведь им, равно как и, допустим, домохозяйке Наталье Борисовой из пригородного посёлка Сибиряк, вместе с мужем, рабочим Крастяжмаша Андреем растившей, кроме своих четверых, ещё одиннадцать (!) чужих ребятишек, взятых из детских приютов, надо было вести бюджет, составлять смету расходов, думать о кознях “рынка” и калькулировать каждый обед. Все знают, что **изначально экономика (экономия) — это не что иное, как искусство домоводства, то есть умение рачительно вести хозяйство**, хоть своего дома или заводской столовой, хоть района, города или даже всей страны. Иначе говоря, управлять ими. Так не предпочтительнее ли поручить это тонкое и важное дело практичной кухарке, нежели “интеллектуалам”, выросшим на дармовых хлебах вдали от забот трудового народа и прочитавшим некоторое число сомнительных книжек по “домоводству”, притом в основном — в переводах с иностранного?.. И не кажется ли вам, уважаемые, что **нынешние беды-то наши не от кухарок вовсе, а как раз от этих дилетантов-книжников, сидящих в руководстве государством?**

Это — во-первых. Во-вторых же, любезные, вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что умственный, духовно-нравственный мир среднего интеллигента, представителя “элиты”, богаче мира “простого” человека-работяги. Увы, сумма знаний не прибавляет ума, и уж тем более — ресурсов души. О чём написано много. Но, может, особенно убедительно доказывал это наш мудрец Лев Толстой в знаменитой работе “Что такое искусство?” Мир человека из “высшего света”, говорил он, чаще всего сводится к заботе о карьере и чинах, о наживе и похоти телесной. Именно вокруг этих тем вращаются все светские беседы. Мир же “простого” крестьянина богаче в тысячу раз. Ибо ему каждый день приходится думать о хлебе насущном, заботиться о детях, ухаживать за животными, работать в поле, пестуя каждый корешок и колосок, общаться с природой. . . Его чувства и переживания при этих бесчисленных контактах с миром Божьим, мысли о Творце, о жизни земной и небесной куда глубже и многообразнее, чем у светского шалопаю.

Наконец, обратимся к самой фразе, якобы ленинской, о пресловутой кухарке, которая должна “управлять государством”. Посмотрим, как она, фраза эта, звучала в первоисточнике, и была ли она в природе вообще? Поверьте, я отнюдь не отношусь к безоглядным апологетам Ильича. У меня есть немало претензий и вопросов к этой сложной исторической фигуре. Например, почему, при всей своей прозорливости, вождь русской революции был столь недальновиден в “подборе кадров”, окружавших его? Ведь антироссийская, антинародная сущность всех этих троцких, каменевых, бухариных совершенно очевидна любому рядовому пролетарию. . . Особенно — ныне. Но сегодня речь у нас не об этом и не о защите Владимира Ленина, в которой он едва ли нуждается. Речь о конкретной фразе, ему приписываемой и вот уже 20 лет с гакком глумливо повторяемой изо дня в день средствами массовой информации, да и многими гражданами тоже. Речь идёт об истине и ради истины.

А истина, братцы, такова, что **Ленин, как к нему ни относиться, этой глупой фразы никогда. . . не произносил**. Да-да. В действительности дело об-

стояло совершенно иначе. Накануне революции буржуазные политики много кричали о том, что большевики не смогут удержать власть, ибо среди своих сторонников не найдут людей, умеющих управлять государством. К примеру, газета “Новое время” не без сарказма писала:

“Допустим на минуту, что большевики победят. Кто будет управлять нами тогда? Может быть, повара, эти знатоки котлет и бифштексов? Или пожарные? Конюхи, кочегары? Или, может быть, няньки побегут на заседание Государственного Совета в промежутках между стиркой пелёнок? Кто же? Кто эти государственные деятели? Может быть, слесари будут заботиться о театрах, водопроводчики – о дипломатии, столяры – о почте и телеграфе?.. Будет ли это? Нет! Возможно ли это? На такой сумасшедший вопрос большевикам властно ответит история”.

(Какое, однако, высокомерие! И, кстати, не напоминает ли вам тон сего пассажи некоторые нынешние публикации?)

В ответ на подобные обвинения осенью 1917 года, незадолго до свершения революции (или переворота, если угодно), Ленин написал статью “Удержат ли большевики государственную власть?” Там были такие слова: “Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы ...требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто *управлять* государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно *начали* привлекать всех трудящихся, всю бедноту” (ПСС, т. 34, с. 315).

Как видим, Ленин говорил совсем не о том, чтобы немедленно посадить кухарку в Верховный Совет или назначить министром. Более того, он соглашался с оппонентами, что ни она, ни чернорабочий **“не способны сейчас же”** к управлению государством. Но он ратовал за то, чтобы *к обучению* “делу государственного управления” привлекались и простые трудящиеся. И как мы знаем из дальнейшей истории нашей Родины, это не было утопией. У руководства страной, армией перебивало немало бывших рабочих и крестьян – от сына сапожника Сталина, крестьянина Жукова до рабочего Брежнева. Да и у нынешних президентов и министров происхождение зачастую пока не дворянское, а президент, если верить некоторым сообщениям прессы, вообще имел в семье деда-повара, то есть в некотором роде “кухаркин внук”.

Ну, а расхожую фразу о “каждой кухарке”, скорее всего, запустил в оборот Маяковский, щедрый на афоризмы. У него в поэме “Владимир Ильич Ленин”, написанной в 1924 году, есть строфа с явным отзвуком ленинской работы:

*В очках манжеттики,
злой похаркав,
Полезли туда, где царства
да графства.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
Каждую
выучим
управлять государством.*

Поэма многие годы стояла в школьной программе. Её читала поголовно вся страна. И слова о “каждой кухарке”, признаем, довольно броские, стали крылатыми. И даже вошли в широко известную книгу Николая и Марии Ашукиных “Крылатые слова”, которую держат на ближайшей полке своей библиотеки многие образованные люди. Вошли в такой редакции: “Каждая кухарка должна научиться управлять государством”. Кстати, там вы найдёте и приведённую ленинскую цитату с некоторыми сокращениями.

Повторяю, у меня вовсе нет желания блеснуть эрудицией, я просто ради истины напоминаю по сути общеизвестное. И уж совершенно точно, что всё это знакомо большинству редакторов определённых изданий, когда-то “закрепивших” школьные знания в цековской Академии общественных наук, но ныне почему-то с особым сладострастием склоняющих бедную “кухарку”.

За этой упорной подменой и глумлением проглядывает барское презрение к “простому” народу, недоброе желание унижить человека труда, подчеркнуть его “совковую” примитивность и оттолкнуть от участия в управлении государственными делами, которые, заметим, не исчерпываются креслами в парламентах или министерствах.

Каждый нормальный человек понимает, что обучение кухарки “делу государственного управления” – это приобщение её к участию в управлении своим предприятием, селом, городом, районом. Такое участие при настоящем народовластии (демократии) – вполне нормальное явление. И мне, например, выходцу из крестьян, обидно оттирание трудяг-пахарей от влияния на государственные дела. Лично я к власти не стремлюсь, но разве все мы, вступая когда-то в перестройку под лозунгом “Больше социализма!” и “Вся власть Советам!”, не мечтали о том, что сможем, наконец, сами распоряжаться собственностью и делами своего завода, учреждения, края, будем реально влиять на местные и центральные власти?.. Разве не хотели мы стать хозяевами своей страны и своей судьбы? А кем стали в результате?..

Кем стали мы, бездумно отдав за бесценок всенародное богатство хищному частнику и изгнав последних “кухарок” из администраций, дум и министерств? Да ведь даже и с заводов, фабрик, из народных столовых. Не зря на самом “верху” с тревогой заговорили о нехватке умелых рабочих, о срочном возрождении системы профтехобразования... **Так что не следует нам попугайски повторять либеральную демагогию о якобы глупых “кухарках”.** Это не по-божески, не по-человечески. Да и недемократично, по крайней мере.

Александр Щербаков
г. Красноярск

*Поздравляем нашего друга
Александра ЩЕРБАКОВА,
певца Сибири и русского простонародья,
с 75-летием!*

ГДЕ ЖЕ СУТЬ У КУРГИНЯНА?

Уважаемая редакция!

Взяться за перо меня заставила публикация в № 38 газеты “Суть времени”, издаваемой известным театральным режиссёром и политическим деятелем, лидером партии того же названия Сергеем Ервандовичем Кургиняном, воспоминаний о его постановке во МХАТе им. Горького пьесы М. Булгакова “Батум”. Вспомнил же Кургинян не о спектакле, не об артистах, которые удачно или не очень исполняли свои роли, а о снятии спектакля “Пастырь” (именно под таким названием булгаковский “Батум” значился в афише) из репертуара театра сразу же после премьеры в 1992 году. Вполне понятно недовольство модного режиссера, работа которого оказалась невостребованной, но в чём же причина такого решения руководителя театра, народной артистки СССР Татьяны Васильевны Дорониной?

Обратимся к интервью с Татьяной Дорониной Артура Соломонова, опубликованному в газете “Газета” 12 сентября 2003 г. Татьяна Васильевна говорит: “Я бы выпустила спектакль, но режиссер Кургинян очень неуважительно обошелся с автором и выбросил много текста. А когда мы говорили о предстоящем спектакле, то вспоминали, что МХАТ в большом долгу перед Булгаковым. Ведь здесь заporоли и “Кабалу святош”, и “Бег”, и “Батум”. И когда мы утверждали репертуар, то утвердили и “Белую гвардию”, и “Зойкину квартиру”, и “Батум”. И если бы спектакль был поставлен в соответствии с автором, то он шёл бы”.

А теперь сравните это спокойное высказывание с репликой Кургиняна из его газеты: “Ноябрь 1992 года... МХАТ на Тверском... Кабинет Татьяны Дорониной. В кабинете просто пахнет безумием... Доронина зажгла свечи... Она машет руками, кричит: “Чур меня!” Голос – как у визгливой рыночной торговки...” – далее лучше не цитировать. Итак, с одной стороны поток грязных оскорблений, а с другой – спокойное взвешенное объяснение эпизода из жизни театра. Всё это вызвало у меня и не только у меня состояние шока, переросшее в возмущение, негодование и презрение к автору этой галиматии.

Чем же был вызван такой грубый “наезд” Кургиняна на Доронину? Я сначала предположил, что ему так дорог был спектакль, что он столько сил и энергии в него вложил, что вот не выдержал и психанул сгоряча. Но то, что написал Кургинян дальше, добавило ещё красок к неприглядному портрету автора воспоминаний: “Доронина могла соорудить гораздо более ядовитые пакости, чем запрет спектакля. Меня-то запрет абсолютно устраивал! Как-никак маленькая сенсация. Доронина могла спектакль сгноить, опозорить. Взорвать изнутри! Созывать на него соответствующую публику. Добиваться от ак-

теров гадкой пародии на замысел. Она могла! Её подлости, мстительности, коварства на это вполне хватало. Но задача была в другом – закрыть и немедленно”.

Всё! Больше цитировать Кургиняна не хочу и не буду. Противно! Обвиняет Доронину в подлости и мстительности, а сам вываливает эту гниль на страницы собственной газеты, пользуясь полнейшей бесконтрольностью, спустя 20 лет после описываемого события. Он хотел обгадить, опозорить Доронину, а получилось, что выставил на обозрение собственную подлость, мелочную злопамятность. Ведь он откровенничает: “Меня-то запрет абсолютно устраивал! **Как-никак маленькая сенсация**”. То есть для него маленькая сенсация важнее спектакля! Вот и лопнул пузырь. А как надувался!

Да, если бы спектакль у него действительно получился замечательным, то и прогремел бы он по всей Москве, а потом и по всей стране. Сейчас же имеем о нём только два отзыва: от Кургиняна и от Дорониной. При этом Кургинян как-то странно “забывает”, что у него есть возможность поставить спектакль в собственном театре “На досках”. Если спектакль получился таким замечательным – поставь его у себя, и пусть вся Москва стоит в очереди за билетами! Но Кургинян не нашёл ничего лучшего, чем свалить всё с больной головы на здоровую, при этом попытавшись облить грязью великую актрису, но получилось, что эту бадью с помоями он опрокинул на самого себя.

Обвинения Дорониной в интригах Кургиняну показалось мало, и он повесил на неё ярлык удачливой карьеристки, повинной в расколе МХАТа. Для разъяснения ситуации обратимся к очевидцу событий. Роберт Тохненко в интервью газете “Комсомольская правда” от 11 сентября 2003 года:

“Почему никто не задумывается, что достоинство художественного чутья Тани в том, что она сумела в неустойчивое время сохранить преемственность реалистического отражения жизни в театре? Ведь это академический театр, и поэтому он представляет всю страну, а не экспериментальный карманный театр одного человека.

Никто из критиков так и не написал об истинной причине размежевания между Дорониной и Ефремовым и появления двух МХАТов. Многие считают, что Доронина и Ефремов не поладили и поэтому решили разделить МХАТ. Но истина кроется в том, что Ефремов уводил в отремонтированное здание театра в Камергерском переулке всех актёров– мхатовцев своего бывшего театра “Современник”, а 160 истинных мхатовцев оставил под открытым небом. Здание на Тверском бульваре Ефремов, никому не говоря, через Минкультуры отдал под театр Дружбы народов, под шоу-представления, а филиал МХАТа ремонтировался. Это была самая настоящая трагедия для людей. Никто, например, не писал, что из-за этого актриса Леночка Королёва пыталась лишиться себя жизни. . .

Ефремов Дорониной предложил уйти с ним, но, когда Татьяна узнала об истинном положении дел, она наотрез отказалась и осталась с брошенными мхатовцами. Я могу утверждать, что только неукротимый характер Татьяны позволил вернуть здание и сохранить труппу”.

Я думаю, что из всего вышесказанного читатель сам сделает вывод: кто есть кто, и кто чего стоит. По сути.

Павел Андреевич Белых
г. Электросталь Московской обл.

В номере 12 за 2013 год по вине сотрудника редакции допущена досадная ошибка: неверно написано имя нашего давнего автора, Председателя Конституционного суда РФ Валерия Дмитриевича Зорькина.

Приносим извинения ему и читателям.

Редакция

ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2013 ГОДА

Премия имени В. В. КОЖИНОВА за многолетнее служение русской литературе присуждена Виктору Стефановичу КОЖЕМЯКО.

Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за рассказ “Хозяин” (№ 10) присуждена Алексею СЕРОВУ.

Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за подборку стихов “Генокод” (№ 11) присуждена Марине СТРУКОВОЙ (Подмосковье).

Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки и публицисты”) за статью “Возвращение мужчины” (№ 10) присуждена Андрею РУДАЛЁВУ (г. Северодвинск Архангельской обл.).

Ежегодные премии за лучшие публикации 2013 года присуждены:

— Якову АЛЕКСЕЙЧИКУ, публицисту — за статьи “Подкидной с чертями” (№ 5), “Варшава и белорусский вопрос — век XX” (№ 7), “Сентябрь, решивший судьбу” (№ 9);

— Андрею АНТИПИНУ, прозаику — за повесть “Горькая трава” (№ 4);

— Дмитрию ВОЛОДИХИНУ, философу и публицисту — за статьи “Земский собор 1613 года” (№ 3) и “Третий Рим” или “Дом Пречистой?” (№ 11);

— Андрею ВОРОНЦОВУ, прозаику и критику — за статью “Маяковский и его железные книги” (№ 7–8);

— Наталье ЕГОРОВОЙ, поэтессе — за подборку стихов “И от слова живого колеблется мрак!” (№ 9);

— Борису КУРКИНУ, прозаику и критику — за статью “Перечитывая “Игроков” (№ 4);

— Альберту ЛИХАНОВУ, прозаику — за роман “Непрощённая” (№ 5);

— о. Андрею ЛОГВИНОВУ, поэту — за цикл стихов “Будет Пасха” (№ 4);

— Василию МАКЕЕВУ, поэту — за цикл стихов “Я дни мои, как листья, обрываю” (№ 8);

— Сергею МИХЕЕНКОВУ, прозаику — за роман-биографию “Солдатский маршал” (№ 5, 6);

— Геннадью МОРОЗОВУ, поэту — за цикл стихов “Память прощально-го счастья” (№ 1);

— Захару ПРИЛЕПИНУ, прозаику, публицисту — за статьи “Сортировка и отбраковка интеллигенции” (№ 2) и “Почему я не либерал” (№ 11);

— Александру СЕВАСТЬЯНОВУ, публицисту — за статьи “Судьба элиты — судьба нации” (№ 5) и “Полюбил либерал националиста...” (№ 9);

— Петру ТКАЧЕНКО, критику, публицисту — за статью “Русский поэт советской эпохи” (№ 1);

— Вячеславу ЩЕПОТКИНУ, прозаику — за роман “Крик совы перед концом сезона” (№ 8–10).

Патриаршая литературная премия присуждена КУНЯЕВУ Станиславу Юрьевичу.

Государственной премии РФ удостоен РАСПУТИН Валентин Григорьевич.

Поздравляем лауреатов!